12. 1975

Иностранная литература

Гравюра из венецианского издания «Декамерона» 1492 г.

К 600-летию со дня смерти Джованни Боккаччо (1313–1375)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

СОДЕРЖАНИЕ

АННА ЗЕГЕРС — Каменный век (*Рассказ. Перевод с немецкого Нины Федоровой*) 4

ЖОРЖИ АМАДУ — Тереза Батиста, уставшая воевать (*Роман. Окончание. Перевод с португальского Ю. Калугина. Послесловие Юрия Дашкевича*) 30

ЕВА ЛИПСКАЯ — Стихи (*Перевод с польского и вступление Натальи Астафьевой*) 133

АНДРЕ СТИЛЬ — Рассказы (*Переводы с французского Александра Карлова и Т. Ерофеевой*) 139

Литературное наследие

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ — Стихи (*К 100-летию со дня рождения. Переводы с немецкого А. Гелескула, Н. Григорьевой, К. Богатырева, В. Летучего, З. Миркиной. Вступление Н. Литвинец*) 182

Критика

Е. ГАЛЬПЕРИНА — Молодой бунтарь в поисках пути (О творчестве А. Квеи Армы) 193

Л. СТАРОСТОВ — Ранняя проза Назыма Хикмета 201

МОРИС ВАКСМАХЕР — Природа искусства не терпит пустоты (Заметки о современной французской поэзии) 210

Культура и современность

Заметки на полях

А. Желоховцев — Еще удар по культуре 215

Публицистика

САРА КИРШ — Непричесанные рассказы (Главы из книги «Укротительница». *Перевод с немецкого М. Федорова. Послесловие Гейнца Плавиуса*) 219

Экран и время

БОРИС ГАЛАНОВ — Современность и мода (Заметки о новых зарубежных фильмах) 235

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

12
ДЕКАБРЬ
1 9 7 5

СОДЕРЖАНИЕ

Наши гости

Е. ГЕНИЕВА — Осмыслить себя (Чарльз Перси Сноу и Памела Хэнсфорд Джонсон — в редакции журнала «Иностранная литература») 247

Изобразительное искусство за рубежом

Д. НИКОЛАЕВ — «Мир уцелел, потому что смеялся» 251

Среди книг

Издано в СССР

В. Девекин — «Ничего прекрасней сердца нет». Д. Урнов — Литература — страна — история. Л. Эйдлин — «Храбрые и справедливые» в истории китайской прозы 256

Издано за рубежом

Г. И. Чернявский — Вдохновенный рассказ коммуниста
Д. Ершов — «Красная лирика» Артура Лундквиста 262

Письма из-за рубежа

АЛЬБЕР ЭГПАРС — Писатель и его книги (*Перевод с французского Н. Поповой*) 266

Из месяца в месяц 269

Авторы этого номера 281

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1975 ГОД (№ 1—12) 283

На обложке: ЯН ВЕРМЕР ДЕЛФТСКИЙ (1632—1675). «Девушка с жемчужиной».

На цветной вкладке: работы с выставки карикатуры «Габрово-75».

© «Иностранная литература», 1975.

АННА ЗЕГЕРС

Каменный век

РАССКАЗ

Перевод с немецкого НИНЫ ФЕДОРОВОЙ

Приземление прошло удачно. Да ведь у счастья нет причин ему изменять. Гэри чувствовал это. Страх был ему неведом, он считал себя баловнем удачи.

Он приземлился с парашютом точно в намеченном месте. Специально для него природа приберегла эту прогалину в густом лесу. Стоило пригрозить, что самолет с пассажирами рухнет на атомную станцию, как ему тут же передали деньги.

Надо исчезнуть. Как — он научился во Вьетнаме. Если поднажать, можно за шесть часов добраться до шоссе, которое проходит севернее. С недавних пор у опушки леса появилась просека. На картах она не обозначена, точно так же как и маленькая ферма, то ли разрушенная, то ли строящаяся. Южнее, на более близком расстоянии, чем шоссе, копались в обрыве археологи. Неподалеку находилась полузаброшенная деревушка. Вероятно, кое-кто из археологов захаживал туда за выпивкой или на почту.

Гэри выбрал ферму. Наведя справки, он изучил ее не хуже владельца.

За истекшие несколько часов небо потемнело. Непогода разыгралась даже быстрее, чем надеялся Гэри. Опять невероятное везение! Выход на цель в непогоду — эту задачу они без конца отрабатывали в джунглях. Все следы сотрутся почти мгновенно и без остатка. Удача! Удача! «Да, это все потому, что я не знаю страха»,— думал он. Даже целой армии военной полиции нипочем не разыскать его в лесу.

К ферме он вышел точно, как рассчитывал. Фермер не особенно удивился, когда Гэри захотел у них обсушиться. Гэри сказал, что он из южной экспедиции. Друзья проводили его до станции на шоссе, чтоб он съездил автобусом в город и купил грузовик. Грузовик им понадобился для вывоза невиданно богатых находок. В ожидании автобуса он обнаружил просеку и из любопытства отправился по ней. А ферма оказалась дальше, чем он думал. Внезапно началась гроза.

Из хлева вышли фермерша с дочерью и предложили ему выпить чего-нибудь «для обогрева». Хозяин объяснил, кто этот незнакомец. Женщина пожаловалась, что в хлеву течет крыша, видно, понадеялась, что гость не захочет остаться в долгу. Дочь, некрасивая девушка лет пятнадцати,— судя по взглядам и ужимкам, ее очень интересовали мужчины,— спросила Гэри:

— А почему же вы ушли со станции?

Спросила просто для того, чтобы он взглянул на нее и поговорил с ней, и Гэри ответил:

— Кто мог подумать, что погода так быстро испортится? Я уже бывал на заправочной станции и приметил дорогу, которая ведет к вам на ферму.

То ли из жадности, то ли чтоб отвязаться от чужака — при такой-то дочери,— фермер сказал, что кое-что придумал. Ему самому нужен новый грузовик, побольше, может, гость взглянет на его старый — тогда он еще засветло сумеет уехать.

— А что там у вас с хлевом? — поинтересовался Гэри, словно и не спешил, а в душе порадовался подвернувшемуся счастью. Сначала фермер показал ему грузовик. Услышав цену, Гэри притворился, что раздумывает, и пошел с женщинами в хлев. Там он не торопясь законопатил сырой угол, а дочка вертелась рядом, так и норовя хоть на секунду прижаться то к его плечу, то к бедру.

Гэри с фермером поторговались и наконец ударили по рукам. Женщины предложили Гэри ночлег, но он сказал, что друзья очень обрадуются, если он вернется раньше, чем ожидалось. Поедет сначала по шоссе, потом свернет к деревне и в случае чего переночует там. По крайней мере можно будет пораньше начать упаковку находок.

Он намеренно расплатился так, чтобы полученной от фермера сдачи в дальнейшем хватило на покупку всяких нужных вещей, и сказал себе: «При всем своем идиотизме полиция сообразит передать по радио номера банкнот. Основной куш я буду тратить не в Штатах, а совсем в другом месте. Туда-то мне и надо поспешить».

Выехав на шоссе, он заставил себя не думать об опасности. А то моментально заметят. Только беду накличешь.

По дороге он вспомнил своего приятеля Генри Максвелла. Два года проторчали вместе во Вьетнаме, учились там в летной школе. После тяжелого ранения, которое Гэри, надо сказать, еще усугубил по совету одного дружка, его демобилизовали и отправили в Штаты. Но уже на пути домой Гэри начал тосковать по джунглям и опасностям, по необузданной жизни, полной авантюр и риска.

На отцовской ферме он и часа не выдержал. Поехал в город, чтобы пройти окончательное обследование и заодно получить небольшое пособие, и в одном из кабачков столкнулся с Генри Максвеллом — будто сам бог послал ему этого приятеля.

— Что ты собираешься делать с деньгами? — спросил Генри. По своему обыкновению он искоса, но проницательно смотрел на Гэри, словно читал его мысли, намечая контуры подспудной, пока еще аморфной идеи.

— И сам не знаю,— отвечал Гэри.— Но, по-моему, во Вьетнаме я заслужил кое-что получше этих вшивых бумажонок. Хорошую жизнь, веселую жизнь заслужил. Теперь пачками отсылают назад таких, кто и царапины не получил. Помнишь генерала, он еще на весь свет трубил, что мы своими бомбами отшвырнем Вьетнам назад к каменному веку?

— Хочешь, дам тебе совет,— сказал Генри,— как лучше всего распорядиться деньгами? Разве я давал тебе плохие советы? Разве не прошли мы бок о бок огонь, воду и медные трубы? Разве я не был всегда твоим верным другом?

— Все так,— подтвердил Гэри.

— Тогда слушай. Я тебе достану южноамериканский паспорт, новенький, не подкопаешься.

— Зачем он мне?

— Сообразишь, когда понадобится. Рано или поздно.

Генри Максвелл посмотрел вниз, на свои руки, словно давая Гэри время понять до конца какой-то тайный намек.

— А как же ты достанешь такой паспорт?

— Я знаю одного человека, он работает ночным сторожем в городской больнице в Альбукерке. Там столько всякого народу дохнет, особенно из Латинской Америки — невесть кто, невесть откуда, ими потом никто и не интересуется. Сторож уже прибрал к рукам кое-какие паспорта и не одно дельце обстряпал. Скажи ему только, что ты от меня. Он больше ни о чем и не спросит. Для него главное — монета.

Гэри задумался. Взял со стола пачку — оставалась всего одна сигарета,— купил новую и угостил Генри, а сам, наморщив лоб, закурил ту, последнюю сигарету.

— Можно подумать, она тебе особенно дорога,— засмеялся Генри.

Гэри промолчал.

Сидя в кабине грузовика, он изо всех сил старался не думать ни о Генри Максвелле, который навел его на мысль о паспорте, ни о стороже, продавшем ему этот паспорт —колумбийский. Гэри гнал от себя всякие мысли об опасности. Не хотел думать и о полиции, которая тем временем наверняка выспросила фермера и передала по радио описание грузовика. Но грузовик он быстро сплавил. Вырученные деньги Гэри понемногу тратил в разных местах. Проехав часть пути автобусом, часть — поездом, он добрался до Нового Орлеана.

Много лет назад Гэри, которого теперь звали Хосе Эрнандес, плавая на кораблях, посещал всевозможные гавани. Он хорошо владел языками континента. Особенно испанским. Семья его матери была родом из Мексики, и в детстве мать всегда говорила с ним по-испански. Отец тогда ужасно злился, потому что ничего не понимал.

В Новом Орлеане Гэри отыскал потрепанное колумбийское суденышко, которое набирало матросов для обратного плавания. Капитан был такой же развалиной, как и корабль. Гэри объяснил, что нанимается матросом, так как ему надо попасть домой. Капитан оказался не из тех, кто все дотошно выпытывает, ему было безразлично, зачем этот человек плывет через Карибское море в Картахену.

Команде Гэри рассказал, что от тяжелой болезни умирает его любимая сестренка. Никто не удивился. Частенько бывало, что тому или другому приходила охота побыстрее уехать на родину.

В Картахене он поменял ровно столько денег, сколько понадобилось бы на дорогу бедняку. Окольными путями добрался до Боготы. Там он спокойно поменял еще некоторую сумму, а бóльшую часть денег перевел в различные города.

Поехал он на равнину, как и задумал. Это было ему по душе. Нашел жилье — не слишком дорогое, но и не слишком дешевое — в маленьком городишке на реке Мета, поблизости от сочных степных пастбищ. За это время он экипировался — не то чтобы хорошо, но и не плохо. Быстро привык к испанскому, запоминая особые говоры и выражения, так как имел к этому способности. Ему нравилось самому говорить по-испански и слышать испанскую речь — вот бы отец позлился! Внешне он производил впечатление человека молчаливого, вежливого, слегка озабоченного.

Он был почти уверен — не совсем уверен, но почти,— что никто его не преследует. Особенно когда поселился на равнине в Сан-Хуане и занялся торговлей скотом. В этом он знал толк. Он смог даже вложить в дело оставшиеся доллары, а в скором времени разыскал чело-

века — к этому он стремился с самого начала,— который за доллары купил у него несколько гуртов скота. Потом он в другом месте приобрел за эти доллары другой скот.

По привычке он оставался начеку, но нигде не обнаружил и следа погони. «Удача мне не изменяет,— думал он,— я выиграл». У кого выиграл? У полиции? У судьбы? Судьбы нет. Нет, очевидно, и полиции, которая бы его искала. Он один-одинешенек. Всегда, всегда был один. На войне он, правда, находил товарищей, того же Генри Максвелла, но одиночество было ему дороже. Да так и лучше. Кто рискует, должен быть один. Об этом он раздумывал теперь, когда появилось время на размышления. Но время, казалось, растекалось у него меж пальцев.

Он стал хорошо одеваться для поездок в город и практично — для работы. Первую купленную машину вскоре поменял на другую. О женщинах, которых себе выбирал, он большей частью старался узнать заранее. Но они казались ему неуклюжими, манерными и слишком уж откровенно жаждавшими денег. Ни одна не владела своей профессией настолько, чтобы за краткие минуты близости, после которых следовало расставание, дарить мужчине столько радости, словно им суждено было не разлучаться до смерти. И он испугался, что никогда не сможет насладиться жизнью так, как хотел.

Гэри поехал в ближайший город, где находился банк. Туда он поместил часть заработанных денег, а остальные перевел в другой город — сообразно доходам человека среднего достатка.

Вскоре он начал зарабатывать столько, что смог приобрести небольшое ранчо, арендовать пастбища и купить скот. Место у реки, которое он подыскал, чрезвычайно ему нравилось. Каждый месяц Гэри ездил в город, однако любил деревенскую жизнь, вольный простор равнины, вид на реку и противоположный берег, одиночество и покой. Теперь он обрел, наконец, чувство полной уверенности — но именно уверенности, а не счастья, потому что счастье может однажды и изменить, а уверенность неколебимо покоится сама в себе. Оказалось, что все было задумано правильно. И он даже не сомневался в своей правоте, но жизнь стала так проста и спокойна, что иногда думалось: и это все?

У полиции он был на хорошем счету. Политические проблемы, временами подступавшие к нему вплотную — в форме ли случайной фразы или прямого вопроса,— были ему безразличны. Когда полицейские явились к нему в поисках парня, участвовавшего в запрещенной демонстрации, он вместе с ними проверил списки своих людей и провел полицейских по выгонам — согласно описанию искали метиса невысокого роста, с оттопыренными ушами.

Его считали хозяином строгим, но в целом справедливым; за хорошую работу он хорошо и платил. Он сделал кое-какие пристройки к дому, регулярно объезжал верхом пастбища. Предложения из города войти на паях в то или иное предприятие решительно отклонял.

Время от времени Гэри снимал комнату в городе, в небольшой гостинице. Слушал там радио, просматривал газеты. Узнал, что во Вьетнаме, по-видимому, скоро наступит мир. Стало быть, людей туда посылали совершенно зря, зря сметали с лица земли целые провинции. Он дивился. То, что проводимое здесь время как-то связано с прошлой жизнью, не приходило ему в голову.

Он играл в карты, завел несколько знакомств. «А, Эрнандес, снова здесь!» Нередко он спрашивал совета, потому что знал: люди любят, когда с ними советуются.

Некий Эчеварриа однажды пригласил его выпить у себя на веран-

де. В доме жили и семьи двух его старших сыновей. Младший вскоре собирался жениться.

Будущая невестка представила Гэри молодую женщину по имени Элиса, назвав ее «моя подруга» и добавив «наша портниха».

Гэри не мог оторвать от Элисы глаз. В карты он проиграл. Элиса Мендес научилась закройному делу в знаменитом салоне мод в Боготе. Первый ее друг, которого она считала своей единственной любовью, погиб в авиационной катастрофе. Ни денег, ни семьи у нее не было. В растерянности и тоске она переехала из Боготы в город поменьше и вскоре нашла там хорошее место. В конце концов, в своей неизбывной тоске она отказалась и от этой постоянной работы, переезжала с места на место, и везде ее рекомендовали.

Гэри удивлялся, до чего умна и независима эта девушка с серьезными глазами, хрупкая как ребенок. Она ездила куда хотела и своим трудом зарабатывала довольно большие деньги. Всякие ухаживания она отвергала. А сейчас была занята тем, что наряжала женщин Эчеварриа к свадьбе.

В конце концов Элиса согласилась встретиться с ним в парке. Отчего именно он разрушил чары, окружавшие ее, она и сама не смогла бы объяснить. Только призналась, что после смерти друга ездит все время будто по принуждению. И вдруг спросила, почему Эрнандес так на нее смотрит.

— Вы красивая.

— Ну и что?

— Когда я смотрю на вас, у меня становится легко на душе.

— А у вас там какая нибудь тяжесть?

— Ах нет, не как у вас. У меня на душе было ни легко, ни тяжело. А теперь просто стало легко.

Чем дольше продолжалось знакомство, тем отчетливее Элиса понимала, что ее первая любовь — детская забава по сравнению с чувством, захватившим ее сейчас.

Ей не пришлось раздумывать, переселяться на его маленькое ранчо у реки или нет — другое было для них просто немыслимо. Вместе с Гэри она радовалась простору, где дышалось как нигде свободно. Помогала ему обжить дом. Посадила сад.

Гэри разыскал и купил отличных лошадей. Они ездили верхом вдоль реки к гавани и не раз, держась за руки, смотрели на погрузку.

Вскоре ранчо стало приносить хороший доход. Элиса была столь же осмотрительна, сколь нежна, и быстро разобралась в его делах. Никто не заметил, как он добавил к своему счету деньги из другого города. Только такие поездки и заставляли его расставаться с Элисой. А когда он привез ей турецкий ковер, она сияла от счастья, и ночами он иногда чувствовал, как ее рука ищет во сне его руку.

Не понимал он лишь одного:

— Мне так хочется от тебя сына. Почему ты всегда остерегаешься?

— Я рассказывала тебе, что со мной случилось однажды. Счастье так легко улетучивается,— сказала она.

— Нашему это не угрожает. Почему ты так говоришь?

Между тем младший сын Эчеварриа женился. Жена его разузнала, где живет Элиса, и неожиданно появилась на ранчо. Она просто умоляла сшить ей платья, которые несложно и удобно будет переделать, когда беременность станет заметна. Втайне она надеялась при случае спросить у Элисы, как та умудряется не заводить детей.

В Элисе вновь пробудилась любовь к прежней работе. Время от времени она навещала семейство Эчеварриа, что-то кроила, примеряла. После одного из таких визитов рассказала Гэри:

— Там был какой-то родственник или друг семьи. Странный тип.

— Почему?

— Не знаю, как объяснить. В Боготе я не раз видела таких людей. Он знает эти места, но родом не отсюда. Очень хотел бы посмотреть наш дом. Сеньора Эчеварриа бог знает что ему нарассказала.

— Мне лучше всего наедине с тобой,— резко сказал Гэри.

— Здесь не принято отказывать, если кто-то хочет приехать в гости. Как приедет, так и уедет.

Гэри ничего не ответил. Он снова вспомнил все.

«Выследили. Вероятно, по деньгам, которые я потратил два года назад. Ошибкой было и то, что я всегда переводил деньги в банк. Их дело искать меня, и они доведут его до конца, а приказа об аресте никто не отменял»,— думал он.

Ночью у него возник план. Ее голова с гривой рыжевато-черных волос лежала у него на плече. Гэри осторожно высвободил руку.

Встал он рано.

— Надо кое-что купить в городе. Пока ты совсем проснешься, я уже вернусь.

Он знал, как она любила подольше оставаться в постели.

Когда она поднялась, служанка сказала:

— Нет, хозяин еще не вернулся.

Она в одиночестве пила кофе и ждала. Надела розовый халатик, который он так любил, и засунула за ухо цветок. К обеду его еще не было. Он не вернулся вечером, не вернулся ночью. Он больше никогда не вернулся.

В городе он снял со счета часть денег. К счастью, никто ему не встретился. «Элисе не придется бедствовать. О нет! У нее есть дом, и пастбища, и лошади, и драгоценности, и всякие побрякушки. Она продержится, а там, глядишь, и жених появится».

Гэри двинулся на восток. То на автобусе, то на поезде, то на пароходе. Покупал, продавал, часто переезжал с места на место. Старая игра. Однажды он пересек узкую полосу лесов и снова оказался в степи. Его пустили ночевать у костра. Постепенно он успокоился. «Может, он вовсе не выслеживал меня, тот человек, который так рвался посмотреть наш дом. Ну, да береженого бог бережет».

Чтобы спать спокойно, он придумал одну штуку — ведь при себе у него было довольно много денег наличными: на ночь обвязывал себя шнурком с колючкой, которая разбудила б его, если бы кому-нибудь вздумалось пошарить в его карманах.

На душе у Гэри не было тяжко. Скорее как-то неопределенно.

Однажды вечером он пристал в степи к группе вакеро [1]. Все вместе пили у костра кофе. Его расспрашивали. Он сказал, что подыскивает хорошее место. Что он имеет в виду? Лучше всего место управляющего на крупной ферме вроде вон той, если хозяин окажет ему полное доверие. Его высмеяли.

— Я не в стесненных обстоятельствах. Пусть испытают. А там будет видно.

В Сан-Себастьяне он положил деньги на депозит. Несколько дней поколесил по округе. О нем заговорили. Хозяин крупного ранчо искал работника именно на такое место, которое нужно было Гэри. Этот человек — его звали Гонсалес — внимательно присмотрелся к тому, каков Гэри в обращении с людьми и с животными. Он счел Гэри

[1] Вакеро — пастух, ковбой *(исп.)*.

ловким и неболтливым и предложил ему с испытательным сроком место управляющего у себя на ранчо. Гэри прикинулся равнодушным, но подумал, что ему снова везет.

Прошел год. В глубине души Гонсалес удивлялся, почему этот человек, у которого — как он выяснил — водились свои деньги, работает управляющим. Но никогда еще дела у него не шли так превосходно, ни на кого прежде он не мог так положиться.

Как-то раз, вернувшись из поездки, Гонсалес рассказал:

— Один из попутчиков — мы вместе ездили за море — говорил, что в городке, где его задержали дела, одну молодую, на редкость красивую женщину внезапно бросил муж. Без ссоры, безо всякой видимой причины. Мужа искали, но безрезультатно. Очевидно, он скрылся сознательно и не вернулся. Можете вы понять такое?

Гэри на минуту задумался, а потом сказал:

— Она ему надоела.

Гонсалес тоже задумался:

— Что ж, иногда и красотки надоедают.

У него самого была не слишком красивая, но добрая и очень работящая жена и трое хороших детей. Гэри строго держался поодаль от хозяйки. Дети его любили.

«Тот чужак,— думал он,— говорил вовсе не об Элисе. Предчувствие, что поблизости шпик, оказалось, значит, ложной тревогой. Иначе Гонсалес как-нибудь да упомянул бы об этом. Только без предчувствий! Счастье, что тот болтун не называл имен. А может, называл? Гонсалес как-то странно на меня поглядывает. Да что я, он всегда так смотрит».

Изредка Гонсалес посылал его с поручениями в город, полностью доверяя ему во всем. Однажды, когда Гэри сидел там в кафе, взгляд его вдруг упал на забытую кем-то американскую газету. Он не потянулся за ней, но покосился на раскрытую страницу. Там было написано, что в Венесуэле задержали воздушного пирата, который три года назад выпрыгнул с самолета со своей добычей.

«Чепуха,— подумал Гэри.— Никого они не задержали. Такое печатают просто для того, чтобы тот, кого по-прежнему безуспешно разыскивают, забыл об осторожности и угодил в ловушку».

Испытательный срок давно окончился. Лучшего места и пожелать было трудно. Относились к нему почти как к члену семьи. Для служащих, вакеро, знакомых, которые временами заглядывали на ранчо, он был добрым другом хозяина. «Управляющий со всеми полномочиями — это даже лучше, чем хозяин с его ответственностью за все»,— думал он. Было лишь одно весьма неожиданное обстоятельство, которое со временем стало помехой.

В этой стране почти все были католиками, хотя большинство соблюдало обряды и обычаи, только оберегая свою репутацию — чтобы быть на хорошем счету у начальства и в обществе. По-настоящему верили немногие.

Но Гонсалесы всей душой были преданы своей религии. А Гэри, по их наблюдениям, не придает ей особого значения и даже обрядов не соблюдает. На ранчо отмечали все церковные праздники, и супруга хозяина придумывала для работников всевозможные развлечения. Так бывало и в именины Антонио и Урсулы. Гэри же советовал не устраивать увеселения и ярмарки, потому что многие на ранчо напивались и потом хуже работали.

Хозяева явно не раз обсуждали религиозные убеждения своего управляющего, и по совету мужа сеньора Гонсалес однажды отвела Гэри в сторонку и как следует его расспросила. В душе Гэри забавлялся, однако принял серьезный и задумчивый вид, сказал, что и сам счи-

тает своим недостатком — особенно имея перед глазами пример Гонсалесов,— что был так далек от церкви. Сеньора Гонсалес порекомендовала ему священника, который иногда гостил у них, и пришла в ужас, когда Гэри признался, что уже много лет не исповедовался. Он тут же подумал: «К чему я это сказал, они бы все равно не узнали». Теперь пришлось добавить, что он почти совсем забыл, какие слова при этом полагается говорить.

Хотя сеньора Гонсалес не скрывала смущения, ей явно доставляло удовольствие помочь управляющему Эрнандесу. Она велела ему запоминать разные фразы вроде: «Я согрешил перед богом и людьми и недостоин быть сыном твоим». Гэри серьезным тоном повторял слова, которые ему надо будет говорить священнику.

«Пока мне не хочется отказываться от этого места, и потому я пойду к нему. Придумаю, что рассказать, какую-нибудь пакость насчет женщин. Ему наверняка частенько доводится слышать такое. А он передаст каждое мое слово семье Гонсалес»,— думал он.

К успенью Гонсалесы дали обет обновить часовенку на ранчо и одеть богородицу в новое платье. Гэри привык, что тут в церквах и часовнях ярко, словно кровью, раскрашивали дерево, из которого вырезали Христа и святых, вставляли им блестящие глаза и одевали. Одежды богородицы в этой часовне истлели, и сеньора Гонсалес купила в городе шелку, потом попросила Гэри и мальчика, старшего из троих детей, помочь обновить часовню. Сама она раскроила шелк и усадила девочек за шитье. Мальчик спросил, почему мать не шьет сама, но сеньора Гонсалес коротко ответила: «Пусть лучше девочки».

Мальчик хотел было возразить, но потом сообразил, что́ мать имела в виду, и опустил глаза. Гэри вспомнил вдруг своего младшего братишку — кроме старшего брата, невыносимо грубого и подлого, дома был еще один отпрыск. Гэри считался с ним не больше, чем с котенком.

После праздника Гонсалес ненадолго уехал. Вернувшись, он рассказал, что опять встретил в пути человека, с которым однажды уже путешествовал вместе. Должно быть, дела регулярно приводят его в одни и те же места.

— Помните, тот, что рассказывал о красавице, которая всюду разыскивала пропавшего мужа?

— А его нашли? — спросила сеньора Гонсалес.

— Нет.

Гэри почудилось, что Гонсалес как-то особенно пристально смотрит на него. Он попытался спокойно и твердо взглянуть Гонсалесу в лицо. А тот сразу заговорил о собственных делах.

Когда Гэри вновь довелось побывать в городе, он зашел в свое привычное кафе и сразу заметил брошенные кем-то «Калифорнийские новости».

«Господи, во Вьетнаме мир! Они там все восстанавливают! Если эти вьетнамцы так же остервенело взялись за свои дамбы, города и гавани, как они дрались во время войны, то страна еще поднимется,— думал он.— И ради этого генерал приказывал отшвырнуть Вьетнам бомбами назад к каменному веку, ради этого мы пролили столько крови, оставили столько трупов! А мне это обошлось и того дороже. Хотя сейчас, здесь, мне совсем не так плохо». Быть может, он и спросил бы себя, во что же, кроме крови, обошлась ему война,— потому что известие о мире во Вьетнаме взбудоражило его больше, чем сообщение о якобы схваченном воздушном пирате,— но тут кто-то подсел к его столику.

Незнакомец был одет странно, но практично. Судя по всему, нездешний. Со своей короткой шеей этот и без того низкорослый человек казался вовсе приземистым.

— Извините,— сказал он.— Вы говорите по-английски?

Гэри пожал плечами. Тот продолжал на плохом испанском:

— Но вы, полагаю, умеете читать по-английски?

— Немного. Один раз в детстве был с родителями в Нью-Мексико.

Коротышка без обиняков начал расспрашивать, чем он занимается. Гэри почему-то было приятно, что он может говорить правду:

— Мой хозяин ранчеро — я служу управляющим и нахожусь здесь по его делам — владеет большой фермой племенного скота.

— Мое имя Гарри Голд,— сказал незнакомец.— Представляю тут одну американскую фирму. Мы поставляем проигрыватели, магнитофонные записи, радиоприемники и занимаемся всевозможным ремонтом. Может, это заинтересует вашего шефа?

— Боюсь, что нет. Он уже имел случай приобрести все необходимое.

— У меня новейшие модели. Скажу откровенно, в Венесуэле и здесь я сделал отличный бизнес. Чем дальше в глубь страны, тем больше люди склонны делать покупки. Как раз в маленьких городках и на фермах. Не говоря о скуке, разве не замечательно, что фермеру не нужно без конца мотаться верхом от одного стада к другому? Он просто диктует свои указания на пленку в соответствии с информацией управляющего. А потом эти указания проигрывают на пастбищах. Перестановки, увольнения — все на пленке. Говорю вам, голос — это сила. Один лишь человеческий голос. Прямо как волшебство.

Поэтому он, Голд, и решил побывать в городках и поселках вплоть до самого юга. Может, даже до Амазонки. Там, говорят, большая исправительная колония. А значит, наверняка есть и чиновники, и надзиратели, и охранники. Они скучают.

— Конечно, забраться так далеко в глубь страны дело нешуточное, я прекрасно понимаю, но все окупится. Как вы полагаете?

— Может быть, сеньор, однако я не располагаю таким опытом.

Они поставили друг другу по стаканчику.

Дома Гэри рассказал шефу о встрече. Дети тут же закричали, что им хочется и то, и другое из всех тех чудесных вещей, которые предлагает Гарри.

Но сам Гонсалес предпочитал ездить верхом от стада к стаду или посылать вместо себя Хосе Эрнандеса.

Упрямый коротышка неожиданно объявился, когда все уже о нем позабыли. Гонсалес купил какую-то мелочь, просто чтобы отвязаться. К его удивлению, Гарри Голд отвел его в сторонку: есть, мол, просьба особого свойства. Гэри спокойно ждал, зная, что нет повода осторожничать. Гонсалес вернулся смеясь:

— Он уговаривает отпустить вас месяца на три. Вам бы он очень хорошо заплатил. А я, мол, дам вам неоплаченный отпуск. Вы наверняка везде быстро сориентируетесь. Вы, дескать, человек ловкий. Он просит вас поехать с ним, потому что совсем не знает страну. Да вы скоро и вернетесь. Еще он, по-моему, боится, что вы потребуете проценты, а я бы на вашем месте именно так и сделал.

Гэри ненадолго, но напряженно задумался и сказал, словно бы неуверенно, что должен надо всем этим хорошенько поразмыслить. Он встретится с Гарри Голдом на следующей неделе в кафе.

С тех пор как Гонсалес, вернувшись из поездки, рассказал историю о красавице, необъяснимо и неожиданно оставленной мужем, и подступил к нему с вопросом, отчего бы это могло случиться, Гэри подумывал, не стоит ли под каким-нибудь предлогом расстаться с хо-

зяином. Правда, он не опасался, что тот его подозревает, но все-таки лучше было время от времени менять местожительство. А этот торговец предоставлял ему удобную возможность.

Наконец он сказал, что поедет без особого удовольствия, и не на месяцы, но надеется при этом подзаработать, а может, кое-что сделать и для Гонсалеса.

Дети цеплялись за Гэри, плакали при расставании. А он заверил Гонсалеса, что вернется самое позднее через три месяца. Рукопожатие в этих местах было все равно что подписанный контракт.

Гарри Голд был доволен. Рассматривая карту, он рисовал себе перспективу отменного бизнеса на юге страны. Гэри сказал, что всегда мечтал увидеть Амазонку, и повторил историю, которую Гарри Голд никогда не уставал с удовольствием слушать: город Манаус, расположенный на том же берегу далеко в Бразилии, процветал, в его оперном театре даже выступали солисты из Парижа, пока один английский мошенник не стащил саженцы каучука и не посадил их в собственных колониях,— после этого государство утратило каучуковую монополию, а Манаус — свой блеск.

— Уж мы-то сделаем тут бизнес,— говорил Голд.— Кстати, Эрнандес, у вас есть документы?

— Конечно.

— Обычно нашего брата не трогают. Тем не менее так будет лучше. И еще: вы могли бы сослаться на хозяина?

— Разумеется,— сказал Гэри. В его памяти всплыл Генри Максвелл: «Я дам тебе добрый совет, деньги потратишь не зря. Этот паспорт тебе еще пригодится».

«По дороге смотаюсь и поеду куда захочу»,— думал он.

Его частенько удивляло, до чего проворно двигался этот толстый коротышка, как быстро он приспосабливался, даже верхом ездил прилично. И все же вид у него был такой чудной, что, весьма возможно, кто-нибудь и науськает на него власти.

А Гарри Голд поражался, до чего здорово Эрнандес владел всевозможными наречиями, прямо-таки на лету схватывал выражения, интонацию и даже всякие особенные словечки.

В Сан-Хосе Гарри Голд еще раз сходил на почту. Вернулся он с письмами, со старыми газетами и жадно на них набросился. Многое он громко зачитывал вслух себе и — в корявом переводе — своему спутнику.

— Они там восстанавливают мост Лонг-Бьен, под Ханоем. По-моему, мы дали заем. Вьетнамцы, конечно, назовут это компенсацией. Штатам нечего бояться безработицы. Кончилась война в одном месте — начнется в каком-нибудь другом.

Гэри очень хотелось узнать побольше, но он счел за благо не задавать вопросов. Значит, все его друзья рисковали жизнью ни за что ни про что.

В один прекрасный день он потребовал проценты от операций, в которых посредничал и которые без него, собственно, и вовсе бы не осуществились. Голд надеялся, что Гэри удовольствуется жалованьем, но поскольку тот стоял на своем да к тому же твердил, что ему надо вовремя вернуться к Гонсалесу, Голд начал искать предлог отделаться от чересчур хитрого помощника. Он поражался, как строго люди в этой стране держат обещания, даже неписаные и, так сказать, не очень определенные.

Ему и самому, говорил Голд, выгодно сократить путешествие. Один из деловых друзей, дескать, посоветовал ему в письме вернуться

как можно скорее, поэтому он намерен через Боготу незамедлительно отправиться в Штаты, пусть Эрнандес только доставит его к ближайшему аэродрому.

Гэри с большим удовольствием воспринял отъезд Гарри Голда. «Его наверняка будут расспрашивать,— говорил он себе.— И он расскажет обо мне тоже. Тогда они подумают: нет ничего легче, как сцапать его на ранчо Гонсалеса. А я уеду в такие места, что им и невдомек. Почему бы не отправиться на Амазонку одному? Ведь сам же я сказал Гарри Голду, когда мы вместе смотрели карту, что меня всегда тянуло туда. Может, меня и в самом деле туда тянуло. По крайней мере, тянет сейчас». Во всяком случае там он избавится от груза прошлого — далекого и близкого.

От ближайшей пароходной пристани Гэри немного проехал на восток; когда городишки и поселки стали встречаться реже, а под конец совсем исчезли и лес безраздельно заполонил все вокруг, он добрался до миссии, которая ежемесячно посылала собственный самолет в Амазонию. Самолет забирал товары, а также тех, кого занесло сюда по делам службы, например, для проверки исправительных колоний. Все это и кое-что еще он узнал уже по дороге и пробормотал что-то невразумительное насчет цели своей поездки. Пусть думают, что он едет с ревизией. Гэри оставался по-прежнему молчаливым, вежливым, слегка озабоченным.

Вместе с Гэри летели два священника, и он подумал, что не зря научился у Гонсалесов обхождению с людьми такого рода. Они были разговорчивы, веселы, очевидно, в полном согласии друг с другом — насчет чего, Гэри не понял. На их вопрос, будут ли они вместе делать пересадку, он заявил, что ему надо в Сан-Кристобаль. Священники слегка удивились, но расспросы прекратили и оставили его в покое.

На аэродроме — он, вероятно, тоже принадлежал миссии — священники остались ждать другого самолета. Проезжая дорога вела в прибрежный поселок. Доставленные миссионерским самолетом товары забрал грузовик. Гэри вскочил в машину. Через несколько часов он очутился в поселке, где, к его удивлению, было весьма оживленно.

Магазины, сутолока, гам... «Я уже недалеко от Амазонки»,— думал он. Правда, он только временами видел, как что-то поблескивает меж складов на набережной, но знал — это и есть великая река, и чувствовал себя легко и свободно.

И вдруг он застыл как вкопанный. Внимание его сразу напряглось до предела. На одной из погрузочных площадок перед сходнями, по которым пыхтя сновали грузчики, стояло несколько военных постов. Даже не успев еще насладиться зрелищем вольного речного потока, он сообразил, где находится. На ближних караульных помещениях справа и слева от сходней развевались колумбийские флаги. Затем шла промежуточная полоса, где быстрыми шагами взад-вперед расхаживали полицейские. За нейтральной полосой виднелся еще один внушительный ряд пограничных постов. Отсюда можно было разглядеть флаги Бразилии. Вероятно, там у них были свои собственные, бразильские сходни.

И вот уже к нему подошел часовой. Гэри предъявил свои колумбийские документы. Тот не нашел к чему придраться и только предостерег: на сходни не выходить, для этого нужно специальное разрешение. И для нейтральной полосы тоже. Гэри простодушно сказал:

— Я был тут с одним торговцем. Собираюсь обратно к себе на ранчо.

Часовой повторил предупреждение держаться подальше от нейтральной полосы. Гэри кивнул и двинулся назад. А в памяти снова, как живой, встал друг, которому он обязан был документами. И его взгляд, странный, будто косящий, но проницательный взгляд, проникающий в душу Гэри, в самые ее потаенные закоулки.

Гэри отошел от запретного участка берега и, бесцельно блуждая, вскоре машинально свернул с проезжей дороги на тропу: ее, видно, протоптали многие сотни человеческих ног и копыта животных. Тропа привела его в поселок — несколько бараков и хижин да пивная. Гэри немного выпил и спросил больше себя самого, чем других: «А теперь куда?» Другие это лучше знали и подсказали ему, куда можно отсюда податься.

Он зашагал на северо-восток по дороге, по которой ему советовали идти. В подлеске дорога затерялась. Он наткнулся на следы развалившихся поселений, покинутых и уже заросших джунглями ранчо. Запоминал приметы на случай, если надумает вернуться. Провизии у него было в обрез.

«Где-нибудь передохну сколько захочу»,— думал он, но пока что отдыхать не хотелось. Словно двигался он не своей, а чужой силой, снимавшей усталость.

Он страстно тянулся к джунглям, и джунгли властно затягивали его. Временами то одно, то другое напоминало ему Вьетнам. Вьетнамские джунгли. Напоминало не полеты над ними, а то, как приходилось сквозь них продираться. Гэри мысленно обращался к своему другу Генри, ожившему в его памяти с той минуты, как часовой спросил у него паспорт: «Смотри, помнишь, так это было? Или по-другому?»— и даже думал: «Уж не потому ли он меня сюда и услал?» Потом Гэри успокоился, так как внезапно все стало иным. По-иному кричали птицы, и иными были сплетения лиан. Теперь, пожалуй, скоро понадобится мачете — и он повернул назад. Снова набрел на совсем затонувшие в джунглях, едва различимые остатки какого-то поселения, удивленно обошел вокруг и, обнаружив свежую тропинку, вышел на раскорчеванный участок. Точно посередине возвышалась похожая на куб ферма, несмотря на уединенность, тщательно обнесенная забором.

Залаяли собаки, вышли дети и уставились на него разинув рты. Открыл ему пожилой мужчина, как вскоре выяснилось, глава семьи. Супруги помоложе — родители детворы — казались старообразными и измученными. Ему принесли еду и питье, но ночлега не предложили. Все смотрели на него как на незваного гостя, хотя неясно было, чем он мог им помешать. С чувством неловкости Гэри замечал, как они следили за каждым его движением. Был еще день, но он прилег в углу, где, вероятно, спали ребятишки, и мгновенно уснул. Сквозь сон слышал, как что-то монотонно тикает — может, его сердце, а может, что-нибудь снаружи.

Старший из мужчин разбудил его и принес кофе. От платы они отказались, но при упоминании о деньгах стали приветливее. Ему объяснили, хотя он этим и не интересовался, как найти дорогу к реке. Если держаться к северо-востоку, то можно выйти к полуострову. Обитатели ранчо с самого начала предположили, что Гэри собирается туда, и добавили, что теперь, в сухое время года, это совсем не трудно.

— На полуострове есть поселок? — наобум спросил Гэри.

— Да, есть,— неопределенно ответил старик.— Они оттуда приезжают на лодке в сезон дождей.

— Зачем?

На него посмотрели недоверчиво:

— Для обмена. А то зачем же? За солью.

За деньги ему дали немного провизии, спичек и соли — соль, как он понял, ему пригодится.

У него снова была цель — неведомый полуостров. Без мачете пришлось туго. То и дело он падал от изнеможения и вновь вскакивал, точно подстегиваемый приказом. Ведь он привык как можно стремительней продвигаться к цели, которую ему поставили или которую избрал себе сам.

Гэри долго продирался сквозь джунгли и уже боялся, что не хватит провизии. Еще никогда он не видывал таких высоченных пальм. Запрокинув голову и скользнув взглядом по голому стволу до самой кроны, где висели гроздья плодов, он обнаружил странное, похожее на лестницу, сооружение, прикрепленное к наросту на стволе. Потом заметил человечка — тот карабкался по этой шаткой, сделанной из сучьев лестнице, перевесил ее на следующий нарост и полез выше.

В известном смысле Гэри приятно было наблюдать в этом уединенном месте за человеческой ловкостью, какой бы странной она ему ни казалась. Значит, он все же не совсем один. Он смотрел на аборигена, но тот глядел вверх, в крону дерева.

Неподалеку горел костер. Виднелось несколько хижин на сваях. Низкорослые, коричнево-черные жители приняли его без враждебности, потому что он был один и беззащитен.

Гэри подражал их почтительным движениям. Он решил подражать всему, что видел. Пригодилось умение копировать жесты и звуки.

Его пустили к костру. Никогда во Вьетнаме его не встречали столь чистосердечно. «Дикари,— думал он,— что тут, что там».

Он отоспался. Ходил с ними ловить рыбу, собирать плоды. Этим людям достаточно было жизни вокруг селения, на берегу полуострова. На первых порах Гэри тоже довольствовался этим. Вскоре он научился понимать многие выражения, и ему даже удавалось повторить их. Ведь в этом языке слов было немного.

Но вот танцы и музыку Гэри скопировать не мог. В честь чего их исполняли, он не понимал. Может, в честь удачной охоты, может, в честь вырезанного на столбе божества.

Как-то раз появилась группа незнакомых аборигенов, похожих на уроженцев селения. Их появление встретили радостно. Очевидно, встречи давно ждали.

Гэри почувствовал укол в сердце, заметив среди пришельцев одинокого белого. Он был высокого роста и светловолос. Что он здесь делает?

— Что вы здесь делаете? — с трудом подбирая испанские слова, спросил незнакомец, увидев Гэри.

«Человек из Штатов»,— подумал Гэри и ответил первое, что пришло в голову:

— Изучаю языки туземных племен.

— Какая счастливая случайность,— обрадовался незнакомец.— Я антрополог. Пишу об аборигенах Бразилии, Венесуэлы и Колумбии. Меня зовут Том Хилсом.

— Хосе Эрнандес,— представился Гэри и добавил: — Я колумбиец. Испанского происхождения.

Хилсом был явно рад встрече. Туземцы, по-видимому, знали его по прежним посещениям и считали человеком мудрым и добрым; и друг его наверняка тоже мудр и добр. Разве им придет в голову, что белые встретились случайно? Гэри был начеку и говорил себе: «Одно

дело просто столкнуться со мной и совсем другое — докопаться, кто я такой».

Хилсом сел рядом и поинтересовался, не знаком ли Хосе Эрнандес — имя он повторил точно, но по слогам, как человек, не привыкший к языку,— с его последней книгой.

— Я там сравниваю жизнь некоторых групп туземцев в отдельных странах с жизнью людей раннего каменного века в той мере, в какой он исследован и описан в научной литературе.— Хилсом улыбнулся и добавил: — Вероятно, большей частью неправильно

— Да, неправильно,— сказал Гэри, словно тоже размышлял об этом.

В дальнейшем они частенько сиживали вместе. Гэри не нужно было много говорить, потому что Хилсом рассказывал о своей работе. Объяснял разные племенные обычаи, культы и праздники.

Гэри большей частью лучше Хилсома знал смысл употребительных здесь слов. Хилсом удивлялся различиям в речи обоих племен, деливших полуостров. Здесь растения, животные и даже река назывались по-другому, словно находишься в какой-то дальней стране.

— Конкиста навязала целой части света свой язык,— говорил он.— А тут на крошечном полуострове соседние племена одну и ту же вещь обозначают по-разному. Отчего? Может быть, еще во времена Конкисты одна часть населения из осторожности отделилась от другой? — и продолжал думать вслух: — Потом преследования повторялись. Уже несколько поколений сменилось с тех пор, как в Бразилии стали собирать каучук, и в других странах сгоняли людей и принуждали их работать. Преследование рождает недоверие и изолирует.

Хилсом спокойно и открыто смотрел на Гэри, и секунду тот надеялся, что этого человека можно не опасаться — бывают ведь особенные профессии. Потом опять какое-то слово, какой-то оборот насторожили его: нет, никогда не надо ослаблять бдительности.

— Даже каждое туземное племя,— продолжал свою мысль Хилсом,— чтит собственные символы, считая их своим божеством.— И добавил: — Совсем, как мы.

— Почему это? — спросил Гэри.

— Иные до последней капли крови защищают символ своей страны, например, звездно-полосатый флаг.

Гэри внимательно слушал. Он был очень далек от мысли, что может принадлежать к числу защитников звездно-полосатого флага Речи Хилсома казались ему странными, но совершенно безобидными. В эту минуту он желал, чтобы Хилсом ничего против него не замышлял, и хотя по-прежнему оставался начеку, у него создалось впечатление, что этот человек ничем ему не опасен.

Как-то раз Хилсом что-то объяснял по-английски. Гэри кивнул, машинально вставил английское слово и, мгновенно сообразив, какую допустил оплошность, продолжил разговор по-испански.

Хилсом понял, что, какова бы ни была причина, его спутник не хочет говорить по-английски. Но от Гэри, жившего в постоянной настороженности, не укрылось, что Хилсом заметил оговорку. Поэтому он счел за благо с притворной откровенностью дать то же объяснение, каким отделался от Гарри Голда, когда тот застал его с английской газетой. Семья, дескать, несколько лет прожила в Штатах, и он даже ходил одно время в школу.

— Вам там нравилось? — спросил Хилсом.

— Мне? — Несмотря на всю осторожность, Гэри вдруг захотелось именно этому человеку, который — как он чувствовал или думал, что чувствует,— был здесь не для того, чтобы его преследовать, рассказать о своей жизни, и он продолжал: — Я мало знаю Штаты. А дома на ма-

леньком ранчо мне всегда жилось плохо. Приходилось надрываться с утра до ночи. Отец меня колотил, старший брат насмехался, а мать во всем признавала их правоту.

Хилсом задумчиво слушал. Гэри умолк и подумал: «Может, не следовало этого говорить? Но ведь молчание еще больше настораживает». Хотя Хилсом ни о чем не спрашивал, Гэри добавил:

— Я был сыт по горло и ушел в море.

В одну из следующих ночей на полуострове состоялся праздник, в нем участвовали оба племени, обыкновенно жившие строго раздельно. Хилсом зарисовывал танцы, записывал ритм барабанного боя. И Гэри сумел объяснить ему, что означали возгласы аборигенов, к кому относилась страстная благодарность, когда головы то касались земли, то откидывались назад. Праздник устроили в честь звезды, которая в эту ночь впервые появилась на небе.

— Одно небо, одна звезда, отсюда и общность,— сказал Хилсом. Он чуть ли не стыдился, что Гэри лучше него разбирается в созвездиях.

— С тех пор как плавал матросом,— объяснил Гэри,— я умею читать ночное небо.

— Тогда мне просто повезло, что вы удрали из дому.

Аборигены между тем разожгли костер и начали готовить пищу, однако снова и снова запрокидывали головы, торопясь удостовериться, что новая звезда не исчезла.

Гэри и Хилсом незаметно отдалились от праздничного круга. Средь ясной звездной ночи Гэри чувствовал, что Хилсом обернулся к нему лицом, и стал рассказывать:

— Из дому я бы так или иначе удрал. Брат мой — я вам говорил — был парень подлый. Младший братишка вроде котенка.— Он умолк, словно мысль о маленьком брате увела его куда-то далеко. Потом заговорил снова, по своей воле, потому что Хилсом ни о чем не спрашивал:— В море я отправился прежде всего, чтобы подработать. У меня была девушка в соседнем поселке, туда я изредка ездил на рынок. До чего ж она мне нравилась! Она была для меня единственным утешением, единственной радостью. Мы условились, что я наймусь на корабль. Вернусь, когда скоплю денег на свадьбу. Но все это продолжалось дольше, чем мы надеялись. Когда я вернулся, она уже была замужем за другим.

Хилсом отвернулся. «Вот, значит, что гнетет Эрнандеса все время»,— думал он.

После ночного празднества Гэри и Хилсома занимали разные вопросы. Они попытались установить, применяют ли туземцы лекарственные травы, которые собирают с таким трудом, в лечебных целях или дело тут в суевериях. Представилась возможность обучить племя начаткам земледелия — они показали, как делать борозды и сеять. Здесь все росло с фантастической быстротой.

— Как же долго мать дожидалась, пока что-нибудь наконец вырастало и можно было заваривать травы от кашля и от простуды, особенно для деда, ее отца,— рассказывал Гэри.— Да, он неожиданно явился к нам из дальней дали, потому что больше у него никого не было. Отец бранился: ему, мол, не нужны лишние рты, хлеба и без того не хватает. Но так или иначе старик уже был на ферме и не мог ни вернуться назад, ни уйти куда-нибудь еще. Мне было жаль его, и я подсовывал ему иной раз кое-что со своей тарелки, а он меня жалел, когда отец как бешеный накидывался на меня с кулаками.

Гэри замолчал, потом — хотя Хилсом ни о чем не спрашивал — снова заговорил, будто в мыслях нить и не обрывалась:

— Я был сыт по горло и ушел в море. На корабле изредка вспоминал старика, да... а когда моя девушка спуталась с другим, я все же поехал домой, только чтобы повидаться со стариком, и купил ему в подарок пачку сигарет. Но он уже помер. Сигареты я выкурил сам, пускал всем дым в лицо, никого не угощал. Даже младшего брата, который не был уже таким малышом,— а он надеялся, что я оставлю ему одну, хоть последнюю. Я этого не сделал. Понятно вам, что сейчас я об этом жалею?

— Еще бы,— отозвался Хилсом.

— Потом я уехал как можно дальше, где никто бы меня не нашел. В то время это было нетрудно.

Однажды, вскоре после этого разговора, Гэри проворно соорудил из москитной сетки нечто вроде палатки. Когда Хилсом стал восхищаться его ловкостью, он сказал:

— Во Вьетнаме и не тому научишься.— И тут же подумал: «Зачем я это говорю?»

Хилсом понял, что замечание вырвалось у Гэри непроизвольно, и не стал допытываться, но подумал: «Значит, вот что постоянно гнетет этого человека». Он сделал вид, будто ничего не произошло.

А в мозгу у Гэри опять заметались мысли: «Почему он ни о чем больше не спросил? Либо и без того знает обо мне все, либо не хочет расспрашивать».

«Черт меня дернул. Зачем я помянул Вьетнам? Небось у нас там давно вызнали, что с парашютом прыгал один из тех, кого муштровали во Вьетнаме».

В другой раз он подумал: «Я же не сказал ничего особенного. Не один же я торчал на этой войне. К тому же Хилсому спокойно можно кое-что рассказать».

Наконец сказал себе: «Нет, больше говорить нельзя. Облегчить душу — какая чушь!» Минуту, всего лишь одну минуту он был подавлен необходимостью молчать всю жизнь.

Словно по уговору, в последующие дни они мало друг с другом разговаривали. Оба терпеливо показывали туземцам, как надо раскорчевывать джунгли, делать борозды и сеять. Гэри высказал мысль, что разные слова возникают из движений, из непроизвольных выкриков. Объяснял, чем отличаются выражения «я» и «ты», «мне» и «тебе», как слова по-разному образовывались у разных племен, на рыбной ловле или при установке ловушек. Придумывал объяснения, хотя и не очень-то разбирался во всем этом.

Туземцы находили удовольствие в работе, в порядке, создаваемом собственным трудом. Но вот однажды Хилсом объявил, что ему ненадолго нужно отлучиться в ближний поселок, купить разные инструменты.

— А еще узнать, что делается в мире,— добавил он. Если там найдется испанская газета, Гэри сможет после его возвращения все точно ему перевести. Он рассчитывал отсутствовать недели две.

Гэри решил, что Хилсом собирается посетить похожую на куб ферму. Во сне он слыхал там какое-то тиканье. Вероятно, у хозяев фермы было радио. Хилсом взял в проводники двух туземцев, которые надеялись заодно выменять соли.

Поначалу одиночество угнетало Гэри, будто Хилсом придавал смысл его существованию. Первые дни возврат прежней пустоты был особенно мучителен. До сих пор эту пустоту заполняла другая человеческая жизнь, она оказывала влияние на него, а он, в свою очередь, воздействовал на нее. Временами он резко оборачивался, словно чувствовал взгляд Хилсома. Потом привык к своему состоянию и стал размышлять. Только теперь он понял, какую глупость совершил, упо-

мянув о Вьетнаме. Наверняка Хилсом, как и сам он, читал,— может, в той же газете,— что воздушный пират — судя по прыжку, он проходил выучку во Вьетнаме — арестован в Венесуэле, и, вероятно, тоже сказал себе, что подобную информацию распространяют, чтобы сбить с толку разыскиваемого. От такого наблюдения один шаг — и догадаешься о прошлом.

Сначала Гэри, как раньше Хилсом, заставлял туземцев раскорчевывать большой земельный участок, чтобы тот по возвращении порадовался. Но все упорней его преследовала одна мысль: «Он уехал не за инструментом. Известит полицию, на кого наткнулся в джунглях. Надо уходить!»

Он запасся продовольствием, проверил оружие и москитную сетку. Жители селения не обращали внимания на его приготовления.

Он подсчитал, как долго уже отсутствовал Хилсом, и покинул полуостров. Петляя, чтобы запутать следы, с привычной быстротой менял он дороги. Снова возникла глубокая уверенность, что удача не отступится от него, если он будет осуществлять свой план решительно и в одиночку.

В свайном поселке не заметили его ухода, потом люди стали говорить себе, что он где-то ловит рыбу либо собирает растения и рано или поздно вернется. Они не чувствовали бега времени. А потому искали Гэри не особенно старательно и под конец уверились, что белые возвратятся вместе.

В один прекрасный день вернулся Хилсом. Исчезновение Гэри до крайности его удивило, но, не сумев толком добиться, как давно тот ушел, Хилсом сначала ждал вместе с остальными. Он показал туземцам, как пользоваться новыми лопатами. Смеясь, в радостном возбуждении они повторяли за ним все движения. А тем временем, быть может, след Гэри уже зарос лианами.

Обнаружив, что Гэри взял с собой довольно много провизии, оружие и москитную сетку, Хилсом вспомнил их последние беседы. Была ли семья Гэри родом из Колумбии или нет, долго ли они жили в Штатах — над этим Хилсом особенно не ломал голову. Гэри наверняка выбит из колеи, да что там — потрясен пережитым во Вьетнаме и мечется в поисках забвения. Хилсом даже с болью подумал, уж не прогнал ли он человека, который звал себя Хосе Эрнандес, необдуманным словом. То, что Эрнандес пережил во Вьетнаме, явно въелось в него настолько глубоко, что он не мог вынести долгого общения с другими людьми. И все же Хилсом считал, что виноват в его внезапном исчезновении, сам не зная чем.

Между тем бегство совершенно вымотало Гэри. Но он был горд. Нет, он ничуть не утратил силы и ловкости. Однажды он отдыхал в сплетении рухнувших и вновь поднявшихся деревьев, в девственных зарослях. И вдруг вскочил, словно ощутив внезапно взгляд Хилсома. Наверно, тот его выслеживал и наконец отыскал. Постепенно Гэри успокоился. Поел и снова заснул, думая в полудреме: «Меня преследуют за грабеж, за пару мешков с долларами. От этого они не обеднели. А вот то, что творилось во Вьетнаме, считали честным. Небось ни словом не вспомнят города и мосты, которые я взорвал по их приказу. А этот Хилсом? Без звука проглотил, что я был во Вьетнаме, даже если кое о чем и подумал. Последнее дело с самолетом — его бы он мне не простил. И все-таки хорошо бы еще раз поговорить с ним. Только разве я когда-нибудь с ним разговаривал по-настоящему? Теперь поздно. Вероятно, он натравил на меня полицию».

Каждой клеточкой тела он чувствовал погоню. Опасность гнала его все глубже и глубже в джунгли. Он больше не считал дни. Впал в безвременье. Только изредка пугался, что скоро начнется сезон дождей.

Почти неожиданно для себя он вышел к реке. После густоты и мрака леса она показалась ему огромной. Меж сумрачных отражений лесистых берегов в легкой ряби струилась светлая полоса воды. Гэри поднял голову и убедился, что, как и прежде, надо всем этим поднимается купол небес. «Может быть, в этот поток впадает та река, которая омывает полуостров?» — подумал он и решил идти вдоль берега вверх по течению. Ведь скоро должен быть поселок. Он установил это по некоторым признакам. Там можно будет отдохнуть. Полуостров не представлял для него опасности: следы людей шли в противоположном направлении.

Спустя несколько часов он заметил на другом берегу стоянку, лагерь или что-то в этом роде. Закричал. Крики не достигли цели. Тогда, чтобы привлечь внимание, он разложил костер.

Наконец ему подали ответный знак. Выслали лодку, как он скоро увидел — старую весельную лодку с подвесным мотором.

Приехал за ним колумбийский паренек. Несмотря на страшнейшую усталость, Гэри поразился, до чего он красив. Чистосердечная, почти сияющая улыбка.

— Откуда это ты взялся? — спросил юноша, помогая Гэри перетащить в лодку вещи.

Гэри пробормотал что-то неопределенное, точно усталость мешала ему рассказать все как следует: дескать, потерял своих и заблудился, потом двинулся вверх по течению.

— Ты не первый, с кем такое приключилось, — сказал юноша. — Тебе еще повезло. Мы собираемся уезжать, может, уже завтра придет пароход нашей компании.

— Что за пароход? Какой компании?

Паренек рассказал, что пароход высадил их после сезона дождей и заберет до начала следующего. Они должны были рубить деревья, которые растут только здесь, с определенной текстурой и цветом. Пилорама уже разобрана, доски уложены в штабеля. Все это вместе с рабочими повезут к другой стоянке, а оттуда рукой подать до следующей. Там, возле последней стоянки, расположен аэродром.

Гэри слушал с удовольствием, хотя едва-едва понимал его наречие. Он размышлял, кого напоминает этот юноша, называвший себя Эстебан. Они были совсем близко от берега, когда он вспомнил. Сходство, правда, небольшое, но все-таки было с сыном ранчеро Гонсалеса, у которого Гэри работал управляющим, еще до отъезда с коротышкой американцем. Обещание вернуться он не сдержал. Уже давая его, знал, что не выполнит. И сын Гонсалеса, помоложе этого паренька, плакал, будто догадывался, что они расстаются навсегда.

На душе у Гэри было почти так, словно он все же сдержал слово и возвращается: чему же еще радовался этот мальчик с сияющей улыбкой? А Эстебан воскликнул:

— Какая удача, что ты встретил нас!

Гэри кивнул. Он снова поверил, что удача сопутствует ему.

На берегу столпился народ. Вероятно, люди надеялись — хоть надеяться было бессмысленно, — что Гэри принесет им какие-нибудь известия; ведь они давно остановили работу и приготовились к отъезду. Юноша рассказал — на наречии, которое Гэри понимал плохо, — как этот человек сюда попал. Спокойный и радостный, он, видно, присочинил кое-что, похожее на правду. Однако люди были разочарова-

ны. Некоторых охватило отчаяние. Они боялись, что их бросят на произвол судьбы. Кое-кто, правда, рассуждал:

— Ну что вы, компании нужна древесина. Ей, может, и наплевать на то, что утонут люди, если река выйдет из берегов, но дерево ей надо сохранить сухим.

Что до Гэри, то он был согласен, чтобы ожидание тянулось бесконечно, просто как поток времени, без всякой цели. С обществом деревообделочников и лесорубов он быстро освоился. Но люди косились на него, будто он принес дурную весть, потому что не принес доброй. Один только парнишка был неизменно дружелюбен и спокоен, приносил еду — у них еще оставался некоторый запас,— иногда прислонялся к его плечу; он не был заражен болезненным ожиданием. Остальные сидели молча и недвижимо, напряженно прислушиваясь, пока снова не впадали в ярость, считая себя брошенными богом и деревообрабатывающей компанией. Наконец издалека — и все же его нельзя было спутать ни с чем — донесся гудок. Отозвалось все, что жило в лесу. Люди в спешке тащили к берегу штабеля древесины, инструмент, пожитки, как будто можно было опоздать на пароход. Потом они принесли к пристани на сколоченных наспех носилках троих или четверых пострадавших на работах. Люди сделались общительными. А гудок все подгонял их. Гэри объяснили, что никто не заметит, если он поднимется на борт вместе со всеми. Дали ему бумаги одного из погибших рабочих. С этими документами, сказали ему, можно даже получить заработок покойного.

Гудок раздражал Гэри, но куда деваться, когда река вздуется и берега на многие километры скроются под водой? Его сердце не заходилось от радости, когда появилось судно. Это был старый пароход с тремя буксирами. Пока еще тут как раз можно было причалить, позже река до самого устья будет судоходна только для туземных каноэ.

Гэри убедился, что все происходит так, как ему говорили. Уполномоченный компании в лицо не знал никого, кроме представителя администрации. На борт пускали по списку, и Гэри случайно оказался рядом с Эстебаном. Он счел это добрым знаком. Юноша оглянулся на него со своей прелестной улыбкой, словно и он был доволен.

Людям казалось, что погрузка продвигается чересчур медленно, а для Гэри все прошло скоро и гладко.

Лес остался позади. Уже слышались названия поселков, лежавших вдали от берега среди холмов. На первой стоянке — она не годилась для больших пароходов, а использовалась только для местных рейсов — Эстебан подошел к Гэри, что-то сказал и обнял его. Прежде чем Гэри сообразил, что Эстебан собирается здесь сойти и пешком добираться до родного поселка, тот еще раз, опечаленный разлукой, но уже радуясь встрече со своими, оглянулся на пароход, помахал с берега и исчез меж холмов.

Следующие несколько часов Гэри чувствовал себя особенно одиноко, то было новое, непривычное одиночество. «Разве не так же было у меня на душе, когда Хилсом покинул полуостров? — размышлял он.— Почему он ушел? Куда? Зачем? Теперь он, наверно, уже давно вернулся. Если он натравил на меня ищеек, я вовремя смотался. Но у Эстебана уж точно не было задних мыслей, у него — нет. Мы даже поговорить толком не могли. К счастью. А вот Хилсом? Точно ли он держал камень за пазухой? Надеюсь, что нет».

Вскоре после этого один из попутчиков поинтересовался, отчего Гэри не сошел вместе с Эстебаном.

— Почему это я должен был с ним сойти? — удивился тот.

— Я думал, вы из одной семьи, потому что он привез тебя на лодке и на стоянке без устали о тебе заботился.

— Вы же сами послали его на лодке забрать меня,— сказал Гэри.— Помнишь?

— Я лично уже тогда думал, что он твой младший брат или еще какой-нибудь родственник. Мы все устали как собаки, а он сразу согласился за тобой съездить.

Гэри с удовлетворением обнаружил, что сжился с этой группой людей, а значит, и со всем народом этой страны. Иначе разве сочли бы Эстебана его младшим братом?

За время плавания все повеселели, стали непринужденнее, и ему было легче, чем раньше, разговаривать с ними. По примеру многих он решил сойти на стоянке, которая прочной дорогой, ведущей в глубь страны, соединялась с местечком, где расположилась администрация компании.

Местечко оказалось городком, а на окраине находилось довольно крупное предприятие. Заработки выплатили еще на судне. И Гэри, подобно остальным, захотелось вкусить радостей жизни. Никого не удивило, что он принарядился, заглядывал то в одну, то в другую таверну или в магазины, большей частью принадлежащие компании. Тут хватало молодых хорошеньких девушек, ему не пришлось долго искать. Одна из них — она еще не привыкла к своей профессии, и ее взгляд оставался робким, когда она произносила традиционную фразу,— подошла к Гэри. Быть может, этот мужчина показался ей менее грубым, чем другие. Она привела его в таверну. Звали ее Луиса. Гэри она очень понравилась, и он остался с ней в этом полугородском, полудеревенском поселке. Луиса никогда не удивлялась и не задавала вопросов. Ей казалось, в этом человеке она нашла свое счастье, а он тоже ни о чем не спрашивал, был молчалив и тратил деньги с готовностью, хотя и не безудержно.

Люди, работавшие на деревообрабатывающую компанию, устроились тем временем на фабрику или в другие места. Лишь один из них как-то случайно встретил Гэри с Луисой и, смеясь, сказал:

— Хорошо, что тебя вставили в список вместо покойного бедняги Альберто.

Гэри не хотел, чтобы ему об этом напоминали. По паспорту его звали Хосе Эрнандес, тут все было в порядке, и этого было совершенно достаточно. Он подумал, что самое лучшее для него — вернуться как можно скорее на стоянку, подняться вверх по течению до аэродрома, а оттуда двинуться в Кларо Орисонте. Когда-то давно он перевел туда деньги и собирался забрать их из банка, чтобы спокойно где-нибудь осесть. Пусть даже они и напали тогда на его след,— если сообщение ранчеро Гонсалеса касалось его самого, а не другого человека и не другой покинутой женщины, ведь в конце концов покинутых женщин немало,— но в Кларо Орисонте деньги ему так или иначе выплатят без помех.

Начался сезон дождей, по нескольку часов приходилось каждый день проводить в тавернах и кафе. Когда он внезапно объявил Луисе, что собирается уехать, она настолько растерялась, что после краткого раздумья он спросил, не хочет ли она проводить его до Кларо Орисонте. Она была ему безразлична, но его устраивало, чтобы эта простодушная девушка осталась с ним еще немного, ибо дело его теперь ожидало щекотливое. Она с радостью согласилась. Еще никогда ей не доводилось летать на самолете. Гэри был доволен, что от волнения она ни о чем не спросила.

А когда сразу после приезда Гэри купил ей несколько платьев и туфли, она просто замерла в радостном испуге. Таких вещей у нее в

жизни не было, она даже не предполагала, что существует что-нибудь подобное. Как убедился Гэри, она очень быстро переняла у горожанок манеру одеваться и держать себя. Первое время они жили в гостинице средней руки. «Чего я еще жду?» — думал Гэри. В банк он отправился с таким чувством, словно прыгал в море или в пропасть.

Деньги выплатили без помех. Он рискнул даже представиться директору банка и навел у него некоторые справки.

Теперь он знал — по следу денег они не пошли. «Уж я бы не упустил такого случая,— думал он.— Дружище Генри Максвелл, ты дал мне хороший совет. На войне во Вьетнаме я приобрел настоящего друга».

Луиса тем временем привыкла к необычности городской жизни. Из посредственной гостиницы они перебрались в хорошую. После визита в банк Гэри подумал: «По-настоящему я буду спокоен, только когда совсем перестану ждать. Чего? Полиции? А если она не появится, чего я тогда жду?»

За обедом в ресторане он разговорился с посетителями за соседним столиком. Это были торговцы драгоценными камнями, остановившиеся здесь проездом в изумрудоносный район. Один — широкий, грузный, с черными, будто лакированными усами. Другой — маленький, подвижной. Называли они друг друга дон Эрнесто и дон Альфредо. На первый взгляд трудно было определить, кто из них кем командует. Грузный разглагольствовал, уговаривая Гэри ехать с ними. У них есть связи, и Гэри мог бы очень быстро утроить свой капитал.

Гэри заинтересовался ведением подобных дел. Тот, что с усами, подробно рассказал об их связях и рекомендациях. Другой не перебивал, разглядывал Гэри — чересчур пристально, как тому казалось,— и неожиданно заметил:

— Я уже где-то вас видел!

Вихрь мыслей взметнулся на секунду в мозгу у Гэри: «Все-таки выследили? Может, кто-нибудь из ищеек был на борту парохода? Я не очень-то обращал внимание на каждого. Если за мной охотятся с тех пор, то они еще раньше узнали, куда я отправился с полуострова. Тогда, значит, все же Хилсом навел их на меня. Но я не хочу, чтобы это был Хилсом. Нет, только не он».

Маленький подвижной торговец сказал:

— Вспомнил. Несколько дней назад здесь в городе. В банке.

«Не поеду я с ними в изумрудный район. Поеду на запад. В горы. Найду себе там местечко с пастбищами и скотом. В этом я кое-как разбираюсь»,— думал Гэри.

Луисе он объявил:

— Завтра я должен уехать.— Она неподвижно смотрела на него.— Я тебя спрашивал, Луиса, хочешь ли ты проводить меня до Кларо Ориконте.— Она была так расстроена, что он добавил: — Здесь у тебя хорошие перспективы. У тебя есть приданое, сама ты такого никогда бы не приобрела. За гостиницу уплачено на месяц вперед. Вот еще деньги на питание до конца месяца.

Голос его был спокоен, и она поняла, что отговаривать бессмысленно. «С Луисой все идет гладко, в открытую, а не тайком, как тогда с Элисой»,— подумал он.

Во время последнего обеда он сообщил торговцам, что срочное известие вынуждает его уехать.

— В Боготу?

— Нет-нет, на запад.

— В Ибаге? В Манисалес?

Вопросы помогли ему определить некоторые возможности. Луиса

так же недвижно слушала. Ей он не сказал о причинах своего внезапного отъезда.

Ему посчастливилось начать сначала. Перед ним открывалась вторая жизнь, к которой издавна безуспешно стремятся многие. Теперь ни одна нить не связывала его с прошлым. Его явно никто не преследовал, однако он по-прежнему был начеку. Из почти невозможных возможностей особенно досаждала ему мысль о преследовании со стороны Хилсома. Но и она отходила на задний план. Будущее всецело зависело от него самого.

Выйдя из самолета на последней остановке, он подошел к карте прибитой к дощатой стене больше для украшения, чем для пользования, раздумывая над дальнейшей своей дорогой. Города его не привлекали. Только реки, чтобы добраться до Сьерры. Он слышал, что пастбища есть в окрестностях местечка Санта-Хосефа в западной части плато, уже рядом со склонами Сьерры. На карте нашел остановку у реки, рождавшейся далеко в горах и где-то далеко впадавшей в реку Магдалену. Однако он, Гэри, повернется спиной к землям, по которым течет эта река. Ему не хочется снова увидеть реку Магдалену. Спокойно и в безопасности заживет он где-нибудь на большом горном плато.

На пути к цели ему встречались разные трудности, но они доставляли ему удовольствие. Из разговоров он тем временем узнал, что от последней пароходной пристани — выше по течению река была несудоходна из-за водоворотов и водопадов — в Санта-Хосефу ходил поезд. Уединенные ранчо да бедные деревушки, больше на извилистой дороге у горного склона не на что было рассчитывать.

Он сел в товарный поезд, который раз в два месяца пересекал страну вплоть до самых гор, а оттуда возвращался с новыми товарами. Иногда привозил даже скот определенной породы. Помимо погонщиков, носильщиков и груза, товарняк прихватывал и нескольких пассажиров, они либо высаживались по дороге, либо направлялись поездом до конца маршрута. Сидели и спали с грехом пополам, еду доставали на остановках.

Несмотря на усталость от беспрерывной тряски Гэри нравилось ехать по гористым местам. Крутые склоны, резкие повороты. Попутчики без конца толковали о своих планах, о торговле рисом, кофе, хлопком, древесиной, медью, полудрагоценными камнями, а также скотом. На их расспросы Гэри неопределенно отвечал, что ему надо попасть на одно ранчо за Санта-Хосефой. Гуртоправы рассказали, что заберут на плато Лас Пинас какой-то особый скот и повезут его, главным образом пароходом, в глубь страны к крупному ранчеро, который очень интересуется разведением именно этой породы.

Низкорослый, жилистый и цепкий человек с дубленым желтым лицом вез огромный мешок. Когда он в нем рылся, Гэри разглядел, что внутри были странные, совсем разные вещи: ручные мельницы, решета и прочая утварь, которую продают в крупных магазинах, а в Санта-Хосефе ее, по-видимому, не купишь. Кто-то из пассажиров спросил у обладателя мешка, что у них там слышно новенького. Из разговора Гэри понял, что жилистый человек — отец семейства из селения, расположенного на плато в тех самых горах, которые с бесконечной медлительностью то появлялись, то вновь исчезали, как сон, и вот, наконец, выросли впереди, прочные, могучие и совершенно реальные.

Однажды вечером поезд прибыл в городок Санта-Хосефа. Снежные пики еще блистали в солнечных лучах. Гэри не мог оторвать глаз от рвущейся к солнцу, упрямо сверкающей вершины — залога несокрушимой надежности. Потом он уснул на постоялом дворе на койке,

показавшейся ему прочной и удобной, потому что тут не было беспрерывной тряски.

Утром он пил кофе почти умиротворенно. Рассказал хозяину о последнем отрезке пути, о попутчиках, о низкорослом человеке с огромным мешком. Хозяин его знал:

— Он каждый год делает закупки — для своей семьи и для соседей.

Постоялый двор стоял у дороги, это была последняя остановка почти для всех товарняков. За поселком дорога разветвлялась на несколько выбитых множеством ног тропинок, которые вели в маленькие селения и к уединенным ранчо.

Гэри узнал, что самое дальнее ранчо, до которого отсюда можно добраться — по имени владельца оно называлось Батиста Гомес,— расположено было глубже и выше в горах, чем Санта-Хосефа.

Он заинтересовался, сколько времени потребуется на дорогу до этого ранчо. Размышлял о ранчо и его обитателях. Быть может, они люди приветливые. Может, хозяин столь же великодушен, как Гонсалес, у которого он некогда работал управляющим. Его оценят по достоинству и будут уважать. Примут на холодное время года.

Когда он высказал такое предположение, хозяин постоялого двора рассмеялся:

— Что вы, с этим лучше не связываться. Продувная бестия. Попадешь на ранчо — семь шкур спустит. Черт его знает, почему он мучает себя и других. Ни жены, ни детей нету. Вот человек с мешком — тот живет на плато Лас Пинас. Там и пастбища, и скот как нигде. Вот где можно найти свое счастье, были бы деньжонки!

«Я бы мог кое-что вложить, опыт есть. А там можно и осесть в этих местах»,— думал Гэри, потом спросил, как ему пройти через горы.

— В ясную погоду,— рассказывал хозяин,— отсюда видать вершины повыше наших. Между этими двумя горными цепями лежит плато. Там есть даже частный аэродром, он полностью принадлежит компании, добывающей медь между вторым и третьим хребтом. Я, правда, ни разу не слыхал, чтобы они брали пассажиров, разве что кого-нибудь с совсем уж огромными связями. Если хотите попасть на Лас Пинас, вам сначала надо прямо вот здесь взобраться по склону, ночью вы там увидите пастуший костер, потом выйдете к удобному перевалу, он-то и приведет вас на плато. Держитесь к югу, потому что северо-восточнее склон круто обрывается в долину, где обосновался этот самый Гомес. Но он не жалуется на нехватку солнца: с другой стороны горы спускаются полого, там у него сад, а скот пасется на нашей стороне. Он никому не позволяет ходить через свое ранчо к перевалу по отлогому месту.

Гэри молчал, обдумывая полученные сведения.

Он закупил все необходимое, в том числе четырехдневный запас продуктов, чтобы не попасть сразу в зависимость от гостеприимства обитателей Лас Пинас. В лавке он столкнулся с начальником поезда. Тот ничуть не удивился: Гэри ведь говорил насчет поездки на ранчо поблизости от Санта-Хосефы. На вопрос Гэри он рассказал, что семья его живет в Боготе, а сам он трижды по шесть недель ездит по маршруту туда и обратно, а потом проводит месяц дома. В поезде его взгляд казался Гэри пристально-высматривающим, теперь же он был спокоен и невозмутим. «Хорошо ему,— думал Гэри.— В отпуске дома». Ему вспомнилась красивая женщина, от которой он бежал сломя голову. С нею было бы хорошо. Она бы ему обрадовалась.

Весь постоялый двор — и особенно хозяин — одобрил его реше-

ние, надеясь, что в течение года он как-нибудь спустится вниз и расскажет, как все обернулось.

На прощанье трактирщик еще раз отвел Гэри в сторонку:

— Как же это вы сперва надумали к Гомесу? Передать что-нибудь надо? Не суйтесь вы туда, только в передрягу попадете.

— Ладно,— сказал Гэри,— передавать мне ему нечего. Сами знаете, чего только люди не болтают сутками в таких поездах. Кто-то упомянул и его имя.

Ночью на горном склоне вспыхнул костер. Он как магнит притягивал Гэри. На следующий вечер он туда отправился. Вышел рано утром, но подъем длился дольше, чем он предполагал. Сидящие у костра с любопытством поглядели на него и пригласили присесть. Он ел, курил и пытался поддерживать разговор, хотя с трудом понимал их речь. Пастухи собрали скот из редких окрестных поселков и пригнали сюда, попастись на горных лугах.

Двое пастухов работали на ранчо Батисты Гомеса — отец и сын. Тощий, скупой на движения старик и подвижной, как пружина, молодой парень.

Тут, говорили они, на склоне трава уж очень сочная. Они все сходятся сюда ночью. Смеясь, пастухи сказали, что хозяин большого ранчо не больно-то жалует эти сборища. Его пастухам велено держаться поодаль и скоту тоже, словно от чужой скотины можно подцепить чесотку.

Еще раз ему точно описали дорогу до нужного прохода в горах. Гэри спросил, есть ли селения по ту сторону второго хребта, и услышал, что там — а в Санта-Хосефе это «там» представлялось ему краем света — лежало еще одно плато, на котором было несколько деревень, за ним — следующий хребет, дальше — большой рудник, а оттуда, если повезет и хватит сил, рукой подать до побережья. Хозяин постоялого двора в Санта-Хосефе ничего об этом не говорил.

— Правда, никто из здешних не заходил так далеко. Раз только забрел сюда мимоходом какой-то человек с побережья.

«Если мне удастся поселиться на этом плато,— думал Гэри,— то идти на побережье не понадобится. Кто меня станет искать там наверху? Даже если Хилсом и направил их по моему следу — впрочем, нет, он такого не сделает».

Ему показали, как и какими камнями высекать искры и разжигать костер вроде того, что привлек его из Санта-Хосефы. Пастухи поплотнее запахнули плащи, готовясь к ночлегу. Спали они так же обстоятельно, как раньше наперебой говорили или пытались объясниться. Гэри спал спокойно, как ребенок.

К следующей ночи он забрался так высоко, что огонь пастушьего костра мерцал уже далеко внизу. Из пещеры, которую выбрал для ночлега, он видел огни Санта-Хосефы. Теперь он четко различал на западе за хребтом, поразившим его, две еще более высокие горные цепи. Их ледяные пики горели в прощальных отблесках невидимого ему солнца. Гэри ощутил удовлетворение, словно приобщился к бескрайности мира. Он заполз в спальный мешок, достал сигарету, и снова на ум пришел Генри. Вне связи с паспортом. Он вспомнил, как Генри высмеял его, когда он взял из опустевшей пачки последнюю сигарету и выкурил ее сам.

Заснул он в одну секунду.

Чтобы вновь двинуться в путь, ему пришлось сделать над собой усилие. Как легок стал воздух! Воздух для полета, а не для подъема! Изнеможение охватывало его через каждые несколько шагов. Он бы затосковал по жаркой, душной равнине, если б не был здесь, среди ущелий, в полной безопасности. На какой-то миг он уди-

вился, что до сих пор не вышел к перевалу. Однако для него дело было не в часах, да, в сущности, уже и не в днях

Гэри прилег и пожевал сухарь, первый попавшийся под руку. Он впал в полудрему, но все же оставался достаточно бодрым, чтобы поразмыслить о том о сем,— вялые мысли, не побуждавшие сделать следующий шаг. Он только чувствовал какое-то смятение, даже подавленность, наконец. Но из-за чего? Ничто ему не грозило. Даже мысль о том человеке — его спутнике на полуострове,— который внезапно, без всякого повода, может, и с дурными намерениями бросил его, даже эта мысль стала ненужной. С трудом подняв голову, он увидел два сияющих ледяных пика. Они относились уже к следующему массиву, по другую сторону того плато, куда он стремился. Стремился без принуждения, без приказа, просто чтобы спокойно жить дальше. Место, где он лежал, поросло кустарником, поднимавшимся из каменистой расселины, в которой скопилось чуточку земли. Гэри успел еще заметить, как тут и там гаснут последние алые блики солнечного света.

Угрюм и сер стал каменный мир вокруг него. Когда он напрягался и далеко запрокидывал голову, звезды не дарили утешения. Невзирая на страшную усталость, ему было не до сна — так он был подавлен. Какая-то незнакомая боль возникла внутри. Он не понимал, чем она вызвана,— ведь тело его не было повреждено. В воспоминаниях перед ним бесконечной чередой шли измученные, опаленные лица и таяли, словно лед в огне.

Осязаемо близкое лицо мальчика, который подобрал его на лодке, и заботился о нем, и возвращался вместе с ним, а после вдруг сошел с парохода и исчез в глубине страны на пути к своим. Потом, словно отделились один от другого склеенные листы, он увидел лицо другого мальчика, сына ранчеро, того самого, который при расставании почувствовал, что Гэри не сдержит обещания. Все это не имело никакого отношения к тому, от чего он не мог здесь, сейчас, освободиться.

Наконец, перед ним совершенно отчетливо встало лицо братишки, в его взгляде теплилась надежда, что Гэри даст ему хотя бы последнюю сигарету из пачки, предназначавшейся деду. Всей душой Гэри ощутил разочарование мальчика, когда старший брат недобрым, якобы приглашающим жестом достал сигарету, потом все-таки снова спрятал ее в пачку, а пачку в карман.

«Зачем я это сделал?» — думал Гэри.

Он съежился, ему было холодно Когда ледяное солнце вгрызлось в тело, он попытался, превозмогая усталость, чем-нибудь согреть желудок. Открыл банку консервов.

Он разложил костер, машинально соблюдая осторожность, чтобы никто его не заметил. Поел, потом увязал мешок и двинулся в путь. Склон тут был почти голый, только местами рос колючий кустарник. Ему вдруг пришло в голову, что он сбился с дороги и не найдет перевала. Кусты исцарапали лицо — ему не раздвинуть их. Еще достало сил протиснуться ползком.

Падая, он не сумел найти опору, лишь одна мысль пронеслась в мозгу. «Черт возьми, парашют не раскрывается».

На ранчо Батисты Гомеса заметили, как стая стервятников взлетела, уверенно покружилась над чем-то и приземлилась. То место находилось за пределами ранчо, не слишком далеко, в тени скального обрыва. Люди немедленно отправились туда. Не первый и не послед-

ний раз срывался в пропасть неопытный пастушонок или какое либо животное из стада.

То, что осталось от мертвеца, принесли на ранчо. Хозяин — человек жесткий и решительный — ощупал крепкий, почти совсем целый поясной ремень погибшего. Изнутри к нему был пришит кошелек; там было немного денег и паспорт на имя Хосе Эрнандеса. Негромким, но угрожающим голосом ранчеро приказал выложить деньги, так как у погибшего, несомненно, было при себе значительно больше. Люди знали, что хозяин церемониться не будет, и не моргнув глазом выложили на стол все, что припрятали. Хозяин забрал деньги, а паспорт сохранил на случай, если власти вздумают заинтересоваться этим делом. Но никакие власти так и не появились.

Время от времени, как можно реже и ненадолго, Гомес ездил верхом в Санта-Хосефу, на рынок и в церковь. Однажды он зашел на постоялый двор выпить вина, и хозяин спросил, добрался ли до него человек, который наводил тут о нем в прошлом году справки.

— Обо мне? Почему? — удивился ранчеро.— Кто его знает. Мне лично ничего не известно.

Хилсом еще долго продолжал свои исследования. Потом вернулся в Штаты, прочитал там несколько лекций. А затем принялся записывать увиденное, пользуясь собственными блокнотами, где мельчайшим почерком были зафиксированы важнейшие его наблюдения.

По кратким тезисам он дошел до визита дружественного соседнего племени в свайный поселок на полуострове, куда можно было попасть лишь в сухое время года. Подробно описал празднества по случаю визита и остановился, подыскивая слова, чтобы выразить свое удивление, когда обнаружил среди туземцев чужого. В записной книжке стояло: «Колумбиец? Почему здесь?»

Хилсом заводил в путешествиях такие диковинные знакомства, видел столько самых разных людей, что иной раз забывал на некоторое время то одного, то другого. Теперь, растревожив воспоминания, он вдруг ясно увидел перед собой незнакомца, словно тот находился здесь, в комнате. Ему почудилось даже, будто незнакомец — он называл себя Хосе Эрнандес — присутствовал тут постоянно, был свидетелем всех остальных событий, какие сопутствуют труду и дружбе. Хилсом мог бы повторить их беседы, объяснения, которыми был обязан этому человеку, утверждавшему, что он, как и Хилсом, прибыл на полуостров с профессиональными целями.

Теперь Хилсом разглядел поставленные собственной рукой крошечные вопросительные знаки после слов «Почему здесь?». «Значит, и первое впечатление внушало сомнения,— мысленно продолжал Хилсом.— Пока я был в отлучке, он бесследно исчез. Отчего?» Он раздумывал сейчас, как раздумывал тогда. И странное дело, память, вместо того чтобы со временем поблекнуть, проникала в прошлое все острее и глубже. Только теперь он вспомнил подробности их бесед. Слышал даже интонацию слов, произнесенных собеседником — полунехотя, полунепроизвольно, нередко слова сопровождались таким взглядом, словно тому хотелось забрать их назад. Воспоминания убеждали Хилсома, что этот дарованный непредвиденным случаем спутник хотел что-то утаить.

«Он хотел быть один,— подумал Хилсом.— Что ж, пусть».

Хилсом вычеркнул описание встречи. Потом тщательно пролистал блокнот и вымарал каждое слово, относящееся к тому человеку. Стер отныне и навсегда всякий след, будто кто-то мог еще отыскать незнакомца в этой книжке.

■

ЖОРЖИ АМАДУ

Тереза Батиста, уставшая воевать

РОМАН

Перевод с португальского Ю. КАЛУГИНА

Ночь, когда Тереза Батиста спала со смертью

1

В конце долгой и неожиданной беседы, завязавшейся в ту воскресную ночь, доктор Эмилиано Гедес вдруг прошептал:

— Чего только бы я ни дал, чтобы быть холостым — и жениться на тебе. Конечно, для меня ты не стала бы значить больше, чем значишь теперь.— Слова его убаюкивали, как тихая музыка, знакомый голос звучал робко: — Моя женушка...

Неожиданная застенчивость подростка, волнение скромного просителя, беспомощного существа были так не свойственны доктору — сильной личности,— привыкшему командовать, уверенному в себе, прямому и твердому, дерзкому и надменному, когда это нужно, но чаще — приветливому и любезному. Робость вовсе была чужда характеру доктора Эмилиано Гедеса, феодального землевладельца, хозяина плантаций сахарного тростника и сахарного завода, капиталиста, банкира, президента административных советов предприятий, бакалавра права. Старший из Гедесов, тех, кому принадлежат сахарный завод Кажазейрас, Межштатный банк Баии и Сержипе, акционерное общество Эксимпортэкс,— он был подлинным хозяином всего — предприимчивым, смелым, властным, щедрым.

Как слова, так и тон его голоса растрогали Терезу.

Здесь, в Эстансии, в саду высоких раскидистых питангейр, щедрая луна обливала золотом манго, авокадо и кажу, волнами разносился аромат гардений под дуновением легкого ветерка с реки Пиауитинги. После того как он высказал ей с горечью, злостью и страстью то, что не доверил бы ни другу, ни родственнику, ни компаньону,— то, что Тереза никогда не предполагала от него услышать (хотя и догадывалась),— доктор крепко обнял ее и, целуя в губы, взволнованно заключил:

Окончание. Начало в № 11.

— Тереза, жизнь моя, ты одна у меня на всем свете...

Он поднялся — высокий, как дерево питангейра с густой листвой, будто приютившее ее под своей гостеприимной сенью. За последние шесть лет седеющие волосы и пышные усы его стали отливать серебром, но лицо еще без морщин, проницательные живые глаза, стройная фигура делали его моложе уже исполнившихся шестидесяти четырех лет. С застенчивой улыбкой, столь отличной от его обычного громкого смеха, доктор Эмилиано пристально вглядывается в освещенное лунным светом лицо Терезы, как бы испрашивая у нее прощения за горечь, печаль и даже гнев, которые прозвучали в его словах, хотя это было признание в любви, чистой любви, искренней, горячей.

Тереза продолжала лежать в гамаке. Она была глубоко тронута. Глаза ее увлажнились, сердце было исполнено нежности. Она хочет столько сказать ему, выразить свою любовь, но, несмотря на то что многому научилась она в его обществе за эти шесть лет, все же не находит нужных слов. Тереза берет его руку, протянутую ей и, поднявшись из гамака, бросается в объятья доктора, подставляет губы для нового поцелуя,— как сказать ему: муж и любовник, отец и друг?.. «Склони голову ко мне на грудь, любовь моя». Многие чувства обуревают ее: уважение, благодарность, нежность, любовь, но только не сострадание! Ни в коем случае! Сострадания он не просит и не принимает, неприступный, как скала. Любовь, да, любовь и преданность — но как сказать ему все это, сразу? «Склони голову ко мне на грудь и отдохни, любовь моя».

Кроме опьяняющего аромата гардений, разливающегося вокруг, Тереза ощущает на груди доктора тонкий запах мужского одеколона, так полюбившегося ей,— многое научилась любить она у него. Оторвавшись от его губ, она произносит: «Эмилиано, любовь моя, Эмилиано!» — и для него этого достаточно, ему понятно, что она хочет сказать: обычно она обращалась к нему «сеньор», никогда не говорила ему «ты» и только в минуты близости позволяла себе вымолвить слова любви. Рухнули последние препятствия.

— Никогда больше не называй меня сеньором. Где бы то ни было.

— Никогда больше, Эмилиано!

Шесть лет протекло с того вечера, когда он поднял ее с самого дна жизни. А теперь Эмилиано Гедес, несмотря на свои шестьдесят четыре года, без всякого усилия подхватывает Терезу на руки и несет в комнату под лунным светом, в благоухании гардений.

Однажды вот так же ее несли под дождем на ферме капитана, как невесту в первую брачную ночь, но то было обручение с ложью и предательством. Сегодня доктор несет ее на руках, и этой ночи, похожей на первую брачную ночь любви, предшествовали долгие годы нежности, доверия и полной близости. «Чего только бы я ни дал, чтобы быть холостым и жениться на тебе... Нет, не любовница, не содержанка. А супруга, настоящая супруга, жена».

С той ночи, когда Эмилиано приехал за ней в пансион Габи и увез ее на крупе своей лошади, Тереза расцвела, превратилась в прелестную женщину. Но в эту ночь, напоенную ароматом гардений, ночь признания и безграничной близости, после того, как доктор открыл ей свое сердце, Тереза стала его опорой, целительным бальзамом, радостью, гасящей печаль и уносящей одиночество; тайная квартира любовницы преобразовалась в домашний очаг, и она — его единственная супруга, которая так была нужна ему,— в эту единственную ночь примирила его с жизнью, необыкновенная нежность сделала их близость беспредельной.

Они ласкали друг друга, как новобрачные. Тереза представила себе доктора Эмилиано таким, каким впервые увидела его на ферме капитана, задолго до того, как они стали жить вместе: верхом на горячем, породистом коне; в правой руке он держал хлыст с серебряной рукояткой, левой приглаживал усы, обжигая ее взглядом. Еще тогда поняла она, что полюбила его: проданная рабыня, мертвая от страха, она впервые посмела обратить внимание на мужчину. Впервые.

Сейчас доктор крепко сжимает ее в объятьях, губы их горячо сомкнулись — вершина блаженства!..

— Ай Тереза!..— чуть слышно вскликнул любимый и... сник бездыханным.

2

Молниеносно сорвавшись с постели, Тереза едва почувствовала на своей груди тяжесть смерти, едва услышала последний хрип возлюбленного, его глухой стон — от боли или от услады? «Ай, Тереза»,— только и успел вымолвить. Она не в силах ни закричать, ни позвать на помощь, все в ней замерло, грудь, шея, губы запачканы его кровью — даже для смерти доктор сумел избрать определенный час, сохранить должную тактичность.

Прошло всего несколько минут. Терезе Батисте показалось, что она потеряла голову, обезумела, проклята навеки: смерть оказалась ее любовником, разделившим с ней ложе и наслаждение. С расширенными от ужаса глазами, онемевшая и потерянная, недвижимо стоит она над постелью с белоснежными простынями, пахнущими лавандой; она даже не видит доктора, сердце которого, изношенное надменностью и разочарованиями, не выдержало. Она видит перед собой одну смерть, торжествующую свою победу.

Праздник кончился. Сюда вторглась смерть, царит одна только смерть, явившаяся в ночи, распростершаяся над кроватью, застывшая судьбу Терезы Батисты.

3

С превеликим трудом Тереза натянула на себя платье и побежала разбудить слуг — Лулу и Нину, супружескую чету. У нее, должно быть, был вид обезумевшей, служанка испугалась:

— Что случилось, сеньора Тереза?

Лула появился на пороге комнаты, на ходу застегивая рубашку. Тереза нашла в себе силы выговорить:

— Бегите быстрее за доктором Амарилио, скажите, чтобы он шел поскорей, доктору Эмилиано очень плохо.

Лула выскочил на улицу. Нина пошла в спальню, как была — полуодетая, в ночном белье, стала поспешно креститься. В спальне, увидев смятые простыни, она зажимает рот рукой, чтобы не воскликнуть: «Ого, старикан-то, видно, умер в ту самую минуту... у нее в объятьях!»

Тереза возвращается, едва передвигая ноги, еще не придя в себя. Она пока что не задумывается над последствиями случившегося. Опустившись на колени у кровати Нина бормочет слова молитвы и украдкой взглядывает на застывшее лицо хозяйки — его хозяйки, а Нина — только служанка доктора. Почему злодейка не падает тоже на колени и не молится, выпрашивая прощения у бога и у покой-

ного? Нина силится заплакать, она была свидетельницей юношеских увлечений пожилого богача, для служанки смерть его при таких, можно сказать, своеобразных обстоятельствах не оказалась сюрпризом. Так он и должен был кончить свою жизнь — старый козел — от кровоизлияния. Нина не раз говорила Луле и прачке: настанет день, и он окочурится в постели.

В последнее время доктор покидал свою усадьбу не более как дней на десять, и то если неотложные дела задерживали его, зато здесь он оставался чуть не вдвое больше, дни и ночи привязанный к юбке Терезы. Старый безумец растрачивал свои последние силы в объятиях молодой и пылкой женщины, не замечая других, предлагавших себя, начиная с Нины. Околдованный притворщицей, не считаясь со своим преклонным возрастом, он не проявлял уважения к знатным семьям — в доме любовницы принимал префекта, полицейского инспектора, судью и даже падре Винисиуса; более того, он выходил с ней на улицу. Они гуляли под руку, останавливаясь на мосту через реку Пиауи, или купались вместе в Кашоэйре до Оуро, в Пиауитинге; бесстыдница — в купальном костюме, чуть прикрывающем тело, он — фактически голый, в крохотных плавках: чужеземная мода, портящая добрые нравы Эстансии. Голый старик, правда, выглядел еще крепким, красивым, вполне годным мужчиной, хотя более сорока лет отделяли его от Терезы.

Так и должно было случиться: бог добр, но главное — он справедлив, и никому неведомо, когда нагрянет час расплаты.

Старый живчик. Каким бы сильным и здоровым он ни казался, ему должно было скоро стукнуть шестьдесят пять. Нина слышала позавчера, как он сказал доктору Амарилио за обедом: «Шестьдесят пять лет, доктор Амарилио, хорошо прожиты в труде и в радостях жизни». Об огорчениях и неприятностях он не говорил, словно их и не было.

Почему Тереза продолжает стоять, не молится о душе покойного? Человек он достойный, несомненно, но женатый, отец, дед, погрязший в смертном грехе. Чтобы спасти его душу, нужны молитвы и молитвы, мессы, обеты, покаяния, надо раздавать милостыню и оказывать благотворительность, а кто должен больше всего просить бога за него, как не эта еретичка? Молиться и каяться в греховной жизни с чужим мужем? В своей испорченности — требовать невозможного от уже растраченных сил старика! На нее одну падает вина за его смерть, на ней лежит вина, и ни на ком больше.

Старый весельчак, не желавший уронить свое мужское достоинство перед женщиной, которой около двадцати,— ненасытной, нуждающейся в сильном и молодом мужчине, а то и не в одном. Почему эта порочная девка не нашла себе возлюбленного среди городских парней,— так она сберегла бы старого осла! А теперь кокетка довела до гибели богача, надеясь, возможно, получить в наследство кучу денег.

Почему она не становится на колени, чтобы молиться о душе грешника? Он заслуживает всевозможных молитв, месс с торжественным пением псалмов.

Нина привыкла прислушиваться к разговорам, пока делала уборку в доме. Еще в начале вечера, принеся в сад поднос с кофе, она слышала, как в разговоре с возлюбленной доктор упоминал о завещании. Почему безбожница не жалуется, не посыпает голову пеплом, не разражается воплями и рыданиями хотя бы для вида? Продолжает стоять тут немая, далекая. Должна же она, по крайней мере, дать какое-то удовлетворение всем, пока ожидает завещания и

раздела имущества, чтобы наслаждаться жизнью в Аракажу или Баие, расшвыривая деньги выжившего из ума старика с каким-нибудь молодым парнем! Изрядная сумма, наверняка — деньги, украденные у сыновей и законной жены, которой по праву принадлежит все наследство. Богатая и свободная, да еще хитрюга — какой страшный грех!

Ловкая, испорченная, бессердечная девка довела его до смерти и не собирается выразить признательность за щедрость покойного, сорившего деньгами, сходившего по ней с ума,— не хочет даже поблагодарить за завещание, не сотворит ни одной молитвы, не прольет ни одной слезы, в глубине ее сухих глаз — странный огонь, горящие угли.

Нина проклинает старика и анафемскую девку в покаянной молитве.

4

Когда Нина ушла привести себя в порядок и согреть воды, Тереза — одна в комнате, в ожидании врача — сидела на краю кровати и держала неподвижную руку Эмилиано, нежно высказывала ему то, что не сумела произнести вечером. В саду, под сенью деревьев, при лунном свете, вели они разговор на слегка раскачивавшемся гамаке: для Терезы беседа эта была неожиданной и удивительной, для доктора — последней.

Всегда такой сдержанный в том, что касалось семьи, Эмилиано неожиданно поведал ей о многих огорчениях и неприятностях, об отсутствии понимания и ласки, о страшном одиночестве у домашнего очага без любви — голос его был оскорбленный, печальный, гневный... У него, в сущности, не было иной семьи, кроме Терезы — единственной его радости: он говорил ей, что чувствует себя старым и дряхлым. Но мог ли он помышлять, что уже стоит на пороге смерти? Если бы он знал это, то раньше сказал бы ей обо всем и принял бы нужные меры, о чем упомянул. Никогда Тереза не просила и не требовала чего бы то ни было, довольствовалась обществом и нежностью доктора.

«Только сегодня я поняла, что это была любовь с первого мгновения — то, что почувствовала тогда к тебе, Эмилиано. Я внезапно поняла это. Увидев прибывшего на капитанскую ферму знаменитого доктора Эмилиано Гедеса, владельца сахарного завода Кажазейрас, я посмотрела на него внимательно и нашла таким красивым, каким раньше никогда его не находила. Теперь остается лишь вспоминать. Ничего больше. Эмилиано...»

Верхом на вороном коне — сбруя, отделанная серебром и сверкающая на солнце, в высоких сапогах, с гордым видом — таким Тереза увидела его, подъезжавшего к дому на ферме, и, хотя в ту пору была простой, невежественной, порабощенной девчонкой, она отметила дистанцию, отделявшую его от всех остальных. В гостиной она подала ему только что приготовленный кофе, и доктор Эмилиано Гедес, стоя с хлыстом в руке, поглаживая усы, заметил ее и окинул взглядом с головы до ног; рядом с ним грозный капитан выглядел ничтожеством, жалким рабом, презренным подхалимом. Когда Тереза почувствовала на себе взгляд заводчика, в глазах ее зажегся ответный огонек, и доктор, видимо, обнаружил это. Спускаясь с узлом белья к ручью, она еще раз увидела его скачущим по дороге;

блистало на солнце серебро, и это великолепное видение заставило Терезу остро ощутить убожество окружающей жизни.

Значительно позже, познакомившись с Даном и влюбившись в него, обезумевшая, потерявшая голову из-за соблазнительного красавчика студента, она вспоминала доктора Гедеса, невольно сравнивая обоих. В печальный час, когда капитан неожиданно появился в комнате, держа в руке плеть, доктор Эмилиано находился вместе с семьей в путешествии по Европе и только по возвращении в Баию, несколько месяцев спустя, узнал о событиях в Кажазейрасе до Норте.

Его родственница, Беатрис, сразу же после его возвращения обратилась к нему в полном отчаянии: «Вы, кузен, глава семьи. Даниэл впутался в ужасную историю, кузен! Впутался! Нет! Он стал жертвой настоящей змеи!»

Она молила его о помощи, желая оградить сына от участия в процессе, в который заместитель судьи, каналья, втянул его в качестве сообщника. «Речь идет о том судейском чиновнике, кандидате на свободное место судьи в Кажазейрасе, которое было отдано Эустакио как раз по вашей просьбе, помните, кузен Эмилиано? Теперь обиженный судья сводит счеты с бедным парнем, причем, отвратительный тип, он требует от прокурора осуждения Даниэла вместе с этой девкой».

Беатрис хотела заодно добиться перевода мужа в другой район, поскольку в Кажазейрасе до Норте ему уже нельзя ни спокойно отправлять правосудие, ни сочинять сонеты: «Эустакио не хочет возвращаться сюда, и он не может также оставаться и в столице в долгосрочном отпуске, это превратит жизнь семьи в ад». Дона Беатрис просит у дорогого кузена чистый носовой платок, чтобы утереть слезы. «С такими неприятностями никакие пластические операции не помогут, кузен!»

Установив в путаном рассказе доны Беатрис, что речь идет о Терезе, доктор Эмилиано, прежде чем заняться делами родни, позаботился о безопасности девушки, снесшись из Баии с Лулу Сантосом, находившимся в Аракажу. Верный человек, друг, не раз доказавший свою преданность, крючкотвор-адвокат был ловким знатоком как тонкостей законов, так и способов их обходить.

— Освободи девушку из тюрьмы, помести в надежное место и постарайся закрыть это дело, сдать его в архив.

Вытащить Терезу из тюрьмы оказалось нетрудно. Поскольку она была несовершеннолетней, заточение ее было чудовищным нарушением закона, не говоря уже об избиениях. Судья согласился освободить ее, но что касается остального — умыл руки: он не давал распоряжения бить ее — это дело полицейского инспектора, друга капитана. Что же касается сдачи дела в архив, здесь он был непреклонен, намереваясь довести процесс до конца.

Поскольку судья находился в Кажазейрасе до Норте, в штате Баия, а Лулу Сантос — в штате Сержипе, адвокат не захотел настаивать. Поместив Терезу в женский монастырь, он сообщил заводчику об отказе заместителя судьи в Аракажу и стал ожидать новых распоряжений.

Не зная о заступничестве доктора, Тереза договорилась о дальнейшей своей жизни с Габи, навестившей ее в тюрьме,— казалось, та ей сочувствовала,— и позднее, сбежав из монастыря, явилась в ее пансион.

5

Смешливый старичок, толстый обжора, который всем прописывал диету, а сам пожирал все подряд в огромных количествах, врач Амарилио Фонтес за шесть лет стал близким другом доктора и непременным сотрапезником за богатым, хорошо сервированным столом Терезы; он приходил полакомиться в каждый приезд Эмилиано, участвуя в завтраках и обедах, которым не было равных,— в Эстансии только в доме Жоана Нассименто Фильо ели так хорошо, но французские вина и ликеры из багажа доктора были несравненны, бесподобны, изумительны.

Заводчик зачастил в Эстансию: «В один прекрасный день, дорогой Амарилио, я приеду, чтобы остаться здесь навсегда; нет лучше края, где можно мирно провести свою старость, чем Эстансия».

У двери доктор несколько раз хлопнул для проформы в ладоши и вошел, не ожидая приглашения: ночной вызов его встревожил. Когда крепкие люди, со стальным здоровьем, не знающие, что такое болезни, заболевают, то, как правило, это — дело не шуточное. Заслышав хлопки, Тереза встала и пошла навстречу. Доктор Амарилио встревожился еще больше, увидев девушку.

— Что-то серьезное, кума? — Так по-дружески он называл ее; домашний врач, он следил и за здоровьем Терезы. Со стороны кухни доносились приглушенные голоса Лулы и Нины. Тереза пожала протянутую доктором руку:

— Сеньор Эмилиано скончался.

— Что?

Доктор Амарилио поспешил в комнату. Тереза зажгла торшер, стоявший рядом с удобным креслом, сидя в котором Эмилиано любил читать,— не раз он читал вслух Терезе, свернувшейся клубком у его ног. Доктор Амарилио дотронулся до его тела — бедная Тереза!

Казалось, потеряв дар речи, с отсутствующим взглядом, Тереза вспоминает протекшие годы, минуту за минутой.

6

Прибыв в Кажазейрас до Норте и узнав, что Тереза находится в пансионе Габи, доктор пришел в крайнее раздражение. Он тут же решил предоставить ее своей судьбе — сострадания она не заслуживала. Он, доктор Эмилиано Гедес, дал себе труд побеспокоить друга, способного и ловкого адвоката, заставив его приехать из Аракажу, вызволить ее из тюрьмы и спрятать в надежном месте, а эта идиотка, вместо того чтобы дождаться его, поспешила в дом терпимости. Ну и пусть остается там!

В сущности, доктор был не так раздражен поступком Терезы, как тем, что обманулся, посчитав ее достойной его внимания и покровительства. Когда он встретил ее на ферме Жустиниано, ему показалось, что он заметил в черных глазах девчонки необыкновенный, выразительный блеск. Точно так же рассказ о последующих событиях, хотя и весьма путаный и пристрастно звучавший в устах Беатрис и Эустакио, подтвердил его первоначальное впечатление. Однако он ошибся, как это ни было невероятно: девчонка оказалась обыкновенной потаскухой,— права была кузина Беатрис, легкомысленная, но трогательная в своей материнской любви. Блеск в глазах девчонки был не чем иным, как отблеском солнца. Ничего не поделаешь!

Поскольку способность узнавать и квалифицировать людей помогала доктору в его деятельности землевладельца, предпринимателя и банкира, он ощущал удовлетворение, когда распознавал людей с первого взгляда, и потом с большим трудом скрывал разочарование, если ошибался. Обманутые надежды заставили его обратиться к заместителю судьи — ему необходимо было выместить на ком-то свою досаду. Он направился в префектуру, где на верхнем этаже находился суд. Но там нашел одного секретаря, который, увидев его, разве что не попросил благословения:

— Какая честь, доктор! Судья еще не пришел, но я сбегаю за ним в одно мгновение, достопочтенный проживает в пансионе Агриппины, здесь близехонько. Его имя? Доктор Пио Алвес, он был судейским чиновником в течение многих лет, в конце концов назначен судьей в Барракан.

Дожидаясь судью, доктор разглядывал из окна невзрачную панораму городка, и раздражение его нарастало: он не любил, когда ему противоречили, и тем более — когда ему приходилось обманываться. Разочарования — одно за другим — накапливаются в жизни.

С важным видом, хотя слегка озабоченный — нервно подергивались губы,— в помещение вошел судья доктор Пио Алвес, как всегда полный горечи и обиды. Постоянная жертва несправедливостей, всегда оттесняемый на задний план, вынужденный вечно уступать место чьим-то протеже, он считал себя жертвой заговора духовенства, правительства и народа, объединившихся для того, чтобы наносить ему на каждом шагу удар за ударом. Он судил с упрямым, недовольным видом, выносил тяжелые приговоры, был безразличен ко всему на свете, кроме буквы закона. Когда к нему взывали о понимании, сострадании, милосердии и прочих гуманных чувствах, он высокопарно отвечал:

— Мое сердце — хранилище закона, на сердце начертана мною древнеримская аксиома — dura lex, sed lex [1]!..

От вечной злости и зависти он даже приблизился к честности, хотя на его посту это — бремя, капитал с невыгодными процентами. К доктору Эмилиано он относился со страхом и ненавистью, считая его одним из виновников своего медленного продвижения по служебной лестнице, где долгое время занимал ничтожную должность; будучи кандидатом на пост судьи в Кажазейрасе до Норте — там его супруга получила в наследство поместье,— он был отставлен в пользу ничтожного столичного адвоката, чьим единственным титулом являлось звание мужа-рогоносца одной из родственниц Гедесов. Уже было подготовлено назначение доктора Пио, когда Эмилиано вмешался, выхлопотав эту самую должность для рогоносца. Некоторое время спустя доктор Пио с большим трудом добился повышения — был назначен судьей в район Барракан, однако целью его оставался по-прежнему Кажазейрас до Норте, откуда он мог бы управлять фазендой, сделав ее источником дохода, возможно расширив ее. Получив указание заменить доктора Эустакио в спорном процессе, он решил, что пробил сладкий час мести: по его усмотрению Даниэл мог стать главным виновником, а не просто сообщником, но, к несчастью,— dura lex, sed lex! — подняла нож девчонка.

Позади судьи семенил секретарь, умиравший от любопытства, однако доктор Эмилиано, пожелав остаться наедине с судьей, жестом отослал его.

— Вы хотите говорить со мною, доктор? Я к вашим услугам.—

[1] Закон суров, но это закон!.. *(лат.)*

Судья силился сохранять важный и достойный вид, но губа его все сильнее подергивалась в нервном тике.

— Садитесь, поговорим,— приказал Эмилиано, будто это он был верховным судьей, высшей властью здесь, в суде.

Судья заколебался: куда сесть? На судейское кресло, чтобы подчеркнуть свое превосходство и внушить почтение доктору? На это у него не хватило мужества, и он уселся рядом со столом. Доктор Эмилиано стоял, устремив взгляд за окно. Безразличным тоном он заговорил:

— Доктор Лулу Сантос передал вам мое поручение или вы его не получили?

— Адвокат у меня был, высказал свои доводы, я согласился с ним и распорядился выпустить на свободу несовершеннолетнюю, арестованную полицейским инспектором. Ваш доверенный взял ее на поруки.

— Так что же, он не передал вам всего моего поручения? Я ведь велел сказать вам, чтобы вы сдали дело в архив. Вы его уже сдали, судья?

Нервный тик на лице судьи усилился: гнев доктора был широко известен, хотя и редко проявлялся. Он сделал последнюю попытку:

— Сдать в архив? Невозможно. Речь идет о преступлении, совершенном по отношению к влиятельному лицу и вызвавшем смерть последнего.

— Влиятельного? Ничтожество! Невозможно, а почему? В деле фигурирует молодой студент, мой родственник, сын судьи Гомеса Нето, и, говорят, вы требуете его осуждения.

— В качестве сообщника...— Судья понижает голос.— Хотя, на мой взгляд, он больше, чем сообщник, он прямой соучастник преступления.

— Хотя я бакалавр права, но пришел сюда не как адвокат. Мне дорого время. Послушайте, доктор: вы должны знать, кто хозяин этого края, вы уже получали ранее доказательство тому. Мне сказали, что вы все еще желаете быть судьей в Кажазейрасе. Это теперь в ваших руках, так как я надеюсь, что Лулу просто не передал вам всего поручения. Выпишите сейчас же постановление о сдаче дела в архив, двух строчек будет достаточно. Но если вас мучит совесть, тогда я вам советую вернуться в Барракан как можно скорее, передав ведение дела судье, назначенному по моему выбору и вкусу. Ваша судьба в ваших руках, решайте.

— Это серьезное преступление...

— Не заставляйте меня терять время, я прекрасно знаю, что это — серьезное преступление, и именно потому предлагаю вам пост судьи в Кажазейрасе. Решайте сразу, не заставляйте меня терять ни время, ни голову.— Он нервно бьет хлыстом по ноге.

Доктор Пио Алвес медленно поднялся и пошел за бланками постановлений. Сопротивляться бессмысленно: если он настоит на своем, то останется прозябать в Барракане и кто-то другой подпишет постановление о сдаче дела в архив, заручившись признательностью доктора. Конечно, дело изобилует нарушениями закона, начиная с заключения в тюрьму и избиений несовершеннолетней, допроса без присутствия компетентного судейского чиновника, без адвоката, защищавшего ее интересы (до недавнего выступления Лулу Сантоса), и, сверх того, ввиду отсутствия доказательств и заслуживающих доверия свидетелей; в процессе действительно упущено многое, причин для сдачи дела в архив — более чем достаточно. Порядочный судья не позволит себе поддаться мелочному чувству мести, недостойному

служителя Фемиды. Кроме того, какое значение имеет сдача в архив еще одного дела в этом сертане? Никакого, конечно... Доктор Пио изучил всеобщую историю, читая Зевако и Дюма: Париж сто́ит мессы. А Кажазейрас разве не сто́ит постановления?

Когда он наконец кончил писать — мелкий почерк, латинские термины,— поднял глаза на доктора, стоящего у окна, и улыбнулся:

— Я это сделал из уважения к вам и вашей семье.

— Спасибо и примите мои поздравления, сеньор судья Кажазейраса до Норте.

Эмилиано подошел к столу, взял дело и перелистал. Прочел кое-что и тут и там, отрывки из доноса, допроса, показаний Терезы, Даниэла — какая мерзость! Бросил дело на стол, повернулся спиной, направился к выходу:

— Рассчитывайте на назначение, сеньор судья, но не забывайте впредь, что меня интересует все, что происходит в этом краю.

Все еще раздраженный, он вернулся на завод.

Несколько дней спустя доктор направился в Аракажу заглянуть в филиал банка, там он встретился с Лулу и из разговора с ним узнал, что Тереза понятия не имела об его вмешательстве во все это дело и об его интересе к ней. Это значило одно — Эмилиано не обманулся, судя о ней; значение блеска ее глаз подтвердилось еще при чтении дела. Помимо того что красива, она еще и отважна.

Он ускорил отъезд, не захотел дожидаться поезда, идущего лишь на следующий день, отправился на завод в автомашине. Доктор торопил шофера — на некоторых участках шоссе было не лучше дороги для ослов и повозок, запряженных волами. Приехав на завод вечером, он продолжил свой путь уже верхом в Кажазейрас, где принял ванну и переоделся. И немедля посетил пансион Габи, впервые в жизни переступив этот порог. Едва официант Арруда завидел его, тут же бросил вина и клиентов и помчался за Габи. Хозяйка пансиона явилась настолько быстро, что одышка прерывала ее голос:

— Несказанный почет для нас! Какая радость!

— Добрый вечер. У вас находится девушка по имени Тереза...

Габи не дала ему закончить; Тереза — такое чудо, бесценное приобретение; значит, слава о ней дошла до ушей доктора и привела его сюда в качестве клиента.

— Это верно, сеньор, красавица девочка, моложе пятнадцати лет,— она к вашим услугам. Драгоценность...

— Она поедет со мной...— Он вытащил из бумажника несколько банкнот и протянул взволнованной сводне.— Сходите за ней...

— Вы ее увезете, доктор? На эту ночь или на несколько дней?

— Совсем. Она не вернется. Давайте побыстрей.

Сидящие за столиками клиенты молча наблюдали за происходящим; Арруда вернулся в бар, но, совершенно обалдевший, не смог подавать напитки. Габи проглотила свои возражения и доводы, спрятала деньги, несколько банкнот по пятьсот крузейро; она бы ничего не выиграла, начав спорить, ей оставалось лишь ждать, когда Тереза надоест доктору и он прогонит ее. Бесспорно, задержится она там недолго, месяц или два — всего-навсего.

— Присядьте, доктор, выпейте чего-нибудь, пока я подготовлю чемодан, а она уложит вещи...

— Не нужно чемодана, достаточно того, что на ней надето. Ничего больше. Ничего не надо устраивать.

Посадил девушку на круп своего коня и тотчас же увез.

7

Закончив осмотр, доктор Амарилио натянул на тело простыню.

— Скоропостижно, не так ли?

— Он только простонал и тут же умер, я даже не сообразила...— Тереза вздрогнула, закрыла лицо руками.

Врач колебался, но ему необходимо было задать щекотливый вопрос:

— Как же это произошло? Он слишком много поел за обедом, тяжелая пища, и сразу после этого... Не так ли?

— Он съел лишь кусок рыбы, немного риса и дольку ананаса... Около пяти часов — несколько пирожков... Потом мы с ним прошлись до моста, а когда вернулись, он сел в гамак в саду, и мы разговаривали около двух часов. Уже после десяти мы легли.

— Быть может, у него были какие-либо неприятности в последнее время? Не знаете?

Тереза не ответила, она не хотела даже врачу доверить то, о чем они беседовали, жалобы и горечь Эмилиано. Он умер внезапно, какой смысл пытаться установить — от болезни или мучений? Уж не надеется ли медик воскресить его? Врач продолжал:

— Говорят, что Жаиро, его сын, сделал растрату в банке, серьезное хищение, и что доктор Гедес, узнав...

Он замолчал, так как Тереза притворилась непонимающей: окаменев, отсутствующим взглядом всматривалась она в лицо покойника.

Врач настаивал:

— Я только хочу знать причину — почему сдало сердце. У него было хорошее здоровье, но у каждого из нас есть свои неприятности, это нас и убивает. Позавчера он сказал мне, что здесь, в Эстансии, он восстанавливает силы, оправляется от волнений. Вы не нашли его изменившимся?

— Для меня доктор Эмилиано всегда был одинаковым, с первого дня.

Она умолкла, но не выдержала и добавила:

— Нет, неправда. С каждым днем он был все лучше. Во всем. Я только могу сказать, что равного ему нет. Не спрашивайте меня больше ни о чем.

На мгновение воцарилась тишина. Амарилио вздохнул. Тереза права: не к чему копаться в жизни Гедеса, ясно, что ни покой, ни общество подруги не смогли поддержать его сердце.

— Дочь моя, я понимаю вас, представляю, что вы должны чувствовать сейчас. Если бы все зависело от меня, я бы оставил покойного здесь до погребения и мы — вы, я, мастер Жоан,— те, кто действительно его любил, проводили бы останки на кладбище. Только это от меня не зависит.

— Я знаю, для меня всегда не хватало времени. Нет, я не жалуюсь... Здесь не проходило ни одной минуты, которая не была бы счастливой.

— Я попытаюсь связаться с родственниками; дочь и зять находятся в Аракажу. Если телефон не работает, придется отправить нарочного с запиской.— Прежде чем уйти, он спросил:— Нужно ли послать человека, чтобы обмыть и одеть тело, или об этом позаботятся Лула и Нина?

— Я сама позабочусь о нем, пока он еще мой.

— Я скоро вернусь, принесу свидетельство о смерти, приведу священника.

Зачем священник, если Эмилиано не верил в бога? Впрочем, церковных праздников он не пропускал и возил священника на завод, что-

бы отслужить мессу на празднике святой Анны. Падре Винисиус, изучавший теологию в Риме, умел пить вино и был отличным партнером за обеденным столом.

8

Доктор любил, когда Тереза, элегантно одетая — ее туалеты привозились из Баии,— хозяйничала за обеденным столом. Помимо врача, он приглашал своего друга Нассименто Фильо, с которым учился на факультете права, а также падре Винисиуса и Лулу Сантоса, специально приезжавшего для этого из Аракажу.

Они оживленно беседовали обо всем, спорили о политике, о кулинарии, литературе и религии, об искусстве, о мировых и бразильских событиях, о последних идеях, вызывавших дискуссии, и о моде, которая с каждым днем становится все более скандальной, об устрашающем падении нравов и прогрессе науки. На темы искусства, литературы, кулинарии почти всегда говорили только доктор и Жоан Нассименто, поскольку врач относился с отвращением к модернистскому искусству — пустой мазне без смысла и красоты; священник не выносил большинства современных писателей, мастеров порнографии и безбожия, а Лулу Сантос утверждал, что нет в мире блюда, которое могло бы сравниться с сушеным мясом, если его сдобрить молочной маниоковой кашей,— утверждение, впрочем, не совсем выдерживающее критику. Жоан Нассименто Фильо, завзятый читатель, незадачливый литератор, старый добряк, бросивший на полпути курс права, надеясь вылечиться в Эстансии от заболевания легких, остался тут, чтобы больше не выезжать, проживал свою ренту, обеспечивавшую его, и преподавал, заполняя свободное время, португальский и французский языки в местной гимназии. Зато он всегда был в курсе дел насчет книжной новинки и последней картины и даже мечтал полакомиться уткой по-пекински. Доктор привозил ему книги и журналы, они проводили долгие часы за приятной беседой в саду. В городе любопытные спрашивали себя, чего ради доктор, человек такой занятый и серьезный, убивал дни в Эстансии, болтая о разной чепухе с Нассименто Фильо, нежничая с любовницей-деревенщиной.

Когда, однако, разговор начинал вращаться вокруг национальной политики,— причем адвокат и врач едва не доходили до рукопашной, споря о позиции тех или иных политиканов, о выборных махинациях,— доктор ограничивался тем, что вежливо слушал с достаточно равнодушным видом. Он считал политику бесчестным занятием, подходящим для людей низшего сорта, с мелочными претензиями и гибким спинным хребтом, всегда выполняющих чьи-то указания и служащих у действительно могущественных людей, подлинных хозяев страны. Эти правили безраздельно, каждый в своем краю, в своей наследственной капитании[1]: он, кстати, в Кажазейрасе до Норте, где никто палец о палец не мог ударить без его ведома. Доктор всегда питал антипатию к политике и недоверие к политическим деятелям; за последними, мол, нужен глаз, они профессионалы лжи. Лулу Сантос, выпив вина, во всеуслышание объявил, что он — анархист, ученик Кропоткина в Сержипе, и атаковал падре Винисиуса.

Падре с Нассименто Фильо уходили; Лулу Сантос, докурив последнюю сигару, тоже прощался, оставляя доктора с Терезой. Как-то задержавшись в саду после ухода гостей, Эмилиано обнял ее и сказал:

[1] Административная территориальная единица в эпоху колонизации нынешней Бразилии.

— Всякий раз, когда ты что-то не понимаешь, спрашивай меня. Не бойся меня обидеть, Тереза. Ты меня обижаешь только тогда, когда не откровенна со мной. Ты удивлена и не понимаешь, как это я, неверующий, нанимаю падре отслужить мессу на заводе и еще к тому же устраиваю празднество, не так ли?

Улыбаясь, она прижалась к груди доктора.

— Не для себя я это делаю, а для других и ради того, чтобы поддержать их представление обо мне. Понимаешь? Для тех, кто верует и думает, что я верую тоже. Люди нуждаются в религии и праздниках, у народа тяжелая жизнь, и где это видано, чтобы на заводе не служили мессу и оставляли людей без крещения или свадьбы раз в году? Я только выполняю свой долг.

Он поцеловал ее в губы и произнес:

— Только здесь, в Эстансии, в этом доме, рядом с тобой я — это я. В других местах я — хозяин завода, банкир, директор предприятия, глава семьи, у меня не одно лицо, а четыре или пять лиц, я — и католик, я — и протестант, я — и иудей...

Только в последний их вечер, после беседы в саду, Тереза до конца поняла, что́ он хотел сказать ей.

9

Нина принесла таз и ведро, Лула — кувшин с горячей водой. Они приготовились помочь ей, но Тереза отпустила их: если понадобится, позовет.

Одна она обмыла тело доктора ватой с теплой водой, вытерла с головы до ног и надушила английским одеколоном, который он предпочитал. Тщательно одела и обула его, выбрав рубашку, носки, галстук, голубой костюм, комбинируя умеренные цвета, как это любил доктор, как он ее учил. Она позвала Лулу и Нину лишь прибраться в комнате. Ей хотелось, чтобы все было в порядке. Они начали с постели и, пока меняли наволочки и простыни, водрузили покойника в кресло рядом с журнальным столиком, на котором лежало несколько книг.

В кресле, с положенными на подлокотники руками, доктор, казалось, пребывал в нерешительности, какую книгу выбрать для чтения Терезе в этот вечер.

Ах, никогда больше Тереза не сядет у его ног, прислонив голову к его коленям, никогда больше не услышит его теплого голоса, ведущего ее по темным дорогам, показывающего ей, как видеть в потемках, предлагая ей различные загадки и подсказывая, как их решать. Он как бы вручал ей ключи к знаниям, к чему-то таинственному.

10

Едва они прибыли в Эстансию, неотложные дела вынудили доктора выехать в Баию, оставив Терезу в обществе одной служанки, местной жительницы, и под охраной Алфредана. Замкнутая, недоверчивая, со следами побоев на теле и со шрамами на сердце от воспоминаний о каждой минуте недавних унижений, избиений и позора, о Жустиниано Дуарте да Роза и о Дане, о тюрьме и пансионе, она жила, чтобы только как-то просуществовать, не думая о будущем. Тереза долго не могла прийти в себя. Она согласилась поехать с доктором из-за сложившихся обстоятельств, а также из уважения, которое он ей внушал. Только ли уважения? Нет. Она испытывала к

нему сильное влечение. Она приехала, не зная, чем все это кончится.

А чувства доктора к ней все более усиливались. Она стала отвечать ему взаимностью. Во всем же остальном вела себя так, как если бы находилась в обществе капитана и жила в таком же положении, как прежде. С самого раннего утра она принималась за уборку огромного дома, взяв на себя самую тяжелую работу, в то время как служанка прохлаждалась, только следя за кастрюлями, бесцельно расхаживая по гостиной с бесполезной цветной мегелочкой в руке. Молчаливый и деятельный, с седеющей курчавой шевелюрой, Алфредан ухаживал за запущенным садом, ходил за покупками и охранял дом, а заодно — и добродетель Терезы. Все больше изучая ее, доктор все же еще не знал ее до конца, и осторожность была необходима.

Тереза ухитрялась исполнять и обязанности Алфредана; едва он собирался вынести мусор, как оказывалось, что она уже это сделала. Она ела на кухне вместе с работником и служанкой, прямо руками, хотя ящики были набиты серебряными столовыми приборами.

Благодаря усилиям Терезы дом превратился в игрушку. Сделать это было нелегко: комфортабельный особняк с обширным фруктовым садом, две просторные залы — гостиная и столовая, четыре комнаты, открытые для бриза, дующего с реки Пиауитинги, огромная кухня и буфетная, не считая пристройки, где находились ванные, а также комнаты для прислуги, чулан и кладовая. Зачем нужен такой большой дом? — спрашивала себя Тереза, тщательно убирая его. К чему столько мебели, да такой необычной? Много времени и сил требовалось на то, чтобы поддержать в приличном виде старинную мебель из жакаранды, потерявшую вид от старости и небрежного ухода. Особняк и сад, мебель, кое-какая английская фарфоровая посуда и столовые приборы из серебра — последние следы былого величия семьи Монтенегро, от которой осталась только чета стариков, доживавшая свой век где-то. Как потом узнала Тереза, доктор купил дом, мебель и утварь, посуду и столовые приборы, не торгуясь, впрочем, не слишком дорого. К сожалению, некоторые вещи — напольные часы, домашний алтарь, статуэтки и барельефы святых — были уже увезены на юг любителями старины, заплатившими за них пустяки.

Доктор был в восхищении от деревьев и мебели, а также от расположения дома — участок находился вдалеке от центра, тихий, спокойный уголок.

Приезд новых жильцов вызвал появление любопытных, знавших о продаже особняка и о том, кто его купил: им нужно было запастись новостями для часов досуга, у них более чем достаточных. Некоторые, привыкшие всюду совать нос, дошли до того, что стали стучаться в двери в надежде завязать разговор и добыть дополнительные сведения о приехавших, но неразговорчивость и недоброжелательность Алфредана служили надежной преградой перед вторжением ханжей и бездельников. Им удалось лишь узнать о том, что в доме находятся две служанки, занятые тщательнейшей уборкой; одна из служанок была местной, известной лентяйкой, служившей во многих семьях, другая же, привезенная откуда-то, казалась настолько чумазой, что никто не мог рассмотреть ее лица, а вообще она выглядела молодой девчонкой, была старательна в работе. Та, для которой предназначалась вся эта роскошь, видимо, прибудет только тогда, когда все будет готово.

Никто из сплетников или сплетниц не сомневался в назначении особняка, богатого и теплого гнездышка, подходящего для того, чтобы скрыть тайные любовные связи, как определил Амантас Руфо, мо-

лодой поэт, вынужденный торговать тканями в магазине отца. Доктор, у которого не было никаких дел в Эстансии, где он появлялся изредка только для того, чтобы позавтракать со своим другом Жоаном Нассименто Фильо, приобрел особняк Монтенегро, чтобы поселить там любовницу,— так утверждали ханжи и бездельники. Они исходили из трех причин, одна из которых была весомее другой. Во-первых, богачу сопутствовала репутация бабника, о чем сплетничали в Баие и Аракажу, на обоих берегах реки Реал; Эстансия была удобно расположена на полпути между заводом Кажазейрас и городом Аракажу — местами, где доктор находился подолгу, занимаясь своими делами; и, наконец, Эстансия считалась прекрасным, приятным уголком, идеальным убежищем для любовных утех.

Однажды, ближе к вечеру, перед домом остановился грузовик; шофер и двое его помощников начали разгружать большие и маленькие ящики и великое множество коробок, на некоторых из них значилось слово «Осторожно!» — напечатанное или написанное от руки. Улица тут же заполнилась любопытными, ханжи и бездельники сбежались один за другим. Став на противоположном тротуаре, они разгадывали содержимое ящиков: холодильник, радиоприемник, пылесос, швейная машинка — число вещей было бесконечно,— доктор, очевидно, не считался с расходами. Скоро, видимо, прибудет и ожидаемая особа. Они выставили дозоры, организовали дежурства, но доктор приехал в автомобиле на рассвете — как знать, может быть, нарочно: последняя смена сплетниц закончила дежурство в девять вечера, когда прозвонил церковный колокол.

Встав около восьми часов, доктор не нашел Терезу в постели: он обнаружил ее за работой с щеткой в руке, тогда как служанка в гостиной лишь едва шевельнулась, чтобы улыбнуться ему и поздороваться. Эмилиано не сделал никакого замечания, просто пригласил Терезу к кофе.

— Я уже пила раньше. Девушка подаст вам, сеньор. Извините, я запоздала...— И она продолжала убираться.

Доктор задумчиво выпил кофе с молоком, съел кускус из маиса, жареный банан, маниоковые пирожки, провожая взглядом Терезу, по-прежнему занятую уборкой. Она вымела спальню, собрала мусор, вынесла горшок. Стоя на пороге кухни, служанка поджидала, когда он закончит есть, чтобы убрать за ним посуду. После кофе доктор, нагрузившись книгами, устроился в гамаке в саду, покинув его только около полудня, чтобы принять душ и переодеться. Когда Тереза увидела его одетым, она спросила:

— Можно подавать на стол?

Эмилиано улыбнулся:

— После того, как ты примешь душ, переоденешься и будешь готова.

Тереза вовсе не думала принимать душ в этот час — еще столько работы, которую предстоит выполнить во второй половине дня:

— Я хотела помыться, как приведу все в порядок. У меня еще осталось много дела.

— Нет, Тереза. Иди прими душ сейчас же.

Она послушалась, привыкнув подчиняться. Возвращаясь из ванной и пересекая внутренний дворик, она заметила Алфредана, несущего в сад бутылки, где перед каменной скамьей был поставлен небольшой складной столик, один из бесчисленных предметов, привезенных на грузовике. Там доктор ждал ее. В чистом платье она подошла к нему и спросила:

— Можно подавать?

— Немного погодя. Садись сюда, со мной.— Он взял бутылку и рюмку.— Давай выпьем за наш дом, пусть он будет веселым.

Тереза не привыкла пить. Как-то капитан угостил ее стопкой кашасы; она, едва пригубив, не могла удержаться от гримасы отвращения.

Вспомнив о кашасе, она и теперь только притронулась губами к прозрачному вину золотистого цвета. С удивлением почувствовала приятный вкус и попробовала снова.

— Портвейн,— сказал доктор,— одно из величайших изобретений человека, лучшее из португальских вин. Выпей, не бойся, хороший напиток не причиняет никакого вреда.

Тереза не поняла до конца смысл сказанных доктором слов, но вдруг почувствовала себя так спокойно, как никогда раньше. Доктор рассказал ей о портвейне и о том, что его надо пить после еды, после кофе или к вечеру, но не перед едой. Почему же тогда он угостил ее в неурочный час? Потому что портвейн — король напитков. Если бы он дал ей сначала биттер или джин, возможно, они не понравились бы ей; начав же с портвейна, он был уверен, что она не откажется попробовать еще что-то. Эмилиано продолжал говорить ей о винах, о различных сладких винах, которые она со временем должна будет отличать одно от другого — мускат, херес, мадера, малага, токай,— ее жизнь еще только начинается. «Забудь все, что до сих пор было с тобой, выкинь из головы, здесь ты начинаешь новую жизнь».

Он отодвинул стул, чтобы Терезе удобнее было сесть, и сам стал раскладывать еду, причем подал тарелку ей первой. Она не верила своим глазам: где же это видано? Они выпили прохладительное из плодов мангабы, и доктор снова передал ей первой бокал. Смущенная, Тереза едва притрагивалась к еде, заслушавшись его рассказами о необыкновенных кулинарных рецептах, один другого ужаснее, матерь божья!

Понемногу Тереза стала чувствовать себя непринужденнее; слушая доктора, она издавала возгласы изумления, когда он описывал некоторые иностранные лакомства: плавники рыб, столетние яйца, саранчу. Тереза уже слышала о том, что где-то едят даже лягушек, и доктор подтвердил: превосходное мясо. Однажды она попробовала ящерицу тейю, убитую и поджаренную Шико Мейя-Солой, и ей понравилось.

— Всякая дичь вкусна,— сказал Эмилиано,— она обладает совершенно необычным, редким вкусом. А хочешь знать, Тереза, из чего готовят самое вкусное блюдо?

— Из чего?

— Из улиток.

— Из улиток? Ой, какая гадость...

Доктор рассмеялся, его смех звучал искренне и весело.

— Так вот, как-нибудь, Тереза, я приготовлю блюдо из улиток, и ты пальчики оближешь. Знаешь, я отличный повар.

За этой непринужденной болтовней смущение Терезы понемногу проходило, а за десертом она уже смеялась без всякого стеснения, слушая рассказ доктора о том, как французы держат улиток в течение недели закрытыми в коробке с дырками, наполненной пшеничной мукой, единственной едой пленниц, меняя муку ежедневно, пока улитки не станут совершенно чистыми.

— А саранча? Ее действительно едят? Где?

— В Азии, приготовленную с медом. В Кантоне обожают собак и змей. Впрочем, разве не едят в сертане удава жибойю и крылатого муравья танажуру? Это то же самое.

Когда они встали из-за стола и доктор взял руку Терезы, она уже улыбнулась ему совсем по-иному: то было начало нежности.

И снова в саду, на той же самой старинной скамье, некогда покрытой изразцами, тихонько целуя ее в губы, влажные от выпитого

портвейна — от капельки, чтобы помочь пищеварению,— он ей сказал:

— Тебе надо усвоить прежде всего одну вещь. Раз навсегда вбить в эту головку,— он коснулся ее черных волос,— что ты хозяйка, а не служанка, что дом этот — твой, он принадлежит тебе. Если служанка добросовестно не выполняет свою работу, возьми другую, еще одну — сколько нужно, я больше не хочу видеть тебя грязной, протирающей мебель, таскающей ночные горшки. Хочу видеть тебя красивой... Впрочем, даже запачканная и в старой одежде ты выглядишь хорошенькой, но я хочу, чтобы твоя красота засияла, хочу видеть тебя ухоженной, элегантной, настоящей сеньорой.— И повторил: — Сеньорой.

«Сеньора? Ах, никогда я ею не стану...» — подумала Тереза, услышав эти слова, и доктор прочел ее мысль, будто обладал даром угадывать.

— Ты ею не станешь лишь в том случае, если не захочешь, если у тебя не будет желания.

— Я постараюсь...

— Нет, Тереза, постараться — недостаточно.

Тереза взглянула на него, и Эмилиано увидел в ее огромных черных глазах тот самый бриллиантовый, алмазный блеск, который его заворожил.

— Я не знаю, какой должна быть сеньора, но грязной и оборванной вы меня больше не увидите, это я обещаю вам.

— А эту служанку, которая ничего не делала и позволяла тебе работать, я прогоню...

— Но она не виновата, я сама начала, я просто привыкла и — работала...

— Даже если она не виновата, нет, она не годится. Для нее ты никогда уже не станешь хозяйкой, ведь она видела, как ты выполняла работу служанки, и уже не будет уважать тебя. Я хочу, чтобы все к тебе относились с уважением, ты здесь хозяйка, и выше тебя только я, больше никто.

11

Долгое время Тереза оставалась одна в комнате, наедине с умершим. Голова его покоилась на подушке, руки были скрещены на груди. Тереза сорвала в саду розу, недавно распустившуюся, темно-красную, цвета крови, и вложила ее доктору в руки.

Когда доктор приезжал на автомашине с завода или из Аракажу, он после нежного поцелуя, которым она его встречала, отдавал ей свою чилийскую шляпу и хлыст с серебряной рукояткой, тогда как шофер и Алфредан вносили портфель и папки с документами, книги и свертки в гостиную и буфетную.

Доктор всегда носил с собой хлыст с серебряной рукояткой; и не только когда он разъезжал верхом по плантациям сахарного тростника или пастбищам, осматривая скот, но и в городах — в Баие, Аракажу, в правлении банка, в руководящем совете акционерного общества Эксимпортэкс. Хлыст этот служил для него украшением, символом и оружием.

В руках доктора Гедеса это было страшное оружие: в Баие, взмахнув хлыстом, он обратил в бегство двух юных налетчиков, введенных в заблуждение спешившим по улице седовласым полуночником,— те было приняли поспешность доктора за страх; а днем, в центре столицы, он заставил дерзкого писаку Аролдо Перу прогло-

тить состряпанную им газетную статью. Нанятый врагами Гедесов нахальный газетный писака, спокойно маравший за незначительную плату чужие репутации, оставаясь при этом совершенно безнаказанным, напечатал в одном продажном еженедельнике длинную и резкую катилинарию против могущественного клана. Главе семьи, Эмилиано, досталась наибольшая часть пасквиля: «закоренелый соблазнитель невинных крестьянских девушек», «бездушный латифундист, эксплуатирующий труд арендаторов и испольщиков, ворующий земли», «контрабандист сахара и кашасы, обладающий дурной привычкой наносить постоянно ущерб общественной казне при преступном попустительстве инспекторов штата». Младшие его братья, Милтон и Кристован, квалифицировались как «некомпетентные паразиты», «неспособные невежды», причем Милтон специализировался, мол, на «ханжестве», а Кристован на «пьянстве, будучи неисправимым выпивохой».

Статья читалась и обсуждалась. «В ней много правды, хотя она и написана тенденциозно»,— заявил один информированный политический деятель сертана перед оживленными слушателями у дверей правительственного дворца. Едва закончив фразу, депутат оглянулся и закрыл рукой рот: по площади поднимался доктор — в его руках хлыст с серебряной рукояткой, а навстречу ему шел твердым шагом человека, явно одержавшего успех, журналист Пера. Времени для отступления не было, и прославленному автору пришлось проглотить свою статью всухомятку... а на лице его остался след хлыста.

Здесь же, в Эстансии, доктор, выходя на ежедневную послеобеденную прогулку, вместо хлыста держал в руке цветок. Привычка эта возникла в начале их отношений, когда зарождавшаяся нежность мало-помалу перешла в настоящую близость. Во время своих приездов заводчик еще не показывался на улице в обществе Терезы, он по вечерам прогуливался один к старому мосту, к плотине, к гавани на берегах реки Пиауи; он скрывал Терезу, сохраняя связь в рамках приличия, они никогда не появлялись вместе на публике. Только близкие друзья были свидетелями терпеливо завоевываемых сокровищ любви: привязанности, доверия, откровенности, нежности, соединявших этих двух людей.

Это случилось однажды вечером, когда, поцеловав ее, он сказал: «Я пройдусь, Тереза, но скоро вернусь и лягу отдыхать, буду переваривать пищу». Она побежала в сад, сорвала бутон темно-красной розы — цвета крови — и, отдав его доктору, прошептала:

— Чтобы вы вспоминали обо мне на улице...

На следующий день в час прогулки он спросил:

— А где же мой цветок? Мне он нужен не для того, чтобы вспоминать о тебе,— это как будто ты сама со мной.

При последующих прощаниях, лишь он подходил к автомашине, Тереза, охваченная печалью, целовала розу и булавкой прикрепляла ее к петлице лацкана, а в руке Эмилиано снова оказывался хлыст с серебряной рукояткой.

Хлыст в руке, роза в петлице, прощальный поцелуй — доктор возобновляет свою многогранную жизнь вдали от Терезы. И приходилось ждать, когда он снова вернется к покою Эстансии, гостем на короткое время, которое делится у него среди стольких домов, среди стольких обязательств, интересов и привязанностей, когда Терезе выпадает лишь мгновение — пора, пока роза распустится и завянет,— тайная и краткая пора любовниц.

Сейчас в комнате, после того как она вложила цветок в руки любимого, Тереза пытается закрыть его голубые, прежде чистые и проницательные глаза, иногда бывшие холодными и недоверчивыми.

Пронизывающие глаза прорицателя, сейчас они мертвы, но еще открыты, как будто наблюдают за окружающим, взгляд их устремлен на Терезу — он знает о ней больше, чем знает она сама.

12

В теплые вечера Эстансии, с приятным, легким ветерком, под усеянным бесчисленными звездами небом, с огромной луной над деревьями, они с доктором долго оставались в саду, потягивая вина. Он предпочитал крепкие напитки — джин, водку, коньяк, она — портвейн или куантро.

Особняк их изменился, стал еще более комфортабельным, поскольку доктор привык к удобствам и хотел приучить к этому и Терезу. Одна из многочисленных комнат была разделена и превращена в две душевых, из которых первая соединялась с большой спальней любящей четы, а другая — с комнатой для гостей, которую обычно занимал Лулу Сантос, когда приезжал из Аракажу в обществе доктора или по его зову. Гостиная потеряла свой торжественный и старомодный вид залы, открывавшейся только в праздничные дни или дни важных визитов: в ней доктор установил книжные полки, стол для чтения и работы, электролу с пластинками и маленький бар. Альков рядом с гостиной превратился в уютный уголок для шитья.

Озабоченный тем, чтобы как-то занять время Терезы, свободные дни следовавших одно за другим длительных его отсутствий, доктор купил ей швейную машинку и спицы для вязания:

— Ты умеешь шить, Тереза?

— Умею ли, сама не знаю, но на ферме я чинила много одежды на машинке покойной.

— Не хочешь ли научиться? У тебя будет занятие, когда я отсутствую.

Школа кройки и шитья «Девы Марии Благодатей» находилась на маленькой улице позади Печального парка, и, чтобы ходить туда, Тереза пересекала центр города. Руководительница школы сеньорита Салвалена (Салва — от отца Салвадора, Лена — от матери, Элены), рослая особа с широкими бедрами и бронзовой грудью, кобылка с широкой рысью, сильно напудренная и намазанная, проводила в середине дня специальный урок для Терезы, получив авансом плату за полный курс — пятнадцать занятий. На третьем из них Тереза отказалась продолжать, бросила ножницы и метр, иголку и наперсток, так как благопристойная преподавательница «Девы Марии Благодатей» с первого же занятия стала намекать Терезе на возможность подрабатывать, развлекая некоторых богатых господ того же сорта, что и доктор, совладельцев текстильных фабрик, сеньоров в полном смысле слова и к тому же воспитанных людей; эти намеки очень скоро вылились в откровенные предложения: «Место — не проблема, встречи могли бы происходить здесь же, в школе, в одной из внутренних комнат, надежное и комфортабельное гнездышко — отличная постель, пуховый матрац, моя дорогая. Кстати, доктор Браулио, компаньон доктора Эмилиано по владению фабрикой, видел тебя проходившей по улице и был бы весьма расположен...»

Тереза схватила сумочку и, не простившись, повернулась спиной и вышла. Салвалена, удивленная и оскорбленная, принялась ворчать про себя:

— Дерьмовая гордячка... Хотела бы я на тебя посмотреть в тот день, когда доктор даст тебе пинок под зад... Тогда еще побегаешь за мной, будешь упрашивать меня, чтобы я устроила тебе клиента...— Неприятная мысль оборвала ее ругань: нужно ли возвращать деньги

за двенадцать несостоявшихся занятий? — Ничего не верну, не моя вина, что эта оборванка, прикидывающаяся честной, бросила учебу...

По приезде доктор пожелал узнать об успехах Терезы в школе кройки и шитья. А! Бросила занятия: у нее нет ни склонности, ни желания, она научилась достаточно для того, чтобы сшить самое необходимое, и все. У доктора был дар прорицания — кто мог выдержать пронизывающий взгляд этих чистых глаз?

— Тереза, я не люблю лжи, зачем ты говоришь неправду? Я тебе когда-нибудь врал? Скажи правду, что произошло.

— Она стала мне предлагать мужчину...

— Доктора Браулио, я знаю. В Аракажу он заключил пари, что наставит мне рога. Послушай, Тереза: у тебя не будет недостатка в предложениях, и если в один прекрасный день ты по какой-либо причине надумаешь согласиться, то скажи мне сначала. Так будет лучше для меня и прежде всего для тебя.

— Вы плохо меня знаете, как вы могли так подумать обо мне? — Тереза повысила в ярости голос, вздернула подбородок, глаза ее засверкали, но тут же она опустила голову, продолжая тихо: — Я знаю, почему вы думаете так: вы увезли меня из женского пансиона и знаете, что, принадлежа капитану, я спуталась с другим.— Голос ее превратился в шепот: — Это правда. Я сошлась с другим, но дело в том, что мне не нравился капитан, он взял меня силой, я никогда не любила его, по любви я была близка только с тем, с другим.— Голос ее снова повысился: — Если вы думаете обо мне так, то лучше уйти сразу же, я предпочитаю находиться в доме терпимости, чем жить, чувствуя недоверие, испытывая страх перед тем, что может случиться.

Доктор обнял ее:

— Не будь глупышкой. Я же не сказал, что не доверяю тебе, что считаю тебя способной на обман, по крайней мере, не это я хотел сказать. Я сказал, что если когда-нибудь надоем тебе, если ты заинтересуешься другим, то приди и скажи мне прямо, так поступают достойные люди. Я не думал тебя обидеть, и у меня нет для этого оснований. Я считаю одно: ты ведешь себя достойно, и я доволен.

Не выпуская ее из объятий, он, улыбаясь, добавил:

— Я тоже хочу быть искренним, скажу тебе правду. Когда я тебя спросил, что произошло, я уже знал обо всем,— не спрашивай меня откуда. Здесь все известно, Тереза, и все на поверхности.

В тот же вечер, после обеда, доктор пригласил ее на прогулку к мосту через реку Пиауи, чего раньше он не делал. Вместе, в вечерних сумерках, шли старик и молодая женщина, но ни доктору нельзя было дать его шести десятков с лишним, ни Терезе — ее шестнадцати — это были влюбленные мужчина и женщина, шедшие под руку, двое возлюбленных, прогуливающихся без стеснения, с веселым видом. Попадавшие по дороге редкие прохожие не узнавали доктора и его наложницу, они принимали их просто за чету милующихся. Вдалеке от центра, от городского оживления они не вызывали большого любопытства. Одна старуха даже остановилась, увидев их проходящими:

— Добрый вечер, мои милые, гуляйте с богом!

Вернувшись домой после того, как они посмотрели на реку, на плотину и пристань, доктор достал из холодильника бутылку шампанского. Услышав хлопок пробки и увидев ее взлетающей в воздух, Тереза рассмеялась и по-детски захлопала в ладоши. Эмилиано Гедес налил вино, и они вместе выпили из одного бокала. Тереза узнала вкус шампанского, который прежде ей был неизвестен. Как можно думать о другом мужчине, богатом или бедном, молодом или пожилом, красивом или уродливом, если у нее такой замечательный

любовник? Каждый день он чему-нибудь ее учит, показывает и рассказывает что-то новое.

— Пока вы будете меня любить, я никогда не стану принадлежать другому.

13

Однажды Алфредан пришел проститься:

— Я ухожу, сеньорита Тереза. Мисаэл останется на моем месте, он хороший парень.

Тереза знала от доктора о просьбе Алфредана: привезенный сюда на месяц из-за срочной работы, он прожил здесь уже полгода, в отрыве от семьи и завода, где определенной профессии не имел, но слыл мастером на все руки. Если бы не внуки, он остался бы в Эстансии, ему нравился этот край хороших людей, и более всех — Тереза:

— Хорошая девушка, доктор, другой такой нет. Такая молоденькая, а соображает, как взрослая женщина, выходит из дома только по необходимости и ни с кем не болтает на улице. Только и глядит на дверь, тоскует в ожидании вашего приезда, то и дело спрашивает меня: не приедет ли он сегодня, Алфредан? Я за нее ручаюсь, она достойна вашего покровительства, доктор. Без вас она думает только о том, как бы больше узнать и чему-то научиться.

Поставляемые Алфреданом сведения и рассказы о случившемся в дни отлучек, начиная с предложений руководительницы школы кройки и шитья и кончая приставанием коммивояжера Авио Аулера, своего рода Дана, соблазнителя, которого Алфредан проучил как следует, послужили доктору источником, чтобы составить окончательное суждение о Терезе.

От Алфредана доктор знал о том, что Тереза проводит вечера за чтением книг, за тетрадями с чистописанием. До того как она была продана капитану, в течение двух с половиной лет Тереза посещала школу, и учительница Мерседес Лима передала ей все, что знала, но это было не слишком много. Тереза хотела прочесть книги, имевшиеся в доме, и принялась учиться.

Эмилиано Гедес принимал близко к сердцу задачу следить за первыми шагами девушки и направлять ее, помогая усваивать правила поведения. Многому научил доктор свою молодую протеже в течение этого времени — в саду, дома и на улице,— но ничто не было для нее столь полезным, как курс задаваемых уроков. Каждый раз, перед тем как уехать, доктор оставлял ей задание — какой материал изучить, какие упражнения выполнить. Книги и тетради заполняли все праздное время Терезы, не давая ей скучать, излечивая от неуверенности.

В связи со всем этим доктор взял за правило читать ей вслух, начиная с историй для детей: Тереза путешествовала с Гулливером, была тронута сказкой об оловянном солдатике, смеялась до упаду над похождениями Педро Неудачника. Доктор тоже весело и раскатисто хохотал — он любил смеяться. Он, правда, предпочитал не выказывать свои чувства, но с нею он часто бывал растроган, нарушая предписанную самому себе суровую сдержанность.

Свободное время Терезы было не таким уж праздным. Хотя доктор не хотел, чтобы она хлопотала по дому, все же она продолжала заниматься уборкой, украшала дом — Эмилиано обожал цветы, и каждое утро Тереза собирала гвоздики и розы, георгины и хризантемы, цветочные вазы были полны всегда: никто не знал определенного дня и часа приезда доктора. Особенно много внимания она уделяла кухне — доктор любил вкусно поесть и был настолько требова-

телен к пище, что Терезе хотелось приобрести познания в этой области. Цивилизованному человеку требуется первоклассный стол, говаривал доктор, и Тереза хотя обжигала пальцы у плиты, но научилась готовить.

Жоан Нассименто Фильо раздобыл для них прославленную повариху, старую Эулину, ворчунью, постоянно жалующуюся на жизнь и легко приходящую в дурное настроение, но зато она была мастерицей в своей области.

— Артистка, Эмилиано,— вот что такое эта старуха. Приготовленное ею жаркое из козленка можно есть подряд целую неделю...— утверждал Жоан Нассименто.— В приготовлении простых и изысканных блюд Сержипе и Баии — мокеки из моллюсков, замечательных сладостей — нет никого, кто бы мог с ней соперничать. Божественная рука!

У нее Тереза научилась отмерять соль и смешивать пряности, определять точно время варки, правильно класть сахар и масло, кокосовое молоко, перец, имбирь. Когда старая Эулина, почувствовав тяжесть в голове и стеснение в груди — свинская жизнь! — бросала все и уходила без всяких объяснений, Тереза занимала освободившийся пост перед большой плитой: кто любит хорошо поесть, тот знает, что нет еды, равной приготовленной на плите, которая топится дровами.

— Старая Эулина готовит все вкуснее и вкуснее...— сказал както доктор, накладывая в свою тарелку запеканки из маниоки с курицей.— Это блюдо, казалось бы, простое, но одно из самых трудных для приготовления... Над чем ты смеешься, Тереза? Скажи мне.

К куриной запеканке старуха не имела отношения, она к ней и не притронулась — ей помешало очень дурное настроение. Сладости из кажу, жаки, араса были приготовлены Эулиной и были очень вкусны. «Ах, Тереза, но как же ты успела сделаться поварихой, когда и почему?» — «Здесь, в вашем доме, мой сеньор, желая лучше вам угодить».

Возвращением Алфредана на завод был отмечен конец одного из этапов жизни Терезы и Эмилиано, перенесенного всего труднее. Молчаливый и спокойный, Алфредан занимал какое-то среднее положение между садовником и охранником, сторожем и верным другом: под его наблюдением распускались цветы и зрели фрукты в саду, под сенью его забот возрастали доверие, нежность, ласки двух влюбленных. Тереза привыкла к молчаливости Алфредана, к его некрасивому лицу, к его преданности.

Ленивую служанку, взятую в первые дни, заменила Алзира, вежливая и шумливая, Мисаэл сменил Алфредана в саду, он делал покупки, сторожил дом, но не сторожил Терезу — в этом больше не было необходимости: доктор уже знал, что ей вполне можно доверять. Так протекали дни, недели, месяцы, и Тереза стала забывать свое прошлое.

В дни приезда доктора у нее не хватало времени на все необходимые дела и заботы: аперитивы, завтраки и обеды, друзья, книги, прогулки, купания в реке, стол и постель — гамак или циновка, расстеленная в саду, софа в гостиной, где он знакомится с документами и пишет распоряжения, кушетка в комнате, где она шьет и учится, ванная. Там и тут — везде и всегда — хорошо.

14

Около двух часов ночи доктор Аурелио вернулся, он принес свидетельство о смерти и вести о родных доктора Эмилиано Гедеса. Чтобы разыскать их на балу в Яхт-клубе, он разбудил половину Ара-

кажу телефонными звонками, когда наконец добился разговора с самым младшим из братьев, Кристованом, ответившим ему пьяным голосом. Аурелио звонил более двух часов: к счастью, на этот раз телефонистка Биа Турка не подняла шума из-за позднего часа, так как ей самой не терпелось узнать подробности смерти богача. Правда, врач, чтобы задобрить ее, дал ей понять, что доктор отдал богу душу (Биа Турка занималась спиритизмом) при довольно особых обстоятельствах. Деталей он не стал уточнять, Биа Турка, благодаря своей профессии или флюидам, могла и сама установить.

— Биа прямо вцепилась в телефон, дозваниваясь до Аракажу, она очень помогла. Когда мы наконец узнали, где находится его семья, я даже закричал «ура». Вначале ничего не было слышно из-за музыки, дело в том, что телефон Яхт-клуба находится в баре, и Кристован сидел там, поглощая виски. Когда я сообщил ему новость, думаю, он потерял голос, потому что бросил трубку, и мне пришлось кричать, пока не подошел кто-то еще и не сходил за зятем. Тот сказал, что они выедут сюда немедленно...

Вместе с врачом пришел Жоан Нассименто Фильо, грустный, взволнованный, испуганный:

— Ох, Тереза, какое несчастье! Эмилиано был моложе меня, ему еще не было шестидесяти пяти. Никогда не думал, что он умрет раньше меня. Такой крепкий, я не помню, чтобы он когда-нибудь жаловался на болезнь.

Тереза оставила их в комнате, пошла приготовить кофе. С отрешенным видом, вся в слезах, Нина выглядела безутешной родственницей — племянницей или двоюродной сестрой. Лула спал, сидя у стола в буфетной, положив голову на руки. Тереза занялась приготовлением кофе сама.

На постели, застеленной чистыми простынями, одетый так, будто он должен председательствовать на совете директоров Межштатного банка Баии и Сержипе, лежит доктор Эмилиано Гедес; светлые глаза его широко открыты, он, кажется, еще проявляет интерес к жизни и людям, желая все увидеть и проследить за началом долгого бдения у его тела в доме любовницы, в чьих объятьях он умер. Жоан Нассименто Фильо, с набухшими веками, обратился к врачу:

— Не похож он на мертвого, мой бедный Эмилиано. Смотрит, чтобы лучше командовать всеми нами, как это он всегда делал еще на факультете. Роза в руке, только не хватает хлыста. Суровый и щедрый, лучший из друзей, худший из врагов, Эмилиано Гедес, властитель Кажазейраса...

— Его погубили неприятности...— повторил врач свой диагноз.— Он никогда не откровенничал со мной, но слухи распространялись, их узнавали, даже ни о чем не спрашивая. Он ведь был таким близким вашим другом, Жоан, неужели он вам ничего не сказал? Даже позавчера? О сыне, о зяте?

— Эмилиано не был таким человеком, чтобы рассказывать о своей жизни даже самым близким друзьям. Я никогда не слышал от него ничего, кроме похвал по адресу семьи,— все они отличные люди, прямо императорская фамилия. Он был слишком горд, чтобы с кем-то делиться чем-либо компрометирующим свою родню. Я знаю, у него была слабость к дочери, когда она была молоденькой девушкой. Он всякий раз, как появлялся здесь, рассказывал только о ней, об ее красоте, уме, передавал забавные истории. Потом она вышла замуж, он больше не вспоминал о ней...

— Что вспоминать? Вспоминать о рогах, которые она наставляет мужу? Апаресида пошла в отца, у нее горячая кровь, она чувственна, горяча, говорят, что она разрушает домашние очаги Аракажу.

Она — с одной стороны, муж — с другой, он не уступает ей: каждый живет как хочет...

— Таковы нынешние времена и сумасшедшие браки...— заключил Жоан Нассименто Фильо.— Бедный Эмилиано, он безумно любил семью, детей, братьев, племянников, помогая всем, до самого дальнего родственника. Вот он как живой, только не хватает хлыста в руке...

Тереза вышла и тут же вернулась, принесла поднос с чашками кофе:

— Хлыста, а почему, сеу Жоан?

— Потому что Эмилиано носил одновременно розу и хлыст, хлыст с серебряной рукояткой.

— Но не тогда, когда бывал со мной, сеу Жоан, не здесь...— Слова Терезы были почти правдой.

— Кое в чем, Тереза, вы чуть-чуть одинаковы, я смотрю на вас и вижу Эмилиано. В совместной жизни вы стали похожи на него: та же честность, горделивость, не знаю, что там еще...

Он немного помолчал, потом продолжил:

— Я хотел прийти увидеть его сейчас, проститься с ним, пока он находится в вашем обществе. Я не хочу быть здесь, когда появятся его родственники. Из-за вас, Тереза, он приехал в Эстансию и уделил нам немного своего времени, столь заполненного делами, передал нам свою любовь к жизни. Когда он приехал, я уже поддался старости и ожидал смерти, он воскресил меня. Я хочу с ним проститься рядом с вами, других я не знаю и знать не хочу...

Снова молчание. Глаза мертвеца открыты. Жоан Нассименто продолжает:

— У меня не было братьев, Тереза, Эмилиано был для меня больше, чем братом. Я не потерял всего оставленного мне отцом, потому что он занялся моими делами. И он никогда об этом не напоминал. Я только что говорил доктору Амарилио: гордость и щедрость, хлыст и роза. Я пришел, чтобы увидеть Эмилиано и чтобы увидеть вас, Тереза. Могу я быть вам чем-нибудь полезен?

— Большое спасибо, сеу Жоан. Я никогда не забуду вас и доктора Амарилио; за то время, что прожила здесь, я приобрела друзей, он подарил мне даже это.

— Вы останетесь в Эстансии, Тереза?

— Без доктора, сеу Жоан? Я бы не смогла.

Последний глоток кофе они выпили молча. Жоан Нассименто Фильо думал о будущем Терезы: бедняжка Тереза, по слухам, она испытала много горького, прежде чем Эмилиано привез ее сюда, ей пришлось вести собачью жизнь.

Врач, обеспокоенный, поджидает падре, чтобы встретить уже направляющихся в Эстансию родственников — дочь, зятя, брата, куму — и приятелей покойного. Амарилио опасается их встречи с любовницей — это слишком деликатная проблема, как ее разрешить? Он едва знаком с некоторыми родственниками доктора Эмилиано. Хорошо их знает падре Винисиус, он уже несколько раз бывал на заводе, служил мессу... Где же падре, почему он так опаздывает?

Жоан Нассименто Фильо, взволнованный, долго смотрит на покойного, не скрывая слез, не утаивая охватившего его ужаса перед смертью:

— Никогда я не думал, что он уйдет из жизни раньше меня, моя очередь не за горами... Тереза, дочь моя, я исчезну до того, как приедут те люди. Если я понадоблюсь вам...

Он обнял Терезу, слегка коснулся губами ее лба: он выглядел сейчас куда более старым, чем когда пришел увидеть мертвого друга и попрощаться с ним. До скорого свидания, Эмилиано!

15

Их стали видеть вместе на улице в течение дня. Вначале это были утренние выходы для купания в реке — одно из любимых удовольствий доктора. С тех пор как он устроил любовницу в Эстансии, заводчик стал регулярно купаться у водопада Кашоэйра до Ояро на реке Пиауитинге. Один или в обществе Жоана Нассименто Фильо он ранехонько отправлялся на реку:

— Купанье — залог здоровья, сеу Жоан.

По возвращении из одной поездки доктор привез Терезе массу покупок, среди них был купальный костюм.

— Это чтобы нам вместе ходить купаться на реку.

— Нам? Вместе? — спросила задумчиво Тереза.

— Да, вдвоем, вместе.

Тереза надевала под платье купальный костюм, доктор — крошечные плавки. Они пересекали Эстансию и шли по направлению к реке. Несмотря на ранний час, прачки, не прекращая жевать табак, уже отбивали белье на прибрежных камнях, а Тереза и доктор принимали естественный душ под потоками Кашоэйра до Ояро. Место это было изумительно красиво: сбегая по гальке в тени огромных деревьев, река разливалась, образовывала широкую заводь кристально чистой воды. Туда они направлялись после «душа», переступая между бельем, разложенным прачками на траве для сушки.

Вода в самом глубоком месте доходила доктору до плеч. Протянув руки, он поддерживал Терезу на поверхности, обучал ее держаться в воде. Водовороты, игры, беззаботный смех, поцелуи, которыми они обменивались в реке. Утра Эстансии — ах! — никогда их больше не будет.

Поначалу Эмилиано и Тереза возбуждали всеобщее любопытство, у всех окон торчали зеваки, старые девы сожалели о переменах в поведении доктора — раньше он вел себя осторожно и почтительно, но с течением времени утратил всякую скромность, превратился в старого весельчака, удовлетворяющего капризы молодой девушки. Бесстыдница, она не хотела ничего иного, как показаться с богатым любовником, обнимала его чуть ли не на глазах людей, проявляя неуважение к семьям. Ханжи и подумать не могли, что Тереза всякий раз противилась, когда он приглашал ее купаться:

— Вместе? Люди будут судачить, вмешиваться в вашу жизнь.

— Пусть судачат, сладкий мой мед.— Взяв ее за руки, он добавил: — Уже прошло время...

Какое время? То первое — недоверия, неуверенности? Оба пришельца, случайно встретившиеся, разгадывающие друг друга, но еще не знающие друг друга как следует. Время испытания, когда Алфредан следил за ней на улице, слушал и передавал разговоры, охранял дверь дома, прогонял ухажеров и сплетников, когда Тереза укрывалась в саду и в доме, подчиняясь требованиям и советам доктора, как себя держать. Несмотря на вежливость и комфорт, постоянное внимание и возрастающую привязанность, начало было окружено чуть не тюремными стенами и решетками. Стены воздвигались в душе каждого из них. Тереза, смущенная, сдержанная, боязливая, угнетенная бременем воспоминаний о недавнем прошлом. Доктор, различающий в девушке определенные задатки, красоту, ум, характер,— это пламя в черных глазах, превращение в идеальную женщину: необработанный алмаз, подлежащий шлифовке, ребенок, которому предстоит стать женщиной. Он готов был потратить на нее время, деньги и терпение. Время испытания, своего рода посева, начала совместной жизни за стенами и решетками, трудный путь.

Какое время? То, в которое семена дали всходы и появился смех? Когда к сладострастию примешалась нежность и доктор признал в ней честную женщину, достойную доверия и уважения, не только интереса; когда пропали сомнения у Терезы и душою и телом она стала принадлежать доктору, видя в нем божество,— поэтому она и оказалась у его ног, стала его любовницей, хотя и не ровней ему. Время осторожности и сдержанности. Они выходили вместе только к вечеру, после обеда, выбирая малолюдные пути; принимали у себя в доме лишь врача Амарилио и Жоана Нассименто Фильо кроме Лулу Сантоса, первого из друзей.

Уже прошли те времена, да, другое время началось. В этот день любовь, состоящая из всех прежних, слившихся теперь воедино чувств, претворившись в нечто цельное, ценное, окончательно оформилась.

Доктор зачастил в Эстансию, дольше пребывал в особняке, который превратился почти в постоянное место жительства. Тут он принимал не только друзей за обедами, завтраками и по вечерам, но и визитеров из числа знатных людей города: судью, префекта, священника, прокурора, полицейского инспектора. Он вызывал в Эстансию директоров Межштатного банка, акционерного общества Эксимпортэкс для обсуждения дел, принятия решений.

Тереза перестала быть дикой девчонкой из сертана, вытащенной из тюрьмы и женского пансиона. Благодаря общению с доктором она стала приходить в себя, выглядела теперь красивее, элегантнее, грациознее — женщина во всем великолепии молодости. Уединявшуюся прежде, теперь ее встречали веселой и общительной; была она замкнутой — раскрылась в радости.

Для Эмилиано каждое расставание с ней становилось все тягостнее; для Терезы все длиннее казались дни, проводимые в ожидании любимого. За несколько месяцев до смерти доктора один из руководителей банка резюмировал положение в разговоре с другими коллегами из совета директоров, друзьями, пользовавшимися полным доверием:

— По тому, как идут дела, вскоре главная контора банка будет переведена из Баии в Эстансию.

16

— Может быть, вам лучше не выходить со мною так часто...

— Не глупи, дорогая. Я не собираюсь из-за чьих-то пересудов отказываться от удовольствия гулять с тобой. Это меня не интересует. Все только из зависти — потому что ты моя. В сущности, я несправедливо держу тебя здесь в Эстансии запертой в стенах особняка, почти пленницей. Разве не так, Тереза?

— У меня здесь все, что хочу, я очень счастлива.

Друзья за обедом, купание в Пиауитинге, вечерняя прогулка, мост через реку Пиауи, пристань. Для нее было достаточно, и даже если бы ей пришлось оставаться дома взаперти, это не имело значения. Слышать, что она нужна ему,— вознаграждение за любую утрату.

Они не раз устраивали прогулки по окрестностям. Выезжали на лодке к устью реки Реал, на границу штатов Баии и Сержипе, чтобы видеть море, плещущееся у пляжа Манге Секо, огромные песчаные дюны, посетить деревню Сако, поселок рыбаков. Они никогда не выезжали из города, Тереза еще не видела моря в ту пору, и хотя она мечтала отправиться в путешествие, но не расстраивалась от того, что пока этого не удавалось осуществить. Ей достаточно было

присутствия доктора, достаточно находиться с ним в одном доме, смеяться, учиться у него, выходить с ним на улицу...

Поскольку доктор располагал очень ограниченными свободными часами, то время, уделяемое Терезе, он урезал у завода, у банка, у дел, у семьи,— и эти часы они проводили, как правило, наедине, в укромном особняке. Для доктора это было отдыхом, паузой; для Терезы — жизнью.

Город привык к постоянному и временному пребыванию доктора — к его плавкам, к цветку в руке, к обществу его любовницы, к тому, что они осматривали старинные здания, беседовали в Печальном парке, облокотившись о перила моста, безразличные к сплетням. Доктор перестал играть в скромность; человек богатый — все знают — имеет право содержать любовницу в особняке, с открытым текущим счетом, это почти обязательное условие его положения, однако если он женат, то нехорошо показывать подругу публично, оскорбляя добрые нравы.

Постепенно злословие исчерпало себя, потеряло вкус новизны, волновавшая когда-то тема пересудов и сплетен стала забываться. О докторе Эмилиано и его красавице возлюбленной теперь говорили:

— Девушка доктора — ай! — творит чудеса. От ее взгляда и мертвец поднимется.

17

Через оконную штору в комнату проникает полоска света, ложится на лицо покойного. Врач Амарилио появляется в дверях, с взволнованным видом обводит взглядом комнату. Тереза не меняет позы.

— Они должны скоро приехать...— бормочет врач.

Тереза будто не слышит; сидит словно окоченев, с сухими, мутными глазами. Стараясь не шуметь, врач медленно удаляется. Ему хочется, чтобы все закончилось как можно быстрее.

«Приближается час, Эмилиано, когда мы оба покинем Эстансию навсегда. Нет в мире другого города, столь гостеприимного и красивого. Утро на реке, заводь и поток, сумерки старинных особняков, прогулки под руку, лунные вечера, напоенные ароматом гардений, ах! Эмилиано, никогда больше...»

Мужчины уже не будут завидовать доктору — старый счастливец! Женщины перестанут твердить о его возлюбленной — счастливая девчонка! Уже не будут видеть на улице радостных влюбленных, презирающих мораль, шествующих спокойным шагом, свободно смеясь!

К сожалению, лопается мыльным пузырем затеянный сплетницами спор о том, кто из владельцев фабрик, заводов или фазенд займет освободившееся место в постели Терезы, когда доктор пресытится девушкой.

«Не бойся, Эмилиано. Я не стала сеньорой, как ты хотел, возможно, потому, что не сумела, возможно, потому, что не хотела. Что толку быть сеньорой? Я предпочитаю быть честной женщиной, человеком слова. Хотя до сих пор я была лишь рабыней, падшей, наложницей, не опасайся за мою судьбу: эти здешние богачи — никогда ничего не добьются от меня, Эмилиано! Ни один из них не коснется даже оборки моего платья. Твою гордость — я ее тоже унаследовала от тебя. Скорее я вернусь в пансион.

Твои скоро приедут, они уже покинули бал, спешат сюда, скоро приедут за моим господином. Наш праздник тоже окончился — бы-

стротечная пора цветения и увядания роз. Кончилась Эстансия, Эмилиано, мы с тобой покидаем ее.

Они уже в пути, увезут твой труп. Я увезу с собой, в своей душе твою жизнь и твою смерть».

18

— Итак, в субботу состоится празднество на площади у кафедральной церкви. Тебе бы хотелось пойти на него, дорогая?

— А что я там буду делать одна?

— А кто тебе сказал, что ты пойдешь одна? Одной я тебе не разрешу, я не хочу рисковать, когда столько плутов увивается вокруг тебя... Я предлагаю тебе свое скромное общество...

Тереза, удивленная, ликующе захлопала в ладоши, как малышка:

— Вдвоем? Согласна ли я? Не спрашивайте! — Но тут же место легкомыслия занимает благоразумие: — Вызовет много пересудов, не стоит, пожалуй.

— Ты придаешь значение сплетням?

— Это не из-за меня, а из-за вас. Про меня пусть болтают что угодно.

— Про меня тоже, Тереза. Следовательно, мы предложим добрым людям Эстансии, которые нас принимают с такой любезностью и у которых не так много новостей для обсуждения, пикантное блюдо для сплетен. Послушай, Тереза, и знай раз навсегда: у меня нет больше никакой причины скрывать что бы там ни было. Обсуждение закончено, давай выпьем, чтобы отметить...

— Еще не закончено, сеньор. Разве не в субботу сеу Жоан, врач Амарилио и падре Винисиус придут к нам обедать?

— Мы перенесем обед на день раньше, на завтра. они тоже захотят пойти на празднество, падре же вообще не может там не быть. Надо будет предупредить Лулу.

— Я так довольна...

Поцеловав ее и наполнив снова рюмки, Эмилиано сказал:

— Знаешь, Тереза, на этот раз я привез вино, которое вызовет слезы умиления у Жоана Нассименто, это вино нашей с ним молодости. В свое время оно было в продаже в Баие, потом исчезло совершенно, оно называлось «Константиа» — это ликер из Южной Африки. Так вот, парень, который поставляет мне вина, добыл две бутылки на борту американского торгового судна, зашедшего в Баию за кофе. Ты увидишь, старый Жоан обалдеет...

Во время обеда на следующий день Тереза наблюдала за усилиями доктора быть, как обычно, радушным хозяином, поддерживать за столом сердечную, оживленную беседу. Замечательная пища, избранные вина, красивая, элегантная и внимательная хозяйка — все самое лучшее, но не хватало заразительной оживленности, силы, жизнерадостности Эмилиано. На этот раз Терезе не удалось добиться, чтобы доктор выкинул из головы проблемы, затруднения и неприятности, забыл обо всем, что творится за пределами Эстансии.

В конце обеда он все же оживился, зазвучал его свободный, заразительный смех человека, довольного жизнью. После кофе, когда закурили сигары в ожидании лишь ликеров и коньяков, он вышел из столовой и вернулся, неся бутылку, в его светлых глазах сияло лукавство, он улыбался:

— Сеу Жоан, держись крепче, чтобы не упасть, у меня сюрприз... Знаешь, что у меня в руках? Смотри, бутылка «Константии», «Константии» нашей юности.

Жоан Нассименто Фильо сразу оживился, как бы внезапно помолодел.

— «Константиа»? Что ты говоришь? — Он встал и протянул руку.— Дай-ка мне взглянуть.— Дрожащими руками Жоан надевает очки, чтобы прочесть этикетку, любуется на свет вином, отливающим старым золотом, и восклицает:

— Ты дьявол, Эмилиано!..

В субботу во второй половине дня на площади у кафедральной церкви царило оживление, празднество было организовано знатными дамами в пользу богадельни для стариков и дома милосердия; киоски обслуживались девушками и молодыми людьми из высшего общества, в двух импровизированных барах продавали прохладительные напитки, вина и пиво, сандвичи, горячие сосиски, лимонный коктейль, миндаль, мандарины, бесчисленные сладости; был открыт луна-парк Жоана Перейры с каруселью, летающими лодками, гигантским колесом.

Когда появился доктор под руку с возлюбленной, на секунду все остановились, стараясь рассмотреть их. Тереза так хороша и так элегантно одета, что даже дамы вынуждены признать: никто в Эстансии не может сравниться с ней. Старик с серебристой шевелюрой и бронзовая девушка идут сквозь толпу, переходят от киоска к киоску.

Доктор ведет себя как юноша, он покупает голубой шар для Терезы, выигрывает приз в стрелковом тире — пачку иголок и наперсток, угощает Терезу прохладительным из мангабы, делает ставку в рулетку и проигрывает, останавливается у аукциона. Не узнав даже, какой разыгрывается предмет — за него уже назвали цифру в двадцать крузейро,— он выкрикивает: сто! И немедленно становится обладателем ужасного цветного абажура. Тереза не может удержаться от хохота, когда аукционщик получает большую сумму и с благодарным поклоном вручает дешевенький выигрыш. До сих пор Тереза чувствовала себя принужденно под косыми взглядами знатных дам и кумушек, толпы, провожавшей их взглядами, следившей за ними издалека. Но сейчас, смеясь до упаду, она спокойно встречает взгляды и перешептывания, безразличная к любопытным, счастливая, под руку с доктором.

Доктор тоже отрешился от своих забот и горестей. Время от времени он отвечает на почтительное приветствие кого-нибудь из знакомых. Издали благородные дамы посматривают на бесстыдную чету, высчитывая цену платья, задавая себе вопросы о стоимости серег и кольца — настоящие это камни или простая подделка? Но смех Терезы не имеет цены.

Впервые у нее невольно вырывается пожелание — почти просьба:

— Мне всегда хотелось прокатиться на гигантском колесе.

— Никогда не каталась на нем, дорогая?

— Не приходилось.

— Ну что ж, покатаешься сегодня. Пошли.

Они постояли в очереди, прежде чем заняли места. Поднялись немного, пока колесо останавливалось, чтобы высадить пассажиров и принять новых. С бьющимся сердцем Тереза схватила левую руку доктора, свободной рукой он ее обнял. Когда кабина остановилась в самой высшей точке, они увидели сверху весь город. Толпа развлекалась, до них доносился неясный шум разговоров и смеха, сверкали разноцветные огни киосков, карусели, огни вокруг площади. Немного дальше — пустые, плохо освещенные улицы, масса деревьев Печального парка, силуэты особняков в сумраке. Слышался шум рек, бегущих по камням, чтобы соединиться в старом порту, по дороге к морю. Наверху раскинулось огромное небо, усеянное звездами, и сияла луна Эстансии, огромная, неправдоподобная. Тереза выпустила

голубой воздушный шар, ветер понес его по направлению к порту — может быть, к далекому морю.

— Ах, как чудесно! — прошептала она взволнованно.

На площади несколько зевак, задрав головы, упорно наблюдали за ними. Кое-кто из дам и кумушек даже рисковали вывихнуть себе шеи, чтобы только увидеть их. Доктор прижал к себе Терезу, она прильнула головой к его плечу. Эмилиано погладил ее черные волосы, коснулся ее лица и поцеловал в губы — долгий, глубокий поцелуй на глазах у всей публики. Какой скандал, какая наглость, какое наслаждение, великолепие! Ах, счастливцы!

19

В темноте и в тишине комнаты Тереза различает шум подъезжающих автомобилей на улице. Сколько их? Не один, во всяком случае. «Вот они прибыли, Эмилиано, твои родственники. Твоя семья, твои близкие. Они завладеют твоим телом, увезут его. Но пока ты в этом доме, я останусь здесь, с тобой. У меня нет никакой причины прятаться от кого бы то ни было, так говорил ты. Я знаю: для тебя не имеет значения, что они меня увидят, и знаю, что, если бы ты был жив и они внезапно приехали бы, ты сказал бы им: это Тереза, моя жена».

20

Врач Амарилио несколько изменившимся голосом вежливо указывает дорогу:

— Сюда, пожалуйста.

В дверях комнаты появился смуглый детина, едва не такой же высокий, как доктор, красивый и статный, как он, но в то же время — полная ему противоположность. В алчных глазах — хитрый блеск, на губах похотливая улыбка. Он был сильным, а казался слабым, был вульгарным, а представлялся благородным, был лицемером, а изображал из себя откровенного человека. Бросался в глаза смокинг, сшитый у дорогого портного; детина сиял праздником, роскошью, бездельем.

Почти скрытый фигурой вновь прибывшего, врач представил его:

— Тереза, это доктор Тулио Бокателли, зять доктора.

«Да, ты прав, Эмилиано, достаточно бросить на него взгляд, чтобы признать в нем каса-дотес [1], альфонса». Такого типа, из высшего общества, Тереза еще не видывала, но ведь все они, каков бы ни был уровень круга, где эти типы вращаются, между собой имеют нечто общее, неопределенный, хотя ясно видимый отпечаток.

— Доброй ночи...— итальянский акцент, скорбный тон.

Глаза хищника задержались на Терезе, он мысленно оценивал ее. Красивее, гораздо красивее, чем ему говорили, мадонна-метиска, великолепная девочка, старый черт умел выбирать: у него были основания прятать ее здесь, в Эстансии. Вошедший устремил взор на тестя: открытые глаза покойника придавали ему сходство с живым. Подобно острию лезвия, глаза доктора впивались в души людей,— а Тулио никогда не удавалось обмануть его. Эмилиано всегда обращался с ним с предельной любезностью, однако не позволял по отношению к себе ни малейшей близости, даже когда тот показал себя умелым администратором, способным управлять делами и приумно-

[1] Так в Бразилии называют бедного человека, стремящегося жениться на богатой невесте.

жать деньги. С того дня, когда он был ему представлен, зять различал в глазах доктора только пренебрежение и презрение. Глаза чистые, голубые. Безжалостные. Угрожающие. На заводе Тулио никогда не чувствовал себя в полной безопасности: а что, если старый вожак прикажет убрать его одному из своих телохранителей с мягкой речью и многими смертями за спиной? Даже сейчас тесть смотрит на него брезгливым взглядом. Брезгливым — это точное, очень меткое определение.

— Кажется живым il padrone[1].

Кажется живым, но он уже мертв, патрон сошел со сцены, наконец-то Тулио Бокателли — богатый человек; это стоило ему наглости, цинизма и терпения.

Из гостиной доносятся голоса женщин и мужчин, среди последних выделяется голос падре Винисиуса. Тулио вошел в комнату, пропустив вперед Апаресиду Гедес Бокателли. Декольте бального платья открывает белую пышную грудь, сзади оно показывает всю спину до самого низа. Апа — вылитый портрет отца, то же чувственное лицо, сильная, какая-то агрессивная красота, жадный рот, как у Эмилиано, но у того алчность была прикрыта серебром пышных усов. Довольно возбужденная, Апаресида идет покачиваясь. На балу она пила мало, увлеченная танцами с постоянным своим партнером Олаво Биттенкуром, молодым врачом-психоаналитиком, недавней ее любовью,— Апа любит разнообразие. Но по дороге в Эстансию она выпила чуть не целую бутылку виски.

Она опирается на руку Олаво. Увидев, однако, тело отца, освещенное слабым колеблющимся пламенем четырех свечей и неясным утренним светом, она бросается на колени возле кровати, рядом со стулом, на котором сидит Тереза.

— Ах, папочка!

«Невзирая на то, что она твоя дочь, ты относился к ней, Эмилиано, без уважения, называя ее точным и жестоким словом — потаскушка, но ты не винил ее, возлагая вину прежде всего на свою кровь и свой род».

Апаресида разражается рыданиями — ах, папочка! Протягивает руки и касается тела отца: «Ты стал грустен, перестал брать меня на колени, гладить меня по голове, называть меня королевой и охранять мой сон и мою судьбу. Ах, папочка!»

Рядом с ней стоит с участливой миной молодой знаток неврозов и комплексов, готовый помочь ей таблеткой, инъекцией, пожатием руки, влюбленным взглядом, беглым поцелуем. Из угла комнаты Тулио с интересом наблюдает за волнением Апаресиды, но воздерживается от вмешательства. Вовсе не безразличный к страданиям жены, он знает, что в эти часы ей более полезен врач и любовник, а не муж. Еще лучше, если врач и любовник соединены в одном партнере по танцам, в убогом типе, воображающем себя неотразимым. В таких деликатных делах Тулио Бокателли отличается чуткостью и тактом.

Между тем наполненные слезами глаза Апаресиды, бегающие в поисках помощи и поддержки, ищут не любовника, а мужа. Если есть в семье кто-либо способный повести вперед судно, принять командование и обеспечить продолжение праздника, то это сын портье дворца графа Фассини в Риме, Тулио Бокателли,— он единственный. Он улыбается Апаресиде, их объединяет один интерес — выгода, интерес почти столь же сильный, как и любовь.

Шумный спор с падре разгорелся в столовой. Вырывается визгливый женский голос:

---

[1] Патрон *(итал.)*.

— Я не войду, пока эта женщина не покинет комнату. Ее присутствие возле него — оскорбление для бедной Ирис и всех нас.

— Спокойно, Марина, не раздражайся...— Нерешительный, едва слышный голос мужчины.

— Входи ты, если хочешь, ты привык сожительствовать с проститутками, я — нет. Падре, уберите эту женщину оттуда!

По всей видимости, это супруга Кристована. Муж—пьяница, Марина — заядлая гадалка на картах, систематически и рьяно преследует любовницу и незаконных детей супруга, заказывая смертельные талисманы, посылая анонимные письма, нанося оскорбления по телефону,— она живет всем этим...

Тереза — каменное лицо — встает со стула, склоняется над постелью: «Прощай, Эмилиано». Легко коснувшись пальцами его век, закрывает ему глаза и, минуя родственников усопшего, выходит из комнаты. Апа поднимает голову, чтобы увидеть ее, любовь отца, о которой столько говорят. Тулио со смаком прикусывает нижнюю губу: хороша!

На постели — мертвое тело, труп доктора Эмилиано Гедеса, старого властелина Кажазейраса, с навсегда закрытыми глазами. Ах, папочка! — стонет Апаресида. Il padrone é fregato, evviva il padrone[1]! Принимает важный вид Тулио Бокателли, новый патрон Кажазейраса. Он говорит священнику и врачу:

— Давайте положим его в санитарную машину, будто ему просто стало плохо, у него, мол, инфаркт или кровоизлияние — по вашему выбору, доктор Амарилио. Человек его положения должен умереть пристойно. Он умер по дороге в больницу, когда его везли с завода.

Вдали послышалась резкая сирена санитарного автомобиля, будя народ и вызывая любопытство находящихся в Эстансии. Машина останавливается у особняка. Санитары выходят из машины, берут носилки.

— Лучше, доктор Амарилио, если вы поедете с ним в санитарной автомашине до Аракажу. Чтобы сохранить видимость.

Конца нет этому кошмару! Но врач, подумав о счете, который он представит, соглашается. По пути он завернет на мгновение домой, чтобы успокоить ждущую его с нетерпением Веву. Позднее у него будет многое, что рассказать ей.

Тулио, падре Винисиус и Нина направляются в комнату, тогда как врач и Лула идут навстречу санитарам. Сирена санитарного автомобиля разбудила детей, соседей и доктора Олаво Биттенкура, который поспешно выходит, чтобы позаботиться о покинутой Апе. Как, черт возьми, он заснул? Вышел покурить, задремал в гамаке,— заслужит ли он прощение? Торопливо возвращаясь в дом, он встречается в столовой с Терезой.

Тереза снова входит в комнату, будто не замечая родственников и близких покойного. Подходит к кровати, останавливается на мгновение в молчании, глядя в лицо любимого.

— Уберите эту проклятую отсюда!..— кричит Марина.

— Прекрати сейчас же! Заткнись! — взрывается Тулио.

Будто она одна в комнате, ничего не слыша, Тереза опять склоняется над телом доктора, трогает его лицо, усы, губы, волосы. «Пора ехать, Эмилиано. Они увезут только твой труп, ты же поедешь со мной». Она целует ему глаза, улыбается ему. Словно поднимает на плечи любимого, любовника, друга, свою любовь, выходит из комнаты. На носилках санитары выносят тело заводчика, директора банка, предпринимателя, землевладельца, выдающегося гражданина, с

[1] Патрон умер, да здравствует патрон! *(итал.)*

тем чтобы он умер достойно в санитарной машине по дороге в больницу от инфаркта или кровоизлияния, как уж вы предпочтете, доктор Амарилио.

21

— Дурная кровь, Тереза. Гнилая кровь — моя и моих родственников.

Прошло немногим больше двух часов, но они показались скорбной вечностью. Эмилиано рассказывал и комментировал, суровый и резкий, не выбирая слов. Никогда Тереза не думала, что может услышать из уст доктора такой рассказ, услышать такие выражения в адрес братьев, сына, дочери. В доме любимой он не говорил о семье, и если какое-нибудь упоминание о них и вырвалось у него за эти шесть лет, то оно было только похвальным. Однажды он показал ей портрет Апы, молоденькой девушки с голубыми отцовскими глазами, чувственным ртом.

— Она прекрасна, Тереза,— сказал он, умиленный,— это мое сокровище.

Вечером того памятного майского воскресенья Тереза поняла все масштабы несчастья, гораздо большие, чем она могла предполагать, слыша намеки, отдельные вырывавшиеся слова и фразы друзей и посторонних, видя молчание Эмилиано. Должно быть, ему стоило огромного труда казаться сердечным, любезным, улыбающимся, выглядеть всегда веселым в совместной жизни с нею и друзьями, сохраняя только для себя одного горькое предположение, пожиравший его гнев. Неожиданно все это переполнило его и вылилось через край.

— Дурная кровь, дурной род, вырождающийся.

Только два человека среди его близких не разочаровали его, не обманули его доверия — это Изадора и Тереза. Думая об Изадоре, бедной портнихе, образцовой супруге, незабываемой подруге, заводчик решил приостановить распоряжения, данные Алфредану и касающиеся Тулио Бокателли. Он велел пока не убивать зятя, дать ему еще возможность показать себя.

— Хорошая кровь, Тереза,— кровь людей из народа. Что бы я ни дал, лишь бы быть молодым и иметь от тебя детей, о которых я мечтал.

По крутым горным тропинкам дошли они до клятв в любви, до нежной идиллии. Высказав ей с горечью, злобой и страстностью то, что он никогда не мог доверить родственнику, компаньону или другу, доктор обнял ее и, целуя в губы, посетовал:

— Слишком поздно, Тереза. Я поздно дал себе в этом отчет. Поздно иметь детей, но не поздно жить. У меня только ты единственная во всем мире, моя дорогая, как я мог быть таким несправедливым и мелочным?

— Несправедливым ко мне? Не говорите так, это неправда! Вы мне дали все. А кто я такая и можно ли мне желать большего?

— Прогуливаясь недавно с тобою по дороге в гавань, я внезапно спохватился: если бы я сегодня умер, то ты осталась бы без гроша и тебе пришлось бы еще тяжелее, чем до того, как ты приехала сюда, теперь твои потребности стали больше. Прошло более шести лет, а ранее я не подумал об этом. Не о тебе думал, а только о себе...

— Не говорите так, я не хочу слушать.

— Завтра утром я позвоню по телефону и дам Лулу распоряжение немедленно приехать, чтобы записать этот дом на твое имя и добавить пункт в мое завещание — наследство, которое обеспечило бы твою жизнь после моей смерти. Ведь я старик, Тереза.

— Не говорите так, пожалуйста...— Она повторила: — Пожалуйста, прошу вас.

— Хорошо, больше говорить я не буду, но меры необходимые приму. Чтобы исправить, по крайней мере частично, несправедливость: ты мне даешь покой, радость, любовь, а я взамен держал тебя здесь взаперти только для своего комфорта, как какую-то вещь, предмет, пленницу. Я — хозяин, ты — рабыня, даже до сегодняшнего дня ты обращаешься ко мне на «вы», называешь меня сеньором. Я был так же плох для тебя, как и капитан. Другой капитан, Тереза, вылощенный, отутюженный, но в сущности точно такой же. Эмилиано Гедес и Жустиниано Дуарте да Роза по сути одинаковы, Тереза.

— Ах, не сравнивайте себя с ним! Никогда не было двух столь различных людей. Не оскорбляйте меня, оскорбляя себя так. Если бы вы были одинаковы, зачем я была бы здесь, зачем я стала бы плакать из-за ваших близких, если о себе я не плачу? Не сравнивайте — это меня оскорбляет. Для меня вы были всегда хорошим, научили меня быть достойной женщиной и ценить жизнь.

Эмилиано как бы воскрес от взволнованного голоса Терезы.

— За эти годы, Тереза, ты узнала, каков я, ты знаешь мои хорошие стороны и плохие, то, на что я способен. Я вырвал из своего сердца все дурное, но пустым мое сердце не осталось, я не умер. У меня есть ты. Ты — и больше никого.

Внезапная робость подростка, взволнованного просителя, беспомощного,— полная противоположность господину, привыкшему повелевать, прямому и твердому, дерзкому и храброму, когда необходимо. Почти срывающийся, растроганный голос:

— Вчера на празднестве началась поистине наша жизнь, Тереза. Теперь нам принадлежит все время, весь мир. Я уже не буду оставлять тебя одну, теперь мы будем всегда вместе, здесь и где бы то ни было; ты будешь разъезжать со мной. Кончилась случайная связь, Тереза.

И прежде чем подняться во весь свой высокий, как у дерева, рост и заключить ее в объятья, заканчивая исповедь, Эмилиано Гедес сказал:

— Чего бы я ни дал, чтобы оказаться холостым, тогда я смог бы жениться на тебе. Хотя и это ничего не изменило бы в том, что ты значишь для меня. Ты — моя женушка.

Целуя его, она прошептала:

— Ах, Эмилиано, любовь моя.

— Никогда больше не называй меня сеньором. Где бы то ни было.

— Никогда больше, Эмилиано!

Шесть лет прошло с того вечера, когда он забрал ее из пансиона. После исповеди — признания в любви поднял он Терезу на руки и внес в брачную спальню. Последние препятствия преодолели они, Эмилиано Гедес и Тереза Батиста. Серебристый старик и бронзовая девушка.

22

Санитарный автомобиль уехал, любопытные задержались на тротуаре напротив особняка, обсуждая случившееся в ожидании того, что произойдет дальше. Нина увела детей и вернулась к зевакам, горя желанием посплетничать.

В комнате ризничий собрал подсвечники, огарки свечей. Последний завистливый взгляд на большое зеркало — ну и развратники! Вот и он ушел. Падре простился еще раньше:

— Да поможет тебе бог, Тереза.

Тереза кончила укладывать чемодан. На рабочем столе Эмилиано, на его бумагах — хлыст с серебряной рукояткой. Она думала взять его с собой. Но зачем ей хлыст? Лучше розу. Она покрывает голову черной шалью с красными цветами — последний подарок доктора, привезенный им в прошлый четверг.

В саду она срывает самую пышную красную розу, цвета крови. Ей хотелось бы попрощаться с детьми и старой Эулиной, но Нина спрятала детей, а кухарка придет лишь в шесть часов.

Чемодан в правой руке, роза — в левой. Шаль на голове. Тереза открывает калитку. Оставляет позади любопытных, будто не замечая их. Твердый шаг, сухие глаза. Она спешит к остановке автобуса, чтобы успеть сесть на первую машину, отправляющуюся в пять утра в Салгадо, где проходит поезд железнодорожной компании «Лесте Бразилейра».

Тереза Батиста сбрасывает смерть в море

1

Жизнь — дело сложное и щекотливое. Вторично Тереза Батиста получила предложение руки и сердца, но первый раз не в счет: претендент был слишком пьян для такого торжественного момента. Впрочем, несправедливо обвинять его — Марсело Розадо, неисправимый трезвенник, на редкость застенчивый, выпил только ради того, чтобы набраться мужества и объясниться в любви. Человек скромный, он был искренне влюблен в нее и готов жениться, но у него не хватало духа обратиться к Терезе и попросить руки. Он осоловел от кашасы, и, поскольку не привык к выпивке, произошло несчастье: в самый ответственный момент признания его стошнило; это произошло в доме свиданий Алтамиры в Масейо [1], где Тереза встречалась с ним (и кое с кем еще) время от времени, когда бывала стеснена в деньгах.

Тереза не обиделась, но и не приняла всерьез предложения бухгалтера могущественной фирмы «Рамос & Менезес». Она не дала себе труда привести какие-либо серьезные мотивы отказа, обратила все в шутку, и тем дело завершилось. Охваченный стыдом, оскорбленный пренебрежением, проявленным воображаемой невестой, Марсело исчез, захватив с собой лишь воспоминание о Терезе,— забыть ее он никогда не сможет. Женщина, на которой он в конце концов женился несколько лет спустя в Гойасе, напоминала по характеру, манере смеяться и взглядам несостоявшуюся невесту, у которой он потерпел фиаско, несравненную девушку. Самбистка кабаре, она и сейчас в Баие, она и сейчас несравненная девушка, посещающая лишь по необходимости дом свиданий Тавианы, благопристойный, с хорошей репутацией. При этом, грустно признавать, она имела больше успеха в постели, чем на эстраде «Цветка Лотоса», «феерического храма ночных развлечений», согласно рекламной, хотя и оспоримой фразе хозяина заведения Алинора Пиньейро.

[1] Столица штата Алагоас, соседнего со штатом Сержипе.

Не имея больших расходов — в азартные игры она не играла и не содержала альфонсов,— Тереза старалась посещать дом свиданий как можно реже, несмотря на непрекращавшийся поток предложений. Обладая выдающейся красотой, похвальным воспитанием, изящными манерами, она была далека от какой-либо заинтересованности, сексуальной или сентиментальной, проявляя полное безразличие к мужчинам. Ее клиентура ограничивалась немногими состоятельными господами, избранными Тавианой, клиентами с большим стажем и солидными деньгами. Никогда ни один из них не заслужил симпатий Терезы. Некоторые хотели иметь ее постоянно, показывая туго набитые бумажники, делая соблазнительные предложения. Связь — никогда! Она не повторит ошибку, которую совершила, когда попробовала жить с управляющим медицинским пунктом Букима.

С далеких времен Аракажу кровь ее не пульсировала сильнее в венах, она не обменивалась ни с кем взглядами, в которых, в страстном волнении, сменялись свет и тени. Тереза умерла для любви. Нет, это неправда. Любовь жжет ее сердце, кинжал, вонзенный в грудь, жестокая тоска, последняя, слабая надежда. Жануарио Жерэба, моряк бескрайнего далекого моря, где ты?

2

Старая Тавиана, хозяйка дома свиданий, с которой она подружилась, не раз говорила ей:

— Ты, Тереза, родилась не для этой жизни. Родилась, чтобы быть хозяйкой дома, матерью. Тебе нужно выйти замуж.

Возможно, потому Тавиана благоприятствовала знакомству Терезы Батисты с Алмерио дас Невес, любезным, велеречивым хозяином пекарни в Бротасе. Не будучи богатым, он тем не менее имел достаточно солидное положение. Со сводницей его связывали старые узы дружбы. Лет пятнадцать назад он познакомился в доме свиданий с Наталией, девушкой с застенчивыми манерами, только начавшей заниматься этим ремеслом, одной из тех, которые, по определению Тавианы, родились, чтобы быть матерью семейства.

Начав в то время деятельность коммерсанта, Алмерио работал день и ночь, чтобы достичь процветания небольшой пекарни, находившейся неподалеку от теперешней. После нескольких встреч с Наталией он услышал от нее патетический рассказ о том, как ее изгнал из дома отец-палач, когда узнал, что ее соблазнил возлюбленный, отъявленный ловелас. Зазвав ее к себе в студенческую комнатку, ловелас вскоре переехал, не оставив нового адреса и не попрощавшись. Алмерио почувствовал, что его охватила страсть к молодой и привлекательной жертве судьбы и двух презренных типов — студента и отца. Он забрал Наталию из публичного дома и женился на ней: более достойной супруги он не нашел бы даже среди монахинь монастыря. Работящая и честнейшая женщина, она не принесла ему, правда, детей — единственный недостаток этого брака, где все остальное было удачным. Когда, по прошествии нескольких лет, дела у них пошли лучше и Наталия смогла покинуть кассу пекарни, где она до этого торчала целый день, они решили усыновить ребенка, круглого сироту. Мать ребенка умерла, произведя его на свет, а полгода спустя жертвой воспаления легких стал отец, помощник пекаря; Алмерио и Наталия взяли на себя заботу о мальчике и в нотариальной конторе усыновили его и дали ему новую фамилию. Если предыдущие годы отличались спокойным счастьем, то два последних, когда они видели, как сын растет, были и вовсе оживленными и радостны-

ми. Семейное счастье было разбито автомобилем молодого повесы из богатой семьи, бешено мчавшегося, торопясь прибыть туда, куда ему, собственно, и не требовалось, ради срочной необходимости ничего не делать. Он сбил Наталию прямо напротив пекарни, оставив Алмерио в отчаянии и опять осиротевшего мальчика. В поисках утешения вдовец пришел к Тавиане, старой приятельнице, и там познакомился с Терезой.

— Утешь немного моего друга, Тереза, он потерял не так давно жену, еще не снял траура.

— Я буду носить траур в своей душе вечно.

Скромный и приятный, Алмерио разговорился с Терезой, рассказал ей подробности своей жизни, касающиеся главным образом Наталии, сына и булочной, гораздо большей, чем прежняя, могущей конкурировать с пекарнями испанских монополистов — хозяевами рынка.

— Настанет день,— сказал он с гордостью,— моя пекарня станет крупным предприятием.

Через некоторое время коммерсант сделался завсегдатаем заведения Тавианы. Приятные беседы продолжались и за столиком в «Цветке Лотоса». Поскольку Тереза не могла уделять ему больше одного вечера в неделю, Алмерио стал посещать кабаре на втором этаже Кирпичной улицы, где Тереза являлась «воплощением бразильской самбы». По контракту (устному), заключенному с ней хозяином кабаре Алинором Пиньейро, Тереза должна была появляться в десять вечера и оставаться до двух часов ночи. Она выступала около полуночи в одежде, претендовавшей на стилизованный карнавальный костюм баиянки, но до и после должна была принимать приглашения потанцевать и присаживаться за определенные столы с обильной выпивкой. Из кабаре она отправлялась прямо в свою комнатку, снятую у доны Фины, старой и уважаемой гадалки. Комната чистая и приличная. «Принимай мужчин где угодно, только не здесь, я честная вдова»,— предупредила ее дона Фина, симпатичная старуха, с глазами, утомленными от созерцания хрустального шара, с помощью которого предсказывала будущее, любительница слушать радионовеллы, страстная кошатница — владелица четырех кошек.

Пока пекари месили тесто и разогревали печь, Алмерио появлялся в «Цветке Лотоса» то на одну самбу, то на один блюз, то на одну румбу, то на один бокал пива, с единственной целью — перекинуться несколькими словечками с Терезой. Не раз он ночью провожал ее до двери дома, прежде чем вернуться в пекарню. Девушка ценила его общество, мягкую и приятную манеру говорить и хорошие манеры. Он никогда не предлагал ей провести с ним ночь.

Вечером накануне того дня, когда он сделал ей предложение, Алмерио задержался в «Цветке Лотоса» до момента выхода Терезы, танцуя, выпивая, беседуя. У дверей кабаре он пригласил Терезу сопровождать его в Бротас, чтобы познакомить ее с пекарней,— на такси это совсем недалеко, через полчаса он доставит ее домой. Хотя Тереза и сочла приглашение несколько странным, она не видела причин отказаться: он так много говорил ей о большой печи и различном оборудовании пекарни, что ей действительно не хватало лишь увидеть все это собственными глазами.

С гордостью собственника, который самостоятельно выбился в люди — начал с нуля, таскал на голове корзины с хлебом, продавал булки, переходя из дома в дом,— он демонстрировал ей оборудование, рассказывал, как организован труд пекарей и их помощников, месящих тесто, показал горящую печь, огромные деревянные лопаты, переднюю часть пекарни с четырьмя дверями, открытыми на

улицу, где обслуживаются покупатели, открытую и освещенную специально для Терезы.

— Это еще станет крупным предприятием. О, если бы моя незабвенная Ната не умерла! Мужчина лишь тогда работает с охотой, когда у него есть жена, которой он отдает свою любовь.

Тереза похвалила, как полагается, все, что он ей показал, приняла с улыбкой булку из числа свежеиспеченных на заре. Она направилась было к такси, но Алмерио попросил ее сначала зайти на минутку в дом по соседству, где он жил. Дом был выкрашен в синий и белый цвета, с зелеными окнами, вьющимися растениями, поднимающимися по решеткам, с маленьким и уютным, ухоженным садиком.

— Когда она была жива, надо было видеть сад и дом. Сейчас все пришло в запустение.

Он не пригласил ее посмотреть вьющиеся растения. Они прошли по коридору до детской. В кроватке лежал мальчик, сжимая в руке плюшевого медведя, соска упала ему на грудь.

— Зекес... Его имя Жозе, а Зекес — так я прозвал его.

— Какая прелесть! — Тереза коснулась личика мальчика, тихонько потрепала его вьющиеся волосы.

Она задержалась, любуясь ребенком, затем вышла на цыпочках, чтобы не разбудить его. В такси поинтересовалась:

— Сколько ему?

— Уже два года. Даже два с половиной.

— Кроватка мала.

— Да. Нужно купить побольше, я это сделаю сегодня же. Ребенок без материнской ласки. Есть вещи, которые никакой отец не умеет делать.

Тереза поняла причину его приглашения только на следующий день, когда Алмерио предложил прогуляться. В такой поздний час? Да, ему нужно сказать ей кое-что.

Такое же предложение он сделал пятнадцать лет назад Наталии, женщине с белой кожей и застенчивыми манерами. Ныне его будущая невеста была цвета меди, порывистая и горячая. Неодолимая страсть, в том и другом случае одинаковые слова:

— Мне не хватает вдохновения.

3

Сидя вечером на широкой ограде напротив часовни Монте-Серрат, любуясь панорамой города Баия, раскинувшегося на горе, спокойными водами залива Всех Святых, парусами рыбацких лодок, Тереза поддалась меланхолии. Рядом с ней — преисполненный надежды Алмерио. Это укромное место как будто специально предназначено для объяснения в любви, здесь он попросил и получил руку Наталии, такая же волнующая сцена должна повториться сегодня.

— Разрешите мне сказать вам, Тереза, что у меня на душе. Меня захватил водоворот чувств. Человек — не хозяин своей воли, любовь не просит позволения.

«Красивые слова,— думает Тереза,— и справедливые». Она это отлично знает: любовь не просит разрешения, она появляется, бурная, захватывает, и потом уже ничего не поделаешь. Она вздыхает. Для Алмерио дас Невес, просителя, этот вздох может иметь лишь одно значение. Воодушевленный, он продолжает:

— Я люблю тебя, Тереза, меня пожирает огонь любви.

Тон голоса и попытка взять ее руку настораживают Терезу. Отведя взор от раскинувшегося перед ними пейзажа, с одной мыслью — о Жану, она взглянула на Алмерио и увидела, что он в трансе, глаза его, устремленные на нее, полны обожания:

— Я страстно влюблен в тебя, Тереза. Ответь мне положа руку на сердце, совершенно искренне: хочешь ли ты оказать мне честь выйти за меня замуж?

Тереза не отвечала: он продолжал говорить, рассказывать, как следил за ней с первого дня знакомства, побежденный не только ее красотой,— «ты самый прекрасный цветок сада жизни»,— но и ее манерами, поведением. «Я безнадежно влюблен и не в силах сдержать свои чувства. Сделай меня счастливым, разреши отвести тебя к падре и судье».

— Но, Алмерио, меня считают блудницей.

То, что она посещает дом свиданий Тавианы, для него не имеет никакого значения, там он нашел незабвенную Наталию, и никакая жена не могла бы дать мужу большего счастья. Прошлое, какое бы оно ни было, не важно,— новая жизнь начинается здесь, в этот час. Для нее, для него и для Зекеса, главным образом для Зекеса. Если это — единственное препятствие, то проблемы нет, все решено. Он протягивает руку Терезе, и та не отталкивает, держит ее в своих руках, объясняет:

— Нет, это не единственное препятствие, есть и другое. Но сначала я хочу сказать, что очень тронута твоей просьбой, это как если бы ты — такой хороший человек — преподнес мне дорогой подарок в знак уважения. Очень ценю. А выйти замуж не могу. Прости меня, не могу, нет.

— А почему, если это не секрет?

— Потому что я люблю другого, и, если когда-нибудь он вернется и еще захочет быть со мной, где бы я ни была и что бы я ни делала, я брошу все и пойду за ним. Если так, скажи мне, как могу я выйти замуж? Только если бы я не уважала себя, была бы обманщицей...

Пекарь смолк, глаза его уставились в одну точку. Тереза, также замолчавшая и рассеянная, смотрела на парусники, бороздящие залив по пути в Реконкаво. Как новый владелец назовет «Цветок Вод»? Сумерки опускаются на город и море, окрашивая кровью горизонт. В конце концов растерявшийся Алмерио нашел слова, чтобы нарушить мучительное молчание:

— Я никогда не слыхал о ком-либо в твоей жизни. Я его знаю?

— Думаю, что нет. Он — капитан парусника, по крайней мере был им. Сейчас он в плавании на большом судне, не знаю, где и вернется ли.

Она еще держит руку Алмерио и слегка, по-дружески ее пожимает.

— Я тебе все расскажу.

Она рассказала все от начала до конца. От встречи в кабаре «Веселый Париж» в день драки, в Аракажу, до безнадежных поисков в Баие, о том, как разминулась с ним, и, наконец, о том, что говорил ей капитан Каэтано Гунза по возвращении из затянувшегося плавания в Канавиейрас на баркасе «Венганиа». Когда она закончила, солнце утонуло в водах залива, зажглись фонари, парусники в море казались тенями.

— Овдовев, он стал меня разыскивать, но не нашел. Когда я приехала, он уже исчез. Я осталась ждать его возвращения. Ради этого я и нахожусь здесь, в Баие.

Она деликатно отпустила руку Алмерио:

— Ты еще найдешь женщину, которая станет твоей женой и матерью мальчика, достойную женщину, которой ты заслуживаешь. Я не могу согласиться, извини меня, пожалуйста, не суди обо мне плохо.

Добрый Алмерио, растроганный до слез, поднес платок к увлажнившимся глазам, но глаза Терезы оставались сухими — два погасших уголька. Вместе с тем он не хотел считать себя совершенно выбывшим из игры:

— Мне не за что тебя прощать, такова судьба... Но я тоже могу подождать. Кто знает, в один прекрасный день...

Тереза не сказала ни да, ни нет, чтобы не обидеть его, не сделать ему больно. Если Жану не вернется никогда, погибнет за штурвалом парусника или на торговом судне под иностранным флагом, Тереза будет всю жизнь носить в душе вдовий траур.

4

В тот вечер, когда Тереза Батиста отвергла предложение Алмерио, она повторила ему почти слово в слово рассказ капитана Каэтано Гунзы. Хотя рассказ этот был полон неприятных событий, он содержал доказательства любви и надежду:

— В один прекрасный день кум высадится без предупреждения в порту.

Так заявил капитан Гунза на корме баркаса, покуривая глиняную трубку. Этой надеждой живет Тереза Батиста. Алмерио дас Невес слушал с влажными глазами и сдавленным горлом: на редкость волнующий рассказ, походит на радионовеллу! Пекарь хотел жениться на Терезе Батисте, он был горячо влюблен и еще не считал дело проигранным; как знать, в один прекрасный день Жануарио Жеробa, вернувшись, возьмет за руку потерянную и безутешную возлюбленную и в часовне Монте-Серрат соединится с нею в мистической свадьбе (мистическая свадьба! — он слыхал это выражение в какой-то радионовелле и пришел от него в восторг), причем Алмерио первым поздравил бы их. Точно так же, как некий персонаж из романа, прочтенного в юношеском возрасте, благородный и самоотверженный, с золотым сердцем, Алмерио готов на жертву ради счастья любимой. Такие жесты служат утешением в горький час, придают бодрость.

Обрывки фраз, унесенные ветром, бурная ночь, печаль, взгляд, устремленный на океанские волны. Где плавает Жануарио Жеробa, завербовавшийся на панамское судно? В голосе капитана Каэтано Гунзы глухое эхо приглушенного волнения. Он хочет добра куму, другу детства, и симпатизирует девушке, красивой и храброй.

Когда «Вентаниа» пересекла залив, Камафеу де Ошосси, не теряя времени, послал к Терезе племянника с запиской. Но она получила ее только поздно вечером. Тут же чуть не бегом бросилась в Нижний город [1]. Баркас стал на якорь на рейде посреди залива. В Агуа дос Менинос она села в лодку, на борту парусника капитан Гунза ожидал ее; ему было известно, что девушка сходит с ума, ожидая вестей о Жануарио. Обрадовался, когда узнал, что она жива: он получил ложное известие, а ведь оказалось, что она не умерла во время эпидемии оспы. Хорошо еще, что так.

В течение месяца Тереза ежедневно приходила на рынок Мерка-до Модело, а также к Откосу, чтобы узнать, не вернулась ли «Вен-

[1] Портовая часть города Салвадор да Баия.

таниа» из плавания. Она пыталась различить в порту силуэт баркаса, он стоял у нее перед глазами таким, каким она его видела в порту Аракажу под погрузкой сахара. Около полутора месяцев тому назад «Вентаниа» подняла паруса, отплыв на юг штата, в Канавиейрас или Каравелас, с трюмами, заполненными сушеным мясом и бочками трески. Срок возвращения не был известен, ведь парусники зависят от груза, от ветра, от течения и состояния моря, зависят от богини моря Иеманжи, которая может послать им хорошую погоду.

Этим ожиданием были отмечены начало пребывания Терезы Батисты в Баие и первые знакомства с людьми, заведенные ею в поисках известий о капитане Жануарио Жерэбе и о паруснике «Цветок Вод». Все были очень вежливы, не могло быть более воспитанных людей,— однако вести оказались противоречивыми. Она приехала в столицу штата, чтобы узнать о Жануарио, пошла в порт, расспрашивая о нем. Получила тут и там отрывочные сведения, но только капитан Каэтано рассказал полную историю.

После эпидемии оспы в Букиме Тереза перебиралась по сертану — из города в город, из поселка в поселок. Путешествие длинное и грустное. Тереза без средств, вынужденная заниматься своим уже было забытым прежним ремеслом, но в гораздо более тяжелых условиях. В течение этих месяцев — скольких, не помнила,— она до конца познала все превратности судьбы одинокой, беззащитной женщины, спустилась на самое дно жизни, однако, горящая мечтой добраться до моря Жерэбы, упрямо продолжала путь.

Только в Фейре-де-Сант'Ана она нашла кабаре, где предложила себя в качестве танцовщицы, чуть ли не даром,— ей пришлось поднять большой шум, чтобы заставить хозяина выплатить мизерные гроши. Не появись в этот момент внушительный старик с бородой и палкой, наверняка важный господин, которому она понравилась, Тереза оказалась бы в настоящем рабстве у хозяина кабаре, а так, в конце концов, получила немного денег, как раз на поездку в автобусе и на первые расходы в столице штата. Хорошо хоть, что старый сеньор добавил ей кое-что. Симпатизируя мужеству девушки и выиграв в карты у хозяина «Эль танго» аргентинца Пако Портеньо, у которого до того никто не выигрывал, старик не только заставил этого типа заплатить Терезе условленную сумму, но и добавил к скудной сумме значительную часть своего выигрыша. По доброте душевной он даже не задержал ее, позволив ей уехать, а сам продолжал играть и всякий раз с большой удачей, к ужасу Пако Портеньо: крапленые карты потеряли ценность, не помогала и ловкость рук аргентинца. Тереза впервые столкнулась с этим стариком на своем пути, но он обошелся с ней так, будто знал ее давно.

В Баие она начала поиски. Сначала осторожно, помня, что Жерэба женат. Она не хотела вторгаться в его жизнь, создавать ему затруднения. Ей только хотелось найти его. Ей только хотелось отыскать, где он находится, следить за каждым шагом, не будучи замеченной. Только? Ей хотелось увидеть «Цветок Вод» хотя бы издали. Издали? Кто может точно знать, чего Тереза ждала и на что надеялась, если сама она этого не знала? Она лишь искала его, и все...

На Откосе и на Рынке все питали к ней уважение, но никто не мог сообщить ей о нем. Вернее, все что-то сообщали, никто не отказывался говорить о капитане парусника, однако сведения, как правило, не совпадали, если не противоречили одно другому. Единственно достоверным было, однако, то, что жена Жануарио скончалась некоторое время тому назад.

На кандомблэ, где Жануарио многие годы исполнял обязанности жреца-огана, подтвердили: Жерэба потерял жену, ее, бедняжку,

унесла чахотка. Устремив взгляд на Терезу, старая негритянка не колеблясь заявила:

— Ты — та девушка, которую он знал в Аракажу.

Оказывается, после погребения жены Жануарио участвовал в ритуальных церемониях кандомблэ, «очищая тело», прежде чем пуститься в важную поездку, как он сказал. В Аракажу, где меня ждут, добавил он. Кто его там ждал, ты? Здесь с тех пор он не появлялся. Говорят, что, вернувшись из этого плавания, он отправился в новое.

Одно плавание? Два? Жив он или мертв? Исчез. Где он? Терезе только тогда удалось узнать правду, когда наконец «Вентаниа» вернулась с грузом какао.

Беседа завязалась на корме баркаса, бросившего якорь напротив сияющего огнями города; южный ветер, налетая порывами, вздымал спокойные до того воды залива. Ночь опасности в море, плохая ночь для парусников. Морская сирена Жанаина наслала бурю, подыскивая себе жениха, чтобы в глубинах океана сыграть с ним свадьбу, пояснял капитан Гунза, касаясь воды кончиками пальцев, поднося их затем ко лбу и повторяя освященное временем приветствие сирены: Odoia! Владелец парусника принял Терезу дружелюбно, но без особой радости:

— Я знал, что ты в Баие, ищешь меня. Бросил якорь на рейде, завтра должен причалить к грузовому судну и разгружать какао.

Они уселись, ветер трепал черные волосы Терезы, из трюма доносился аромат сухого какао. Тереза спросила, хотя и боялась получить ответ:

— Что с ним? Где он бродит? Я в Баие уже скоро два месяца и еще не смогла узнать о нем чего-либо определенного. Все говорят разное. Точно лишь одно — его жена умерла.

— Бедная кума, к концу страшно было смотреть на нее — она превратилась в тростинку, кожа да кости. Кум не отходил от ее постели, пока не закрыл ей глаза. В последние дни появился отец, чтобы помириться и положить дочь в больницу, но было слишком поздно. Кума уже давно не годилась как женщина, но кум все равно очень переживал.

Тереза слушала молча, в голосе капитана Гунзы, заглушаемом ветром и печалью, она как бы слышала голос Жануарио, говорившего ей на берегу моря в Аталайе: «Та, которую я любил и которую украл у семьи, была здоровой, веселой и красивой, сегодня она больна, печальна и некрасива, но все, что у нее есть,— это я, никого больше, и я не выброшу ее на улицу, в канаву». Достойный человек — Жану!

— Потом он взял два или три груза, чтобы заработать немного денег, и, оставив парусник на мое попечение, пустился искать тебя. «Ты помнишь, кум, Терезу Батисту, ту смуглую девушку из Аракажу? Так вот, я постараюсь найти ее, я хочу, чтобы она была со мной. Я женюсь снова». Так он сказал.

Капитан Гунза раскурил трубку, которую загасил было ветер. Баркас поднимается и опускается, волны усиливаются, южный ветер безумствует, пронзительно завывая, призывая смерть. Тереза молча думает о Жану, свободном от оков, готовом увести ее к себе домой, на парусник. Ах, как же это они разошлись!

— Он больше трех месяцев разыскивал тебя. Приехал без медяка, помощником шофера на грузовике. Совсем пал духом, был в ужасном настроении. Рассказал мне про свое путешествие — он побывал далеко за Сержипе, пересек Алагоас, Пернамбуко, Параибу, был в Натале и остановился только в Сеаре; повидал многие края, узнал многих людей, только не нашел ту, кого искал. Твои следы он

потерял в Ресифе и уже стал отчаиваться, когда добрался до Форталезы. Снова в Аракажу, отправился во внутренние районы штата Сержипе, там ему рассказали, что ты умерла от оспы. Назвали даже день и час, описали твой портрет — все в точности. Не смогли только сказать, где похоронили тебя. Было, мол, столько покойников, что не хватало времени хоронить их; клали в одну могилу по пять-шесть человек. Вот что рассказали моему куму.

Да, Тереза выступила тогда против смерти, встретив ее лицом к лицу, в полном отчаянии от того, что она не с ним и что пыталась его забыть с доктором Ото Эспиньейрой, управляющим пунктом здравоохранения, королем трусов. Смерть отвергла ее, даже оспа не захотела ее. А в этой ночи страданий — каменное лицо Терезы, тлеющий уголек трубки капитана Каэтано Гунзы и буря, топящая парусники. Жанаина ищет жениха. В завывании ветра слышится ее пение, пение сирены.

— Кум изменился, стал уже не тем, каким был, даже парусником перестал заниматься. Сидел здесь на корме «Вешании» молча, открывая рот лишь для того, чтобы сказать мне: «Как это она умерла, кум? В любом случае можно что-то сделать, за исключением смерти; а я-то думал, что настанет день, когда мы заживем с нею!» Так говорил он, когда открывал рот, большую же часть времени он молчал.

Ветер внезапно прекратился, и море стало спокойным: парусники дрейфовали, уже не гонимые ветром. Где-то в открытом море Жанаина с женихом — роковая свадьба. Голос капитана Гунзы падает на деревянную палубу баркаса:

— Вот тут и случилось это дело с панамским кораблем, большим торговым судном. Он зашел в порт, чтобы оставить в больнице шестерых матросов, заболевших бешенством. Собака на борту взбесилась и, прежде чем успели ее прикончить, искусала шестерых. Чтобы продолжать плавание, командир вербовал здесь людей. Жануарио нанялся первым. Перед отплытием он велел мне продать «Цветок Вод» и оставить деньги себе,— у него в целом мире больше нет никого, и он не хотел, чтобы его парусник, покинутый, сгнил. Я продал его, но положил деньги в банк под проценты, таким образом, если в один прекрасный день он объявится, то сможет купить другое судно. Вот что произошло.

Тереза сказала только:

— Я останусь здесь, пока он не вернется. Если он меня еще любит, то найдет меня тут, ожидающей его. Название судна ты не запомнил?

— «Бальбоа» — как я мог забыть?! Оно вышло ночью. Больше ничего не слыхал я о куме.— Клуб дыма, тлеющий уголек трубки, теплый голос, уверенность: — В один прекрасный день, когда мы меньше всего будем его ожидать, кум, конечно, высадится в порту.

5

После отказа выйти замуж отношения между Терезой Батистой и Алмерио дас Невес претерпели небольшие, однако существенные изменения. До тех пор хозяин пекарни был для Терезы прежде всего клиентом. Несколько отличным от стариков, не только по возрасту — ему едва исполнилось сорок, тогда как другие, их пятеро, были на пороге шестидесяти, даже старше,— но и потому, что она виделась с ним и общалась вне стен заведения, в кабаре, где, конеч-

но, ни один из ее знатных поклонников никогда бы не показался. Алмерио рассказывал ей о своем предприятии, о ценах на пшеницу, о незабвенной покойнице, о шалостях мальчика, Тереза внимательно его слушала; симпатичный и любезный клиент. Он бывал у нее в определенный день и час раз в неделю.

Сумрачный вечер, опустившийся грустью на море, повлиял на эти отношения, сделав их одновременно и более и менее близкими. Алмерио перестал быть клиентом; ни он, ни она уже не приходили в заведение по четвергам в четыре часа, несмотря на то, что не говорили об этом, просто понимая невозможность прежнего общения. Но их человеческие связи стали более близкими, они по-прежнему оставались друзьями, и, кроме того, в тот вечер их связали прочные узы доверия и уважения.

Алмерио продолжал заглядывать в «Цветок Лотоса» довольно часто, чтобы выпить пива, потанцевать фокстрот, проводить Терезу домой. Он продолжал оставаться влюбленным претендентом на руку танцовщицы самбы, но теперь уже не притрагивался к ней, не бросал грустных влюбленных взглядов, не докучал ей мольбами и предложениями. Ему достаточно было ее присутствия, ее общества. Свою любовь он затаил так же, как Тереза хранила в душе любовь Жану, исчезнувшего в бескрайнем морском просторе. Иногда он спрашивал: все еще нет известий, ничего не узнала о судне? Тереза молча вздыхала. Время от времени интересовалась она, не нашел ли ее друг невесту по вкусу, женщину, способную занять место Наталии около сына и Алмерио, в доме, в пекарне, в постели и в сердце? Вдовец тоже только вздыхал в ответ.

Он не воспользовался явным одиночеством Терезы, измученной долгим ожиданием, лишь пытался развлечь ее, приглашая на празднества и прогулки. Они ходили вместе на кандомблэ, в школы капоэйры, на репетиции карнавальных афошэ и раншо. Не возобновляя предложения, не говоря о любви, Алмерио всегда был подле Терезы, не давая ей почувствовать себя одинокой и покинутой; в конце концов она стала питать к нему искреннюю дружбу, признательность. В дни отчаяния и подавленности Терезе помогало теплое отношение некоторых друзей — капитана Каэтано Гунзы, художника Женнера Аугусто, Алмерио дас Невес. Помимо них — Тавиана, Мария Петиско, негритянка Домингас, Дулсинея, Аналия — все женщины определенного склада. Она пользовалась симпатией и у жителей Рыночного Откоса, Агуа дос Менинос, Дровяной гавани.

Алмерио дас Невес был спокойным и веселым по природе, даже вдовство и тайная любовь не смогли повлиять на его живой характер, удержать его дома. Любитель развлечений, несмотря на свою выдержанность, он обычно приглашал кого-либо, когда появлялся, солидный и улыбающийся, в «Цветке Лотоса». Исключительно приветливый, он принимал участие в жизни города, жил дружно с большей половиной Баии. Однажды вечером, собираясь представить его художнику Женнеру Аугусто, который зашел в кабаре, чтобы повидать ее и пригласить в качестве натурщицы, Тереза была удивлена, узнав, что они знакомы между собой, они даже оказались друзьями, вместе участвовали в празднествах Консейсан да Прайя и Бонфима, в кандомблэ.

Художник Женнер Аугусто спросил у пекаря:

— Ты что это забыл про меня? А как с твоими прежними пирушками?

— Я потерял обожаемую супругу, дружище Женнер, у меня большое горе. Пока не сниму траур, я не могу устраивать празднества дома.

Только тогда Женнер заметил черную ленточку на лацкане белого льняного пиджака друга.

— Я не знал, прости. Прими мои соболезнования.

Он взглянул на Терезу, подозревая, что здесь что-то скрыто. Скромный коммерсант, всегда улыбающийся и неутомимый, попыхивающий своей сигарой, был весьма подходящим человеком, чтобы вытащить Терезу из «Цветка Лотоса» и увести ее к себе домой. Согласится ли девушка? Внешне жизнерадостная, она живет, погруженная в печаль, есть в ее жизни моряк, он в далеком плавании. Но Алмерио похож на хитрую жабу, подкарауливающую муху: молча поджидает, время работает на него. И все же рядом с ним Тереза чувствует себя уверенней.

6

Художник встретил ее случайно некоторое время тому назад недалеко от Рынка, где она разговаривала с Камафеу де Ошосси и двумя другими людьми, оба они были какие-то странные, выглядели весьма экстравагантно: у одного из них — длинные растрепанные волосы и огромные усы, у другого — круглые глаза, одет он был в пиджак с разрезом сзади. Камафеу, увидев Терезу, подошел к ней поболтать. Они уже давно были знакомы. Приблизился и художник:

— Как, Тереза Батиста? Какими судьбами ты оказалась здесь?

Он узнал о «Цветке Лотоса», где она развлекала гостей и выступала с танцевальным номером, тем же, что и в Аракажу, лишь слегка измененным. Он появился в кабаре сначала один, потом с несколькими представителями богемы, это были художники с небольшими деньгами, хотя и с хорошим настроением. Все они, конечно, готовы были ночь провести с ней по любви или симпатии, но безвозмездно. Однако ни одному из них не удалось соблазнить ее вкрадчивыми речами, и это их не обижало.

Для некоторых она позировала, освоив еще одну профессию — натурщицы, с пустяковой платой — в дополнение ко многим, какие она уже имела. Находясь в обществе этих людей, Тереза не раз вспоминала дни, проведенные с доктором в Эстансии, его вкус и привязанность к жизни.

Так Тереза познакомилась со множеством людей, присутствовала на празднествах на площади, гуляла по Рио Вермельо, где жил художник, написавший с нее несколько картин. В школе капоэйры маэстро Пастинья научил ее танцевать ангольскую самбу; на баркасе капитан Гунза говорил ей о ветрах и морях, рассказал о портах бухты Реконкаво; Камафеу пригласил ее принять участие в карнавальной группе «Дипломаты Амаралины», но она отказалась — не было желания. Зато она посещала разные кандомблэ.

Излюбленная ее прогулка, ежедневная и обязательная,— на Рыночный Откос, к пристани парусников, в порт Баии. Когда баркас «Вентаниа» становился на якорь, Тереза приходила потолковать с капитаном Гунзой, для нее это было как дуло револьвера, приставленное к груди, как кинжал, повернутый в ране,— когда разговор заходил о Жануарио Жерэбе.

В гавани народ уже знал вопросы, которые она задавала, на которые жаждала получить ответ. Кто знает что-либо о панамском корабле под названием «Бальбоа», грузовом судне? На нем ушли в плавание шесть баиянцев, где они сейчас?

С помощью капитана Гунзы она обнаружила «Цветок Вод», ставший теперь собственностью старого моряка, капитана Мануэла, пе-

реименовавшего его в «Стрелу святого Жоржи». Тереза задержалась, сидя возле руля, поглаживала деревянную обшивку. Жена капитана Мануэла, Мария Клара, заметив смуглую девушку — с сосредоточенным и отсутствующим видом та уставилась в пустоту, как бы желая обнаружить в дереве, пропитанном морской солью, воспоминание, жест, тепло руки Жануарио,— сказала:

— Поверь, он должен вернуться. Я велю сделать эбо[1] для Йеманжи.

Помимо флакона духов и широкого гребня для расчесывания волос, богиня моря Йеманжа, как передали Терезе, попросила пару цесарок для еды и белую голубку, чтобы выпустить ее над морем.

7

В «Цветке Лотоса», в заведении Тавианы, Тереза познакомилась с несколькими девушками, завела дружбу с некоторыми из них. Ее имя стало произноситься с уважением после схватки с Николау Рыбоглотом, агентом полицейского управления игр и нравов, процветавшим за счет дна баиянского общества. Тереза, случалось, завтракала в Пелоуриньо, в доме Аналии, которая была родом из Эстансии, или в доме негритянки Домингас и Марии Петиско в Баррокинье.

Молодая и крепкая мулаточка, запальчивая, проказница, хохотунья и плакса, влюбчивая — по увлечению каждую неделю, непосредственное сердце, Мария Петиско была вырвана Терезой Батистой из когтей, вернее — спасена от кинжала испанца Рафаэля Ведры.

Во вторник вечером, когда в кабаре было мало народа, Тереза сидела, беседуя, за одним из столиков в глубине залы, где женщины ожидали приглашения потанцевать или выпить; в заведение ворвался горячий испанец, пылающий ревностью, последняя любовь неверной сарацинки. Все произошло в лучшем стиле аргентинского танго, как полагается в таких быстрых и вихревых любовных приключениях.

— Проклятая сука!

Рафаэль поднял кинжал, девушка испустила крик ужаса, Тереза вовремя бросилась ей на помощь. Отведенный Терезой кинжал скользнул по плечу Марии Петиско, брызнула кровь — этого оказалось достаточно, чтобы отмыть иберийскую честь и удержать карающую руку взбешенного ревнивца.

Сбежались мужчины и женщины, поднялась суматоха. В подобных случаях всегда находится любитель вызвать полицию, обычно это бывает тип, который не имеет ни малейшего отношения к делу, вмешивающийся просто из желания выделиться или следуя своему инстинкту доносчика. Марию отвели в одну из комнат верхнего этажа, народ повалил за нею, зала опустела. Этим воспользовалась Тереза, чтобы дать возможность скрыться мстителю, разразившемуся рыданиями и охваченному раскаянием, в страшном испуге перед перспективой попасть в полицию, тюрьму, под суд.

— Убирайся прочь, сумасшедший, пока есть время. Найдешь ты место, где спрятаться на несколько дней?

— Да, у меня родственники в Баие.

Кинув кинжал и забыв о своей страсти, он бросился вниз по лестнице и исчез в одном из переулков. Полиция — точнее один по-

[1] Сверток с заколдованными предметами, подношение какому-либо божеству культа бразильских негров и мулатов.

лицейский — явилась лишь полчаса спустя. От происшествия уже не оставалось никакого следа, никто не смог дать показаний о кинжале, преступнике и жертве; донос был, видимо, неуместной проделкой какого-то типа, которому захотелось подшутить над представителями власти. Хозяин кабаре открыл бутылку пива со льда для полицейского, остановившегося у прилавка. На том все и кончилось.

Через некоторое время после происшествия с Рафаэлем Тереза, зайдя позавтракать к Марии Петиско, нашла девушку совсем другой. На плече маленький шрам, но где веселый смех, беззаботность, шумная радость? Где все, что приносило ей успех? Замкнутое, озабоченное, угрюмое лицо. Не только она, но также негритянка Домингас, Доротея, Пекенота, подруги по дому и Ассунта, хозяйка заведения. Ассунта, сидевшая во главе стола, даже не могла есть.

— Что это с вами такое?

— Нас выселяют из припортовой зоны, разве ты не слышала? На будущей неделе, если ты захочешь с нами поесть, тебе придется отправиться черт знает куда,— ответила Ассунта. У нее явно было дурное настроение.

— Что за история? Я ничего не слышала.

— Сегодня с утра Рыбоглот и детектив Кока ходили из дома в дом здесь, в Баррокинье, оповещая: укладывайте свое барахло, будет выселение,— сказала Мария Петиско.

— Он дал неделю срока. В понедельник, на восьмой день нас выселят.— Голос Ассунты звучал резко и устало.

У негритянки же Домингас был низкий, ласковый голос:

— Говорят, выселят всех. Начнут отсюда, затем станут выгонять из Масиэла, Портас до Кармо, Пелоуриньо, в общем выселят всех девок.

— А куда?

Ассунта чуть не подавилась, так сильна была ее злость:

— Ах, это и есть самое худшее во всей истории. В несчастную дыру в Нижнем городе, на Ладейре до Бакальяу, гнусное место. Никто там уже давно не живет. Я ходила туда взглянуть, так прямо хочется плакать.

Женщины молча жевали, пили пиво. Ассунта закончила:

— Похоже, что хозяева домов там — знатные люди, родственники полицейского инспектора Котиаса. Люди, пользующиеся покровительством, знаете, как это бывает. Дом в плохом месте, внутри заливает дождем, ничего не стоит. Он снимает его для таких, как мы, и взимает большую плату. Вот что они проделывают в полицейском управлении.

— Шайка стервятников.

— И что же, вы будете переезжать?

— А что поделаешь?! Разве не полиция командует нами?

— Неужели нет никакого способа? Пожаловаться, протестовать?

— Жаловаться!.. Кому ты будешь жаловаться? Ты видела, чтобы мы когда-либо могли что-нибудь требовать. Если мы станем протестовать, то заработаем побои.

— Это же произвол, надо что-то предпринять.

— А что мы можем поделать?

— Не переезжать, не уходить отсюда.

— Не переезжать? Будто ты не знаешь, что такое наша жизнь. Мы не имеем права что-либо требовать, наше единственное право — страдать.

— Молча, иначе заработаешь тюрьму да побои.

— Ты что, еще не знаешь? Еще не научилась?

8

Фирма «Сардинья и К°, инвестиции, финансирование, строительство, аренда, операции с недвижимостью» приобрела обширную территорию у подножья горы, с видом на залив, получив льготы, предоставляемые правительством для строительных работ, способствующих развитию туризма. Здесь должен быть возведен современный, внушительный архитектурный комплекс: жилые дома, отели, рестораны, магазины, увеселительные заведения, огромные супермаркеты — всюду кондиционированный воздух; кроме того, тропические сады, сауны, олимпийские бассейны, стоянки для машин,— в общем, все, что необходимо городу для удобства местных жителей и для досуга приезжих.

Цветные рекламные проспекты приглашают желающих принять участие в гигантском предприятии, вложив в него деньги, приобретая паи с рассрочкой на двадцать четыре месяца,— идеальный план, гарантированные прибыли, бесчисленные преимущества. «Становитесь и вы владельцем ПАРКА ЗАЛИВА ВСЕХ СВЯТЫХ, крупнейшего строительного предприятия Северо-Востока. Становитесь туристом, не выезжая из Баии: каждый пайщик имеет право в течение двадцати дней в году проживать в одном из отелей комплекса, платя лишь пятьдесят процентов цены, установленной для гостей».

На самой низкой части территории, на маленькой и кривой Ладейре до Бакальяу, рядом с полудюжиной лачуг, стоят четыре-пять больших двухэтажных домов — остатки старинных фамильных особняков, заброшенных уже много лет. В них обитают деклассированные люди, это убежище беспризорников, а также наркоманов. В самом начале фирма распорядилась сломать бараки и прогнать жильцов.

Осмотрев территорию вместе с инженерами, старый Иполито Сардинья, крупный землевладелец, способный, по мнению деловых людей, выжать молоко из камня, долго осматривал дома.

На первом этапе этого масштабного предприятия были разработаны планы, завершена организация, вызван интерес публики, собраны необходимые для финансирования средства; тем временем урбанисты — архитекторы, инженеры, художники изучают и разрабатывают монументальный проект; само же строительство должно будет начаться через два года.

Два года, двадцать четыре месяца. Старый Иполито изучает здешние дома. Будут ли они в течение этого времени продолжать служить убежищем для воров и бродяг, ребятишек и крыс? Или их следует снести немедленно, с тем чтобы полностью очистить территорию, как того требует один из инженеров? Особняки из камня и извести — в ветхом состоянии, правда, но все еще крепкие сооружения. Старый Сардинья не соглашается.

— Не вижу, для чего они могут служить, разве только для самых низкоразрядных заведений,— высказал мнение инженер.

Старик выслушал его молча: даже на мыслях, высказанных в такой вот презрительной форме, брошенных на ветер, можно заработать деньги.

9

Решение перевести увеселительные заведения из Верхнего города в Нижний не было неожиданным, как это показалось Ассунте и ее жиличкам. Если бы они внимательно читали газеты, то не были бы удивлены распоряжением о переселении, услышанным ими от

Рыбоглота и детектива Далмо Коки во время утреннего визита. Но они довольствовались страницами, посвященными репортажам о преступлениях, а также о светской жизни. С одной стороны, в изобилии — кражи, убийства, изнасилования, плач, скрежет зубовный; с другой — празднества, приемы, банкеты, смех и любовь, шампанское и икра.

— В один прекрасный день я еще попробую эту икру...— заверила Мария Петиско после захватывающего репортажа об обеде у мадам Тетэ Мускат, написанного божественным Лулузиньо со вздохами и восклицательными знаками.— Шампанское меня не соблазняет, я уже его не раз пила.

— Отечественное никуда не годится. По-настоящему хорошее — только французское, а его-то тебе не видать,— разъяснила разборчивая Доротея.

— А ты что же, пробовала, принцесса?

— Один раз. За столом у полковника Жарбаса, из Итабуны, в «Паласе» во время игры. Оно все пузырится, такое впечатление, будто пьешь мокрую пену.

— Придет день, я соблазню какого-нибудь полковника с кучей деньжищ и начинюсь икрой и французским шампанским. Французским, английским, американским, японским. Вот увидите.

Рассуждая о шампанском и икре, пренебрегая страницами, посвященными серьезным проблемам, редакционными статьями, они проглядели внезапно охватившее владельцев газет негодование из-за того обстоятельства, что увеселительные заведения расположены фактически в центре города.

В Баррокинье, рядом с площадью Кастро Алвеса, «по соседству с улицей Чили, коммерческим сердцем города, где находятся самые фешенебельные магазины тканей, одежды, обуви, ювелирных изделий, парфюмерии, осуществляется позорная торговля сексом». Дамы из общества, приходя за покупками, «вынуждены толкаться у прилавков вместе с проститутками». С Ладейры де Сан-Бенто отчетливо видна «постыдная картина: женщины, торчащие у дверей и в окнах в Баррокинье, полуголые, представляющие зрелище, возмущающее всеобщее спокойствие».

Промысел этот распространяется по всему центру — Террейро, Портас до Кармо, Масиэлу, Табоану — местам, посещаемым туристами; ужас, абсурд! «Спускаясь по улицам и переулкам всемирно известного колониального района Пелоуриньо, туристы становятся свидетелями позорных сцен, наталкиваются на полуодетых, если не совсем раздетых женщин у дверей и в окнах домов; ругательства, пьянство, безудержный открытый порок, оргия. Неужели туристы прибывают с юга и из-за границы, чтобы присутствовать при столь унизительных зрелищах, недостойных наших форумов цивилизации, национальной столицы туризма? Нет, безусловно нет! — восклицает автор статьи.— Туристы приезжают, чтобы познакомиться с нашими пляжами, любоваться нашими позолоченными церквами, домами, облицованными португальскими изразцами, барокко, живописным зрелищем народных празднеств и фетишистскими церемониями, новыми сооружениями, промышленным прогрессом, чтобы восхищаться красотой, а не видеть пятна, гниль Алагадоса и зоны проституции!»

Назрело решение: переселить увеселительные заведения в более отдаленное и укромное место. Поскольку невозможно покончить с этой язвой, этим неизбежным злом, давайте, по крайней мере, скроем его от глаз благочестивых семей и от любопытства туристов. Для начала нужно срочно очистить Баррокинью от позорного присутствия этих женщин.

Пресса, как видно, пришла в крайнее негодование. В особенности когда речь шла о заведениях, расположенных в Баррокинье, «раковой опухоли, которая должна быть срочно удалена!».

Власти, ответственные за чистоту нравов, вняли патриотическому призыву и вовремя решили переселить женщин из Баррокиньи на Ладейру до Бакальяу.

10

— Их тысячи — моряков. Они платят долларами. Вы об этом подумали?

Двое других изучали известие на первой полосе вечерней газеты — нет сомнения, идея кажется хорошей.

— Что же именно ты предлагаешь?

Тот, кто зашел бы наспех купить сигарет или спичек в Баре Элиты — более известном среди многочисленных посетителей под прозвищем Бара Гулящих, в Масиэле,— и мимолетно взглянул бы на этих трех сеньоров с галстуками и в шляпах, оживленно рассуждающих об объеме капитала, условиях потребительского рынка, перспективах размещения продукта и длительности срока интенсивного спроса, выборе способных помощников, размещении пунктов спроса и продажи, исчислении прибылей,— мог бы принять их за деловых людей, занятых установлением основ доходного предприятия, и до известной степени не ошибся бы.

Если же случайный посетитель остался бы распить бутылку пива за ближайшим столиком и обратил бы внимание на трех предпринимателей, он бы тут же узнал их, установив подлинную профессию, так как от детектива Далмо Гарсиа, агента секретной полиции Николау Рамады Жуниора и комиссара Лабана Оливейры несет зловонным запахом полиции на несколько километров. Что, кстати, вовсе не мешало им осуществлять выгодные операции, когда представлялся исключительный случай вроде этого. Никак не меньше трех военных кораблей американской эскадры, находившейся на маневрах в Южной Атлантике, должны прибыть в Баию и задержаться там на несколько суток, став на якорь в порту. Тысячи моряков, отпущенных в город, высаживаются на берегу, им необходимо развеяться, все нуждаются в возбуждающих средствах, и все они платят долларами,— как в скудном мозгу Рыбоглота могла родиться такая превосходная идея? Вот к чему может привести страсть к деньгам, размышляет комиссар Лабан, он тоже надумал, как легко заработать деньги: алчность проясняет самую тупую голову, делает умным самого глупого человека в мире.

— А что, если мы немного расширим бизнес? — намекнул детектив Далмо.

— Расширить, как? Ты же не собираешься продавать безделушки и беримбау [1] в зоне...

Комиссар не понял, куда метит детектив, хотя это было нетрудно, поскольку предложение исходило от полицейского, работающего в секторе наркотиков.

— Кто говорит о безделушках и беримбау? Я говорю о сигаретах...

— Сигареты? — Рыбоглот делает огромное усилие, чтобы понять, и воображает, что понял: — А! Ты хочешь менять наркотики на пачки американских сигарет, не так ли? Тоже годится, американская сигарета — это верные деньги. Я знаю, где мы сможем их сбывать.

[1] Народный музыкальный инструмент.

Конечно, не следует ожидать от Рыбоглота быстрого и блестящего решения, но комиссар — человек умный и опытный. Детектив вытирает пот, понижает голос:

— Сигареты из травки. Из маконьи.

— А!

Они молча стали раздумывать над этим предложением. Продавать на улице, использовать тех же людей, что будут торговать возбуждающими средствами, нельзя. Продажа этого товара требует большой осторожности, дело гораздо серьезнее и сложнее. Не годится обсуждать его в баре, в общественном месте. Комиссар поднимается:

— Давайте выйдем отсюда. Нужно обдумать это спокойно.

Встав, Рыбоглот кричит хозяину:

— В расчете, галисиец.

Маленькие льготы для тех, кто наблюдает за общественной моралью и порядком. А! Тысячи моряков. Рыбоглот до того доволен, что ему хочется плясать. Мимоходом он задевает плечом входящего посетителя и чуть не сбивает того с ног. Довольный, он смеется ему в лицо:

— Не нравится? Не зевай!

11

Бледный, толстый, неопрятный пятидесятилетний мужчина в черной шляпе, надвинутой на низкий лоб, в замасленной одежде, брюках, пригодных лишь для того, чтобы ловить раков, с револьвером, выпирающим из-под пиджака, чтобы внушать почтение, чиновник полиции со скандальным прошлым, где мог бы еще служить Николау Рыбоглот, как не в Управлении игр и нравов, предписывая закон, обуздывая порок? Он еще прославился тем, что жертвами его порочной страсти пали обе собственных несовершеннолетних дочери.

Он был одним из маленьких тиранов, вымогающих деньги у сутенеров и сводниц, хозяев и хозяек публичных домов и пансионов, кабаре и баров. Он выпивал и наедался даром, выбирал женщину, с которой хотел спать, угрожал, преследовал. Плохо пришлось бы той, которая осмелилась бы отклонить приглашение Рыбоглота, дорого заплатила бы она за дерзость. Этой вот, Терезе Батисте, например, не придется долго ждать. Она не только отвергла приставания агента; она издевалась над ним, выставив его на посмешище в «Цветке Лотоса», полном посетителей.

— Убирайся! Когда я захочу спать с боровом, я отправлюсь с ним в свинарник! — Тереза, которой осточертели предложения и угрозы агента, вышла из себя, готовая на все, в глазах у нее появился известный всем алмазный блеск.

По сравнению с Рыбоглотом детектив Далмо (он же Кока) Гарсиа напоминал манекен — типичный денди. Молодой человек, в хорошо сшитом модном костюме, серой шляпе; оружие он прятал — его власть чувствовалась в манере держать себя и пронизывающем взгляде. Они были разными только по облику и одежде, в остальном — одинаковы. Несмотря на молодость и элегантность, детектив — худший из двух: действия отъявленного наркомана невозможно предвидеть. В ночь галлюцинаций он чуть не задушил Мигелиту, парагвайку, в которую влюбился. Если бы ей не пришли на помощь, тут бы и кончилась многообещающая карьера маленькой гибкой индеанки с приятным голосом, исполнительницы песен на языке гуарани.

Что же касается комиссара Лабана Оливейры, лучше не углубляться в долгую и страшную хронику его жизни и деятельности. Несмотря на сравнительно скромное жалованье, он разбогател. Как видно, он не пренебрегал выгодным бизнесом. Дважды уже был отстранен от должности, находился под следствием, но, естественно, ничего дискредитирующего его мораль, честь и профессиональное поведение не было найдено. Он считался незапятнанным, хотя это прилагательное малоупотребительно в полиции. И именно он увидел горизонты забастовки в припортовой зоне Баии — это событие стало известно как забастовка Закрытой корзины,— о чем здесь мы хотим в общих чертах рассказать, поскольку в нее непонятно почему впуталась уже не раз упоминавшаяся Тереза Батиста.

12

Да, непонятно почему. Проживая в приличном доме на семейной улице и посещая лишь изредка скромное заведение Тавианы, Тереза не имела никакого отношения к делу о переселении. И все же она приняла участие в кутерьме, оказавшись, по свидетельству заслуживающих доверия очевидцев, в числе самых экзальтированных и активных смутьянок. По убеждению Рыбоглота, она была в первую очередь виновата в беспорядке. Было более чем достаточно оснований разжечь злость полицейских.

Из сертана, откуда она прибыла, за ней донеслась слава скандалистки, женщины с вечно растрепанными ветром волосами, хулиганки. Никто ее не звал, не спрашивал ее мнения, так чего же она ввязалась? Стремление принять бремя чужих страданий, не выносить несправедливостей — непокорная, мятежная натура. Как будто такого сорта женщина имеет право лезть на рожон, не подчиняясь законным властям, выступая против полиции, принимая участие в забастовке,— ведь это же конец света!

«Власть закона была восстановлена благодаря энергичным и рассудительным действиям полиции». Это заключение принадлежит инспектору Элио Котиасу, выступившему на пресс-конференции, и если рассудительность может быть здесь поставлена под сомнение, в энергии полиции действительно нельзя было отказать. Есть такие, что говорят о грубом и необоснованном насилии, упоминая о проститутке, убитой выстрелом в шею, и о раненых мужчинах и женщинах. «Если имелись эксцессы, то кто виновен в этом?» — спросил бакалавр Котиас у своих коллег по печати — он ведь тоже занимался журналистикой, когда учился на юридическом факультете. «Если бы мы не остановили все твердой рукой, чем бы это все кончилось?» Этим оставшимся без ответа вопросом и несколькими фотографиями — в профиль, так он выходит лучше — закончилась пресс-конференция и дело, о котором так раззвонили газеты, вплоть до одной утренней газеты Рио-де-Жанейро, опубликовавшей репортаж о событиях последнего вечера, иллюстрированный фотографиями — на одной из них изображена Тереза Батиста, которую держат три агента полиции. В ожидании приговора судьи, несомненно благоприятного, в воздухе пока повис лишь иск, возбужденный фирмой «Сардинья и К°» против государства. В иске содержалось требование возместить ущерб, причиненный недвижимости фирмы разбушевавшейся толпой,— и гражданская ответственность возлагалась на государство, поскольку оно недостаточно обеспечивает общественный порядок. Дело, разумеется, выигранное заранее.

Остались некоторые сомнения, они наверняка никогда не будут разъяснены. Где могут любопытные получить ответ на свои вопросы? Все неопределенно, темно.

Газеты раздули кампанию, цель которой — переселить на Ладейру до Бакальяу лишь пансионы Баррокиньи; сообщения в печати вызвали панику и переполох, разжигая дух сопротивления переселяемых. Но как могла печать биться за переселение только немногих домишек Баррокиньи, всего шести? Даже в самых деликатных делах надо уметь сохранять видимость.

Правда ли, что полиция выдала ордер на арест некоего Антонио де Кастро Алвеса [1], поэта или бродяги, студента или нарушителя порядка, прочесав в поисках подозреваемого районы Баррокиньи, Ажуды, в общем, всю припортовую зону, тогда как вышеназванный поэт умер более ста лет назад и на одной из площадей Баии воздвигнут памятник ему? Правда это или же просто мальчишеская выходка легкомысленного журналиста, имевшего намерение дискредитировать полицию? Распоряжение, отданное комиссаром Лабаном, не терпящим поэтов, было смешным, но не совсем необоснованным. В самом деле, некий бледный молодой человек с дерзко закрученными усами и пылающим взглядом, появлявшийся в часы стачек,— его видели витающим над демонстрацией, кто это мог быть, как не поэт Кастро Алвес? Умер сто с лишним лет назад? Ну и что с того, разве мы не находимся в Баие? Мария Петиско так описала его: «Призрак света над народом, необычайно красивый».

«Забастовка Закрытой корзины» — так в печати было названо движение. Существует издавна благочестивый обычай среди падших женщин — не принимать мужчин, начиная с полуночи святого четверга, иными словами, «закрывать корзину» до полудня субботы. Этим набожным обычаем, тщательно соблюдаемым, католички отмечали в злачных местах святую неделю. В данном случае речь шла не о религиозном предрассудке, деталь, впрочем, не имеющая значения, так как большинство моряков состояло из верующих различных сект, чаще протестантов.

13

Бакалавр Элио Котиас, «джентльмен полиции», по выражению хроникера Лулузиньо (в некоторых кругах известного под кличкой «Распутная Лулу»), не сумел скрыть своего раздражения:

— Где вы расхаживаете, черт возьми, чем занимаетесь?

Рыбоглот пробормотал извинения, комиссар Лабан предпочел хранить молчание, глядя на полицейского инспектора лишенным выражения, пристальным и холодным взглядом: «Ничтожество, папенькин сынок, дерьмо. Не смей поднимать на меня голос, я этого не выношу. Если ты это сделаешь, я тебе покажу: я не служащий частной фирмы, и пока еще никто мне не сказал, сколько я заработаю на сделке». Глаза комиссара, остановившиеся и холодные, вызывают дрожь. Полицейский смягчает тон, отдавая распоряжение:

— Я требую, чтобы женщины были доставлены сюда сейчас же. Все. Возьмите машину радиопатруля. Посмотрим, переезжают они или нет.

Комиссар последовал за Рыбоглотом, но, подойдя к двери, начал демонстративно насвистывать. Бакалавр сжимает кулаки: человек с

[1] Антонио де Кастро Алвес (1847—1871) — бразильский национальный герой, борец за освобождение негров от рабства, крупнейший поэт Бразилии.

чувствительными нервами вынужден сотрудничать с подобными типами, нелегкая участь. Ах, если бы не ожидаемое вознаграждение...

Назначение бакалавра Элио Котиаса на пост инспектора, наблюдающего за азартными играми и за нравами, служило, по определению дружественной газеты, явным доказательством решения властей обновить кадры гражданской полиции путем привлечения в нее достойных людей, заслуживающих доверия населения. Хорошего происхождения, удачно женатый (на Кармен, из семьи владельца фирмы Сардинья), он этим утром выслушал по телефону приятные слова от дядюшки жены. В неподходящий час, еще не очнувшись от похмелья,— на вчерашнем приеме у бутылки виски шотландской являлась лишь наклеенная этикетка. Зато Бада, супруга депутата, была богиней, статуэткой Танагры — так он назвал ее, она растаяла. Будущее виделось ему в розовом свете.

Пренебрежительный тон старика вызвал все же у него раздражение, и ему необходимо было выместить на ком-нибудь свое дурное настроение. Он попытался сообщить Кармен свое мнение о родственнике, но та стала яростно защищать его: дядя Иполито, мой дорогой, это табу! В полицейском управлении ему хотелось бы отругать последними словами свору негодяев, но на это у него не хватало воодушевления. Глаза комиссара — глаза покойника в морге — полны жестокости! Всю злость он приберег для хозяек женских пансионов Баррокиньи.

Они пришли все, их было шестеро, аудиенция длилась всего несколько минут. Их грубо втолкнули в кабинет инспектора, который начал, как положено, с ругани; здесь уж бакалавр излил душу, даже стучал кулаком по столу. «Вы что, думаете, что уже нет власти в Баие? Получили приказ о переселении, адреса домов, где следует договориться об аренде и соответствующем взносе, а ведете себя так, как будто вам ничего не известно, продолжаете заражать Баррокинью. Вы что, все с ума посходили?»

— Мы не можем жить в тех ветхих лачугах, там все сгнило: полы, обивка, стены. Ни жить, ни тем более принимать мужчин,— осмелилась произнести Акасия, главная сводница, женщина с седыми волосами, кривая на один глаз, хозяйка пансиона, где обитали восемь женщин.— Это слишком зловонное место.

— У меня имеется акт управления здравоохранения, в нем сказано, что эти дома располагают всеми необходимыми гигиеническими условиями. Вы что — хотите жить в богатых особняках Корредора да Витория, Барры, Грасы? Так вы думаете?

— Но, сеньор...— попыталась вставить слово Ассунта.

— Заткнись! Я вас вызвал не для того, чтобы вести праздную болтовню. Место это превосходное, оно одобрено управлением здравоохранения и полицией. Больше не о чем разговаривать. Даю срок до завтра. Если завтра окажется открытым хоть один пансион в Баррокинье — заработаете побои. Потом не жалуйтесь. Я вас предупреждаю по-дружески.

14

Проезжая вечером мимо полицейского управления, бакалавр Элио Котиас пожелал получить какие-либо сведения о переселении.

— Где комиссар Лабан?

— Вышел по служебным делам.

— А Николау?

— Тоже. Они вышли вместе.

Наверняка проверить, как проходит операция, они за нее несут ответственность. Так или иначе, срок — до следующего дня. В автомобиле с белым номером его ожидает Кармен. Они отправляются к депутату играть в карты, там будет несколько супружеских пар из знатного общества; инспектор улыбнулся, подумав о Баде. Накануне он сказал ей, что она похожа на статуэтку Танагры, сегодня он ей скажет: загадочная Джоконда Леонардо. Ни в коем случае нельзя пить фальсифицированное виски, следует удовлетвориться бокалом пива.

Чтобы выиграть время, он приказывает шоферу ехать кратчайшим путем, они уже опаздывают. Машина проезжает по узким улочкам, фары освещают женщин, стоящих в весьма вольных позах у дверей злачных мест, охотящихся за мужчинами. Кармен наблюдает с любопытством.

— Это ты теперь командуешь этими женщинами, не так ли? Мой маленький Элио, король проституток. Как смешно!

— Не нахожу ничего смешного, это важный пост, очень ответственный.

Автомобиль выезжает на Байшу дос Сапатейрос, катит по направлению к Назарэ.

15

В королевстве бакалавра Элио Котиаса, инспектора игр и нравов, обычное оживление. В лабиринте едва освещенных улиц женщины ищут клиентов, предлагают себя, зазывают, приглашают — шепот, мольба. В дверях и окнах выставлен товар на продажу — дешевый товар. Некоторые, тщательно одетые, накрашенные, с традиционной сумочкой, направляются на улицу Чили, в тамошних отелях обычно останавливаются фазендейро и коммерсанты, прибывающие из провинции.

В барах ежедневные и случайные посетители, пиво, коньяк, крепкий коктейль, кашаса. Сводники, альфонсы, несколько художников, последние поэты романтической музы. В «Цветке Сан-Мигела» немец Хансен, высокий блондин с остроконечной бородкой, рисует с натуры — отдельные сценки, фигуры, предметы обстановки, не прерывая беседы с женщинами — все они его приятельницы, он знает жизнь каждой из них.

В кабаре ансамбли, джаз-оркестры, пианисты играют танцевальную музыку; парочки занимают площадки, танцуя фокстроты, румбы, маршиньяс. Время от времени звучит аргентинское танго. За час до полуночи начинаются выступления певцов, балерин, гимнасток — все невысокого пошиба; после выступления и аплодисментов они ожидают приглашений на остаток ночи, берут немного дороже,— так положено по уставу.

Жизнь бурлит в течение определенных часов, число клиентов возрастает между девятью и одиннадцатью, потом снова уменьшается. Старики и молодые, зрелые мужчины, бедные и среднего достатка, тот или иной порочный богач (богачи, как правило, пользуются комфортабельными и укромными домами свиданий, почти всегда в начале вечера), грузчики, солдаты, приказчики, студенты, люди всех профессий и представители богемы, стареющие за столиками дешевых баров, тоскливых кабаре. Шумный, суматошный, утомительный вечер, иногда отмеченный тревогой и страданием.

В наиболее бойкие часы некоторые любопытные представительницы высшего света в обществе мужей и любовников проходят по улицам, возбуждаясь при виде оживленного зрелища, полуобнаженных женщин, заходящих в злачные места мужчин, слушая оскорб-

ления, ругательства. Ах, каким наслаждением было бы предаться любви в одной из этих дыр! Холод пробегает по спине.

В том районе, где проезжает автомобиль полицейского инспектора, в укромных уголках этого обширного царства, видны торопливые фигуры мужчин и женщин. Тереза Батиста и детектив Далмо Гарсиа, прибывшие из разных мест, одновременно подходят к двери огромного дома Вавы.

Переступив порог, полицейский останавливает взгляд на женщине: это же исполнительница самбы из «Цветка Лотоса», красивая смуглянка. Неужели она посещает заведение Вавы? Крайне сдержанная, прикидывающаяся простушкой, она, по словам Рыбоглота, теперь подрабатывает в крупнейшем увеселительном заведении Баии? Что произошло? В ближайшие дни, в спокойной обстановке детектив Далмо Кока проверит утверждения Рыбоглота, сегодня у него нет времени. Его привело к Ваве важное дело. Он поднимается по лестнице. Тереза несколько минут пережидает на улице.

16

Каково его полное, истинное имя? Возможно, никто этого не знает во всей зоне, где между тем Вава царствует около тридцати лет. Один репортер с литературными фантазиями и социологическими наклонностями, автор серии репортажей о проституции, назвал его Императором Злачных Мест, но не узнал, что у него за семья и каково его происхождение. Был бы репортер профессионалом старого типа, менее самоуверенным, он бы обратился к архивам специализированного полицейского управления, чтобы перелистать книгу происшествий, или воспользовался бы возможностью найти в картотеке недвижимостей подпись Валтера Амазонаса де Жезус. Имя порядочное и звучное, но ему было вполне достаточно имени Вавы, чтобы его слушались и уважали во всей зоне и даже за ее пределами.

Еще труднее угадать его возраст. Он, казалось, существовал всегда, обосновавшись здесь, в Масиэле, в этом большом доме, сначала в качестве жильца, а впоследствии единственного его владельца, как, впрочем, и других домов по соседству; он считал недвижимость превосходным вложением капитала, в особенности если дома расположены в таком бойком месте. Репортер упоминал о целых «улицах домов», приобретенных Вавой. Хотя только сам хозяин знал их точное число, количество заведений не должно было быть больше четырех или пяти. Так или иначе, они приносили ежемесячно солидный доход.

Могущественный и внушающий страх Вава управлял принадлежавшими ему зданиями, сидя в кресле на колесах, которое он сам приводил в движение, раскатывая по гостиной, коридорам и комнатам. Калека на обе ноги, разбитый детским параличом, горбун с непомерно большой головой — бесформенное существо, у которого вся жизнь сосредоточилась в недоверчивых и хитрых глазах и больших, исключительно сильных руках: он дробил между суставами пальцев орехи. Находящийся всегда поблизости от хозяина Амадеу Местре Жегэ, бывший боксер, поддерживает порядок в заведении и переносит Ваву на верхний этаж для обязательной ежедневной инспекции.

С полудня и до четырех часов утра все находится в движении — интенсивном, постоянном. Большое число женщин, еще более многочисленные клиенты, всегда полная гостиная, где изящная красотка, прямо-таки Грета Гарбо, подает напитки. Иногда Вава покидает гостиную, тогда он пребывает в просторном комфортабельном помещении на втором этаже, служащем ему одновременно конторой и спальней: двуспальная кровать, умывальник, небольшой письменный стол, радио-

приемник и проигрыватель, пластинки, домашний алтарь, где находится изображение афро-бразильского божества Эшу Тирири. Вава заботится о нем с величайшим старанием, он ему очень дорог. Без покровительства Эшу Вава давно бы отдал концы, окруженный завистью, алчностью и предательством. Многие зарятся на его деньги.

В том числе и люди из полиции. Несмотря на платежи, которые он делает ежемесячно со скрупулезной аккуратностью комиссару Лабану и целому полку агентов, они изобретают всякие способы эксплуатировать его. Полиция не держит слова, и ей не хватает скромности

Однажды полицейские вторглись в дом вместе с инспектором суда для малолетних, показав ордер судьи. Они увели за собой семь девушек в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет. Как потом выяснил Вава, полицейское управление было заблаговременно информировано о запланированном судом мероприятии. Но разве не подкупал он тайных агентов, по крайней мере двух из каждой тройки? Что стоило предупредить его? Вава дал бы исчезнуть девчонкам, которым предстояло суровое наказание. Пришлось претерпеть серьезные затруднения, прежде чем снова был открыт дом свиданий. Если бы он не поддерживал отношений с влиятельными лицами в суде, если бы не всемогущий Эшу, он кончил бы тем, что лишился своего бизнеса и очутился под судом и в тюрьме.

В другой раз, благодаря ложному доносу о торговле наркотиками, инспирированному полицией, у него все перевернули, закрыли заведение больше чем на неделю, объявили об аресте и продержали Ваву целые сутки. Освобождение из этой западни ему стоило сбережений за пять лет, собранных монета за монетой для покупки в рассрочку здания напротив. Однако Эшу вовремя предостерег его против некоего Алтамирандо, агента и наркомана; ныне он, к счастью, пребывает под землей — с Тирири не шутят.

Подлость полиции, предательство женщин. Нельзя сказать, что Вава легко влюбляется, но когда это случается, он совершенно теряет голову и превращается в ребенка. Сначала он ухаживает, медовый месяц, затем устраивает избранницу в комнате второго этажа, освобождая ее от работы, заваливает подарками. Сколько их обирали его? Почти все, подлая шайка, бессердечные существа. Они спали с ним, уже замышляя украсть как можно больше. Из-за одной он чуть не погубил себя: Анунсиасан до Крато, смуглянка, худая, высокая, смешливая, она пришлась по вкусу Ваве. Она казалась самой добротой; однажды, когда он лежал в постели, неспособный подняться без посторонней помощи, она объявила ему о своем отъезде обратно в сертан в это же утро, она заберет у него деньги из конторки — весь заработок за вчерашний день. Она смеялась ему в лицо: ему ничто не поможет, даже если он и будет кричать,— в этот утренний час, когда спят все, включая Местре Жегэ. С кровати Вава видел, как она шарит в конторке. Где он нашел силы и как сумел соскользнуть с постели, проползти по полу? Как ему удалось добраться до нее, ухватить за лодыжку мертвой хваткой? Когда Местре Жегэ пришел ему на помощь, он уже повалил ее и сжимал ей горло. Только чудом не убил. Кто послал ему силы? Ну, что за вопрос?! Разве напрасно Эшу расположился в алтаре?

— Мне нужно поговорить с тобой конфиденциально,— заявил Далмо Гарсиа.

«Чтобы вытянуть деньги»,— мелькнула мысль у Вавы. Детектив не фигурирует в его списке получающих взятки — он занимается наркотиками, а Вава хочет быть подальше и от наркотиков и от наркоманов. Страдающие пристрастием к порошку называют детектива Далмо Кока, то есть Далмо Кокаин. Все, что происходит в зоне, доходит до ушей Вавы.

17

Из трех компаньонов, возглавивших новое предприятие, предназначенное оказать гостеприимство и предоставить развлечения героическим защитникам западной цивилизации во время их краткой остановки в порту Баии, охраняя их здоровье, укрепляя силу и обеспечивая сон, детектив Кока был не самым невежественным и глупым.

Он уселся в кресло рядом с конторкой и стал выкладывать свой замысел хозяину дома, даже не потребовав удаления Амадеу Местре Жегэ, бывшего свидетелем разговора. Предполагается разместить по всей зоне людей, которые будут продавать морякам флакончики с возбуждающим афродизиакским эликсиром, фабрикуемым Эроном Мадругой, приятелем Рыбоглота. С этой стороны предприятие не нуждалось в сотрудничестве Вавы, последнее необходимо для другого дела, гораздо более доходного: в то время как на улицах открыто продавались бы предохраняющие средства, люди, которым можно доверять профессионалы, в тиши домов терпимости снабжали бы бесстрашных гостей по сходной цене сигаретами из лучшей отечественной маконьи

— Ты хочешь торговать маконьей здесь, в моем доме?!

— Не только это, мой дорогой.

Далмо несет ответственность за довольно большое количество уже заказанной травки, которую он должен получить завтра вечером, так вот, он ищет надежное место, где бы хранить ее до момента продажи. Американские корабли могут прибыть в любой день; когда именно — никто не знает, ничего не поделаешь — военная тайна.

Самым надежным местом могут быть комнаты Вавы. Разве у него нет сейфа, замурованного в стене? Есть, со времени случая с мулаткой Анунсиасан до Крато. Если он и небольшой, то все равно чемоданчик, вроде того, что в углу, поместится, только надо будет запереть его на ключ. Огромный дом свиданий с такой большой и постоянной клиентурой — идеальное хранилище. Отсюда они смогут спокойно распределять товар между агентами, которым будет поручена продажа. В обычной сутолоке никто не обратит внимание на то, сколько будет входить и выходить любителей маконьи, перемешавшихся с клиентами, заинтересованными лишь в том, чтобы побыть с девицей.

— Хранить в моем доме? В моей комнате? — Глаза Вавы, казалось, готовы были выскочить из орбит.— Ты с ума сошел! Ни в коем случае.

К счастью, в этот час рефлексы детектива Гарсии еще подчинялись его воле, ноздри не раздувались от безудержной злобы. Позднее будет иначе, даже присутствие Амадеу Местре Жегэ не удержит руку элегантного агента, привыкшего затыкать рот упрямцев кулаком.

Амадеу Местре Жегэ в общей сложности был участником тридцати боев на ринге среди любителей и профессионалов, проиграв двадцать шесть по очкам и выиграв четыре нокаутом — единственные, в которых ему удалось нанести противникам удары в подбородок или грудную клетку. Смертельные удары. Он был искренне предан Ваве, но вступится ли он, если Далмо при нем изобьет хозяина? Посмеет ли выступить против детектива? Одному богу известно.

Далмо ограничился угрозами. Подумай дважды, прежде чем отказать человеку из специального полицейского управления в небольшой услуге. Разве ты не в курсе дела относительно распоряжения о переселении? На этот раз дело серьезное, это — решение сверху, подлежащее выполнению в кратчайший срок. Завтра женщины переселяются из Баррокиньи на Ладейру до Бакальяу. Затем Масиэл. Расположенные здесь заведения переберутся в старые лачуги Пилара, из которых лишь две-три в приличном состоянии. Вся эта грязь

исчезнет из центра, чтобы обосноваться в Нижнем городе, у подножья горы. Кто пользуется благосклонностью полиции, получит льготы и преимущества, но горе тому, кто окажется в черном списке! Владелец такого большого и процветающего предприятия, Вава должен жить в мире с агентами. Далмо Кока вернется завтра к вечеру, чтобы уточнить детали. Возможно, уже принесет траву.

Две пачки американских сигарет оказались кстати на конторке, детектив положил их в карман и ушел. В тревоге Вава низко опустил голову, не зная, что делать.

Не в пример женщинам Баррокиньи, он прочитывал все газеты и знал о кампании по переселению, но это не особенно его испугало: обычно, когда у газет не было в данный момент подходящей темы, непременно всплывал вопрос о зоне. Накануне, однако, ему стало известно, что полицейский инспектор назначил срок — двое суток на эвакуацию Баррокиньи, и он встревожился. Теперь, выслушав агента, убедился в худшем.

Переселение означало для него неисчислимый ущерб. Не только из-за того, что прервется работа заведения—подлинное несчастье!— но также и потому, что доходы от его домов, арендовавшихся по высоким ценам, снизятся до уровня квартирной платы. Возможно, единственный выход — это, действительно, хранить маконью, тогда можно будет спасти хоть что-то в обстановке всеобщего банкротства. Если только все это не является очередным предательством, ловушкой полиции? Оставят маконью в его комнате, а затем ворвутся в дом, захватят с поличным, прикончат его. В такие моменты наиболее верный путь — посоветоваться с Эшу. Завтра он велит позвать жреца — отца Нативидаде.

На пороге комнаты появилась Грета Гарбо:

— Там одна девушка хочет говорить с вами. Тереза Батиста.

18

Он только взглянул на Терезу, как его охватило волнение: он влюбился. Внезапная страсть, любовь с первого взгляда? Можно сказать — да: он впервые увидел ее во плоти и крови, остановившуюся в дверях, улыбающуюся, сверкавшую золотым зубом. Можно сказать — нет, ибо он ее искал, преследовал и находил в тысяче снов, небесное видение. Наконец-то она появилась, слава Эшу.

Он уже слышал о Терезе Батисте. Знал о случае с кинжалом из Толедо, о ярости испанца Рафаэля Ведры, которому наставил рога бог Ошосси, о вмешательстве Терезы, спасшей жизнь Марии Петиско и одновременно способствовавшей бегству ревнивца,— два достойных поступка по неписаному кодексу здешних мест. Передали ему также дерзкий ответ, брошенный прямо в лицо Рыбоглоту; об ее наружности говорили, что она красива и привлекательна, однако значительно меньше, чем она заслужила. В волнении от явившегося ему чуда Вава дошел до того, что забыл о посещении Далмо (Коки) Гарсии, о неприятностях и заботах. Он повторил Местре Жегэ, чтобы тот привел на следующий день отца Нативидаде. Прибавилась новая проблема: после случая с Анунсиасан до Крато он советуется с Эшу также и о любовных делах. Вава живет окруженный завистью и предательством, нужно быть защищенным со всех сторон.

— Входи и садись.

Она пересекла комнату, величавая и гибкая, ах, боже мой! Заняла кресло, в котором только что сидел детектив. Большие руки калеки привели в действие кресло-каталку, он приблизился к ней. Что ее привело сюда? Раз она посещает заведение Тавианы с избран-

ной, богатой клиентурой, не пришла же она предлагать себя в здешний дом, открытый для всех. Там, в один вечер, от единственной встречи с воспитанным, щедрым старичком она зарабатывает больше, чем любая из дома Вавы за двое суток беспрерывной работы.

Откровенная и решительная, Тереза сразу приступает к делу:

— Вы слышали о переселении увеселительных заведений?

Пылкий голос дополняет образ сновидения, пропадающего при свете раннего утра. Сверкающие черные глаза на ясном лице с тенью меланхолии, распущенные по плечам волосы, изящество, бронзовый цвет кожи, легкое кокетство, тем не менее серьезные манеры,— она похожа на ветерок. Вава, взволнованный, плохо понял вопрос. Он лишь отдал себе отчет в вежливом обращении; в Баие никто не говорил ему — сеньор, даже те, кто его боялся, а таких было много. Как обращаться к ней? Нормы вежливости баиянцев сложны.

— Зови меня Вава, тогда я смогу называть тебя Тереза, так лучше. Так о чем ты меня спрашиваешь?

— С удовольствием. Я спросила, слышали ли вы о переселении?

— Только сейчас разговаривал об этом.

— Женщины Баррокиньи получили срок до завтра, чтобы переехать на Ладейру до Бакальяу. Вы знаете, в каком состоянии находятся дома на Ладейре?

— Слышал.

— Знаете, что и остальные тоже будут переселены? Знаете, куда направляют с Масиэла?

— В Пилар, знаю. Теперь, раз ты задала мне столько вопросов, разреши мне спросить тебя: к чему все это? — В разговоре его прежде всего интересовало конкретное дело, а тут еще при каждом слове лицо девушки словно озарялось, да и сама она, казалось, вздымается в воздух, подобно языку пламени. Во сне он как-то видел такую, пылающую над скалой,— огненный факел во мраке.

— Женщины Баррокиньи не станут переселяться.

— Хм? Не станут переселяться?

Утверждение содержало столь новую и ниспровергающую все идею, что вывело Ваву из романтического настроения, охватившего его с появлением Терезы, он устремил на нее недоверчивый взгляд и повторил вопрос:

— Хм? Как это не станут переселяться?

— Останутся там, где сейчас, будут жить в Баррокинье.

— Кто это тебе сказал? Старая Акасия? Ассунта? Мирабел? Тому, что говорит Мирабел, верить нельзя. Что же, старая Акасия не подчинится приказу?

— Именно. Никто не подчинится.

— Полиция им покажет, где раки зимуют.

— Они к этому готовы.

— Их могут выгнать силой.

— И женщины все же не переселятся. Никто не поедет в дома на Ладейре до Бакальяу, даже если бы пришлось остаться на улице.

— Или попасть в тюрьму.

— Всю жизнь в тюрьме не продержат. Поэтому я и пришла к вам.

— Зачем?

— Говорят, что после Баррокиньи наступит очередь Масиэла. Скажите мне, если не секрет, сеньор... Простите, скажите... вы собираетесь переселяться?

Глаза Вавы по-прежнему устремлены на Терезу; пронизывающие, недоверчивые, вопрошающие — они живут отдельной, своей жизнью.

Почему она не удовлетворяется тем, что красива, даже слишком красива, ах, боже мой!

— Если бы я мог что-нибудь сделать... конечно нет.

— А если ничего нельзя сделать? Вот Мирабел отдала комиссару Лабану все, какие у нее были, деньги, он их положил в карман и продолжает стоять на своем: придется переселяться.

— Если ничего нельзя сделать? Не хочу и думать.

— А если никто не переселится, никто? Вы полагаете, что полиция сможет заставить переехать, применив силу, если никто не согласится? Вряд ли.

Не подчиниться полиции? Самая безумная и самая нелепая идея! Но если бы люди смогли настоять на том, чтобы все оставалось там, где находится уже столько лет, это было бы здорово. Вава вместо ответа спрашивает:

— Скажи мне, пожалуйста, по-твоему, полиция нападет на дом Тавианы, несмотря на всех знатных ее покровителей?

— Не знаю, как вам сказать.

— Так вот я сомневаюсь. Сом-не-ва-юсь! Могут переселить всех, кроме Тавианы. Раз так, зачем ты вмешиваешься в это, говоришь так, как если бы ты работала в Баррокинье или здесь? Зачем?

— Ну что ж. Сегодня я посещаю дом Тавианы, а раньше бывала в другом доме с открытой дверью и могу там быть снова.— Она на мгновение замолчала, и Вава, удивленный, увидел в ее черных глазах блеск молнии. — Я уже попадала в беду и поняла, что, если не будешь воевать, ничего не достигнешь в этой жизни. И не заслуживаешь лучшего.

Сопротивляться приказам полиции? Безумная идея! А кто может подсказать, как быть? Кто знает? Эшу, отец и покровитель.

— Я подумаю и завтра в полдень дам ответ.

— Точно в полдень я вернусь. Добрый вечер, Вава.

— Уже уходишь? Не хочешь чего-нибудь выпить? Чуточку ликера? У меня тут есть хороший, приготовленный монахинями из какао и фиалки. Еще рано, давай потолкуем немного.

— У меня еще есть дела перед тем, как идти в «Цветок Лотоса».

— Приходи позавтракать со мной. Скажи мне, что ты любишь.

— Что угодно, большое спасибо.

Она встала, Вава наблюдает за ней: о, боже небесный! Улыбаясь, Тереза прощается. Рука Вавы — бесформенная лапа. Но сколько в ней нежности, когда он касается кончиков пальцев девушки. Она не удовлетворяется тем, что просто красива, в ее голове еще бродят нелепые идеи. Вава, не будь безумцем, будь осторожен, вспомни Анунсиасан до Крато. В груди — пожар, как может Вава помнить об осторожности? Он охвачен любовью, страстно влюблен.

19

Некогда великолепная пышная мулатка, прозванная Необузданной Паулиной, некогда всеми признанная королева карнавала, ныне предстает перед горожанами Баии как Паулина де Соуза, дона Паулина, пользуясь чуть не всеобщим уважением; с течением времени она растолстела, утихомирилась и стала хозяйкой четырех женских пансионов в Пелоуриньо и Табоане. Самая могущественная фигура в зоне после Вавы. Она оказывает большое влияние на многочисленное население этого района. Женщины относятся к ней с почтением: дона Паулина строга, но в беде никого не оставит, не то что другие, которые только и знают, что сосут кровь из людей.

Все называют ее доной Паулиной, а самые молодые, прибывшие

из провинции, обращаются к ней за благословением, пускаясь в новый путь; ее четыре пансиона могут послужить образцом хорошо поставленного дела: любезные и здоровые компаньонки для клиентов, покой и надежность. Никогда здесь не было скандалов, ссор, драк, краж, пьянства — всего того, что, как правило, встречается в других местах. Ни в одном из них не было открытого бара и клиентам не продавались алкогольные напитки; зато дона Паулина снабжала желающих эротической литературой, сборничками песенок фривольного характера, а для наиболее обеспеченных у нее были сенсационные фотографии. Небольшой гарнир к основному блюду.

Дона Паулина де Соуза диктует свои законы и умеет заставить их выполнять. Она не допускает ни малейшего беспорядка в стенах пансионов. Ее жилички должны уметь себя вести, понимая, что они находятся на доходной работе. Дебоши, кашаса, маконья — за дверь! Кто не согласен — отправляйся на все четыре стороны.

От оживленного и веселого прошлого, помимо воспоминаний о различных случаях, дона Паулина сохранила запас энергии, достаточный для того, чтобы подрезать крылья любой влюбившейся кокетке или какому-либо клиенту-новичку, незнакомому с правилами дома или пожелавшему, чтобы его обслужили в кредит или задаром. Надо было видеть ее в эти моменты — взбешенную, стремительную, несмотря на объемистую фигуру,— настоящую фурию.

Поддерживая давнишнюю связь с Ариосто Алво Лирио, казначеем префектуры, высоким, худым мулатом, воспитанным и вежливым, дона Паулина готовилась к заслуженному отдыху. По соображениям юридического характера на имя Ариосто она приобрела дом и земельный участок в Сан-Гонсало дос Кампос, где родилась, и в ближайшем будущем намеревалась мирно дожить остаток жизни. Когда через пять лет Ариосто, как муниципальный чиновник, уйдет на пенсию, она продаст кому-нибудь свои процветающие пансионы — в кандидатах недостатка не было — и отправится возделывать землю вместе со своим любовником, который к тому времени, быть может, станет ее законным мужем.

Два единственных обстоятельства заботят и раздражают дону Паулину, и одно из них — то, что официально она сейчас считается замужем за Телемако де Соуза, парикмахером по специальности и пьяницей по призванию. Упрямый субъект — ему до сих пор удавалось спастись от нескольких несчастий, подготовленных супругой, близко связанной с жрецами божества Ифа, страшными колдунами. Баиянский фигаро уже потерпел две ужасные автомобильные катастрофы, в одной из которых погибли три человека, в другой — два, тогда как он один остался невредимым. Позже Телемако заболел тифом в тяжелой форме, врач приговорил его к смерти, но он все-таки не умер, подпортив таким образом репутацию медика. В сильном опьянении, возвращаясь с прогулки в Итапарику, он свалился в море и, не умея плавать, все же не утонул — какой неблагодарный! Он родился с тонкой кожей, а кто родится тонкокожим, тому покровительствует бог Ошалá. Несмотря на это, дона Паулина не теряет надежды, вновь вручает богам подношения — эбо: когда-нибудь настанет день — дом обрушится, и она окажется вдовой и невестой.

Другое, что ее тревожит,— приходится тратить большие деньги на полицейских. Содержа свое заведение в отличном порядке, не вербуя несовершеннолетних, не торгуя наркотиками, не допуская скандалов в пансионах, она чувствует себя обокраденной, жертвой самой несправедливой и подлой эксплуатации, поскольку ей приходится запускать руку в сбережения, предназначенные для обработки плантации в Сан-Гонсало дос Кампос, тратить их на то, чтобы от-

кармливать таких типов, как, например, Рыбоглот, грязного субъекта, принесшего в жертву своему пороку собственных дочерей.

Только сегодня этот негодяй был здесь, вымогал у нее деньги, утверждая, что необходимо, дескать, подготовиться к прибытию американских моряков. Он угрожал переселением. Если Паулина хочет остаться в Пелоуриньо, пусть раскошелится, будет стоить дорого, но все же твердых гарантий он дать не может. На этот раз, по словам агента, желавшего припугнуть, распоряжение исходит непосредственно от губернатора: убрать злачные места из центра города. Его супругой во время избирательной кампании был дан обет: если муж окажется избранным, все увеселительные заведения будут изгнаны к черту на кулички. Рыбоглот ликовал:

— Вот теперь я посмотрю, как святой на кандомблэ выручит вас. Если кто-нибудь захочет, чтобы я помог ему, придется заплатить. Готовьтесь, это уже недалеко.

Дона Паулина де Соуза познакомилась с Терезой Батистой через Аналию, девушку всегда улыбающуюся и спокойную, целыми днями, как птичка, распевающую сержипские песенки, тоскливые мелодии. Поскольку Аналия была родом из Эстансии и постоянно упоминала в разговорах реку Пиауитингу, водопад Кашоэйра до Оуро, старый мост, Тереза Батиста подружилась с ней в «Цветке Лотоса». Лишь имя доктора Гедеса никогда не упоминалось в их беседах. Тереза бережно хранила только для себя воспоминания о радости и любви.

Обитательница одного из пансионов экс-королевы карнавала, того самого, где находились ее апартаменты, Аналия как-то пригласила Терезу позавтракать. Визиты Терезы затем стали повторяться. Принимая участие в их интересных беседах, рассказывая и выслушивая различные истории, дона Паулина привязалась к девушке с хорошими манерами, интеллигентной речью. Тереза говорила ей о сертане и о городах бразильского севера, о разных любопытных происшествиях, о зверях, людях и привидениях. С одинаковой меркой она относилась к знатному сеньору или бедняку, у которого нет ни кола ни двора. Когда она приходила — иногда забегала бесплатно перекусить,— дона Паулина радовалась: появлялось развлечение на весь вечер. Аналия сообщила ей по секрету, что Тереза в свое время была содержанкой одного богача в Сержипе, жила в роскоши. Не будь дурехой, ценя деньги, Тереза могла быть сегодня независимой, вытянув у старика все, что угодно,— он был влюблен в нее по уши.

Однажды Тереза пришла в неурочный час. Дона Паулина была занята делами пансионов, но все же не отказалась поговорить с ней:

— Побудь со мною, скажи, что привело тебя. Нужны деньги?

— Нет, спасибо. Не это. Завтра женщины из Баррокиньи должны переселяться.

— Это произвол, подлость! Сегодня здесь был Рыбоглот, полицейский агент, он уже пытался выжать деньги.

— Но женщины из Баррокиньи не будут переселяться.

Дона Паулина вытаращила глаза:

— Не подчинятся? А кто может поручиться, что не будет неприятных последствий?

— Все, все решили не переезжать. Я уже говорила с Вавой, думаю, что он присоединится к этому решению.

— Объясни толком, девушка, расскажи подробно.

Тереза объяснила еще раз. Переселить несколько пансионов нетрудно, но как полиции удастся заставить всю зону переехать? Люди Баррокиньи уже решили: они не тронутся с места.

— Не подчинятся? Но полиция...

— Да, полиция, конечно, прибегнет к силе, будет арестовывать, угрожать, и все же никто не отправится в Бакальяу. Хозяйки пансионов потерпят убытки, пока полиция не отступит. Но с переездом ущерб неизмеримо возрастет.

— Это верно.

Что дальше? Люди из Масиэла тоже не переселятся. Вава даст ответ завтра, однако Тереза готова держать пари, что и он присоединится. Не станут переезжать и пансионы Пелоуриньо, а также пансион Табоана, если дона Паулина даст согласие. Все зависит от нее.

— Безумие! Единственный выход — набить карманы агентам. Всегда было так. Рыбоглот, негодяй, уже начал заниматься поборами.

— А если и это не поможет? Мирабел заплатила, но впустую.

Пока они беседовали, появился Ариосто Алво Лирио. В молодости он принимал участие в профсоюзных выступлениях, участвовал в забастовке в префектуре, чтобы воспрепятствовать принятию законопроекта, затрагивавшего интересы чиновников. Забастовка закончилась победой бастовавших. Обладая даром красноречия, он произносил речи на широкой лестнице у входа в муниципальный дворец, ему аплодировали. Он и сейчас хранит радостные и приятные воспоминания о тех событиях. В общем, идею сопротивления он одобряет, это может дать положительные результаты. Не скрывает энтузиазма.

И все же дона Паулина, женщина умная, противница поспешных действий, не решается сразу принять предложение. Тереза ожидает, сдерживая мучительное беспокойство. Если дона Паулина и Вава скажут «да» и отдадут соответствующие распоряжения, никто не переселится. Важно всем вместе не подчиниться предписанию полиции.

— Это будет конец света,— бормочет хозяйка пансионов.

Дона Паулина де Соуза с молодых лет, когда еще не была Необузданной Паулиной и королевой карнавала, посещает ангольское кандомблэ, где царит Огун Пейше Мариньо. И сейчас прежде всего она хочет выслушать мнение божества, ее покровителя.

— Приди снова завтра,— говорит она Терезе.— А ты, сеу Ариосто, не суй сюда нос, оставайся в стороне, а то повредишь своей карьере в префектуре.

20

Жрица кандомблэ, она же Ангольская королева, могущественная на земле, на небесах и на водах, «мать» Мариазинья, горячо приняла Паулину де Соуза. Та благочестиво приветствовала святых, как положено по ритуалу, поцеловала землю, получила благословение и открыла свое сердце:

— Дело серьезное, мать. Переселение грозит нас разорить, и обидно отдавать агентам сбережения, нажитые годами.

«Мать» Мариазинья по-дружески обнимает «дочь» Паулину — великодушная и щедрая, та помогает поддерживать блеск кандомблэ, одной из первых участвует в празднествах в честь Огуна Пейше Мариньо. Жрица проводит рукою сверху вниз, с головы до ног, избавляя Паулину от дурного глаза и неприятностей. В рокоте моря суждение морского божества. С волнением «мать» говорит, что хотя дело запутанное, трудное, однако Огун Пейше Мариньо поведал: хорошо поведешь — пользу найдешь. Не рискнешь, не выиграешь!..

А девушка Тереза, заслуживает ли она доверия? Ответ безоговорочен: полного! Воинственная девушка, дочь богини Янсан, а за Огуном Пейше Мариньо — старец седобородый с посохом. С порывом

ветра волшебство исчезает, «мать» Мариазинья вздрагивает и открывает глаза. Паулина целует ей руку. Издалека, со стороны побережья, доносится дробь барабанов атабаке.

21

На другой день вечером в «Цветке Лотоса» Алмерио дас Невес, танцуя с Терезой, заметил, что она чем-то озабочена. Четверо суток не виделся он с ней, сильный грипп приковал было его к постели, но как только поднялся, тут же пришел в кабаре. Тереза встретила и приветствовала его весьма дружелюбно:

— Ты что-то совсем исчез...

Под ласковой шуткой — беспокойство; на танцевальной площадке, выделывая па румбы, он спросил ее, получила ли она какие-нибудь вести о Жерэбе. Нет, ничего нового, к несчастью. Она разыскала контору фирмы, завербовавшей моряков по просьбе капитана торгового судна. Ей обещали запросить сведения, если их получат, сразу же передадут ей: «Оставьте номер телефона, так будет лучше». Телефона у нее нет, но она будет время от времени заходить, чтобы узнавать, нет ли чего нового. Она уже побывала там дважды, но до сих пор нет ничего; «Бальбоа», должно быть, направлен в другой рейс — «панамские суда не плавают по определенному маршруту, они идут туда, где есть груз, это корабли-цыгане»,— поясняет испанец Гонсало, экспедитор фирмы, уставившись на нее с явным вожделением. Терезе приходится лишь терпеливо ждать, а пока жить чем бог пошлет.

Алмерио поинтересовался, что она поделывала в эти дни. Ах, столько всего, он не в курсе новостей, ей много есть о чем рассказать. Она вся в напряжении, ни танец, ни разговор ее не успокаивают:

— Знаешь, с кем я сегодня завтракала? Потрясающее жаркое из курицы. Сомневаюсь, что ты догадаешься.

— С кем?

— С Вавой.

— Вава, из Масиэла? Это опасный субъект. С каких пор ты знаешься с ним?

— Только теперь познакомилась... Я тебе объясню...

Она не успела. Кто-то взбежал по лестнице и с порога, не отдышавшись, крикнул:

— В Баррокинье избивают!

Тереза вырывается из объятий Алмерио, бросается вниз по лестнице, стремительно выскакивает на улицу. Коммерсант устремляется за ней, он ничего не понимает, но не хочет оставлять девушку одну. На Ажуде начинают попадаться люди — возбужденные, некоторые спорят друг с другом. На площади Кастро Алвеса число их возрастает. Из Баррокиньи доносится завывание сирен полицейских машин. Тереза срывает с ног туфли, чтобы быстрее бежать, она не замечает Алмерио, запыхавшегося, следующего за ней по пятам.

22

Мимо Терезы проносится машина, наполненная арестованными, за ней — другая, еще две догружают в Баррокинье.

Сопротивление сломлено, столкновение было коротким и решительным. Из машин высадились в большом количестве тайные агенты и полицейские, они оцепили улицу, ворвались в дома и стали избивать всех подряд. Кастеты без стеснения гуляли по спинам бунтовщиц. Где это видано — не обращать внимания на распоряжения

полиции? «Обломайте этих ослиц дубинками!» — приказал полицейский инспектор Элио Котиас, хранитель общественного порядка, героическая личность. Кто-то из мужчин, находившихся в это время в домах свиданий, попытался прийти на помощь бунтовщицам, но мужчинам тоже влетело и вдобавок их арестовали.

Многие женщины попытались дать отпор. Мария Петиско поцарапала и укусила детектива Далмо Коку, а негритянка Домингас, сильная как бык, дралась, пока не свалилась побежденная. Агенты поволокли женщин и бросили в полицейские машины. Богатый урожай. давно уже не было захвачено столько за одну облаву. Ночь в тюрьме будет весьма и весьма оживленной.

Добежав до начала улицы, Тереза видит Акасию, которую тащат два агента. Отчаянно ругаясь, старуха отбивается. Тереза подбегает к группе. С револьвером в руке Рыбоглот, один из командиров войск вторжения, замечает танцовщицу из «Цветка Лотоса». Ага, наступил долгожданный час возмездия, мерзавка заплатит за оскорбление!

Совсем близко от Терезы полицейский требует, чтобы народ разошелся. Рыбоглот указывает на девушку:

— Вот она, здесь! Держи ее, не дай ускользнуть. Эта самая!

Тереза размахивает туфлями, попадает каблуком в висок полицейскому, прорывается вперед, хочет добраться до Акасии, прежде чем ее схватят и увезут. Рыбоглот наступает, Тереза оказывается между ним и полицейским с раненым лицом, с пеной у рта ревущим от злости: «Ты мне заплатишь, подлая сука!» Тем временем одна из машин с арестованными отъезжает, проходит между нею и полицейским. Откуда-то появляется старик, заслоняя ее от выпученных глаз Рыбоглота. Внушительный старик в белом льняном костюме, чилийской шляпе, в руке палка с золотым набалдашником.

— Прочь с дороги, сволочь! — заревел Рыбоглот, наставляя револьвер.

Старец не обращает внимания, продолжая загораживать дорогу. Агент толкает его, но сдвинуть его с места ему не удается. Алмерио тем временем успел взять такси, догнать Терезу и втащить ее внутрь машины. Она запротестовала:

— Забирают Акасию.

— Уже забрали. Хочешь попасть туда тоже? Ты что, рехнулась?

Шофер заметил:

— Никогда не видел такого побоища. Бить женщину — трусость.

Рыбоглот и полицейский тщетно искали, куда скрылась эта пройдоха. Старик тоже исчез, не оставив следа. Что за старик? Какой-то сукин сын встал им поперек дороги. Никто не видел никакого старика ни раньше, ни сейчас, ни потом.

Последняя машина с арестованными покинула Баррокинью. Сирена расчищала путь среди зевак на площади Кастро Алвеса.

23

Агенты и полицейские вытаскивают из домов кое-какую мебель, матрацы, постельное белье, одежду, изображения святых, радиолы. Все это бросают на землю, груды скапливаются перед дверями. Позднее полицейский грузовик соберет беспорядочно наваленные пожитки и свалит их у зданий на Ладейре до Бакальяу. Символически переселение произведено, хозяйки пансионов сами, как только их выпустят на свободу, позаботятся о перевозке остального — обстановки и предметов обихода. Так победоносный комиссар Лабан информировал полицейского инспектора Элио Котиаса по окончании стычки. Спокойствие царит в огромной припортовой зоне: неподчинение

подавлено, очаг мятежа уничтожен. Если инспектор хочет, он может идти спокойно спать, арестованных мужчин и женщин оставьте комиссару, для него это будет развлечение. В тюрьме, инспектор, ночь будет веселой. А вообще — царит спокойствие.

24

Нет, не царит спокойствие,— это, конечно, заблуждение самодовольного и храброго комиссара. Лавина слухов уже обрушилась на припортовую зону, все более разрастаясь.

Полицейский инспектор Котиас отправляется домой, он заслужил отдых, хотя его не покидает двойное видение — полуобнаженные женщины, которых бросают как тюки в гюремную камеру, и комиссар Лабан, предвкушающий веселую ночь,— как раз последнее омрачает победу. Пересекая площадь Кастро Алвеса, он убедился, что спокойствие действительно царит в Баррокинье, где патрулируют полицейские. Все, к счастью, кончилось. Ночь, волнующая и гнетущая, вздыхает бакалавр.

В то время как полицейский инспектор Котиас, успокоившись, отправился спать, весть о насилиях и арестах быстро распространилась по переулкам и улицам, проникла в кабаре, бары. Дона Паулина де Соуза выслушивает драматический рассказ из уст одного клиента, она вспоминает высказанное Огуном Пейше Мариньо: «Не рискнешь, не выиграешь». Когда дойдет очередь до Пелоуриньо?..

Вава тотчас же был поставлен в известность о происшедшем. Обеспокоенный, он ожидает прихода отца Нативидаде, которому основные обязанности мешают появиться в течение дня. В час завтрака он не смог дать Терезе обещанный ответ:

— Только после полуночи. Извини, это от меня не зависит.

Счастье, что еще не появился детектив с маконьей, но он может прийти в любой момент. Далмо Кока участвовал в облаве в Баррокинье — Вава получил подробную информацию. Была там также и красавица, но она не арестована. Чудом. Обуреваемый противоречивыми чувствами, нерешительностью и злобой, гордостью и любовью, Вава, восседая в кресле-каталке, следит за ходом событий, поглядывает на стрелки часов.

В баре «Цветок Сан-Мигела» Нилия Кабарэ, девушка высокого роста, стройная, очень популярная в зоне и за ее пределами, компанейская, любительница кутнуть, тысячу раз попадавшая под арест за скандалы и непочтительность, заявляет, обращаясь ко всем:

— Знаете, пока они не вернутся в Баррокинью, я бастую. Следуйте моему примеру. Замкнитесь, будто настала святая неделя!

Немец Хансен встал, поцеловал Нилию Кабарэ в щеку. За столиками полдюжины женщин сидят в ожидании клиентуры. Все они единодушно поддерживают предложение Нилии. Выходят на улицу и у каждой двери объявляют о своем решении. Нилия Кабарэ добыла у хозяина бара висячий замок, приколола его к своей юбке. С женщинами отправились люди богемы, несколько поэтов, какие-то бродяги, рисовальщик Калил — любовник Аналии...

Перевернута страничка календаря.

25

В пекарне Тереза рассказывает своему другу Алмерио о событиях, предшествовавших вторжению в Баррокинью полицейских из инспекции игр и нравов. Коммерсант знал кое о чем из газет. По его

мнению, Тереза не должна возвращаться в «Цветок Лотоса». Она на примете у полиции, ей надо остерегаться злобного Рыбоглота, этого ничтожества. Лучше бы ей переночевать здесь, в комнате Зекеса,— даже в доме Фины она может стать жертвой произвола агентов, способных на все. Но Тереза отвергает его предложение. Взглянув на ребенка, лежащего в новой кроватке, она прощается.

— Давай я хоть провожу тебя домой.

Нет, даже и этого не нужно, она еще не идет к себе. Сначала ей надо получить ответ Вавы. Пора, четверть первого ночи. «Если никто не переселится, у полиции окажутся связанными руки. Ты только подумай, какие физиономии будут у агентов, привыкших распоряжаться всем и всеми командовать!» Алмерио не разделяет энтузиазма Терезы. «Зачем ты лезешь в эту склоку, не твое это дело, у тебя и так столько невзгод, столько ты перестрадала — неужто хочешь еще?» Как знать, может быть, в баталии с полицией она забудет другие горести, корабль «Бальбоа» — цыгана Тихого океана и любимого Жану, пропавшего моряка!

— Тогда я провожу тебя до двери Вавы.

У дома Вавы Алмерио предлагает руку Терезе, чтобы помочь ей выйти из такси, к ним подбегает группа женщин, выкрикивая что-то непонятное:

— Закрывай корзину! Закрывай корзину!

Тереза поднимается по лестнице:

— Большое спасибо, Алмерио, до завтра.

Алмерио, однако, не уходит, велит такси подождать. Женщины приближаются, к платью одной из них прикреплен замок, она похожа на обезумевшую. Шофер интересуется, что все это значит. Женщины зоны решили закрыть корзину — только и всего.

Шофер качает головой: какого только сумасбродства не наслушаешься в этом мире, где это видано — святую неделю праздновать в конце года? Блажь пьянчужек!

26

Вава любуется красавицей, едва сдерживает рвущиеся с уст слова любви. Он влюбляется сразу, но путь к полному сближению долог, Вава любит продвигаться медленно, предвкушая каждое мгновение, каждое слово, каждый жест, терпеливо ухаживая. Скромное и романтическое сердце. В данном случае к любви примешаны другие интересы, столь от нее отличные, Вава не намерен проявлять свои чувства до того, что подскажет ему бог Эшу. Однако глаза выдают его — к девушке обращены пылкие взгляды. Отец Нативидаде должен скоро прибыть, Местре Жегэ поехал за ним на такси.

— Потерпи, подожди немного, не обвиняй меня. Я знаю, что ты была в Баррокинье во время беспорядков. Что там делала? Зачем рискуешь?

— Я приехала слишком поздно, следовало быть там с самого начала. Не я ли говорила им, чтобы они не переезжали?

— Ты безрассудна. Но, откровенно говоря, мне нравятся воспламеняющиеся натуры.

— Арестовано более двух десятков женщин, хозяек пансионов и девушек.

— Сейчас их избивают. Этого ты хотела?

— А что же, лучше склонить голову и переселиться, согласиться жить в грязи? Так, что ли? Полиция не может продержать их под арестом всю жизнь!

Неожиданно доносится какой-то гул, похожий на беспорядочный

топот. Шаги, слова, смех — много людей поспешно спускается по лестнице. Вава напрягает слух: что там происходит? Шум становится сильнее, как на нижнем этаже, так и на верхнем. В дверях появляется Грета Гарбо, она сильно возбуждена:

— Вава, женщины уходят, бросая посетителей. Говорят, что закрывают корзину из-за побоища в Баррокинье, они как одержимые...— Она говорит порывисто, изменившимся голосом, нервно жестикулируя.

Глаза Вавы, тяжелые от недоверия, переходят с Греты Гарбо на Терезу, ему повсюду видятся обман и предательство.

— Оставайся здесь, я сейчас вернусь.

Быстро катит кресло-каталку в гостиную, Грета Гарбо сопровождает его.

— Что еще за чертовщина? Куда это вы?

Несколько женщин задерживаются, объясняют: они закрыли корзину, откроют ее, когда женщины Баррокиньи вернутся домой.

— Вы что, с ума спятили? Возвращайтесь. Клиенты ждут.

Но они не думают подчиняться, сбегают по лестнице. Сейчас походят на лавину студентов, покидающих занятия. Вава направляет кресло к себе в комнату. Грета Гарбо спрашивает, подбоченившись:

— Ты полагаешь, Вава, что я тоже должна быть с ними? Или мне оставаться в стороне?

— Убирайся прочь!

В комнате он смотрит на Терезу хитрыми глазами и вдруг взрывается:

— Все это вышло из твоей головы, не так ли? Ты придумала подобный карнавал! — Он тычет в нее бесформенным, угрожающим пальцем.

— Все это? Что все это? О каком карнавале говоришь?

Выражение удивления, чистый и откровенный взгляд, растерянное лицо Терезы немного успокаивают Ваву. Не может же она до такой степени быть лживой и лицемерной, или она действительно ничего не знает об этом? Он возбужденно рассказывает ей о безумии женщин, об их решении. Лицо Терезы проясняется по мере того, как он говорит. Она не дает ему закончить, вскакивает:

— За ответом я приду потом.

Она спешит на улицу.

27

Впервые за многие годы в заведении Вавы в этот час не слышно гудения голосов, музыки. В необычной тишине Грета Гарбо грызет, раздумывая, ногти: должна она присоединиться к остальным или нет?

В комнате Вавы отец Нативидаде выслушивает калеку, который объясняет ему всю сложность положения:

— Я послал за тобой, отец мой, потому что дела у меня плохи и я хочу посоветоваться с тобой.

На шее Вавы ожерелье из черных и красных четок, четок кума Эшу. Нужно разъяснить множество его сомнений, никогда он так не нуждался в помощи. Если полиция захочет переселить все увеселительные заведения из Масиэла в Пилар и таким образом разорить его, то должен ли он подчиниться, как ранее, или лучше послушаться совета девушки? Следует ли ему приютить девушек Баррокиньи? А как быть с маконьей, которую детектив собирается хранить у него в комнате? Стоит ли соглашаться? Ведь он подвергается серьез-

ному риску! Сверх всего, теперь еще это безрассудство затеяли девки, что ты мне на это скажешь, кум Эшу? Как мне действовать? Я в смятении, не знаю, как быть.

Наконец, ответь мне — порядочна или лицемерна эта девушка, могу я ей доверять или она способна на обман и предательство? Я уже столько змей вскормил на своей невинной груди; и если эта девка — дурная, отстрани меня от нее и спаси. Но если она столь же искренна, сколь красива,— я самый счастливый человек на свете.

Отец Нативидаде, покрутив руками и вполголоса пропев молебствия богу Эшу, отвечает:

— Эшу хочет сначала видеть корзину закрытой. Если произойдут беспорядки и прольется кровь, неважно, все будет правильно и из Масиэла никто не выселится — Эшу не допустит. Ни здесь, ни где-либо еще, если корзина будет закрыта, пока полиция не откажется от преследований. Распорядился о закрытии корзины я, Эшу, и никто больше.

Отец Нативидаде провозгласил роковой приговор: горе той девушке, которая примет мужчину, прежде чем в Баррокинье запоют аллилуйю! Горе хозяйке пансиона, хозяину меблированных комнат, которые оставят открытыми двери своих заведений!

— А о девушке что ты мне скажешь? Ее зовут Тереза Батиста, я хочу знать, порядочна она или под красотой у нее скрываются подлость и притворство?

Эшу заставил его умолкнуть: «Чтобы произнести имя Терезы, сначала умой уста. Не существует более достойной особы ни здесь, ни в каком-либо другом месте. Но откажись от нее, пока не поздно, она не для тебя. В груди ее — вонзенный кинжал, Тереза потеряла себя в море».

— Болезнь или любовный недуг?

— Любовный недуг, смертельная болезнь.

— Любовный недуг можно вылечить...— Никто не видел столько, сколько Вава.

— Привет девушке, я иду следом за нею. Горе той, что не закроет корзину, горе!

28

— Горе! — слова заклятия провозглашают и повторяют женщины — от Баррокиньи до Кармо, от Масиэла до Табоана, от Пелоуриньо до Ладейры да Монтанья. Из дома в дом, из комнаты в комнату, из уст в уста.

— Горе! — угроза произносится и передается от имени Вавы, доны Паулины де Соуза, старой Акасии, находящейся в тюрьме.

— Горе! — разносится по перекресткам голос Эшу, властелина всех дорог, властелина всех корзин, обладателя ключа к замку.

29

Полицейский инспектор Элио Котиас проснулся рано и долго говорил по телефону с дядей жены. Торжествующий, хвастливый, он сообщил: «Переселение фактически уже осуществлено, мебель перевезена на Ладейру до Бакальяу, дома в Баррокинье закрыты; произошла схватка, пришлось действовать железной рукой». Родственник сказал ему, что все это — еще не причина для хвастовства. Было бы лучше, если бы женщины переселились спокойно, без скан-

дала, без шумихи, без газетных сенсаций и без идиотских интервью. Не говоря уже об опубликованном фотоснимке полицейского грузовика, нагруженного мебелью, и о репортаже некоего Иеовы. «Старый хрен, никогда он не бывает доволен».

Страницы газет, посвященные полицейским происшествиям, пестрели броскими заголовками, сообщавшими о событиях в Баррокинье: «КОНФЛИКТ В ПРИПОРТОВОЙ ЗОНЕ; ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ С ПОБОИЩА; ПОЛИЦЕЙСКИЕ ГРУЗОВИКИ ПЕРЕВОЗЯТ ЖЕНЩИН В БАКАЛЬЯУ»; один из репортажей был иллюстрирован фотографией, о которой шла речь,— грузовик, нагруженный изъятым имуществом.

Фотограф, бородач Рино, появился во время схватки и успел запечатлеть «героизм» полицейских в борьбе с женщинами, когда агенты наносили удары кастетами, рукоятками револьверов. У Рино отобрали аппарат, уничтожили пленку и самого едва не арестовали. Заслуженные защитники морали отличаются скромностью, они не желают видеть опубликованными доказательства храбрости и преданности общественному делу, предпочитают простые фотокарточки, снятые у себя на службе.

Вот, например, снимок улыбающегося инспектора Котиаса, иллюстрирующий краткую пресс-конференцию, устроенную для журналистов, аккредитованных при специализированной инспекции. «Мы очищаем центр города от язвы, проводя патриотическую кампанию. Мы начали с Баррокиньи и будем продолжать неуклонно — не останется ни одного увеселительного заведения в припортовой зоне».

Декларация высокой моральной и гражданской ценности, без сомнения, достойна всяческих похвал, аплодисментов.

Пресса, правда, высказывала не только симпатии в адрес джентльмена полиции. Хроникер де Карвальо, покровительствующий женщинам и не питающий любви к полицейским агентам, резко осудил в своей статье жестокость и грубость полицейской акции. В заключение он с иронией спрашивал: «Составляет ли переселение женщин из Баррокиньи на Ладейру до Бакальяу часть того разрекламированного проекта использовать обширную территорию для туризма, устроить рай для приезжих, как было широко объявлено?» Даже если бы он был поэтом, то не мог бы выразиться более точно.

Разглядывая фотографию в утренней газете, на которой в мужественной позе был изображен инспектор, его жена Кармен, урожденная Сардинья-э-Сардинья, отличающаяся суровым характером, комментировала пренебрежительно:

— Герой, хм? Король шлюх, карающий своих подданных! Служба в полиции идет тебе на пользу, мой маленький Элио, ты становишься мужчиной.

Как бы там ни было, несмотря на некоторые неприятные детали, инспектор получил и удовлетворение от вчерашнего мероприятия. Бада, прочтя газеты, расчувствовалась по телефону: «Мой герой! Ты подвергался опасности? Расскажешь мне сегодня при встрече? В условленном месте, в четыре? Мой Бонапарт!»

30

Около одиннадцати утра инспектор Элио Котиас прибыл на автомобиле в инспекцию игр и нравов. Он велел вывести из камер арестованных.

Мужчины были освобождены на рассвете, их грубо вытолкали; они пытались протестовать — их слегка побили, чтобы они никогда

больше не вмешивались в действия полиции. Несколько оплеух — чепуха!

До синяков и кровоподтеков была избита негритянка Домингас, она мужественно вела себя во время схватки, оказав полицейским стойкое сопротивление. Ее буквально измолотили, гладкое, хорошенькое личико было покрыто безобразными темными кровоподтеками. Что же касается Марии Петиско, то, расцарапав лицо Далмо Коке, укусив его, она только разожгла аппетит у элегантного детектива, и около полуночи, под действием кокаина, защитник морали вторгся в камеру, намереваясь овладеть девушкой здесь же, на виду у остальных арестованных. В ночь переполоха, несмотря на град побоев и наказаний, смешной выглядела сцена, когда едва стоявший на ногах наркоман хотел напасть на Марию Петиско. Агенты хохотали, воодушевляя героя. Потом им это надоело, и они увели его прочь.

Инспектор Котиас старался повысить свой престиж, держаться на высоте. И все же вид негритянки Домингас в известной мере потряс его. На темной коже девушки виднелись синяки и большие ссадины. С презрением комиссар Лабан отметил бегающий взгляд инспектора. Полиция — служба для мужчин, а не для женоподобных неженок.

— Хулиганка, скандалистка. Она налетала на всех в тюрьме, пришлось проучить ее, иначе никто бы не заснул, эти люди признают только дубинку. Нельзя жалеть этот сброд,— пояснил комиссар.

Нужно отвыкнуть от чувства жалости такого рода, сброд того не заслуживает, решает инспектор. Он отдает распоряжение выпустить всех девушек на свободу. В тюрьме остаются лишь хозяйки пансионов. Бакалавр проходит перед стоящими в ряд шестью несчастными женщинами, он говорит с ними сурово, но вместе с тем по-отечески:

— Не переехали по-хорошему, пришлось переселить вас силой. Какой был смысл сопротивляться? Кто хочет выйти отсюда, чтобы сразу закончить переселение,— шаг вперед, я прикажу немедленно тех освободить.

Он ожидал общего согласия и благодарности. Лишь Мирабел было шевельнулась, но тут же послышался голос старой Акасии:

— Мы не переедем. Хотя бы нам пришлось подохнуть в тюрьме, ни одна из нас не отправится гнить в этом дерьме.

Инспектор выходит из себя, ударяет по столу кулаком, подносит его к лицу старухи, и это он — мужеподобная женщина, как назвала его Кармен Котиас, урожденная Сардинья.

— Тогда будете гнить здесь. Комиссар, велите отправить их обратно в камеру.

У комиссара хорошее настроение, он предлагает:

— По дюжине ударов линейкой по рукам в час завтрака и обеда вместо еды. Это хороший режим, они очень скоро захотят переселиться, вот увидите.

Не испросив разрешения войти, на пороге кабинета появляется Рыбоглот, потирая руки в полном удовлетворении:

— Корабли американской эскадры уже на виду, в Итапоа. Ждите долларового дождя!

31

Взволнованный приятной новостью, комиссар ушел столь поспешно, что забыл порекомендовать начальнику тюрьмы отпустить дюжину ударов линейкой каждой хозяйке пансиона перед раздачей

жидкой баланды с черствым хлебом в полдень и к вечеру. Если бы не Рыбоглот, всегда точный в выполнении долга, бунтарки были бы лишены лечения, действенного и бесплатного,— помогающего не только перевоспитаться, но и сбавить вес.

По пути был разбужен детектив Далмо (Кока) Гарсиа. Заспанный, он тотчас же очнулся, едва услышав весть. «В Игапоа уже видна американская эскадра, корабли направляются в порт Баии, дружище, а ведь они гружены долларами, и обменный курс благоприятен». Трижды «ура» в честь моряков и морских пехотинцев великой северной нации, оказывающих городу честь своим присутствием! Пусть они найдут в Баие красивых женщин, умелых, любезных и гостеприимных. Здоровье непобедимых воинов будут блюсти силы местной полиции, так достойно представленные нашими тремя героями. Воспользуйтесь случаем, чтобы отдать должное хозяевам дома, скромным, однако столь же неутомимым защитникам западной цивилизации!

В каком положении секретное дело с маконьей, детектив Далмо, друг Кока? Накануне Камоэнс нарушил условие, сославшись на неожиданно возникшие трудности с поставкой товара. С ним назначена встреча сегодня — точнее во второй половине дня. Чтобы не подвел на этот раз! Если он снова увильнет, если захочет надуть, то следует посадить его в тюрьму за торговлю наркотиками, вернувшись к старому делу, сданному было в архив,— пусть закон выполняется со всей строгостью.

Иди разыщи его немедленно, коллега, компаньон, дружище, откопай этого субъекта и святую травку, ведь не скоро повторится случай, подобный нынешнему, чтобы заработать денежки так легко.

32

Следуя хорошим традициям современных предприятий, трое компаньонов поделили ответственность и задачи. Комиссар Лабан, главный компаньон, свирепый начальник, взял на себя общую организацию и обеспечение необходимых средств.

Он связался с торгашами и беспризорниками, договорившись о распределении и продаже афродизиакского эликсира. На ярмарке Сан-Жоаким приобрел по дешевке бесчисленное количество соломенных корзинок. Каждый продавец, каждый мальчишка получил по такой корзинке, чтобы уложить в нее товар. Сколько продавцов? Кто знает? Множество их разбредется по всей зоне, чтобы показывать, предлагать и обменивать на доллары флакончики с эликсиром. Дело продумано во всех деталях, продавцы даже выучили наизусть кое-какие фразы по-английски. Приняты, естественно, меры предосторожности, чтобы избежать расхищения материала и денег. Между прочим, лучшей гарантией честности продавцов был страх, который они испытывали перед комиссаром, от одного имени которого — Лабан Оливейра, казалось бы такого безобидного, у любого храбреца подгибались ноги. С комиссаром шутки плохи.

Отличный организатор, талантливый финансист, он добывал у знакомых ростовщиков необходимые для операции деньги, как объяснял агенту и детективу, называя солидные суммы, выплачиваемые им ростовщикам в виде процентов. На самом же деле эти деньги он извлекал из своего кармана, зарабатывая таким путем еще кое-что за счет двух своих компаньонов-обормотов.

В то тяжелое утро он не вышел из кабинета. Послал полицейских, пользующихся у него полным доверием, за ответственными по

связи с уличными продавцами и беспризорниками. Наконец-то наступил великий день!

33

В грязном, запущенном доме в Табоане агент секретной полиции Рыбоглот ведет деловые переговоры с Эроном Мадругой, выдающимся пернамбукским химиком. Он только что выплатил ему половину суммы, обусловленной за поставку пятисот доз чудодейственного возбуждающего эликсира «Aphrodisiac».

Уважаемый ученый, широко известный в сертане и в столицах некоторых штатов, Эрон Мадруга начал интересоваться химией и фармакологией, когда еще служил в Ресифе, в лаборатории докторов Дорис и Пауло Лоурейро, супругов, которые были весьма опытными химиками. Проводя утренние часы за сбором анализов у пациентов, сдавая к вечеру результаты и получая по счетам, Мадруга посвящал все свободное время увлечению солями и кислотами, смешиваемыми в пробирках, стеклянных шарах, в пипетках, ретортах, в трубках для лабораторных проб; сильные запахи, странные цвета, голубой дым — как красиво! Он изучал также химические термины и формулы.

Потеряв представление о рамках возможного, он время от времени присваивал плату за анализы, прикарманивал кое-какую мелочь, но неожиданно был уличен и уволен. Это опечалило его — он уважал хозяйку и хозяина, отличных людей. Вместе с тем он понимал, что многому научился в области химии, фармакологии и медицины и способен облегчать страдания человечества. Вернее сказать, живых существ вообще, потому что в отдельных случаях он занимался ветеринарией, и неплохо. Его уже покусала собака, лягнула лошадь — что ж, наука требует жертв.

Некоторые лекарства, изобретенные им монопольные средства, пользовались неоспоримой популярностью среди сельского населения и среди жителей небольших поселков Северо-Востока, продавались на ярмарках и базарах.

Что касается эликсира «Aphrodisiac», известно, действие его — фантастическое. Идея рекламной этикетки на английском языке — красные буквы на черном фоне — принадлежала Мадруге, перевод — детективу Коке, полиглоту, обучившему продавцов, которых он проинструктировал, как получать по меньшей мере доллар за флакончик. Беспризорников — капитанов песка не надо было учить, они говорили на всех языках, заразительно хохотали, обнажая зубы, непобедимые, хотя и худущие негритята, стародавние хозяева улиц Баии. «Немного погодя комиссар Лабан пошлет за товаром, так как американские корабли уже на виду маяка Итапоа»,— сообщает Рыбоглот.

— Прибывают сегодня.

— Уже подходят.

— А женщины? Перестанут бастовать?

— Что это за забастовка?

Мадруга рассказывает, что накануне он направился в зону с намерением посетить кое-какие заведения, но его затея закончилась провалом. Все двери были закрыты. Он подумал, что уже поздно, шел третий час ночи. Побродил по улицам — быть может, удастся встретить какую-нибудь девушку в одном из баров. Заглянул в бар «Цветок Сан-Мигела» — зала полна, очень шумно, за столиками сидели многие женщины. Но ни одна не согласилась пойти с ним.

Рыбоглот не придал большого значения этому факту: достаточно было полиции арестовать и наказать хулиганок и скандалисток, как он это сделал вчера в Баррокинье, чтобы другие собрались в барах пьянствовать и переругиваться. Он, однако, насторожился, когда Эрон Мадруга упомянул про одну из них, наиболее экзальтированную из всех, красивую девушку, с которой он познакомился в Ресифе несколько лет назад, женщину, которая отличалась тем, что била мужчин и, следует сказать правду, побила не одного. Мадруга имел возможность убедиться в ее храбрости, он знал это сам, а не понаслышке. Имя ее Тереза Батиста.

Услышав ненавистное имя, Рыбоглот рычит, брызжет слюной:

— Вчера эта чертовка выскользнула у меня из рук, до сих пор не понимаю как, прямо похоже на колдовство. Но ничего, она мне заплатит, еще как заплатит! Хорошо, я теперь знаю, что это она подстрекает девок против нас, мерзавка!

34

В тот день, двадцать первого сентября, заголовок на всю страницу вечерней газеты гласил: «В ГОРОДЕ ПРАЗДНИК — ВЕСНА И МОРЯКИ».

В баре «Цветок Сан-Мигела» накануне вечером, при известии о вторжении в Баррокинью войск инспекции игр и нравов и о воинственном кличе Нилии Кабарэ, когда она узнала о решении Эшу, студент Калил Шамас горячо осудил всех, кто раболепно следует европейским обычаям — скажем, празднующих наступление весны среди сентябрьских ливней, идиотов, которые одевают детей зайчиками по случаю пасхи и покрывают в знойном декабре рождественские елки ватой, как будто это зимний снег,— «не хватает только одевать меховые шубы и дрожать от холода... в честь весны! Чистый колониализм. Хоть бы пошел проливной дождь в эти дни ужасающей тропической жары».

«Шапка» в вечерней газете, набранная крупным шрифтом, занимает весь верх первой полосы. Чтобы высказать правду до конца, редактор, конечно, должен был бы округлить фразу: «В ГОРОДЕ ПРАЗДНИК — ВЕСНА, МОРЯКИ И ВЕСЕЛЫЕ ДЕВУШКИ».

35

Детектив Далмо Гарсиа оставляет своих спутников в машине и поднимается по ступенькам лестницы, ведущей к двери заведения. Хотя уже начало вечера, однако все еще дает себя знать страшная жара. Дверь заперта, та самая дверь, которая обычно была открытой с часа дня для многочисленных клиентов.

Детектив стучит, зовет, никто не отвечает. Стоя перед порогом, Далмо Кока убеждается, что за дверью никого нет. Вообще-то еще рано, но и в такое время здесь всегда бывало оживленно, да и по тротуарам должны были прохаживаться ночные «бабочки» с традиционной сумочкой в руке. А сейчас видны лишь случайные прохожие, нет ни одной женщины определенной профессии. Детектив Далмо (Кока) Гарсиа ничего не может понять. Он еще раз стучит кулаком в дверь, вызывает Ваву. Никакого ответа.

Спускается по лестнице, садится в автомобиль. Один из его спутников, Камоэнс Фумаса, спрашивает:

— Так что же?

Даже находясь в обществе служителя общественного порядка, полицейского из специализированной инспекции, он не чувствует себя в безопасности. Начать с того, что он не доверяет Далмо — этому агенту секретной полиции неизвестно понятие морали, кроме того, он наркоман. Где обещанные деньги? Детектив условился встретиться с ним вечером и принести оговоренную сумму, достаточно крупную. После обеда агент явился, и без единого тостана явно симулируя, что он крайне взволнован. Корабли прибывают, а где маконья? Он торопился и даже начал угрожать: скорее, скорее, иначе заплатите дорого! Камоэнс Фумаса чувствует себя не в своей тарелке.

— Так что же? — повторяет он, представляя себе худшее.

— Не знаю... Никого нет, женщины будто вымерли. Где они могут быть?

Камоэнс Фумаса, которому это начинает все меньше нравиться, приказывает компаньону, молчаливому пигмею, сидящему за рулем старой колымаги:

— Поехали отсюда...

Детектив Далмо садится в машину, повторяя с озадаченным видом:

— Куда же, черт возьми, делись женщины?

36

Некоторые остались в пансионах, используя свободное время для починки одежды, для сочинения полных лжи писем домой, для отдыха. Нарушить молчаливое обязательство, принятое накануне,— кто на это решится? Эшу предсказал болезнь и смерть, слепоту, проказу, кладбище.

Девушки, выпущенные на свободу утром, попытались вернуться в захваченные дома, чтобы вновь обосноваться там, либо намереваясь забрать одежду и утварь, но полицейские, поставленные на посты в Баррокинье, не позволили войти ни одной из них. Они поискали убежища в соседних пансионах, только дона Паулина де Соуза приняла двенадцать человек, поместив по четыре в каждом из своих домов. Дона Паулина решила дать денег негритянке Домингас на поездку в Сан-Гонсало дос Кампос.

— Она нуждается в нескольких днях отдыха. Ее сильно избили.

Но негритянка не соглашалась покинуть Баию в этот час, она и Мария Петиско были серьезно озабочены: божества Ошосси и Огун, наведывавшиеся из своих владений в Баррокинью, сумеют ли найти их?

— Завтра их день.

— Вы думаете, они не знают, где вы находитесь? В Баррокинье, в Сан-Гонсало или здесь — Огун вас всюду найдет.

Большинство решило пойти прогуляться, и город наполнился смехом, весельем и шутками. Девушки выглядели работницами, приказчицами, студентками, домашними хозяйками, матерями семейств в праздничный день. Делали покупки, заглядывали в кинотеатры, прогуливались в самых далеких кварталах парами, маленькими веселыми группами, под руку со своими возлюбленными, воркуя,— множество красивых, нарядных девушек, серьезных и спокойных сеньор.

Другие отправились навестить детей, отданных на воспитание чужим людям. Любящие мамы шли, неся своих отпрысков на руках или ведя их за руку, пичкая их мороженым, прохладительными напитками и конфетами. С поцелуями и ласками.

В этот первый по-настоящему весенний день появились некоторые старухи. На день освобожденные от необходимого ужасного грима, предназначенного скрывать морщины и дряблую кожу в бесславной борьбе за клиента,— просто пожилые, уставшие женщины.

Радуясь непривычному безделью, девицы разбрелись по всему городу — для них это был редкий праздник. Они бегали босиком по пляжу, сидели в траве, толпились в зоопарке перед клетками хищников, обезьян и птиц, заходили в церковь святого Бонфима.

Те, что на холме наблюдали за игрой в гольф, примерно в пятнадцать часов смогли заметить три военных корабля, пересекающих залив.

37

Незадолго до шестнадцати часов господин губернатор принял во дворце главнокомандующего эскадры американских военных кораблей, бросившей якорь на рейде. Сопровождаемый своей свитой адмирал обменялся любезностями с главой правительства штата и пригласил его посетить на другой день флагманское судно, позавтракать с офицерами.

Мелькали вспышки магния, фоторепортеры метались из стороны в сторону, запечатлевая улыбки, поклоны. Адмирал сообщил, что морякам разрешено выйти на берег вечером.

38

В информационных выпусках «Радио Абаэтэ» — самой мощной радиостанции, которую слушают многие,— в восемнадцать часов был передан подробный репортаж об американских военных кораблях, стоявших на якоре в порту. «Последние новости — только по радио Абаэтэ», «Событие произошло — Абаэтэ передало», «История слышит микрофон Абаэтэ»,— повторяли дикторы по ходу программ. «Если нет известия, Абаэтэ изобретет его»,— комментировали конкуренты.

Сообщив о визите высших офицеров к губернатору, о вежливых фразах, которыми они обменялись, о сделанных приглашениях, радио передавало дополнительные описания и познавательные подробности о трех кораблях: их названия, даты спуска на воду, число офицеров и матросов, количество орудий, мощность залпа, скорость судов, имена и служебный путь офицеров, занимающих командные посты,— все данные. Отдел документации и исследований радиостанции оказался еще раз на высоте лучших традиций.

Репортаж завершился информацией о том, что моряки сойдут на берег вечером, точный час еще не назначен, возможно, около восьми (то есть около двадцати).

Последняя и любопытная новость, связанная известным образом с визитом моряков янки: в знак протеста против запланированного переселения увеселительных заведений, начавшегося накануне налетом полиции нравов на Баррокинью, женщины решили объявить забастовку, пока не смогут возвратиться в дома, откуда были изгнаны, и пока еще продолжает существовать угроза выселения.

39

Около семнадцати часов, пока Бада принимает душ, стараясь смыть липкий пот этого жаркого вечера, инспектор Котиас, он же джентльмен полиции, он же счастливый и уже потерявший много сил любовник, включает радио, отдыхая под звуки музыки.

Квартира Бады находится в доме на вершине холма Гамбоа, и инспектор, покуривая сигарету и слушая мелодию итальянской песни, видит в окно три корабля, бросающих якорь в порту.

Прежде чем прибыть на свидание с Бадой, бакалавр Котиас, выполняя свой долг, заехал в специализированную инспекцию, где комиссар Лабан проинформировал его: все в полном порядке, моряки высадятся на берег вечером, полицейский надзор в портовой зоне уже организован, военная полиция подкрепит гражданскую, не допуская каких-либо беспорядков. Что же касается хозяек увеселительных заведений Баррокиньи, то они продолжают нагло отказываться выполнить распоряжение о переселении. Их заставит сделать это хорошая взбучка. Ранним утром, когда движение в зоне закончится. Пока что они получают удары линейкой по рукам и голодают. Немного терпения, доктор, и руины Бакальяу будут арендованы по хорошей цене. Комиссар рассмеялся в лицо полицейскому инспектору, устремив на него безжалостный взгляд. «Преступник,— подумал джентльмен полиции,— на что он намекает, говоря о плате за аренду зданий? Как знать, должно быть, фирма подмазала комиссара...»

Звучащая по радио музыка внезапно прерывается, слышен голос диктора: «Внимание! Внимание! Положением в припортовой зоне встревожены власти. Высадка моряков на берег намечена на двадцать часов в гавани у площади Кайру, а заведения до сего момента закрыты. Комиссар Лабан Оливейра, находящийся в Масиэле, принимает необходимые меры, которых требуют обстоятельства. Он заверил нашу радиостанцию, что положение будет нормализовано до высадки моряков. Не будут же моряки любоваться лишь своими кораблями. Допускать это нелепо. «Где наша цивилизация?» — заявил нам комиссар Лабан Оливейра. Приняты энергичные меры, полиция контролирует положение. Слушайте наше «Радио Баиянской Общины!»

Бакалавр Элио Котиас вытаращил глаза. Что означает это известие, почему положением в зоне встревожены власти? Снова слышится музыка, тоскливая неаполитанская песня. Он вертит ручку настройки в поисках новых сообщений. В конце концов находит: «...волнений не было, только полицейский надзор усилился с прибытием кавалерии. Забастовка в зоне продолжается. Наш репортер прибывает на место событий. В любой момент мы можем начать передачу прямо из Масиэла, где сосредоточиваются силы полиции. Держите свои радиоприемники настроенными на радиостанцию Абаэтэ; в любой момент мы можем начать передачу новых сообщений».

Полицейский инспектор в панике хочет уйти, его призывает долг. Нужно поехать в инспекцию, выяснить значение этих тревожных известий, занять командный пост, на то он и инспектор игр и нравов.

Радио взрывается: «Мы передаем прямо из Пелоуриньо. Полиция решила открыть двери увеселительных заведений силой».

40

В инспекции игр и нравов комиссар Лабан Оливейра, излагая полицейскому инспектору план действий, подчеркивает:

— Положитесь на меня. Я заставлю девок работать, чего бы это мне ни стоило. Или они прекратят забастовку не позднее чем через час, или не называйте меня Лабаном Оливейрой, я переменю имя.

Имя это заставляет трепетать гулящих женщин, сводников, мошенников, нарушителей закона или невиновных граждан — всякого, кому приходится поддерживать любой вид контактов с защитником

морали и добрых нравов. Говорили потихоньку о хладнокровных убийствах, совершенных полицией, о трупах, похороненных втайне, о разных ужасах. Когда некоторые обвинения будут опубликованы на страницах газет, где найдутся опровержения?

В этот вечер даже бывалые агенты, старые товарищи по работе, которых иногда объединял бизнес, испугались, увидев комиссара вне себя. Взгляд его был страшен. Страшен — точнее сказать нельзя. Крайне впечатлительный, считавшийся у полицейских слюнтяем, бакалавр Элио Котиас чувствует себя плохо и вынужденно смеется, принимая решения. У него что-то сжимается в желудке, подкатывает к горлу, он ощущает позывы к рвоте. С трудом сдерживает себя. В стремлении смягчить тяжелую обстановку джентльмен полиции предлагает дать операции название «Радость возвращения». Ему не повезло, так как уже упоминавшийся поэт Иеова де Карвальо в последующем репортаже, комментируя события, квалифицировал это определение как «чудовищную, злую насмешку, достойную Гитлера и нацистов».

41

В Баре Элиты, или Баре Гулящих — как кому нравится, поскольку владельцу на это наплевать,— комиссар Лабан готовится провести со своим штабом последнее совещание перед кампанией против мятежных сил порока; Камоэнс Фумаса, торговец и наркоман, пытается получить полагающиеся ему деньги за солидную партию маконьи. С исчезновением Вавы у детектива Коки отпал тайник, где можно было хранить взрывчатый товар, улетучилась возможность раздобыть сумму для условленной выплаты пятидесятипроцентного аванса — остальное по завершении ночной гулянки моряков, когда свои доллары они оставят на берегу. Доллары! Мечты о них развеиваются как дым — всему виной девки. Комиссар устремляет на наглеца свой мрачный взгляд, но того не так-то легко испугать.

Неожиданно детектива осеняет блестящая идея — как это не пришло ему в голову раньше?! Он отправится на Ладейру до Бакальяу и там выгрузит маконью в одном из домов. Затем вместе с Камоэнсом, все время следующим за ним тенью, он свяжется с людьми, которым поручалась продажа товара морякам. «Отправляйтесь в Бакальяу и там дожидайтесь распоряжений». Как только положение с восстановлением порядка и возвращением женщин прояснится, он отправит записку и люди разойдутся по зоне собирать урожай долларов. «Пожалуйста, будьте сознательны. Вознаграждение — по окончании работы: помимо комиссионных — маконья». Все в порядке, только Камоэнс пристал: не терпится ему получить деньги сразу.

Торговец маконьей чувствует, что больше не выдержит, если не закурит. Надо вернуться в Бакальяу, забрать потихоньку драгоценный товар, положить в машину и увезти.

42

В то время как комиссар разрабатывает детали полицейской акции, направленной на то, чтобы сорвать забастовку и начать операцию «Радость возвращения» — красивое название, только враги полиции могут критиковать его,— тревожные слухи, рожденные радиопередачами обеих местных станций, ползут по городу.

Популярнейший спортивный комментатор Нереу Вернек в своей вечерней хронике, после подробной информации о видах спорта, рас-

пространенных среди моряков американской эскадры, и сообщения, что на одном из кораблей, ставших на якорь в порту, находится чемпион по боксу в весе пера, за отсутствием других тем, уделил внимание проблеме забастовки.

Он говорил драматично, будто передавал о напряженнейшем моменте футбольного матча: если усилия полиции окажутся безрезультатными и женщины будут и дальше занимать предосудительную позицию, если моряки будут вынуждены лишь любоваться своими кораблями — вспомним образное выражение комиссара Лабана Оливейры,— что произойдет? А! Все может случиться! Привыкший к передаче захватывающих состязаний, Нереу Вернек предполагает, рассказывает, аргументирует. Взволнованно, страстно.

Сборище военных в припортовой зоне всегда означало беспорядки, зачастую кровопролитие. Когда дело касается иностранцев, угроза возрастает, поскольку зачастую вспыхивают драки между гостями и хозяевами, местными военными, выливающиеся в серьезные побоища, в конфликты, последствия которых невозможно предвидеть. Комментатор привел множество примеров, напомнил военные годы.

«Что произойдет,— спрашивает популярнейший комментатор,— когда высадившиеся на берег моряки, жаждущие повеселиться, никого не найдут? Вернутся, смирившись, на свои корабли, к привычному одиночеству? Или, попав в город, будут преследовать женщин на улицах, позоря семьи, врываясь, быть может, в частные квартиры? В прошлом это случалось, наверное, слушатели помнят».

Грозный вопрос повисает в воздухе, страх проникает повсюду, запираются замки, ширится паника.

43

Депутат муниципального совета Режиналдо Паван не упускает случая показать себя, заставить услышать свое имя, укрепить свой авторитет. Он не может равнодушно смотреть на микрофон, не попытавшись его использовать. Будучи краснобаем и пустозвоном, он бредит речами. Где бы и по какому случаю ни собирались люди, он, малограмотный политикан-мошенник, ловкач, уже тут как тут, трещит. Не остался он позади и на этот раз.

Завистники распространили слух, что он, дескать, направился в припортовую зону с целью, в которой не хотел бы признаваться, но не имел возможности удовлетворить свои вожделения, а заметив журналистов, корреспондентов радиостанций, как обычно, пустился в демагогию. Злые языки! На самом деле, предлагая свои услуги, член муниципального совета действовал, побуждаемый велением совести, стремлением оказать пользу общественному делу, служа одновременно и властям, и широким народным массам.

Прибыв в Пелоуриньо вечером после заседания муниципального совета, на котором было принято приветственное послание кораблям американской эскадры, он направился, как всегда, в дом доны Паулины де Соуза, которому отдавал предпочтение из-за красоты девушек, чистоты и приятной, спокойной обстановки. Кроме того, он был другом Ариосто Алво Лирио, оказывавшего ему поддержку в избирательной кампании и всегда голосовавшего за него. И здесь его ждало разочарование. Заведение оказалось закрытым.

Позднее члена муниципального совета видели расхаживавшим по Пелоуриньо, Табоану, Масиэлу, беседовавшим в барах с посетителями и полицейскими. Далее он направился в инспекцию игр и нравов,

где бакалавр Элио Котиас выслушал его любезно и вежливо. Инспектор, однако, держался непреклонно в своем намерении переселить заведения Баррокиньи на Ладейру до Бакальяу. Выселение фактически уже осуществлено накануне, необходимо лишь, чтобы хозяйки пансионов подчинились распоряжению полиции, ведь данная мера принята на пользу общества. В этом смысле ничего нельзя сделать, дорогой муниципальный советник, это распоряжение сверху — широким жестом инспектор дал понять, в насколько высоких сферах решение было принято.

Что касается остального, то это дело комиссара Лабана, от него зависит положить конец саботажу. Надо действовать быстро и энергично, так как в двадцать часов американские моряки должны высадиться на берег.

44

К вечеру зона превратилась в подлинное поле сражения. Из полицейских машин высадились вызванные комиссаром подкрепления, патрульные и тюремные машины блокировали входы в улицы и переулки. Конные патрули военной полиции разъезжали по Пелоуриньо и Масиэлу. Большинство любопытных предпочитало держаться на сквере Террейро де Жезус в ожидании событий. На окруженной территории лишь отдельные упрямцы спорили за столиками баров, не забывая, впрочем, о своем пиве. Открыты только бары. Все остальные двери — на замке. Агенты, посланные комиссаром Лабаном, предъявили ультиматум мятежницам: полчаса на то, чтобы открыть дома, занять посты в дверях, окнах, залах ожидания, на тротуаре возле домов или на углах улиц. Никакого ответа.

Даже слепой Белармино, более двадцати лет сидевший на одном и том же месте против оживленного заведения Вавы, откуда он удалялся только в дни больших религиозных праздников, ушел, так и не дождавшись щедрот от клиентов,— предпочел просить милостыню на паперти кафедрального собора.

В Масиэле комиссар Лабан Оливейра с револьвером в руке отдает приказ о выступлении войск добрых нравов и морали. В Пелоуриньо с минутным опозданием — подвели часы, отобранные у контрабандиста,— Рыбоглот выступает во главе агентов и полицейских.

«Сражение началось! — провозглашает диктор «Радио Абаэтэ». «Где что случилось — слушайте Абаэтэ: в воде и огне, в мире и войне». «Зона превратилась в ад!» — раздается на волне конкурирующей станции «Радио Баиянской Общины» голос Пинто Скотта, «Золотого горла».

45

Двери пансионов и других увеселительных заведений взломаны, открыты пинками ног и нажимом плеч полицейских. Полицейские и агенты врываются в дома, хватают женщин, заставляя их выйти на улицу. В дело идут кастеты, резиновые дубинки, некоторые агенты предпочитают кулаки — удары сыплются там и тут. Крики и ругательства, женщины выбегают из домов; тех, кто сопротивляется, вытаскивают силой. Началась операция «Радость возвращения». Для войск, стоящих на страже закона,— развлечение.

Однако в некоторых случаях «развлечение» это принесло весьма неожиданные и неприятные сюрпризы. Скажем, в пансионе Серес Грело Гранде больше суток не работали уборные, и обитательницы вынуждены были пользоваться ночными горшками: собранные в глубине дома, они оказались превосходным боевым оружием. С полными ночными горшками в руках женщины встретили налетчиков лицом к лицу и обратили их в позорное бегство, особенно пострадал детектив Далмо.

Комиссар Лабан Оливейра, не выпуская из рук револьвера, руководил налетом на заведение Вавы. Он взбежал по лестнице во главе нескольких надежных агентов, взломал входную дверь. В двух этажах огромного дома не было ни души. Пустые каморки, полная тишина. Куда же девался хозяин? Эх, если бы комиссару удалось его найти, он сумел бы заставить Ваву продиктовать распоряжение, угодное полиции. Так можно было бы одержать быструю победу, поскольку Вава распоряжается всем в зоне, слово его — закон. Куда же он запропастился, этот мерзавец-калека?

По знаку Лабана дверь комнаты Вавы взломана, агенты вторгаются в апартаменты горбуна, но и там нет никаких следов Вавы. В ярости они срывают простыни с постели, переворачивают и перетряхивают попадающиеся под руку вещи, а также сувениры, подаренные в знак уважения; взламывают замок конторки, разбрасывают и рвут бумаги, пытаются открыть сейф, вделанный в стену, но это им не удается.

Вспоминая золотые времена репрессий против кандомблэ, когда Лабан еще был простым секретным агентом, в самом начале своей блистательной карьеры храбрец комиссар, которого ничто в мире не пугает, направляется к стене, где красуются изображения негритянских богов, и пытается сорвать их. Ни один агент не отваживается помочь ему. Алирио, известный как хладнокровный убийца, в испуге кричит:

— Комиссар, не делайте этого, не безумствуйте, не трогайте Эшу!

— Дерьмо! Шайка трусов! Плевать я хотел на Эшу!

Агенты безучастно глазеют на комиссара, тот разбивает изображения на мелкие куски и зло сплевывает.

Комиссар смотрит на часы. Скоро моряки высадятся на берег, время не ждет.

46

Выгнанные на улицу женщины разбегаются, кидаются в переулки, ускользают, исчезают. Кавалеристы пытаются окружить их, но это не легко. Преследуют женщин по всей зоне.

Посетители баров, в том числе и немец Хансен, бросают пустые бутылки под ноги лошадей, протестуя против насилия полиции. Поэт Телмо Серра занимает место у микрофона «Радио Баиянской Общины»: в эфире звучит новое слово — вандализм.

— Зона воспламенилась! — эта фраза, произнесенная одним из дикторов, усиливает панику в городе — многие поняли ее в прямом смысле; начинают распространяться слухи о пожарах. Вспышки на камерах фоторепортеров освещают фигуры женщин, некоторые из них до смерти перепуганы, другие — в ярости. Покрытый с ног до головы нечистотами, отвратительно пахнущий, детектив Далмо (Кока) Гарсиа покидает поле боя.

47

Микрофон «Радио Абаэтэ», «установленный на поле сражения», занимает, естественно, и муниципальный советник Режиналдо Паван — «эта популярная фигура политических баталий находится здесь, подвергаясь значительной опасности в достойной попытке найти выход из положения, серьезность которого нарастает с каждым часом»,— говорит диктор.

А голос самого Режиналдо Павана уже гремит в тысячах квартир. Выступая с трибуны муниципального совета или с подмостков предвыборных митингов, он, конечно, не имел столь большой аудитории. Во всем городе радиоприемники включены, население внимательно слушает известия о происходящих событиях.

«С кровоточащим сердцем» Режиналдо Паван обращается «к слушателям «Радио Абаэтэ», к населению Баии», описывает «дантово зрелище», разворачивающееся перед его глазами, «помутневшими от волнения», сравнивая нынешние события с теми, что происходили «в Риме цезарей, о чем нам поведала величественная всеобщая история». Слова вибрируют в воздухе: «Меня душат слезы, мне трудно говорить...»

Он бросает волнующий призыв: «Я верю в патриотизм любезных компатриоток, которых жизненные бури бросили в дома терпимости. Они, конечно, не допустят такой бестактности, оставив героев Южной Атлантики, непобедимых сыновей славной американской нации... Как мне далее сказать? Вы мне скажете: да, не совершат такой бестактности, оставив непобедимых сыновей... «любоваться лишь кораблями», как выразился комиссар Лабан Оливейра, высказывание которого было подхвачено дикторами, укрывшимися в проемах дверей Масиэла и Пелоуриньо... не оставят любоваться лишь своими кораблями этих молодцов, ведь они рискуют жизнью во имя того, чтобы все мы — в том числе и вы, любезные компатриотки, изящные магдалины,— пользовались льготами и благами цивилизации. Ваша неуместная акция угрожает создать серьезную дипломатическую проблему, подумайте об этом факте, мои дорогие сестры из публичных домов».

Неописуемый успех имела эта патетическая речь советника у слушателей «Радио Абаэтэ». Жаль только, что этот волнующий призыв не дошел до тех, кому предназначался,— до женщин, которых избивали, которые разбегались, спасаясь от копыт лошадей.

Затем Режиналдо Паван обратился к его превосходительству губернатору штата «с уважением, которое мы испытываем к высокой фигуре великого человека, стоящего во главе славных судеб Баии», взывая к его «христианским чувствам и не раз подтвержденным достоинствам государственного деятеля». Моряки высаживаются на берег, женщины не выполняют приказов полиции, положение весьма щекотливое, конфликт может разрастись и создать угрозу спокойствию баиянских семей. Благородный муниципальный советник обращается к благороднейшему губернатору: «Прикажите, ваше превосходительство, освободить из-под ареста хозяек пансионов и разрешить им открыть снова свои заведения, закрытые вчера полицией, пытавшейся переселить их из Баррокиньи на Ладейру до Бакальяу. Дело требует немедленного решения, господин губернатор, отмените приказ о переселении, воспрепятствуйте тому, чтобы конфликт, пока ограниченный чертой зоны, принял размеры национальной катастрофы и, быть может, международной!»

В городе, охваченном паникой, жители запирали двери квартир.

Телефоны правительственного дворца и полицейского управления не переставали звонить, требуя принять срочные меры.

48

Сидя в бьюике, спрятанном в зарослях, Камоэнс и его компаньон слушали призыв муниципального советника Режиналдо Пэвана. Они включили радио, чтобы на приятном музыкальном фоне покурить наркотик — маконью. Камоэнс — весь внимание:

— Дело провалилось. Поедем забирать товар, пока не поздно.

— Пока не поздно,— соглашается другой, низкорослый, почти пигмей, скупой на слова.

Он берется за баранку, направляет бьюик к Ладейре до Бакальяу. Оба компаньона отдают себе отчет: надо поскорее спасти товар. С самого начала дело пошло плохо, а дальше — еще хуже, хорошего ждать не приходится.

В двухэтажном особняке группа, которой была поручена продажа, закончив делить драгоценный товар под авторитетным руководством Синсинато Черного Кота, пребывала в полной подавленности: хранить столько маконьи и не пользоваться ею — безобразие!

Бóльшая часть мебели, привезенной накануне из Баррокиньи на полицейском грузовике и брошенной здесь, была растащена бродягами и нищими в течение дня. Осталось лишь несколько матрацев, они были перенесены в помещение, и на них дружки растянулись в ожидании. Долгое ожидание, соблазнительное зрелище сигарет с маконьей. После короткого обсуждения они пришли к единогласному выводу: запрет, продиктованный детективом Далмо Кокой, представляет собой явную нелепость. Что случится, если они выкурят по одной-две сигареты, пока поджидают? Что плохого в этом? Конечно, ничего. Синсинато Черный Кот, парень, всегда выполняющий взятые на себя обязательства, в конечном счете согласился, также почувствовав потребность выкурить сигарету.

С наслаждением, развалившись на матрацах, они покуривали и грезили, когда Камоэнс Фумаса и его спутник появились в помещении. Синсинато Черный Кот любит полный покой в такие часы. Кто помешал? Он поднимает голову, вглядываясь в лица вновь прибывших, узнает их. Наверное, они приехали передать поручение шефа Коки:

— Пора?

Камоэнс сообщил о провале операции, задуманной детективом. Зона превратилась в сплошной ад — побоище, беготня, выстрелы; ни один безумец, бежавший из сумасшедшего дома, не решился бы продавать маконью на глазах у полиции. Скептик по натуре, Синсинато не поверил ни одному слову Камоэнса, который закончил, безапелляционным тоном заявив:

— Они не заплатили нам ни тостана, мы приехали забрать наш товар.

— Забрать, черта с два! — И Черный Кот делает усилие, садится на матраце и повторяет: — Черта с два ты что-нибудь получишь!

Камоэнс Фумаса под воздействием мысли о маконье чувствует себя героем:

— Ты получишь по морде, и немедля, мошенник!

Кое-кто из поклонников маконьи вскакивает на ноги. Свалка. Пигмей выхватывает нож; изготовившись, нападает. Зажженная сигарета падает на дырявый матрац, из которого торчит сухая солома. Поднимается дымок, и вот уже забегали язычки пламени.

49

В Пелоуриньо, где войска морали и закона под командованием детектива первого класса Николау Рамады Жуниора перешли в наступление, положение сложилось примерно такое же, как в Масиэле: избитые женщины, вытащенные из домов на площадь, загнанные, преследуемые кавалерией. Там труднее спрятаться, спастись; выходы из улиц на Террейро де Жезус и Байшу дос Сапатейрос заняты полицейскими машинами. Полицейские остервенело избивают женщин дубинками, приказано расправляться с ними, пока преступницы не одумаются. Операция «Радость возвращения» осуществляется в полном объеме.

Штурм главного бастиона — дома доны Паулины де Соуза — заставил полицейских немало потрудиться. Не доверяя крепости дверных запоров, мятежницы забаррикадировали дверь тяжелой мебелью, осложнив для полицейских еще более выполнение долга.

В конце концов дверь взломана, командующий штурмом Рыбоглот бросается по коридору, и кого же он видит? Дьяволицу, скандалистку, хулиганку — да, да! — Терезу Батисту. И в тот же момент его сбивает с ног удар в живот, нанесенный квадратным носком модной туфли, подарка Мирабо Сампайо, которому Тереза позировала для картины «Богородица, кормящая грудью».

— Ой!

Крик командира на мгновенье парализует захватчиков. Тереза успевает проскользнуть между полицейскими и выбирается на улицу в сопровождении других женщин. Рыбоглот, скрючившись, захватив руками пораженное место, даже не думает об отмщении — так сильна боль. Только спустя несколько минут, когда ему удается подняться с помощью двух агентов, среди его стонов и завываний вырываются проклятия.

Величественная, размеренной походкой королевы карнавала и увеселительного заведения шествует дона Паулина де Соуза в сопровождении почетного эскорта из четырех агентов до одной из тюремных машин, где ее оставляют в обществе подданных, арестованных ранее. Она успокаивает их: «Не бойтесь, Огун Пейше Мариньо сказал, что все кончится хорошо,— не рискнешь, не выиграешь».

Окруженная солдатами военной полиции, Тереза бежит, взлетает на паперть церкви Розарио дас Неграс, в изнеможении прислоняется к одной из дверей. Другие женщины рядом с ней. Полицейские пытаются стащить их с паперти, но копыта лошадей скользят по ступеням, животные не могут подняться.

За спиною Терезы приоткрывается дверь, она входит внутрь церкви и едва успевает заметить исчезающего за алтарем внушительного бородатого старца с посохом. Кто его знает — ризничий это, священник или — святой? Даже проститутки имеют своего покровителя, святого Онофре. Не он ли это, а может быть, один из жрецов, из божеств кандомблэ? Кто знает. «В долгую ночь сражения Закрытой корзины» — так поэт Иеова де Карвальо назвал пространную и пылкую поэму, в которой подробно описал события и испытания той поры,— происходили многие необъяснимые случаи, недоступные для понимания простыми смертными, но постижимые поэтами.

Из пансионов Пелоуриньо поспешно выбираются женщины, спасающиеся бегством; некоторых вытаскивают на тротуары полицейские и детективы. Беглянки устремляются к церкви. Другие женщины прибывают из Масиэла и Табоана также в поисках убежища. Мало-помалу неф заполняется. Некоторые, преклонив колени, молятся, читают «Отче наш».

50

В соответствии с инструкциями комиссара Лабана Оливейры, главного компаньона туристского предприятия, организованного для приема моряков, в двадцать часов всю зону наводняют десятки бродячих торговцев и беспризорников, каждый из которых держит сумку или корзинку с флаконами эликсира.

Как раз в тот момент, когда под командованием комиссара полицейские готовятся усмирить женщин, торговцы и беспризорники с оглушительным шумом выходят на улицы, громкими выкриками рекламируя свой товар по-английски.

Не зная об этих инструкциях, солдаты военной полиции направляют своих лошадей против неожиданного шествия нарушителей распоряжений муниципалитета, стараются очистить улицы от множества торговцев, что увеличивает еще больше царящее смятение.

Продавцы ожидали встретить заинтересованную, приветливую клиентуру — моряков, жующих жевательную резинку, раздающих сигареты, покупающих за доллары эликсир,— на виду у полиции нравов, с ее благословения. Вместо моряков и веселых девушек они увидали напавшую на них кавалерию. Ребятишки разбегаются в разные стороны, скрываются в домах. Тысячи и тысячи флаконов рассыпаются по мостовой, разбиваются, проливается на землю чудодейственный препарат выдающегося химика и фармацевта Эрона Мадруги.

Женщины используют флаконы от эликсира как оружие против полицейских и агентов. Размахивая револьвером, комиссар Лабан силится спасти от провала задуманное предприятие, предупредить полную гибель всего дела.

51

Губернатор штата, которому доложено о серьезности положения, согласился выйти из банкетного зала, где уже подали виски перед ужином в честь американского адмирала и старших офицеров, чтобы переговорить с муниципальным советником Режиналдо Паваном. Советник — активный единомышленник, это несомненно, но политикан до мозга костей, далеко не всегда управляемый, страстный охотник за голосами избирателей и престижем. Глава штата, политический деятель, славящийся своим умом и проницательностью, родившийся в бедной семье на берегах реки Сан-Франсиско и сделавший карьеру с помощью смелых и мудрых маневров и ходов, держит его на должном расстоянии. Этого Режиналдо можно использовать при известных обстоятельствах, но с большой осторожностью; помимо того что он малограмотен, он еще и нахален. Однако переговорить с ним нужно: чиновник канцелярии, докладывая губернатору, нашептал о всяких кошмарных событиях. Его превосходительство попросил извинения у почетных гостей на своем лучшем английском языке, поднялся, вышел. В соседней комнате выслушал советника.

Патетическим, слезливым голосом Режиналдо Паван начал говорить о древнегреческой трагедии. Почему древнегреческой? Муниципальный советник начитался Аристотеля? — хотелось спросить его превосходительству, но час не подходящ для шуток. Губернатор довольствуется тем, что велит ему повременить, пока будут приняты необходимые меры:

— Подождите здесь, дорогой Паван, вы получите хорошие вести для передачи нашим... нашим... да, как вы это там выразились? Еще такой красивый оборот... Ах, да!.. Наши сестры-проститутки...

— Проститутки, но тем не менее избирательницы, ваше превосходительство.

Из служебного кабинета губернатор соединился по телефону с начальником полиции:

— Что это за история с принудительным переселением? Забастовка девок — где это видано? И все это происходит в Баие при моем правлении! А моряки, мой дорогой?

Он выслушал путаные, не особенно ясные объяснения — начальник полиции сбивался в своих пространных доводах. Обмануть политического деятеля, обладающего опытом и ловкостью губернатора, не так легко. Речь идет об обыкновенном деле? Тогда почему же полиция держится так непреклонно и дерзко, давая повод для тревожных слухов? Продолжая сидеть у телефона, задумавшись, он резко прерывает рассуждения начальника полиции. В настоящий момент важно ликвидировать панику, положив конец беспорядкам в припортовой зоне, не допустив разочарования у моряков (как выразился с неожиданным остроумием одержимый Паван). Распорядитесь приостановить выселение.

Завтра, когда восстановится порядок и будет свободное время, дело надо выяснить, вывести все на чистую воду,— в поспешном переселении зоны кроется что-то подспудное, подозрительное. Как знать, может быть, случай с этими женщинами явится хорошим предлогом, которого губернатор давно поджидал, чтобы сместить начальника полиции, заставив его подать в отставку? Его превосходительство любит ходить по узким, извилистым дорогам, если бы таким он не был, то как мог бы замечать политические махинации мелких людишек, глупость хитрецов? Ему нравится хватать их за шиворот, когда они запускают руку в чужой карман.

Он возвращается в комнату, где муниципальный советник прикидывает, какие выгоды можно будет извлечь из всего этого. Губернатор усмехается: Режиналдо — жалкая крыса из канализационной трубы, самые тайные его мыслишки всегда отражаются на плутовской физиономии советника. Идеальный эмиссар для передачи женщинам послания о перемирии, размышляет его превосходительство.

— Дорогой Паван, я велел освободить арестованных вчера женщин и приостановить какие бы то ни было переселения. Отправляйтесь и сообщите им добрую весть. Если хотите, зайдите в специализированную полицию, лично передайте мои распоряжения полицейскому инспектору (небольшой маневр, чтобы унизить начальника полиции). Проводите бедняжек до их домов в Баррокинье и положите их голоса для предстоящих выборов в карман жилета, это подарок для вас, дружище.

— Мой избиратель — избиратель вашего превосходительства! Безоговорочно!

52

Все еще переваривая губернаторскую нахлобучку и предвидя мрачные перспективы — если не славировать умно, то окажусь лишним при первом же удобном случае,— начальник полиции позвонил инспектору игр и нравов и передал распоряжение освободить хозяек пансионов Баррокиньи, разрешить им вернуться домой и приостановить выселение. На другом конце провода подчиненный старается

привести какие-то доводы, начальник почесывает подбородок, выражая сожаление:

— Не всегда можно услужить друзьям, как хочется. Дело не получилось, вернее, получилось очень плохо, к несчастью. Освободите женщин, дайте гарантии, велите нашим людям покинуть зону, оставьте лишь обычный полицейский надзор.

В нетерпении он прервал жалобы инспектора:

— Это распоряжение губернатора, я ничего не могу поделать. Что касается старика, то я беру его на себя, сам поговорю с ним. Не забудьте постоянно информировать меня о положении в зоне, мне нужно держать губернатора в курсе дела.

Бакалавр Элио Котиас положил трубку. Старика я возьму на себя; а вот как быть с Кармен? Жена и дядя, конечно, будут портить ему жизнь. Ему захотелось бросить все, послать к чертям, подать в отставку, уйти домой, запереться и заснуть,— он донельзя измучен.

Должность, семья, любовница, зависть, внешне — успех, на деле — скука и неудача. Жестоко пострадавшие женщины, негритянка с изуродованным от ударов лицом, с разбитыми губами, с синяками и кровоподтеками по всему телу. Вероломные глаза комиссара. Зачем все это было нужно? Чтобы в конце концов освободить хозяек увеселительных заведений и прекратить переселение.

Стоявший на краю стола радиоприемник прекратил передачу известий о развернувшихся событиях, чтобы сообщить нечто новое — о большом пожаре в Нижнем городе, охватившем здания на Ладейре до Бакальяу. Инспектор едва успевает прикрыть рот рукой, вылетает из кабинета, проносится мимо перепуганного полицейского. И еле-еле успевает добежать до уборной, его рвет зеленой горькой желчью.

Торжественный, любезный, однако с видом превосходства, как подобает эмиссару его превосходительства губернатора, муниципальный советник Режиналдо Паван входит в пустой кабинет инспектора игр и нравов.

53

«Колоссальный пожар превращает в прах здания на Ладейре до Бакальяу! — сообщает «Радио Абаэтэ».— Эта новость еще более разжигает страсти. Ветхие дома, предназначавшиеся полицией для нового местожительства девиц определенной профессии, выселенных вчера из Баррокиньи, пожираются огнем. Пожарные машины мчатся к месту бедствия; на них установлены наши микрофоны. Причины пожара еще не установлены, но накануне, как стало известно, большое количество мебели и других вещей было перевезено на полицейских грузовиках к домам на Ладейре до Бакальяу и там брошено. Существует ли какая-нибудь связь между страшным пожарищем, разгоревшимся напротив порта, и напряженным положением в зоне, где силы общественной безопасности оказались бессильны? Сегодня, двадцать первого сентября, в начальную дату весны, город переживает часы тревоги и волнения. Шлюпки с американскими моряками готовы отчалить от кораблей и направиться к нашей гавани. Необходима осторожность, мы рекомендуем семьям оставаться по домам, запереть двери и окна при малейшем признаке беспорядка. Храните свои сбережения в Межштатном банке Баии и Сержипе — и спите спокойно. Настройтесь на волну «Радио Абаэтэ», ожидайте новых сенсационных известий».

Дамы падают в обморок, одну старуху увезла «скорая помощь» — разрыв сердца. Закрыв с сожалением двери и окна, вздыхает старая

дева Вералисе: «О, если бы состоялось вторжение моряков, неистовое и пугающее! К вашим услугам, сказала бы я молодому янки, белокурому и могучему, устройте мне праздник!»

54

В то время как Элио Котиас изливает душу или желчь в уборной, перед тем как отдать приказ освободить старую Акасию, Ассунту и других хозяек пансионов Баррокиньи, в другом предместье — в Пелоуриньо — настежь открываются врата церкви Розарио дас Неграс и в них появляются женщины, десятки и десятки женщин и девушек, которые укрывались внутри храма.

Сбегаются журналисты, фотографы, дикторы радио, выстреливающие информации через новейшие передатчики, взрываются первые вспышки фотокамер. Женщины мало-помалу заполняют паперть. Впереди изваяние святого Онофре.

«Бастующие женщины начинают манифестацию протеста! Манифестация Закрытой корзины!» — возвещает диктор «Радио Абаэтэ». Не желая отстать от конкурента, Пинто Скотт, «Золотое горло Радио Баиянской Общины», передает сенсационную новость: «Обитательницы зоны организовали манифестацию, направляются к правительственному дворцу!»

Четыре женщины — среди них негритянка Домингас, вся опухшая, и Мария Петиско, как всегда озорная,— несут на плечах обнаруженные в ризничей носилки со статуей святого Онофре. Со всех сторон знаменитой старинной площади спешат агенты, детективы, полицейские, вооруженные кастетами, резиновыми дубинками, револьверами; они вооружены также злобой и ненавистью. Занимает позицию отряд военной полиции, готовый растоптать копытами лошадей эту манифестацию, демонстрацию, процессию, что бы там ни было, черт ее совсем возьми!

Командование силами порядка и закона осуществляет комиссар Лабан Оливейра со змеиными глазками и отравленным сердцем. Эти девки разрушили все его превосходные планы и мечты о доходном бизнесе. Совсем недавно свалился, скрючившись и подавляя стоны, агент Николау Рамада Жуниор, получивший запрещенный удар, он потерпел полный крах, был сражен на поле боя. Поскольку детектив Далмо Кока исчез, облитый нечистотами, комиссар и Рыбоглот ничего еще не знали о судьбе маконьи, последней надежды избежать полного банкротства: маконья, как и доллар, по их убеждению, не обесценивается.

На верху лестницы, ведущей на паперть, все на секунду задержались. Разбитый голос Вово́ — не будь она тем, кто она есть, конечно, была бы певчей в церкви Крус дас Алмас — вырывается из толпы, разносятся слова молитвы:

Ave, ave Maria,
Ave, ave Maria...

Толпа вторит хором, а статуя, покачиваясь, движется, спускается по ступенькам лестницы. За статуей следуют женщины, среди них, в первом ряду,— Тереза Батиста. Завидев ее, Рыбоглот забывает про боль в животе, бросается вперед. Как раз в эту минуту из бара «Цветок Сан-Мигела» выходит шумная, оживленная группа завсегдатаев; многообещающая театральная звезда Том Ливио, немец Хансен, занимающийся гравировкой по дереву сценок из жизни женщин припортовой зоны, поэт Телмо Серра, представитель вечной богемы —

той, что до рассвета обсуждает судьбы мира и спасает человечество от катастроф и гибели. В могучих руках гравера — плакат, изображающий полуобнаженные фигуры истощенных женщин находящихся за бортом общества и разбивающих цепи порабощения.

Комиссар громко отдает приказ агентам и солдатам: манифестацию разогнать, зачинщиц — арестовать, избить, убить, если это понадобится.

В дело вступает кавалерия, процессия рассеивается, полицейские лупцуют женщин дубинками, агенты угрожают огнестрельным оружием. Статуя святого Онофре опущена на землю. Рядом с нею Вово продолжает распевать молитву. Ей на вид не меньше ста и, пожалуй, не менее тысячи лет она занимается самой древней профессией, достаточно видеть ее морщины, высохшее лицо, беззубый рот, однако ей еще по вкусу драться с полицией и петь хвалу святой деве Марии:

Ave, ave Maria,
Ave, ave Maria...

Комиссар Лабан Оливейра пытается заставить ее замолчать, но, споткнувшись, падает в какую-то выбоину, не может сразу подняться. Падая, он все же успевает выстрелить — старуха оборвала молитву. На площади воцаряется тишина. Около статуи святого замерло маленькое, истасканное тело Вово.

Агенты спешат к комиссару, помогают ему встать, сам встать он не может, похоже — перелом обеих ног. Агент Алирио в смятении бросается на землю, бьется головой о камни, ведь он же предупреждал: комиссар, не безумствуйте, не гневите Эшу!

Машины направляются к зданию центрального управления полиции, они набиты арестованными женщинами и людьми богемного мира, фактически вся припортовая зона отправлена в тюрьму. Распоряжаясь заключительными действиями, на площади задерживается на несколько минут агент Рыбоглот. А вообще он спешит: в карцере, под надежной охраной, сидит Тереза Батиста.

Еще раз попытается научить ее почтению и послушанию. Рыбоглот потирает руки: в ночь такого поражения это — единственная радость.

55

Когда американские моряки прибывают в центр зоны, на площади Пелоуриньо, в тени больших домов еще колониальных времен, где ожидают встретить красивых и веселых женщин, они находят лишь одну, да и та — старая карга неопределенного возраста, негодная, даже если бы она не была мертва и не лежала бы распростертая рядом со статуей святого Онофре, покровителя шлюх.

Еще находясь под впечатлением неожиданного зрелища, моряки получают строгое указание немедленно вернуться на корабли; город в панике, праздник отменяется.

56

Зато следующий день был праздником. В двенадцать часов женщины Баррокиньи запели аллилуйю, прекратили бастовать. Накануне с самого утра начали освобождать арестованных, а заодно и свободных художников, проявивших солидарность с ними и в баре и в тюрьме.

Утром старый Иполито Сардинья, руководитель крупной фирмы недвижимости, сооружающей монументальный туристический комплекс «Парк залива Всех Святых», был замечен перед руинами зданий Ладейры до Бакальяу, уничтоженных огнем. Он привез с собой главного адвоката предприятия, доку в области права. Огонь сберег расходы по разборке домов, но помешал взыскать квартирную плату за два года. Здешние обитательницы — хорошие жилички, платят высокую арендную плату и не запаздывают со взносами. И все же, очевидно, не придется горевать об убытке, даже удастся еще получить кое-какую прибыль. Известный адвокат и старый домовладелец пришли к единому мнению о бесспорной ответственности государства за пожар, случившийся из-за небрежности в охране общественного порядка. Дома, где начались беспорядки, продолжавшиеся в течение вечера и ночи, в последнюю минуту были подожжены, и, следовательно, государство обязано возместить убытки владельцам, жертвам недееспособности и безответственности властей.

Таким образом, пожар не принес никаких потерь, за исключением разве одной утраты, не особенно ценной,— на пепелище нашли обугленные останки Синсинато Черного Кота, у которого было перерезано горло, и тело его обгорело в костре маконьи.

Под арестом оставалась Тереза Батиста. Даже если бы было решено освободить ее вместе с остальными, это оказалось бы невозможным. После визита к ней Рыбоглота она уже не в состоянии выйти на улицу. Хотя он сам едва передвигался из-за страшной боли, но все же не ограничился тем, что командовал ее избиением. Лично участвовал.

57

Алмерио дас Невес, в отчаянии от случившегося, сделал все возможное, чтобы освободить Терезу: он ходил по всем инстанциям в дни, последовавшие за оживленной ночью схватки, сражения в Пелоуриньо. Американские военные корабли уже покинули порт Баии, пробыв там трое суток, причем унесли с собой последние надежды старой девы Вералисе на интимную встречу с белокурым янки; уже древняя Вово, богомолка и бунтовщица, забыта, похороненная в общей могиле кладбища Кинтас; уже со страниц газет исчезла тема, вызвавшая ожесточенную полемику, а Тереза все еще находилась в тюрьме.

Даже художнику Женнеру Аугусто, пользующемуся немалым авторитетом у некоторых деятелей в правительстве штата, не удалось ее освободить. Поставленный в известность, он стал усиленно хлопотать. Не только он, но и остальные художники, которым она позировала и с которыми подружилась. Обещания и снова обещания: сегодня же она будет освобождена, будьте спокойны. Но все было пустой болтовней. Заложница агента Николау Рамада Жуниора, арестованная по его приказу, она должна была оставаться в тюрьме до тех пор, пока герой Баррокиньи не оправится окончательно.

Он не удовлетворился тем, что она была избита в ночь схватки. Хотя побои были сильными — четыре человека молотили ее дубинками,— Рыбоглот не мог принять участие в той мере, как ему этого хотелось: слишком сильна была боль, что мешало ему быть на высоте. Он ведь хотел не только, снова собравшись с силами, избить Терезу, но, главное, всласть над нею поизмываться, понимая, что она лишена возможности защитить себя: хотел заставить ее проглотить оскорбление, нанесенное ему в «Цветке Лотоса».

Художник, которому надоело водить себя за нос, поручил ведение дела своему другу адвокату Ангонио Луису Калмону Тейшейре, в кругах подводных охотников известному как рекордсмен Шикиньо. Это случай habeas corpus[1] — определил бакалавр, но только он собрался обратиться к правосудию, оказывается, Терезу уже освободили и представители власти ждали аплодисментов, благодарности от друзей девушки,— каждый из власть имущих выдавал себя за автора приказа об освобождении.

На самом же деле своим освобождением Тереза была обязана Ваве. Он также принял меры, сделав правильный шаг: вошел в контакт с самóй полицией нравов. Он потратил кучу денег, но самый большой куш получил комиссар Лабан, который вел переговоры, лежа в постели в гипсе; ему был предписан полный покой в течение двух месяцев. Комиссар был готов любым способом уменьшить ущерб, нанесенный провалом проклятого туристического предприятия. Он запросил огромную сумму за то, чтобы забыть оскорбления Вавы и освободить скандалистку; устанавливая цену, он ссылался на тот факт, что эта особа была арестована в момент, когда в схватке наносила повреждения одному его коллеге и другу. Вава заплатил не торгуясь.

Заплатил не торгуясь, заплатил из любви и без всякой надежды, так как Эшу вновь повторил, что Тереза — лакомство не для калеки. Кроме того, он собрал сведения о ней и узнал об Алмерио дас Невес, претенденте на ее руку и сердце, и о капитане Жануарио Жерэбе, пропавшем в океане. И все же он не оставил ее гнить в тюрьме в ожидании второго урока хорошего поведения. Посредники побывали в полиции, и Тереза наконец увидела дневной свет.

Амадеу Местре Жегэ принял ее у дверей Центральной полиции и проводил до апартаментов Вавы, где Тавиана, тоже мобилизовавшая друзей и знакомых, ожидала ее с бьющимся сердцем. Тереза немного побледнела, очень похудела. На бедрах и на груди остались следы побоев. Но она улыбалась, была благодарна, довольна схваткой, Тереза — опять героиня дня.

Вава не воспользовался случаем, чтобы хоть одним словом намекнуть о своей роли, он отводил взгляд от Терезы. Она — лакомство не для него. Другая появится, днем раньше, днем позже, чтобы снова увлечь его. Хотя не такая красивая наверняка и не такая достойная.

58

Тавиана послала записку Алмерио; она не хотела сообщать ему новость раньше из опасения, как бы не превратилось в надувательство соглашение, заключенное комиссаром с Вавой. Пекарь поспешно бросился в пансион Тавианы — глаза его увлажнились при виде Терезы, он онемел от радости, не мог произнести ни слова. Она подошла и поцеловала его в обе щеки.

— Ей нужно восстановить свои силы, она превратилась в скелет, эти собаки искусали ее тело,— сказала Тавиана и добавила: — Лучше на время укрыть Терезу. Свинья Рыбоглот придет в ярость, когда узнает, что она на свободе. Он способен изобрести новую подлость. Это же не человек! — Она с презрением плюнула и растерла плевок подошвой туфли.

---

[1] Habeas corpus *(лат.)* — начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 г.

Тереза не видела необходимости скрываться, ей хотелось поскорее вернуться на подмостки «Цветка Лотоса», как только немного придет в себя и поправится, когда к ней вернется ее бронзовый цвет кожи. Но Алмерио и Тавиана не согласились: «И не думай об этом. Ты что же, снова хочешь попасть в тюрьму, причинив беспокойство друзьям, создавая целый ряд проблем, доведя всех до сумасшествия? Выкинь это из головы».

— Я знаю, где ее помещу,— заявил Алмерио.

Он отвел ее на кандомблэ Сан-Гонсало до Ретиро, оставив там на попечении жрицы — «матери святого».

59

По прошествии нескольких дней, поблагодарив за гостеприимство, Тереза простилась с «матерью святого» и покинула убежище кандомблэ, вселившись в дом доны Фины, в Дестерро.

В отсутствие самбистки и не зная, когда он сможет рассчитывать на нее, Алинор Пиньейро, хозяин «Цветка Лотоса», законтрактовал новые аттракционы — гуттаперчевого человека и певицу Патативу де Макау, прибывшую из Рио-Гранде до Норте (а не из Макао, что на Дальнем Востоке, как предполагали некоторые клиенты с избытком воображения). Тереза оказалась без работы, но ей тут же сообщили о возможности выступать в «Табарисе», самом элегантном и популярном кабаре Баии, всегда полном и очень оживленном,— сердце ночной жизни столицы штата. Непредвиденное и почетное предложение — ей никогда не приходила в голову возможность выступать на подмостках «Табариса», все артисты которого прибывали с Юга, среди них многие — иностранки. Она не знала, что в руках Вавы находится львиная доля средств фирмы, эксплуатирующей дансинг. Она должна была, однако, дождаться предстоящего окончания контракта аргентинки Рашель Пусио, которую она заменит. Разумеется, она стала бы ждать не только из-за этого! Прождала бы столько времени, сколько понадобилось: работа в «Табарисе» — это престиж, слава.

Она могла ждать, так как без денег не сидела. Через Аналию дона Паулина де Соуза послала ей кое-какие деньжата в долг, с тем что она отдаст, когда сможет, а Тавиана предложила ей аванс на неотложные расходы. Сама Тавиана так и не смогла в свое время выступать на подмостках «Табариса».

Однажды вечером племянник Камафеу де Ошосси пришел к ней со срочным поручением: капитан Каэтано Гунза хочет немедленно поговорить с ней, так как баркас ночью отправляется с грузом железа в Камаму. У Терезы забилось сердце, она интуитивно почувствовала, что разговор этот принесет ей плохие вести. Торопливо накинула на голову шаль, подаренную ей доктором Гедесом перед кончиной, и спустилась на лифте Ласерды [1] вместе с юношей.

У входа на рынок Камафеу уточнил, что он не знает, почему владелец баркаса послал ей записку, племянник получил бумажку от капитана и тотчас же побежал передать по назначению, но «Вентаниа» находится поблизости, стоит на якоре около Морского порта. Тереза почувствовала неуверенность в голосе друга, которого называла кумом со дня праздника святого Жоана, на котором тогда появилась в компании Алмерио и где она прыгала через костер с Камафеу и его женой Тониньей, установив с ними кумовство. Камафеу

[1] Пассажирский подъемник из шести лифтов, соединяющий Верхний город с Нижним в г. Салвадоре да Баия.

отводил взгляд, глаза его были устремлены на море, он старался выбирать слова; такой жизнерадостный человек, он стал внезапно унылым. С обреченным видом Тереза села в лодку, которая направилась к баркасу.

Прежде чем Гунза произнес хоть одно слово, Тереза, заметив его взволнованное лицо, упавшим голосом сказала:

— Он умер...

Капитан подтвердил: грузовое судно «Бальбоа» потерпело кораблекрушение у берегов Перу, став жертвой сильной бури, разразившейся перед началом подводного землетрясения. Погибли все члены экипажа, никого не осталось в живых, эту историю рассказали моряки двух других судов, которые поспешили на помощь, но не смогли подойти к судну, настолько ужасной была буря. Они только увидели, как волны поглотили спасательные шлюпки с моряками.

Капитан протягивает ей газету, Тереза берет и смотрит, уже не в силах читать. Каэтано пересказывает ей текст печального известия — он его выучил наизусть за эти немногие печальные часы. Трагическая ночь в Тихом океане — кроме «Бальбоа», затонуло еще другое судно, нефтеналивной танкер. Тот, кто плавает в море, всегда может стать жертвой бури и кораблекрушения,— что другое можно сказать?! Для такого горя нет утешения. Газета опубликовала перечень членов экипажа, завербованных в Баие, Тереза различает имя Жануарио Жерэбы. Глаза ее сухи, погасли горящие угли, в горле — комок.

На плечах Терезы бремя смерти, страшный груз. До сих пор она носила его, не выказывая уныния, не впадая в отчаяние. Она выдержала это бремя на своих плечах, возродившись трижды. Но Жану значит для нее неизмеримо больше,— этой смерти Тереза уже не может выдержать. «Жануарио Жерэба, моряк, любимый Жану, я умерла с твоей смертью, мне тоже пришел конец».

60

Зачем было идти в Судоходную компанию — чтобы от сеньора Гонсало выслушать подтверждение известия, формальные соболезнования, увидеть похотливый взгляд, оценивающий ее траур и ее красоту? Не он ли сам передал прессе список имен? Чтобы вонзить еще глубже в сердце лезвие кинжала, потерять последнюю надежду? Там, в холодной приемной Судоходной компании, Тереза услышала из уст испанца текст телеграммы, оповещающей о гибели всех членов экипажа «Бальбоа», включая баиянцев. Зачем она пришла? Чтобы вонзить кинжал еще глубже, если это возможно. Всему конец! Всему...

На голове цветастая шаль, подарок доктора, она носила ее в часы радости и борьбы, теперь шаль стала вдовьей вуалью, смертным покровом; тускло-печальные, опустевшие глаза, обескровленные губы; она уходит с непокрытой головой. Лифт поднимает ее в Верхний город, и, едва она выходит на Праса да Сэ, наталкивается на Рыбоглота. Завидев ее, агент громким голосом изрыгает ругательства:

— Дерьмовая шлюха! Грязная сука!

Он хотел, чтобы она возмутилась и отреагировала, и тогда он снова арестовал бы ее и понаслаждался предвкушаемой местью. Тереза ограничилась тем, что безразлично взглянула на провокатора и продолжала свой путь. Агент не смог тронуться с места: то был взгляд мертвеца, бредущего по улице.

61

Мария Клара и капитан Мануэл приняли ее на свою рыбачью лодку и повезли в длинное, медлительное путешествие по заливу. Тереза простилась с городом, портом, морем, заливом, рекой Парагуасу. Она решила покинуть Баию, вернуться в края сертана, где родилась и выросла. И Габи, в Кажазейрас до Норте, говорит о несравненной красавице: когда пожелает, может вернуться к ней, этот дом — ее дом.

Ей хотелось, однако, пройти по дорогам Жану на паруснике «Стрела святого Жоржи», который когда-то назывался «Цветок Вод» и принадлежал капитану Жануарио Жерэбе, тому, у кого были оковы на руках и ногах. Ей хотелось познакомиться со старыми гаванями, которые он ей описывал в Аракажу, на Императорском мосту. Кашоэйра, Сан-Феликс, Марагожипе, Санто Амаро да Пурификасан, Сан-Франсиско до Конде, затерянные острова, каналы — грустная география. Какой смысл предаваться воспоминаниям, любоваться пейзажами, слушать ветер, если нет Жану и уже никогда не будет?

Мануэл за рулем; рядом с ним — на корме рыбачьей лодки — Мария Клара напевает песенки о Жанаине; музыка моря и смерти, богиня Инае, поднявшая паруса бури, богиня моря Йеманжа, покрывающая своими распущенными волосами тело утопленника, зелеными волосами, волосами цвета морской воды.

В конце ночи, когда умирает лунный свет и зарождается заря, лодка остановилась близ устья Парагуасу, паруса зарифлены. Мануэл, думая, что Тереза заснула, обнимается с Марией Кларой, и любовные вздохи несутся над водами.

Любовные вздохи пролетают над бодрствующей Терезой, растянувшейся у борта парусника, глаза ее сухи, отсутствующий взгляд, кинжал вонзен в грудь, мертвое сердце, рука касается вод моря и реки, сливающихся вместе, ее реки и моря любимого Жану.

62

Когда парусник бросил якорь у Рыночного Откоса, Тереза была готова покинуть порт Баии и скрыться в сертан. В гавани ее ожидает добрый Алмерио. Бедный друг, он будет страдать, узнав обо всем, но хуже всего для нее оставаться здесь, возрождая в памяти маршруты Жану, смотря на море, где он жил, трогая деревянную обшивку парусника, на руле которого он держал руку.

Взволнованное лицо, затрудненный голос — Алмерио в отчаянии:

— Тереза, Зекес болен, очень болен. Это менингит. Врач говорит, что мальчик, возможно, не выживет.— Рыдание вырывается у него из груди.

— Менингит?

Она пошла с Алмерио и провела у изголовья мальчика десять дней подряд, побледневшая, без сна и без еды, ухаживая за ребенком. Ей пригодился ее опыт медицинской сестры, приобретенный во время борьбы с оспой. Сколько раз боролась она со смертью, столько раз ее побеждала. Сейчас, мертвая сама, она снова борется за жизнь сироты.

Доктор Сабино, молодой педиатр, по прошествии нескольких дней впервые улыбается. Принимая благодарность Алмерио, он указал на Терезу, сидящую у кровати выздоравливающего мальчика:

— Он обязан жизнью доне Терезе, а не мне.

Видя их рядом друг с другом в заботах о ребенке, доктор Саби-

но с дерзостью, свойственной молодым людям, вмешивается там, где его не просят:

— Если вы оба свободны, то почему не поженитесь? Мальчик больше всего нуждается в матери.

Сказал и ушел, оставив их друг перед другом. Алмерио поднимает глаза и едва отваживается открыть рот:

— Вполне могло бы быть... Что касается меня, то я всего больше этого желаю.

Обремененная столькими смертями, сама почти мертвая, посвятившая себя уходу за ребенком, Тереза Батиста чувствует себя сломленной.

— Дай мне подумать.

— Подумать, но о чем?

Подруга по воспитанию ребенка и уходу за домом — возможно. Но и только. Хватит ли у нее сил играть свою роль? В пансионе не трудно, но на супружеском ложе это превратится в трудную задачу, тяжкую обязанность.

Алмерио не просит у нее даже любви, он верит, что сможет завоевать любовь со временем. Он хочет лишь, чтобы она была с ним и с мальчиком. Уважение и дружба. Радости у нее нет, она не может ее дать. Ах! Уже нет у нее сил сражаться — Тереза Батиста, Уставшая Воевать.

— Если ты меня принимаешь так...

Алмерио бросается в пекарню, чтобы объявить всем новость...

63

Свадьба Терезы Батисты была темой разговоров, похвальных комментариев в городе Баие в течение долгого времени. Родолфо Коэльо Кавалканти прославил веселье и величие брака в поэме, напечатанной на листке, который распространял повсюду. Это был праздник, о котором больше всего говорили и который больше всего обсуждали. Незабываемый праздник!

Обилие еды — четыре стола заставлены всякой всячиной. На одном из них только кушанья, приготовленные на растительном масле и с кокосовым орехом,— от ватапы до эфо из листьев, мокек и шиншинов, акараже и каруру, многое другое. На остальных столах прочие яства: яичницы, филе, куры, утки, индейки, двадцать кило сарапателa [1], поросята, козленок — полные блюда, да еще немало осталось на кухне. А десерт? Лучше не говорить — одних лишь сладких блюд из кокоса было пять. Обилие вин — бутылки и бочонки, пиво, различные коктейли, вина, виски, вермут, коньяк, добрая кашаса Санто-Амаро и прохладительные напитки, хранившиеся на льду, на полках переполненных буфетов. Доктор Нелсон Табоада, президент Федерации промышленности, послал в подарок жениху, всеми уважаемому члену Федерации, дюжину бутылок шампанского, чтобы поднять тост по окончании обряда бракосочетания. Печи пекарни «Наш Господь Бонфимский» работали без перерыва, но не для нужд населения Бротас, в этот день они пекли только для праздника. Счастлив жених Алмерио дас Невес,— разве не он хозяин процветающего предприятия, которое скоро станет крупным коммерческим центром? Облагодетельствованный судьбой, счастливец, он наверняка родился в рубашке, имеет полное право с помпой отпраздновать свою вторую женитьбу.

[1] Блюдо из свиной крови и ливера.

Вся Баия получила приглашение на это невиданное празднество, и если кто-нибудь и оказался забытым, то все равно пришел без приглашения, собрались все. Празднество было организовано в особнячке Алмерио рядом с пекарней, так что приглашенные отплясывали всю ночь у самых печей. Джаз-банд «Короли звука» из кабаре «Цветок Лотоса» имел большой успех, разжигал всех, но веселье достигло апогея в полночь, когда «Электрическое трио» вышло на улицу и праздник вылился в буйный карнавал.

В полном единодушии выступала корпорация пекарей, испанские монополисты и отечественные конкуренты. Там были друзья Алмерио по братству при церкви Бонфим и единомышленники по кандомблэ Сан Гонсало до Ретиро, где он имеет пост и свой титул. В кресле с высокой спинкой сидела «мать-сеньора», окруженная свитой жрецов. Пришли и представители других кандомблэ. Здесь были художники Марио Краво, Женаро, Мирабо, для которых Тереза позировала, и те, кто этого поджидал, среди них — Флориано Тейшейра. Писатели распивали виски, выбирая по вкусу марку и сорт,— среди литераторов выделялись такие транжиры и снобы, как Жоан Убалдо, Уилсон Линс, Жамес Амаду, Иеова де Карвальо, поэт Телмо Серра.

Может создаться впечатление, что было слишком много мужчин и мало женщин. Ошибка! Каждый мужчина был с женой, некоторые даже не с одной. От имени доны Лалу дона Зелия преподнесла невесте духи, а от себя — причудливое колечко. Дона Луиза, дона Наир и дона Норма принесли цветы. А обитательницы пансионов, этих вы не считаете? Серьезные, почти торжественные, одетые с большой скромностью хозяйки пансионов: Тавиана, старая Акасия, Ассунта, дона Паулина де Соуза под руку с Ариосто Алво Лирио. Скромные, сдержанные, застенчивые девушки, некоторые со своими возлюбленными. Принцесса, негритянка Домингас, фаворитка Огуна.

В углу залы, почти укрытый оконной занавесью и широкой спиною Амадеу Местре Жегэ,— Вава на кресле-каталке. Тереза избрала его в качестве свидетеля при регистрации брака у судьи вместе с доной Паулиной, Тониньей и Камафеу де Ошосси. Посаженые родители — художник Женнер Аугусто и его супруга, сержипская знатная особа, действительно имеющая древние грамоты дворянства и — представьте себе! — без предрассудков. Свидетели со стороны Алмерио — банкир Селестино, предоставляющий ему кредит и дающий полезные советы, адвокат Тибурсио Баррейрос и редактор газеты «Тарде» Жоржи Калмон — все люди с высоким положением. Для религиозной церемонии жених сохранил тех же свидетелей, что были на первой его свадьбе: Мигел Сантана, один из заправил, патриарх кандомблэ, мастер петь и танцевать, некогда богатый, он помогал Алмерио в трудные моменты начала его коммерческой деятельности, и Тавиана, хозяйка заведения, где он дважды нашел невесту. Раз он был так счастлив в браке с Наталией, зачем менять свидетелей? Зекес, уже выздоровевший, нес обручальные кольца.

Для проведения религиозной церемонии был избран дон Тимотео, худой бенедиктинец, аскет и поэт. Для гражданского акта — судья Сантос Крус.

Композитор Доривал Каимми пришел со скрипкой в руках — наверняка он споет для невесты, разве не сложил он песенку в ее честь? Что касается тоста в честь новобрачных, то кто мог бы произнести его лучше, чем непогрешимый муниципальный советник Режиналдо Паван — для случаев крещения и бракосочетания нет более подходящего оратора, он здесь не имеет себе равных, соперников у него нет.

Не хватало только капитана Мануэла и Марии Клары — парусник «Стрела святого Жоржи» находился в плавании, в Кашоэйре. Не явился также капитан Каэтано Гунза, хотя баркас «Вентаниа» стоял под погрузкой на якоре у пристани Агуа дос Менинос. Он не любитель празднеств, у него достаточно праздника моря и звезд.

Нельзя найти более веселого жениха, он был одет в новый белый костюм из дорогого английского материала — роскошь состоятельного человека, любимого сына бога Ошалы. Незадолго до четырех часов дня, часа, назначенного для бракосочетания, появился нарочный, принесший тревожную записку Терезы — невеста просит Алмерио срочно прибыть в дом доны Фины, где она готовится к свадьбе.

64

В доме доны Фины Мария Петиско и Аналия помогают Терезе одеться и принарядиться. Где можно было видеть более печальную невесту? К свадьбе готовится она или к бдению на собственных похоронах?

Аналия упрекает подругу, что та не умеет быть благодарной судьбе. О, если бы я была такой счастливицей! Мне так осточертела эта жизнь,— переходя из рук в руки, продавая себя, растрачивая любовь. Ты ведь видела Калила? Такой хороший парень, а бросил Аналию, чтобы жениться на кузине, бесстыдник. Аналия его не обвиняет: ради того, чтобы выйти замуж, она тоже порвала бы необдуманную любовную связь. О, если бы у меня был домашний очаг, ребенок, муж! Ах, Тереза, если бы я была на твоем месте, то смеялась бы без умолку, хохотала бы до упаду. Мария Петиско отчасти согласна с нею, хотя для нее нелегко быть верной мужчине.

Тереза уже одета и причесана. Мария Петиско надевает ей на шею ожерелье Янсан, ослепительное и чарующее, символ победы в войне против мертвых, подарок Валдероира Рего, ювелира, творца божеств кандомблэ. Аналия подводит ее к зеркалу, чтобы она полюбовалась на себя — такую красивую, однако печальную.

Пока подруги приводят себя в порядок, Тереза видит свое отражение в зеркале. Побежденная. Уставшая воевать. С мертвой душой.

Она вспоминает события и лица ушедших людей. Доктор, капитан, Лулу Сантос. Времена тюрьмы, времена пансионов, эпоха Эстансии — места, по которым она проходила плохое и хорошее, хлыст и розу. Сколько лет ей исполнилось какие-то месяцы назад в тюрьме, когда она была арестована и избита полицией нравов Баии? Двадцать шесть? Не может быть. Возможно, сто двадцать шесть, тысяча двадцать шесть или еще больше? В час смерти трудно подсчитать возраст.

Шум в дверях, спор, голос доны Фины, противоречащий кому-то, ответ и смех. Тереза вздрагивает, у нее безудержно забилось сердце,— чей это незабываемый голос, напоминающий рокот моря и шум раковины?

— Она выходит замуж? Может быть, но только за меня!

Тереза встает, трепеща, она не верит собственным ушам, выходит неуверенными шагами в коридор, смотрит со страхом. У входа виден намеревающийся ворваться в дом любой ценой гигант, морской орел, живой, невредимый, вот он! Тереза разражается бурными рыданиями и бросается в объятья Жануарио Жерэбы.

- Свадьба не состоится! — громко объявляет Мария Петиско, выскакивая из такси у двери дома Алмерио.

Она оставила Терезу в объятьях капитана Жерэбы. Значит, он не утонул, не умер? Не мертв? Не полумертв? Он жив, жив — этот великолепный мужчина; до чего же везучая Тереза! До того как «Бальбоа» потерпел кораблекрушение, за три месяца до катастрофы, он и другой баиянец — Токиньо, рассчитавшись, направлялись домой. Не торопясь, знакомясь с миром. Наконец, он прибыл, и кум Каэтано Гунза рассказал ему все, что здесь произошло. Друг Алмерио пусть простит, но свадьбы не будет.

Трудно описать, каким было в первый момент разочарование, глубокое потрясение Алмерио, он не мог этого скрыть; да и как могло быть иначе — готовы бумаги, оплачено празднество. Но любопытство старого читателя бульварных романов, фанатического слушателя радионовелл, привыкшего мысленно перевоплощаться в мелодраматических героев, победило разочарование, и Алмерио стал расспрашивать подробности. Поверьте: менее чем через полчаса он пришел в воодушевление от рассказа. Мария Петиско направилась сообщить известие приглашенным, появившись почти одновременно с судьей и священником. Судья тут же ушел; дон Тимотео, однако, остался в ожидании Алмерио: возможно, бедняга нуждается в утешении церкви.

— А что же будет со всей этой едой? — поинтересовался старый Мигел Сантана, который позавтракал налегке, оставив место в желудке и аппетит для свадебного пира.

— Ах, боже мой, празднества, значит, не будет! — простонала негритянка Домингас, приготовившаяся всю ночь танцевать самбу.

В залу как раз входил Алмерио дас Невес в сопровождении Аналии, он услышал эти сетования, развел руками: он не виноват.

— Друзья,— сказал он,— моей свадьбы не будет. Для меня это печально, но зато Тереза счастлива. Жених, которого она считала погибшим, прибыл вовремя. Хуже было бы, если бы он появился чуть позднее.

Ах, как бы ни было — плохо! Великодушному влюбленному пришлось играть новую роль — ради счастья любимой и своего более удачливого соперника.

— Ну что ж, раз так, будем праздновать,— предложил композитор Каимми. Он всегда умел подать хороший совет.

Алмерио посмотрел на полную залу, на народ, толпящийся даже в коридорах, на уставленные яствами грандиозные столы, бутылки на льду, джаз. На устах его появилась улыбка, прогнав с лица экс-жениха последнюю тень разочарования. Героический и самоотверженный, он возвысил голос, чтобы его услышали все присутствующие, вся Баия:

— Не будет моей свадьбы, но празднество не отменено. Давайте откупорим шампанское!

— Вот это здорово сказано,— живо откликнулся Мигел Сантана, устремляясь в столовую.

Празднество свадьбы Терезы Батисты, хотя бракосочетание и не состоялось, продолжалось всю ночь и было исключительно веселым. Съели все, что было, выпили тоже все,— такой пир, как сегодняшний, может быть в наше время только в Баие! Музыкантам удалось пропустить по бокалу пива и отведать по кусочку от каждого блюда, но джаз играл не переставая, и танцы окончились на улице к утру под аккомпанемент «Электрического трио». Посреди ночи Ал-

мерно, державшийся несколько напыщенно, и Аналия — она не родилась быть легкомысленной женщиной — танцевали вместе; она ему призналась, что безумно любит детей. Вот видите, это, пожалуй, уже походит на настоящий роман!

66

Под парусом, полным ветра, баркас скользит по морю Баии. Дует легкий бриз, глубокая ночь царит над заливом. Тереза Батиста, обрызганная волнами, вдыхает соленый запах моря, черные волосы ее развеваются по ветру, она родилась вновь, аллилуйя! Тереза Батиста прижимается к груди Жануарио Жерэбы. У руля капитан Жану, он проверяет качества парусника: «Если будет хорош на ходу, я куплю его в рассрочку, кум Гунза положил мои деньги в банк под проценты. Кум — молодец! Какое название мы ему дадим, скажи мне?»

Прежде чем выбрать название парусника, Тереза говорит:

— Ты знаешь, я убила человека. Он был слишком дурным, заслуживал только смерти, но поныне я ношу это бремя.

Жануарио спрятал глиняную трубку:

— Ну что ж, давай сбросим это бремя в море тут же, раз и навсегда. Он был дурным, пусть отправляется к акулам. Так ты освободишься от него.

Он улыбается в темной ночи, и в его улыбке засияло солнце. Есть на свете Жану!

— Еще один человек умер при мне, в час близости. Не знаю, был ли он хорошим или плохим для других, а для меня тогда он был лучшим в мире, в нем я видела мужа и отца. В своей душе я ношу и его смерть.

— Если он умер в час блаженства, значит, теперь находится в раю, отбыл прямиком. Кто умирает так, ему покровительствует господь. Отпусти его плыть своим путем, освободись от его смерти, но сохрани в памяти все хорошее, что он тебе дал.

Глубины моря разверзлись и вновь сомкнулись. Тереза вздохнула облегченно. Жануарио спросил:

— Есть еще кто? Если есть, пользуйся случаем, сбрось. Здесь, неподалеку, я опустил в море останки моей покойницы.

Тереза подумала и о том ребенке, который мог бы у нее быть. Положила она свою руку на руку капитана Жануарио Жерэбы, горячо любимого Жану, заставив повернуть руль, изменить курс парусника, направив его к небольшой бухточке среди бамбуковых зарослей при выходе из залива, в укромное, уединенное место. На корме парусника легла Тереза Батиста:

— Будет у нас сын, Жану.

— Как же иначе...

Там, на предутренней заре, слились они, река и море.

Баия, март—ноябрь 1972.

Жоржи Амаду: Песнь любви Терезы Батисты

«Образ одной женщины послужил отправным пунктом к созданию этого моего нового романа»,— сказал автор «Терезы Батисты, уставшей воевать» в интервью для бразильской печати.

Коснувшись «предыстории» нового произведения, Жоржи Амаду отмечал: «Мои книги созревают долго, моя творческая работа всегда складывается из двух этапов.

Первый — длительный и медленно протекающий процесс внутреннего свойства,— когда начинаешь мысленно представлять себе тему, когда приходишь к выводу, чем же хочешь поделиться с читателями, что хочешь им передать. В течение этого периода персонажи и среда, в которой они действуют, становятся более ясными для меня, хотя еще нет ничего общего с тем, что называется завязкой, развитием сюжета, описанием событий. Все последнее для меня начинает существовать, как только приступаю писать, и продолжается, пока работаю над рукописью, над редактированием написанного. Вот тогда передо мною возникают человеческие фигуры, я вижу персонажи, их окружение, их взаимоотношения, совпадения и разницу между ними.

Образ Габриэлы, например, сопровождал меня продолжительное время, как и образ доны Флор со всем у нее происшедшим,— более двадцати лет. Равным образом — и Тереза Батиста. Очень давно я думал о ней, да и не в одном моем романе появлялись контуры такой женщины, борющейся, полной... воли к жизни. Нет, я не хочу сказать — полной радости жизни, поскольку с ней случилось много плохого, однако она все выдержала, следует своим путем — к своей цели».

В связи с этими высказываниями писателя, опубликованными бразильским журналом «Маншете» в конце 1972 года, можно напомнить, что о методе своей работы Амаду говорил нам еще ранее (см. «Жоржи Амаду: его герои, его друзья» в «Иностранной литературе», № 4, 1968), а в беседе с корреспондентом «Правды» пояснял, что замысел романа «Тереза Батиста, уставшая воевать» он «долго вынашивал, обдумывая сюжет до мельчайших подробностей», и что «произошла эта любопытная история во время второй мировой войны, в условиях так называемого «нового государства» в Бразилии, когда в стране была установлена свирепая диктатура. Но и в то время можно было бороться...» («Правда», 6.2.1973.)

Когда репортер журнала «Маншете» встретился с Жоржи Амаду, писатель, не отрываясь от пишущей машинки, заканчивал последнюю главу романа «Тереза Батиста, уставшая воевать». Встреча состоялась в рабочем кабинете романиста, в Рио Вермельо — на окраине Салвадора да Баия, в глубине сада, откуда видны бирюзовые просторы залива Всех Святых, на крутом берегу которого расположился «родившийся в море и забравшийся на гору» Салвадор, воспетый, как и залив, во многих произведениях Амаду, в том числе и на последних страницах «Терезы Батисты, уставшей воевать».

Работая над этим романом, Жоржи Амаду, по сообщению «Маншете», придерживался весьма жесткого режима: «Вставал в полшестого утра, а в шесть будил героев своего романа, прерывая работу в семь — для кофе, спустя полчаса опять садился за рукопись, лишь в два часа пополудни отрываясь на обед, после трех редактировал написанное утром и днем, в случае необходимости переписывал заново, отвечал на письма,— работа шла до девяти вечера. Как только образ Терезы Батисты сформировался в сознании Жоржи и мог быть перенесен на бумагу, все дни писателя были неизменно такими, за исключением воскресений, отводимых для встреч, бесед, иногда — для посещения кандомблэ» (как известно, местными неграми, мулатами и кабокло Амаду был избран «жрецом» древнего афро-бразильского культа, в свое время выражавшего протест черных невольников против рабовладельцев и сохранившегося поныне, несмотря на преследования католической церковью и властями,— см. «Мастер из Рио Вермельо», послесловие к его роману «Лавка чудес», «Иностранная литература», № 4, 1972).

Предпоследний роман Жоржи Амаду — «Лавка чудес» — был написан в течение каких-то четырех месяцев; работа над рукописью «Терезы Батисты» потребовала от романиста вдвое большего времени, хотя по объему разница между двумя книгами невелика.

Значительное внимание писатель уделил языку нового произведения — «в романе о Терезе язык отнюдь не легче, чем в остальных моих книгах; я считаю, что автор обязан использовать те слова, которые нужны для лучшего выражения его идей». С другой стороны — сложнее сама структура романа.

Собственно, впервые бразильский писатель построил свое произведение чуть не целиком на основе народного творчества. Бесспорно, мотивы народной поэтики звучали в большей или меньшей степени и в других его романах — творческая фантазия бразильского народа так или иначе отразилась почти во всех его книгах. Однако роман «Тереза Батиста, уставшая воевать» особенно отвечает духу тех повествований, которые можно прочесть в популярных, недорогих изданиях или услышать от сказителей на ярмарках в штате Баия, на всем северо-востоке Бразилии. Жоржи Амаду назвал этот роман своей «наиболее серьезной попыткой» создать произведение такого жанра. Отсюда — нарочито грубоватый либо, наоборот, нарочито «подслащенный» стиль изложения, отсюда — элементы притчи, легенды, мифологии бразильских негров, отсюда — кое-какие картины жизни и быта «дна» буржуазного мира, отсюда — острая, непримиримая сатира на «власть предержащую» в бразильской провинции, на феодалов-помещиков, господствующих в сертане, и на полицию, орудующую вкупе с уголовниками в столице штата, на политиканов-демагогов, на «светское общество»... Отсюда — и традиционно выдержанные заглавия частей романа, так кстати перекликающиеся и с нашей лубочной литературой давних времен.

Читающий роман, естественно, заметит, что в «Повествовании о том, как Тереза Батиста сражалась с черной оспой» каждая глава следует не под очередной цифрой, а под очередной буквой алфавита, и с этой же буквы начинается первое слово предложения, открывающего главу. В данном случае писателем соблюдались каноны распространенного в фольклоре Бразилии жанра «АВС» (по первым буквам латинского алфавита). «АВС» — произведения народной, обычно повествовательной поэзии, в которых первая буква первого слова строфы, чаще четверостишия, соответствует строгому алфавитному порядку, от A до Z. Иногда бродячие сказители, анонимные импровизаторы или чтецы, выступающие по ярмарочным дням в селениях сертана, знакомят своих слушателей и с произведениями прозаическими, скажем, о каком-то событии или о какой-то личности, созданными в жанре «АВС» (лет тридцать с лишним назад и Жоржи Амаду написал поэтичнейшей прозой книгу «АВС о Кастро Алвесе», посвященную выдающемуся бразильскому поэту — певцу свободы в прошлом веке, имя которого не раз упоминается в романе «Тереза Батиста, уставшая воевать»).

Роман «Тереза Батиста, уставшая воевать» своей структурой выделяется среди предыдущих книг Жоржи Амаду. Это произведение, по суждению его автора, «составлено из пяти эпизодов (или частей.— **Юр. Д.**), и каждый эпизод фактически представляет собой отдельный роман в смысле его построения, его техники. Каждый эпизод имеет начало и конец, имеет собственных героев, кое-какие персонажи переходят из эпизода в эпизод, а другие, появившись, исчезают. В единстве одного романа, таким образом, оказалось пять романов. Эпизоды не подчиняются хронологической последовательности. Действие первого, который хронологически должен быть третьим, происходит в Аракажу. Второй, которому надлежало бы быть первым, переносит читателя в небольшой городок, затерявшийся в сертане штата Баия, близ границы со штатом Сержипе. События третьего эпизода, которому надо было бы быть четвертым, развертываются в сержипском городишке Букиме. Действие четвертого эпизода, по временной очередности — второго, совершается в городе Эстансия, в штате Сержипе. И только пятый эпизод соответствует своему порядковому числу, мы — в Салвадоре да Баия».

Пять разных мест действия, не похожих друг на друга, отличных друг от друга, добавляет писатель, «...и пять разных тем». Мы можем еще добавить, что все эти места не только хорошо знакомы, но и близки сердцу Жоржи Амаду: в штате Баия он родился и учился, начал работать репортером в салвадорской газете, напечатал свое первое стихотворение и — вместе с Диасом да Костой и Эдсоном Карнейро — первую повесть «Ленита» («Если что-то я сделал, что-то создал, всем этим обязан народу Баии, самой Баие»,— писал он недавно) и ныне живет в Рио Вермельо — селении рыбаков, влившемся в город Салвадор; в штате Сержипе он находил убежище в конце тридцатых годов — после того, как вышел из тюрьмы, куда был брошен реакционной диктатурой «нового государства», когда книги его запрещались на территории Бразилии (в Сержипе в ту пору он опубликовал свой единственный поэтический сборник «Путь из моря», вышедший тиражом в... два экземпляра; в городе Эстансия одной из улиц присвоено имя писателя, жившего здесь в 1936—1938 гг.).

«Пять разных тем», считает Жоржи Амаду, сплавились в романе «Тереза Батиста», но, конечно, лейтмотивом произведения, его главной темой является одна — трагическая судьба простой бразильской девушки. На Терезу Батисту, «дикую девчонку из сертана», проданную в рабство (в середине XX века!), выброшенную за борт буржуазного общества, обрушилось столько бед. Выпало ей на долю претерпеть нечто немыслимое, сколько кругов ада пришлось пройти. Впрочем, только ли ей? Баиянский художник Калазанс Нето, иллюстрировавший бразильское издание этого романа, свидетельствовал в журнале «Маншете», что «история Терезы — это страдания бразильской женщины, женщины из народа». Ее, дочь народа, не смогло сломить, подавить даже самое страшное из испытаний. Простодушная, научившаяся «немногому — по букварю, многому — в жизни», она не отчаялась, выдержала все то, на что обрекли ее волчьи законы капиталистической действительности. Не только выдержала. Бесправная, она отстаивала свои права, свое достоинство — «за то, чтобы стать самой собой, она заплатила чересчур высокую цену — тяжелой монетой горя». Она сражалась за справедливость, за лучшее будущее, за счастье — свое и других, таких же обездоленных, «всегда на стороне народа», подчеркивает автор романа. В ее протесте — пусть порой наивном, подчас спорном — нашел свое выражение протест против буржуазного общества, против мещанства с его ограниченностью, никчемностью.

«Эту ограниченность жизненных горизонтов, этот почти полный отказ от истинных ценностей жизни, эту деградацию мещанства я показал сквозь призму самого глубокого, благородного и бессмертного чувства — чувства любви. Я хотел также показать, что в буржуазной среде это чувство становится едва ли не преступным и что в наше время лишь люди из народа умеют любить по-настоящему»,— писал Жоржи Амаду во вступлении к своему роману «Дона Флор и два ее мужа», знакомому нашим читателям.

Тереза Батиста, как и дона Флор, как и Габриэла из более раннего — также знакомого нашим читателям — одноименного романа Амаду, «зажатая в железные тиски буржуазного общества, не сразу смогла отличить ложь от правды... Но с помощью простых людей этой поистине волшебной Баии она восстает против предрассудков,

против всего, что угнетает и уродует любовь, делая ее либо низменной, либо преступной, против всего, что мешает человеку любить».

Чувство привязанности Терезы Батисты к моряку Жануарио, бережно сохраненное ею и в мрачные дни и годы, и в моменты не слишком-то радужного, зато весьма обманчивого, просвета,— это песнь любви, вопреки всему искренней, чистой, благородной, всепобеждающей.

В письме к бразильскому издателю Мартинсу (фрагменты письма предваряют нашу публикацию романа «Тереза Батиста, уставшая воевать») Жоржи Амаду поставил в один ряд имена трех героинь своих романов: «Однажды я послал тебе, дорогой Мартинс, девушку по имени Габриэла, аромата гвоздики и корицы цвета, воспетую в краю какао,— где она теперь? Литературный персонаж принадлежит романисту, пока оба они вместе трудятся над своим творением — гончарной глиной, вымешанной с ненавистью и любовью на поту и крови, пропитанной болью, опрыснутой радостью... А сейчас девушка Габриэла из Ильеуса шествует по всему свету — кто знает, на скольких языках говорит, я уже счет потерял. В другой раз, в доказательство нашей дружбы, направил тебе дону Флор, холостую, замужнюю, вдову, после счастливую со своими двумя мужьями, пленницу, разбившую оковы и освободившую любовь... Кроткое создание, кто мог бы сказать, что она сумеет действовать так, как поступала она? Нежданно-негаданно удивила меня она: мне казалось, что я ее знал, а оказывается — нет. Это — другая, судьба которой выскользнула из моих рук... Но нет двух без трех, как говорят здесь, в Баие. Поэтому прими Терезу Батисту, чтобы образовалось трио...»

Всех трех, Габриэлу, дону Флор и Терезу Батисту, роднит волшебство любви — настоящей, неугасимой, как бы ни бушевали житейские бури. Вспомним любовь Идалины к еще безвестному тогда поэту из «АВС о Кастро Алвесе», любовь Оталии к капралу Мартину из «Пастырей ночи», а в памяти всплывают имена Мариазиньи и Магнолии из романа «Какао», Линды из романа «Пот», Марты из «Красных всходов», Марии из «Страны карнавала», Риты из «Мертвого моря», Розы де Ошала́ из «Лавки чудес», трех сестер — Марии, Лусии и Виолеты из «Бескрайних земель», Марии Клары, жены капитана Мануэла, плывущей неразлучно с ним на его паруснике из романа в роман (и в «Терезе Батисте» мы видели ее), женщин из «Жубиаба́», из «Сан-Жоржи дос Ильеус», из... да разве удастся перечесть тут все имена! Многоликую галерею женских образов представил Жоржи Амаду в двух десятках своих романов, и образы эти — при той или иной схожести судеб героинь, при их принадлежности преимущественно к социальным «низам» общества — не повторяются, равно как неповторимы выполненные искусной рукой ювелира драгоценные изделия.

Лауреат международной Ленинской премии мира Жоржи Амаду и в последнем романе (он недавно обмолвился, что «Тереза Батиста» — его последний роман, но не поверим и не хотим верить на этот раз нашему другу) подтвердил преданность принципам, которые он объявил много лет назад при вступлении в члены Бразильской академии литературы: «Что касается меня, то я искал очень неудобный путь — путь обязательств перед бедными и угнетенными, перед теми, кто не пользуется благами мира,— я хочу быть, по мере своих сил, голосом их боли, их чаяний, их надежд... в их глине я хочу замесить гуманизм моих книг, творить о них и для них».

Спускаясь на «дно» бразильской жизни, Жоржи Амаду, отнюдь не идеализируя его обитателей, находит доброе, прекрасное, человеческое, определенные нравственные начала в сердцах даже тех, кого заклеймили отбросами общества. Закономерно эпиграфом к «Пастырям ночи» он взял горьковские слова: «Человек — это звучит гордо». Красной нитью такая мысль — а Максим Горький, для Жоржи Амаду, «первый учитель моего поколения» — проходит и через другие произведения писателя.

С нескрываемой симпатией, с глубокой душевностью он рассказывает о Терезе Батисте — нет, не уставшей воевать! Позволю себе привести маленький, но красноречивый факт: одно из писем автору этих строк Жоржи, разумеется в шутку, подписал — «Отец Терезы Батисты». Не мог он относиться равнодушно к судьбе Терезы Батисты и, очевидно, потому ввел на страницы романа, наряду с литературными персонажами, многих людей из реальной жизни, своих близких друзей, даже родных. Мы встречаем здесь известного баиянского композитора Доривала Каимми, к слову сказать, написавшего распеваемую в Бразилии песенку-модиньо о Терезе Батисте. В романе выступают художники, иллюстрировавшие книги Жоржи Амаду,— Женнер Аугусто («Лавка чудес»), Флориано Тейшейра («Дона Флор и два ее мужа»), Карибэ («Жубиаба»; он же сделал рисунок на обложке бразильского издания «Терезы Батисты»), Марио Краво («Пот») и другие. А в сцене несостоявшейся свадьбы Терезы Батисты с Алмерио обнаруживаем не только брата писателя — Жамеса Амаду, но и жену Жоржи — дону Зелию, которая принесла подарок невесте от имени доны Лалу — так зовут мать автора романа. Вряд ли все это случайное совпадение!

Ведь и своеобразным ключом к роману «Тереза Батиста, уставшая воевать» воспринимаются строки письма Жоржи Амаду, «представлявшего» свою героиню бразильскому издателю: «...меня научила она еще более верить в жизнь и непобедимость народа даже в то время, когда, казалось, исчерпаны последние силы для сопротивления...»

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

■

ЕВА ЛИПСКАЯ

Перевод с польского и вступление
НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

Ева Липская родилась в октябре 1945 года в Кракове.

Год ее рождения — 1945 — был годом окончания второй мировой войны и освобождения Кракова. Эта дата по-особому окрашена для Евы Липской, стала для нее символической, остается своеобразной точкой отсчета. Она говорит об этом в первом же стихотворении, открывающем ее первую книгу. Стихотворение называется «Мы», то есть Липская высказывается здесь (как, впрочем, в большинстве своих стихов) от лица поколения, от лица своих сверстников, самим рожденьем которых была «отдана почесть убитым». Молодые из ее поколения считают своим долгом помнить о войне, об ее жертвах и героях, считают себя призванными нести «простреленную память» дальше. Они завидуют «тем кто в высоких шнурованных ботинках прошел войну» (стихотворение «Мы») и тоже хотели бы иметь героическую биографию, «биографию такую с какой не сравнится никакая другая» (стихотворение «О войне»). Это поколение входило в жизнь в новой Польше одновременно со стремительными переменами всего уклада действительности и ощущало поэтому жизнь как «взрыв», как непрерывную «великую метаморфозу». Как бы воплощая в себе динамизм времени, это поколение уверенно распахивает дверь в мир, «так что стонут тела костелов и дверные петли в бывшей лавочке пана Т» (стихотворение «Я тут»).

Поэзия Евы Липской полна жизненной силы и оптимизма — отсюда светлый юмор многих ее стихов. С легкой, дружелюбной улыбкой пишет она о девочке-старшекласснице, воображаемый герой которой должен быть обязательно похож на киноактера и одет, как картинка из последнего журнала мод (стихотворение «О чем думает девчонка на уроке грамматики»). Но ирония Липской может становиться язвительной и едкой. Она издевается над толпой поклонников и поклонниц, боготворящих инфантильного современного юношу по имени — забавное совпаденье! — Данте, которому уже 22 года, но который мечтает написать не «Божественную комедию», а всего лишь эстрадную песенку. Зато с большой теплотой, не боясь показаться сентиментальной, Липская пишет о детях — в стихотворении «Детский дом». Потому что она чувствует себя ответственной за судьбы этих детей. Вообще, для ее творчества характерно постоянное ощущение ответственности за целый мир — «мой мир», чувство тревоги за его судьбу (стихотворения «Тревога», «Приключение профессора Уайта» и многие другие).

По окончании школы Ева Липская училась в Краковской академии художеств, занималась живописью. В стихотворении «Женщина позирующая мне для портрета» живопись показана как труд, как работа, требующая напряжения от обеих участниц процесса: от женщины-натурщицы, позирующей часами, и от девушки, которая ее пишет. В отличие от многих стихов разных поэтов, изображающих труд живописца извне и потому общими словами, здесь процесс показан изнутри, во всей конкретности профессиональной психологии живописца и технологии живописи:

...ее зеленые чулки позволят мне наконец
использовать изумрудную зелень пахнущую ядом...

Свое первое стихотворение Липская опубликовала шестнадцати лет в «Краковской газете». Первая ее книга вышла в 1967 г. и называлась просто «Стихи». Столь же просто названы ею и последующие книги: «Второй сборник стихов» (1970), «Третий сборник стихов» (1972), «Четвертый сборник стихов» (1974). В сознательной простоте названий

книг, в простоте самой поэзии Липской есть, конечно, и продуманность, и пафос, и полемика с некоторыми молодыми польскими поэтами, выступившими с первыми публикациями в начале 60-х годов и не избежавшими искуса красивости и претенциозности.

Дебют Евы Липской на несколько лет опередил дебюты ее сверстников — польских поэтов так называемой «новой волны», выпускающих сейчас, в 70-х годах, свои первые, вторые, третьи книги.

Мы

Мы — рожденные в сорок пятом открытые настежь —
живущие в полном комфорте собственных тел
читаем книги философов и книги телефонов.
Сосредоточенно рассматриваем каждое землетрясенье.
Мы. Послевоенное поколенье из мирных вазонов.
Выведенное из непреложных статистических законов.
Не расслышанное в шуме первоначальных дней.
Страдающее бессонницей и похожее на ночную бабочку.
Призванное сосредоточиться над.

В наши дни ведут заржавленные двери.
Лестница пережившая любителя канареек.
Водопад шагов. Похороны с оркестром. И крики расколотых горшков.

Мы спускаемся по лестнице. Очень медленно. С важностью деревьев.
Уже наверно семь утра. День слишком пунктуально зреет
и порой принимает вкус гниющего яблока.
Всевозможные люди стремительно выбегают.
Из парадных. Из ворот. Из гостиниц. Изо рта. Тут и там.
До локтей обезумевшие обитатели планеты.
Ругаются. Останавливаются оплаченные в паркингах.

Мы завидуем тем
кто в высоких шнурованных ботинках
прошел войну.
Мы завидуем
ночи поделенной между усталыми касками
по маленькому куску.

Выстрелам как веселые фейерверки поднесенным ко рту.
Вульгарной радости нежданно уцелевших.

На том рассвете
из города страх вывозили на тачках
и выметали пули.
Хоть на лицах еще не остыли ужас и ожесточенье
уже фанфарой скрепили руины и освобожденье
и раненые стены при звуках гимна вставали.
Люди свободе рукоплескали. Ворота открывали.
В подворотнях женщины рожали детей:
нас. Призванных к жизни перед рассветом. Праздничных
и открытых.
С иммунитетом к телу. Отряхнутых от скрежета оружья.

Нашим рожденьем отдана почесть убитым.

А простреленную память несем сквозь весны и зимы
мы.

О чем думает девчонка на уроке грамматики

Он явится тринадцатого ноября. Или потом
однажды.
Он сойдет со страниц иллюстрированного журнала
в шортах в обтяжку
которые он рекламирует на летний сезон.
Или с экрана. С парижскими сумерками Годара
и с дикой розой понятной на любом языке.

Мы с ним поедем на остров
который дорисуем на карте.
Будет качаться наш гостиничный номер
как корабль в облаках.
Кому из нас
удастся спастись?
(Девчонка приступает к этой мысли
со спасательным кругом
на сердце)

Учительница носит носки красного цвета
а ноги демонстративно выставляет вперед.
Как будто она понимает сущность времени
и существенность мысли.
Переполох воображенья. Биг-бит сердца.
Лихорадочное состояние ночи. Ночь — это форма времени.
Это форма будущего времени
составленная из личной формы вспомогательного глагола: буду
будешь будем будете будут
и неопределенной формы основного глагола: любить.
Я буду любить.

Забавное совпаденье

1

Растерянно смотрят на даты календаря
торопятся мир принять и глотают глобус.
Не верят в нашедшего их в огороде гнома
хоть гном уверял их что вечность мгновенья мнима.

Лишь выйдя из персика — сразу же на парад.
Ничуть не дивятся своим волосам успевшим

до плеч отрасти. Грустят. Напрягают память
чтоб с гордостью выстрелить год своего рожденья.

В прогрессе они обожают электрогитары.
В электрогитарах они обожают женщин.
И жаждут коней. А кони — рыцарей жаждут
блуждая по странным дорогам воображенья.

2

Зовут его Данте. Забавное совпаденье.
Ему двадцать два хоть в этом он не уверен.
Метраж современных чувств ему — еле-еле
для великолепных ступней его длинных ног.

Глядит с вниманием вокруг. Сочинить мечтает
сверхмодной песенки текст и снять кинофильм.
Ковбойский вестерн смотрит как будто кадры
второй мировой войны...

А все кто с ним вместе выбежал из колыбелек
глядят размышляя на правую его руку:
удержит ли тяжесть гения и пера?
Толпясь и толкаясь дышать на него боятся
чтоб гриппом не заразился и вдруг не умер.

Голая девушка на снегу

Голая девушка на снегу
могла бы замерзнуть
если бы не меховые рукавички для рук
и для большого пальца отдельно. Шерстяные чулки
которые ласкают ноги как солнце ласкает мальвы.
Красные губы и красные бусы
как витаминное драже.

Есть у нее шапка на голове: купол минарета.
Двадцать два года брошенные на рельсах
с которых сошел современный джаз.
Сумочка полная иллюзий и разных причин.
Платье в стиле поп-арт
который она готова защищать до потери сознанья.
Белая полоска на месте часов
чтобы не думать о времени.
Есть у нее и диаметр круга в котором
она замкнута
или может оказаться замкнута.
Круг она катит перед собой как будто коляску
с грудным младенцем неудобным ребенком
угрожающим
как открытое жерло вулкана.

Она поправляет шерстяные чулки которые спадают
потому что на целый номер ей велики
и на целых два номера малы
или на целых три
номера велики или
или
и.

И поэтому голая девушка на снегу
не может замерзнуть.

Я тут

В этом мире простом как взрыв
— в мире сложном как три мира вместе —
именно мое поколение
уверенно открывает дверь.
И сбегает по кругам материи.
Так что стонут тела костелов
и дверные петли в бывшей лавочке пана Т
и пан Т и пани Т итэде.

Слишком рано для таких стихов
распахнула я настежь окна:
дождь до нитки промок и промокли
кактусы у соседки под нами.
Дочка пани Т пережила великую метаморфозу.
Такой метаморфозы не пережил даже
Чарльз Дарвин на корабле «Бигль» [1].
Спустя какое-то время
можно будет видеть в музее великие метаморфозы.
Надо начать посещать музеи
в которые я перестала верить.
Чтобы вернуть доверие потребуется немалое время.

В этом мире простом как взрыв
— в мире сложном как три мира вместе —
вероятно случается с каждым
великая метаморфоза.
Время от времени. Или только однажды.
Проходит бурно. Или проходит мимо.
Смотря на каком этаже ты живешь
или хотел бы жить.
Или в зависимости от многих других причин.
В буквальном и в переносном смысле.

Кактусы у соседки цветут.
Ребятишки играют в прятки.
Начинается в обычном порядке:
кто-то спрячется кто-то найдет
— раз два три
я тут!

[1] Путешествие на корабле «Бигль» (1831 – 1836), как писал Дарвин в своей автобиографии, перевернуло все его понятия и превратило его в создателя теории эволюции.

Тревога

Я тревожусь. Я боюсь за женщину
которая семь часов уже как умерла.
Что с ней будет дальше?
Я боюсь за ее ребенка
который стал старше
на семь часов
и расплакал в голос стакан.
Я тревожусь за наши годы
развитые не по годам.
За эти семь часов погибло
несколько миллионов катастроф. Утопились реки.
Хляби разверзлись под ногами у неба. Битвы
происходившие в прошедшем столетье
пришли на свои места. Торопливо
подходили все новые сраженья.
Введены миллиарды законов. Квадриллионы
инструкций и правил. В карантине
заперты двое подозрительных:
Адам и Ева.
(Бог на все это смотрит
сидя на кухне
и накручивая на вилку спагетти)

Будучи очевидцем
всеобщей утраты зренья
я тревожусь
за мой мир. Но он
взрывающийся фейерверком
беззаботный как комикс
беснуется в луна-парках. Взлетают в воздух в запале
мускулы континентов. Ледники пылают.

Но еще — поэзия. Крупице поэзии
удалось уцелеть.
Что с ней будет дальше?

Приключение профессора Уайта

Профессор Уайт
поменявший головы двум шимпанзе
купил себе модную плюшевую шляпу.
Но только он отошел от прилавка
шляпа склонилась к его уху
и прошептала:
Уайт будь осторожен
на стадионе твоего мозга
проходят соревнования по легкой атлетике.
Мысль твоя прыгнула далеко
чересчур далеко
для нашего человечества.

■

АНДРЕ СТИЛЬ

Рассказы

Переводы с французского

Мошенник

Клодомир был совершенно глухим. Он всем улыбался, но глух был как пень. Оглох он четыре года назад на семьдесят втором году. Его жена умерла, он не мог утешить себя даже тем, что больше не будет с утра до вечера слышать насмешки. Конечно, до Олимпии, ее сестры, ей было далеко, но все-таки кровь-то одна, язычок у обеих был что надо, только попадись, и уж трепали они им вовсю!.. Слава богу, Клодомир всегда разбирался, когда на чью сторону встать. В общем, жить одному — это само по себе несладко, а если к тому же не слышать ничего, что творится вокруг, тут многие бы только и делали, что ныли. А он — нет. Впрочем, ноги у него были хорошие, он гулял понемножку, здоровался со знакомыми, по любому поводу смеялся — он ведь был совсем здоров, только уши... Он разговаривал, расспрашивал, как и раньше: «Ну, а детишки, ничего?» — «Как, растут малыши?» Ему отвечали, громко крича на ухо, но он не слышал, ничего не слышал. Конечно, совсем ничего — сказать нельзя, какой-то шум он улавливал, но слишком неясный, ничего не поймешь. Тем более он был благодарен людям за то, что они все-таки пытались разговаривать с ним. В кармане он постоянно носил леденцы для детей.

Самым неприятным было то, что из-за этого чувствуешь себя еще более одиноким. Когда приходилось посидеть дома, даже недолго, например, зимой — ставни закрыты, что происходит на свете?.. Пытаешься читать, глаза-то еще видят, но даже читать, даже думать — все уже не так, как раньше; и поверить трудно, для каких разных дел нужны уши. И потом, всегда такое ощущение — вроде бы должно быть наоборот,— что голова чем-то забита, будто насморк. А забита она пустотой, и самому смешно, а ведь правда. В ушах гул, тяжесть, какие-то шорохи, вроде как опустил голову в воду,— это напоминало те времена, когда он любил плавать.

Правда, он такой человек, что умел и в беде найти для себя забаву. Смотреть на танцующую молодежь — вроде бы и музыки нет, а они прыгают. Динан со своими учениками играют на барабане, и

бьют себе и бьют; Нэсс с мэром спорят через садовую решетку — когда не слышишь, лучше видно, как они руками машут. Телевизор — тут тоже есть над чем посмеяться, особенно когда читают новости, выступают министры... «Вот еще один мелет языком попусту, это как пить дать!..» — говорит Клодомир, и Федерик, к которому он пришел провести вечер, отвечает: «Это точно, тут уж не ошибешься!» Клодомир не знает, что отвечает Федерик, но видит, что каждый раз одно и то же. А молодые, дочь Федерика и ее муж, каждый раз смотрят друг на друга, как бы говоря: «Ну... опять!..» И ведь не понимают, что сами повторяются. Клодомир-то понимает. Глаза у него есть.

Можно жить и воспоминаниями. Известно, это такое дело, чем дальше от чего-нибудь уходишь, тем оно краше кажется. Недостатки стираются, и остается только хорошее. Иногда он даже голос Олимпии услышал бы с удовольствием. Сказали бы ему раньше, что он до семидесяти шести лет будет вспоминать звук колокольчика на ошейнике маленькой белой собачки соседей, он бы и не поверил. И потом смех — девушек, женщин, разные шумы шахты, гром пушек войны четырнадцатого года, от которого в нем до сих пор что-то вздрагивает; но чаще воспоминания приятные: вода в пруду, весла, птицы любые, даже вороны, сирена на обед, голоса детей, музыка. Грустно, что теперь не смеешь и верить своим воспоминаниям: раз больше ничего не слышишь вокруг, наверно, то же самое и внутри, должно быть, только кажется, что это было. Если б вот можно было время от времени освежить память, просто проверить ее, привести в порядок... Но, даже если все только кажется, это уже неплохо. Может быть, есть совсем глухие, и внутри тоже, вот что настоящее несчастье.

Читать Клодомир может и писать, но быстро устает. Читает он что попадется: газеты, детские книжки с картинками, книги по садоводству, которыми его снабжает Нэсс, каталоги. Он подолгу разглядывает рисунки: велосипедные звонки, клаксоны мотоциклов, духовые инструменты, транзисторы, деревянных подсадных уток со звуковым механизмом, кастрюли, посуду, меховые шлепанцы, цветы, которые стали теперь особенно немыми... Все это, разумеется, не заменяет... Он было всерьез подумал: не сходить ли к врачу, сделать операцию?.. Но сколько там ему еще осталось, да и денег безумных все это стоит... Его отец прожил восемьдесят пять, мать — восемьдесят шесть лет, немало, он не был уверен, что и он столько протянет, и потом, разве нельзя жить и так...

Дочь Федерика каждую неделю привозила из Бельгии иллюстрированные журналы. Ему нравились там картинки. В белых кружках, похожих на отверстие трубы, узкие концы которых были засунуты в рот нарисованным говорящим человечкам, он читал разные «Ах! ах! ах!», «Ой!», «Уа!», «Бр-р», даже «Рррунг», что было, наверно, каким-то плохо переведенным американским возгласом. И так получилось, что именно в этих журналах он нашел путь к спасению.

Красиво сделанное объявление с рисунком гласило:

Глухие,
слушайте!

Нарисовано огромное ухо, и в нем маленький аппарат, похожий на улитку. Большая белая стрелка указывала на аппарат, на ней слова:

Никто его не видит,
а *вы* СЛЫШИТЕ...

Под рисунком много еще чего понаписано маленькими буквами, но Клодомир сразу обратил внимание на самое важное, то, что было напечатано в самом низу: «Бесплатная демонстрация на дому».

Бегом к столу — бумага, чернильница, ручка, адрес, Париж. Мосье, имею честь обратиться... вашей снисходительности... бесплатно — подчеркнуть... без гарантий с моей стороны — опять подчеркнуть... Не на следующий день, но через день — уже ответ: «Мосье, имеем удовольствие... наш представитель приедет к вам в пятницу такого-то числа в такой-то час...» Восемь дней ждать. Но, чтобы убить время, в конверте достаточно проспектов: голубой, розовый, желтый. На следующую ночь ему приснилось, будто он слышит, слышит все, даже шум моря в раковине, даже то, чего вообще не существует.

Представитель прибыл в малолитражке с опозданием на полчаса. Перед домом Клодомира машина не останавливалась с тех пор, как... ну-ка, ну-ка... и гадать нечего, с тех пор, как заболела жена. Соседи спрашивали друг друга, что произошло,— он ничего никому не рассказал, боялся, что его надуют: никогда ведь не знаешь наверняка, а раз так, то, чем меньше будет разговоров, тем лучше. «Здравствуйте, мосье,— сказал Клодомир,— вы из Парижа?» — «Из Лилля»,— привычно громко ответил приехавший. «Там работает сын моего двоюродного брата, официантом в кафе у Версальских ворот, может быть, когда-нибудь...» — «Я сейчас из Лилля»,— сказал приехавший еще громче. «Да, да, мосье, бесплатно, об этом надо договориться заранее»,— сказал Клодомир. Приехавший решил, что объясняться слишком долго. Он достал маленькую улитку, показал Клодомиру и, не сомневаясь в эффекте, сунул ему прямо в ухо. Однако Клодомир покачал головой — нет, ничего. Ах, да, контакт, ну и дурак же!.. Он вытащил улитку, сделал что-то пальцем, улитка, снова засунутая в ухо, щелкнула, и тотчас же представитель фирмы увидел — если бы он не видел этого сам, он бы не поверил,— как Клодомир слушает глазами: они бегали влево, вправо, вверх, вниз, будто Клодомир хотел увидеть в единый миг все то, что он снова слышал. Слышал он все: шуршание добротной ткани на костюме представителя фирмы, ветер, звяканье крышки от консервной банки, которая висела в саду, чтобы отпугивать птиц, далекий шум поезда, мужские и женские голоса. Это было невероятно — услышать вдруг сразу все вместе, когда уже потерял привычку.

— Ну вот! — сказал представитель фирмы.

Настолько ясно Клодомир не слышал никогда в жизни, по крайней мере ему так казалось. Но что делать? Он бы очень хотел, чтобы маленькая улитка осталась у него в ухе навсегда, но, с другой стороны, о том, чтобы платить, не могло быть и речи. Конечно, он мог достать деньги — в глубине шкафа, в подкладке черного галстука лежали двести восемьдесят тысяч старых франков, это было наверняка больше, чем нужно. Но ведь он умрет, а уйти, ничего не оставив детям, он не хотел. По сто тысяч каждому и восемьдесят на похороны, самый минимум — а теперь все это пустить на ветер?!

И потом, платить так дорого за маленькую машинку и так поздно, когда пользоваться-то ею осталось... он умрет, а деньги уже не вернешь, не такая это вещь, чтобы можно было продать... Нет, нечего и думать. Думал он только о том, как бы продержать в ухе эту маленькую штучку, разбудившую его слух, возможно дольше. Было одиннадцать часов. Через тридцать минут счастья помолодевший на двадцать лет Клодомир был уже на «ты» с невысоким молодым человеком, который успел все объяснить и вел себя совершенно спокойно, полагая, что покупка — дело решенное, а так как он проголодался, ему самому пришла идея, очень устраивавшая Клодомира. Он сказал:

— Если тут где-нибудь есть ресторанчик, я сходил бы перекусить, а вы могли бы пока продолжить испытание аппарата.

— Ресторанчиком это не назовешь,— ответил Клодомир,— но жена Занта, если нужно, готовит покушать для приезжих. Только я не хотел бы его изнашивать. За это я платить не собираюсь. Ты говорил о батарейке...

— Нет, нет, поскольку это испытание, вы ничего не должны.

— А выходить с ним можно или разрешается только в помещении?

— Можно где угодно.

— Ну, хорошо, тогда я покажу тебе дорогу до Занта. Если мы придем вместе, тебя лучше обслужат.

И Клодомир, чьи уши вернулись к жизни, вышел на люди. День был прекрасный. Светило солнце, и дул ветер. Людям, смотревшим на них,— а на Клодомира и его спутника смотрели со всех сторон, стоя на порогах домов, из-за занавесок,— казалось, что старик не шел, а приплясывал: чуть ли не каждые три шага он крутился на месте, пытаясь проследить глазами, откуда он слышал звук. Он вытягивал шею, чтобы посмотреть, как гоняются друг за другом два стрижа, разглядывал даже свои ботинки, стучавшие по мостовой. Представителю фирмы, благополучно доставленному до места, ничего не оставалось, как под видом аперитива поставить Клодомиру стаканчик. Теперь они возвращались. Клодомир не спешил, чуть что останавливался, заговаривал с каждым прохожим. Он не открывал своей тайны сразу, не говорил людям, что он их слышит, он прятал свой маленький чудо-инструмент — и ведь верно, его нетрудно прятать, пижон мальчишка из Лилля не обманывал. Он узнавал знакомые голоса, постаревшие, изменившиеся, забытые. И внезапно раскрывал карты, показывал батарейку, маленький транзистор,— он был так горд, будто сам изобрел его. «И эта штучка работает, Клодомир?» — «Работает?! Смотри на меня! Слышишь, как в Эско, в двух километрах отсюда трактор прицеп тянет? Плохо, что получается ужасная какофония. Все слышно сразу. Не прошло и получаса, а у меня уже голова трещит. Придется привыкать заново».

Насчет того, чтобы привыкать, не надо преувеличивать... Представитель фирмы со своим аппаратом уехал, и Клодомир опять погрузился в тишину. Но, однако, ненадолго. Три месяца спустя прибыла вторая жертва — другой представитель, этот приехал из Дуэ, что было поближе Лилля, а вот объявление добралось до Клодомира из самой Японии:

Японская электроника
предоставляет в ваше распоряжение
этот маленький
слуховой аппарат на транзисторах
НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВЕННОЕ
УХО
«микровокс»
восемь дней
испытания на дому
без оплаты

Действовал он примерно так же, как в первый раз. Молодой человек из Дуэ уехал, убежденный, что дело в шляпе. Ловко ты его, Клодомир. Восемь дней... Даже если потом придется сидеть ни с чем полгода, то будет о чем вспомнить.

Через четыре с половиной месяца отыскалось новое объявление. Эти посылали все по почте, из Швеции, не нужно было и представителя. Четыре дня, испытание бесплатное. А кто мог ему помешать держать пять дней? «Акустический протез»... «Ну и название, будто деревянная нога в ухе»,— говорил Клодомир, расхаживая по деревне; кое-кто думал, что ему за это даже платят,— реклама теперь не останавливается ни перед чем.

Клодомир тянул таким образом три года с провалами по три, четыре, пять, шесть месяцев. Загвоздка была в том, что фирма, к которой он уже обращался, больше не хотела попадаться на удочку. Надо было ждать, пока появится новое, самое последнее изобретение.

Техника развивалась не так быстро, как хотелось бы Клодомиру. Поначалу его мучили еще угрызения совести. То, что он проделывал, было не совсем честно... Но он читал в газете про виноторговцев, которые надували таких же, как он, стариков, заставляя их подмахивать бумаги, по которым платили в новых франках, в то время как те думали, что речь идет о старых. На каждом из этих малых детей зарабатывали миллион-два чистенькими. По сути дела, Клодомир отчасти рассчитывался за тех стариков. Без всякого злого умысла, впрочем,— боже упаси!.. А потом, радость слышать, возможность посмеяться, показать, что он теперь не такой дурак, как другие, наоборот, если бы он всерьез захотел, он бы запросто обвел вокруг пальца всех этих богачей, и уже давно... Он даже не держал своих дел в секрете. Не слишком хвастался, но и не скрывал. Вот и получалось, что кто-нибудь обнаруживал новую жилу, приносил ему вырезку из газеты и — за работу!.. Все это, без сомнения, поддерживало Клодомира в веселом расположении духа. Дни шли за днями, а старик не менялся, сиял по-прежнему.

Однако прошло три года, и он почувствовал, что, как ни крути, а его затее с бесплатными испытаниями приходит конец. Все марки были опробованы, везде его взяли на заметку. Надо сказать, что за это время он и сам многое узнал. Медицинская электроника, акустическая техника — он не уставал рассказывать обо всех этих вещах, тут он собаку съел... Тогда у него появилась мысль попробовать по второму разу, как это делают с виноградом: давят его второй раз, потом третий... Он написал, не во все места сразу, благоразумно делая перерывы подольше, нежели раньше: испытал, дескать, различные модели, склоняюсь к тому, чтобы приобрести вашу, а потому, может быть, небольшая дополнительная проверка...

Так он тянул еще два года. Одна немецкая фирма благодаря открытию «Общего рынка» позволила себя надуть даже три раза. Но всему есть предел, и, как с виноградом,— после третьего сусла уже ничего не течет... Потом сколько ни дави — все, больше ничего не будет.

Стало быть, настал твой черед, Клодомир, дело идет к концу. Месяца через два-три он помер, но даже перед смертью порадовался: сбманывал он их почти до самого конца.

Забытые цветы

Он уезжает на рассвете. Светает сейчас в половине восьмого — в восемь. Ветреные дни наступят немного позже, но небо уже злое, деревья на краю леса ощетинились, будто драться собрались. Машина поднимается из гаража по

© Editions Julliard, 1973

цементированному скату прямо на восток, поля на горизонте розовеют — едешь все-таки навстречу надежде. Вот так часто и начинается день. Поворачиваешь направо, объезжаешь высокий бледно-зеленый полукруг дома. Катишь по дорожке, тут тоже цемент, вот и угол, теперь выпуклая часть дома, и там, за окном седьмого этажа, лифт, слава богу, отличный, на днях, правда, что-то случилось с дверцей, но он и так работает... Там, на седьмом этаже, Эвелина раздвигает занавески — не на кухне, а в гостиной, чтобы посмотреть, как он уезжает. Зимой он будет прощаться с ней, мигая фарами. Летом она, стоя у открытого окна, уже одетая, будет махать ему рукой и смеяться, а у него в машине все стекла будут опущены, он высунет левую руку наружу и наклонится вперед, чтобы как можно дольше видеть ее в верхней части переднего стекла своего «ситроена». У выезда на автостраду он увидит Эвелину через заднее стекло в зеркальце перед собой, мысленно обнимет ее и, уже не оборачиваясь, махнет на прощанье рукой. В это время года — нет. Он знает лишь, что она за тем закрытым окном, в машине стекла тем более закрыты, он удерживает себя, чтобы не погудеть, проезжая,— это не разрешается, но он дал бы совсем короткий сигнал, никто и слова не сказал бы, да только он не хочет беспокоить людей. Но он знает, что она там, что она его видит, не его, конечно, а его синюю машину, и она знает, что он поднял глаза, что перед тем как исчезнуть на дороге, он невзирая на все, как и несколько недель назад, посмотрит в зеркало заднего вида — а еще через несколько недель она будет иметь право на сигнал фарами. Сейчас же — ничего. Серое время, в море бегут серые ручьи, но, если ты счастлив, и ручьи кажутся не такими уж серыми, разве не правда?

Иногда он сам над собой подсмеивается. Ведь сорок семь лет уже. Выезжая из гаража, ему достаточно свернуть не направо, а налево, и, сделав четверть круга вдоль вогнутой части дома, он сразу окажется у выезда на автостраду. Однако, не считая того дня, когда у них сломался будильник, он ни разу так не делал. Каждое утро, дарованное господом богом, во всяком случае шесть из семи, когда жизнь наша добавляет к творению господа свою крупицу соли — работу в учреждении, он доставляет себе удовольствие, делая этот большой круг — свой маленький слалом, как змея, которая, прежде чем взвиться в танце, сначала разворачивает свои кольца. Или птицы — те сделают два-три круга, а уже потом улетят.

У каждого свои маленькие причуды. Маленькие или большие. Редко бывает также, чтобы Жером уезжал без цветка,— иначе как-то одиноко. Эвелина помешана на цветах. За городом у них везде цветы. Она рассаживает их и сеет. Когда они в воскресенье вечером возвращаются домой, машина забита цветами. И она еще говорит, что на неделе цветы воруют у них с участка,— этому просто нельзя поверить. Домик закрыт, внутри ничего сколько-нибудь ценного, только вокруг — все эти цветы, одни в течение шести дней, ну и ночей, конечно... Но у кого в деревне их нет, кто их возьмет? Огромные гортензии, розы, немного хилые циннии, гигантские георгины — тамошняя земля совсем никудышная: камни ведь, но вдоль стен удобрили золой, и цветам очень пришлось это по вкусу... Здесь то же самое, горшки и банки — сколько может вместить балкон. Влин все сюда поставила, и в любое время года у них тянутся к солнцу какие-нибудь цветы.

Однако октябрь, приближаются первые заморозки, скучный месяц — для цветов это тоже серое время. Здесь. А за городом цветы идут друг за другом, цепочкой. Самое слабое место в ней не осень, а между рождественскими розами и подснежниками. Потом сразу же начинают буйно цвести примулы. Осенью у Влин другое, для нее это праздник листьев. Она составляет огромные букеты или прямо бросает

в плетеные корзины большие, как сложенные вместе ладони, золотые листья платана, веточки бересклета с их красными шапочками, похожими на шапочки кюре. Из осенних цветов Влин особенно любит те, которые как бы обманывают себя, не верят, что солнце уже не греет, и расцветают, хоть для них уже не время. В этом году неделю назад вдруг появились цветы на стебельке примулы, две фиалки притаились среди листьев, скромные, как никогда. Вот откуда эти крошечные букетики. И сегодняшний, сиренево-белый.

Такой маленький и потому особенно милый, а яркий как большой. Жером взял его вместе с вазочкой.

Цветок составляет компанию ему, а горшки и вазы всегда нужны, чтобы составлять в доме компанию цветам. Не отсюда ли у Эвелины интерес к керамике? Как только они поженились, а денег тогда не было, она начала заполнять ею квартиру, стоит керамика недорого. Скоро места стало не хватать. Счастье еще, что керамика бывает совсем крошечная — миниатюрные сосудики висят там и сям, расставлены на комоде, в ее коллекции, по меньшей мере, сто вазочек, всех форм, различной окраски. В самой высокой сколько же сантиметров? Четыре, наверное?..

Дома на его письменном столе всегда цветы. И здесь, и за городом. Столы, за которыми он никогда не работает. Все, что связано с его работой, не имеет доступа сюда, в эти домашние кабинеты. Эвелина в его отсутствие чувствует себя здесь хозяйкой и занимается в общем тем же, чем и он: читает в глубоком кожаном зеленом кресле с высокой спинкой, пишет письма — это главное. Еще одна причуда? Или это называется по-другому? Возможно, и своей любовью они обязаны пристрастию писать и писать письма. Именно с переписки у них все и началось. Она прежде никогда не выезжала из своего Сен-Жан-де-Мона в Вандее, а он жил в Мюлузе; познакомились они на море. у мыса в Сербере, у нее шла последняя неделя каникул, у него — первая. Семьи их, естественно, не были знакомы, надо было все скрывать, жили они в разных гостиницах, да и поговорить им удалось лишь дважды, но этого оказалось достаточно, чтобы на второй раз обменяться адресами. Потом они три года переписывались, прежде чем увиделись снова. Родители ни за что бы не отпустили ее куда-либо одну и тем более не разрешили бы поехать к незнакомому им человеку. Он тоже был во власти семьи, и даже речи не могло быть ни о чем серьезном, пока «его положение» не упрочится,— лишь тогда он будет «волен» в своих поступках. В тот день, когда он этого добился, они кинулись друг к другу, и на этом их переписка, так сказать, прекратилась. С тех пор они писали только другим, вместе или поодиночке. Он продолжал поддерживать контакты со своими товарищами по лицею, людьми разных профессий, разбросанными теперь по всей Франции. Лишь немногих он видел по окончании лицея раз или два. В Мюлуз он ездит не слишком охотно. Но всем или почти всем он пишет по нескольку раз в год, ему отвечают. Пишет он своим родным, отцу Эвелины, с которым хорошо ладит. У того в порту Круа-де-Ви есть катер, и во время отпуска, который они много лет там проводили, Жером — хоть и не такой уж он рыбак, однако нос от моря не воротит — не прочь повозиться с мотором, покрутить штурвал. Якорь, швартовы — нет, этим сам старик занимается. Жерому иногда бывает неловко, когда старик тянет канат, выбирает якорь, но в конце концов отпуск есть отпуск, он приезжает сюда всего-навсего на месяц, а старик привык, круглый год с этим возится. Снимается с якоря, выходит в море. Жером пишет также друзьям, которые у него появились случайно, после лицея. Они с Эвелиной живут замкнуто, но от одиночества не страдают. В гостях у них за год и десяти человек не бывает. Но написать сто писем в год

их не пугает. Не говоря уже об открытках. Стоит им поехать в отпуск или просто куда-нибудь, по прибытии на место они тотчас закупают их пачками и рассылают во всех направлениях. Если бы они встречались с людьми вдвое больше, то писали бы в четыре, в восемь раз меньше — это уж точно, потому-то переписка в наше время, далекое от эпохи дилижансов и карет, золоченых и простых, постепенно угасает. Правда, есть телефон, Эвелина его все-таки признала, но Жером никогда не изменит письмам. Он терпеть не может вести разговоры по телефону, серьезные разговоры, разумеется. Другое дело — на работе, где он говорит по телефону часами, там от этого никуда не денешься, уж можете поверить.

Вчера вечером, когда он писал Р. Б., инженеру, работающему в Черной Африке, которого, можете себе представить, он не видел уже десять лет, и, очень может статься, пройдет еще столько же, прежде чем увидит снова, но писали они друг другу раз в год непременно, Эвелина подошла совсем тихо, поцеловала его в шею и поставила на стекло письменного стола эту пародию на букетик, прелестную, но пародию. Сиренево-белый, три осенние примулы, и вазочку специально отыскала, сантиметра три высотой, но вполне устойчивая, в виде амфоры с ручками, серо-зеленая, а горлышко желтое, неровно переходящее в зеленое, как на грубо сделанных кувшинах с глазурными подтеками. Ой, осторожно, цветы-то ведь в воде! Чуть слышный скрежет вазочки о стекло на письменном столе.

— Не переверни...

Влин засмеялась и тотчас изчезла. Будто вставила между словами его письма маленькое слово любви, маленькое-маленькое, чтобы не отвлекать его, но вполне уверенная, что оно возьмет верх над всеми другими словами, станет самым существенным. Черная Африка, Р. Б., десять лет... Три цветочка.

Утром она стала искать цветок, который составил бы ему компанию. А он взял с письменного стола вазочку. Неудобно? Вода? Можно ее осторожно вылить в раковину. А если немного и неудобно, так это даже лучше, я буду только больше думать о тебе. Ах вот как, скажи уж сразу, что я... Да нет, я совсем не в том смысле, моя кошечка... Ну, конечно... Смех. Поцелуи. До вечера.

В синем «ситроене», прислоненная к переднему стеклу, над приборной доской стоит маленькая вазочка. Дорога хорошая, ровная, как и дорожка вокруг дома, плавные повороты, специально продуманные, чтобы не тормозить, когда идешь со скоростью сто—сто двадцать километров в час, все это новое, сделанное по промерам, фундаментально, отлажено. И Жером уже наизусть знает эту дорогу. Она ведет его — он отдается ей не напрягаясь. Доверяет он также и трехрядному шоссе, на которое съезжает с автострады. Пересекая полосы тумана — а они встречаются здесь часто,— он препоручает машину белой сплошной линии справа от себя. Сейчас еще ничего — день уже занимается, а вот когда вечером он возвращается домой и тот же туман, а иногда и усталость, просто невероятно, что он вверяет свою жизнь этой простой линии, которая в свете его фар становится ослепительно белой. Он видит только ее. Да разве видит? Фары высвечивают лишь отрезок в несколько метров длиной, достаточный, чтобы, не тормозя, на скорости сто—сто двадцать километров заметить, где начинается поворот, вправо или влево. Такое впечатление, будто машина идет по рельсам. И ни малейшего ощущения, что ты играешь, играешь жизнью. Если ему нужно кого-то обойти, он отрывается от этой линии справа и держится той, что слева,— во время обгона эта линия вьется у него под колесами, как шелковая лента, вот он пересекает ее раз, потом еще раз, возвращается в свой ряд. Что до встречных машин,

то они уже просто не существуют. Дорога достаточно широкая, и их фары совсем не слепят. К тому же они держатся своих линий. Нужно быть сумасшедшим, чтобы оторваться от них... А чтобы кто-то в темноте забавы ради изменил направление линий, повернул одну из них к дереву на обочине,— об этом нечего и думать... Вечерами, когда Жерома от усталости клонит в сон, у него иногда вдруг появляется ощущение, что с ним происходит нечто неестественное. Закрывал он сейчас глаза или нет? Он вздрагивает, сплошная линия справа режет ему глаза своей белизной, странно: только секунду назад он был ребенком, стоял перед черной классной доской на высоком шатком деревянном помосте, в шерстяных гольфах — они, то один, то другой, все время съезжали,— стоял с мелком в руке и рисовал на доске линию, кривую, как эта. Что это было — начало какой-то буквы или круга,— он не стремился понять, длилось это лишь мгновение. Мгновение, когда все — дорога и нанесенные на ней линии, автомобиль, он внутри — уменьшилось до размеров рисунка на доске, превратилось в спираль, бессмысленно вращающуюся вокруг своей оси. Он нажал на тормоз — этого достаточно, чтобы прийти в себя; теперь он опять увеличивает скорость и все встает на свои места легко и просто — можно подумать, что не машина катится на колесах, а дорога движется, разворачивается как ковер, разматывается точно бесконечная лента.

И утром, и вечером в своем уединении — зимой машина хорошо натоплена — Жером думает, напряженно думает. Машиной управлять не надо — она сама идет, будто попала в магнитное поле. Тысячи таких, как он, в это же самое время, перед ним, позади него, на других дорогах, похожих на эту, мчатся точно так же полчаса или сорок пять минут от своих жилищ к воротам Парижа. Он думает — конечно, сообразно своим возможностям,— как думают философы нашего переходного века. Никаких скачков — постепенная адаптация, реадаптация, и так каждый день. Уезжать из дома, готовиться к тому, чтобы обрести его вновь, обретать. Разница между тем, что он называет «жизнью», и тем, что он называет «работой», большая. Чем больше, тем лучше. Он отодвигает одно от другого как можно дальше. Нет, он не собирается жаловаться на то или на это... Естественно, работа, какая бы она ни была, остается работой... Его работа, по крайней мере, дает достаток — квартира, эта машина, маленькая машина Влин, домик за городом и Влин свободна, хочет — сидит дома, хочет — ездит по магазинам, копается в антикварных лавках, читает, слушает музыку, ходит на выставки. Благодаря его работе они здесь, в этом квартале, где дома все новые, а квартиры стоят от сорока до пятидесяти тысяч франков,— самые состоятельные, они живут намного лучше других, так на них смотрят люди, и так они сами на себя смотрят. Он каждый год меняет свой «ситроен», и каждый раз покупает модель другого цвета. От него хорошо пахнет: дорогим бельем, новой кожей, медовым трубочным табаком — он сам чувствует, что от него хорошо пахнет. От Влин тоже; сигареты у нее ароматизированные, ими и в лифте пахнет, когда она спешит и у нее нет времени докурить дома, правда, она не любит, чтоб ее видели курящей на улице, но ничего не поделаешь — приходится спускаться с сигаретой, лифт привозит ее в гараж — он тоже отапливается, ведь это часть дома. На работе же — там Жером занимает скорее скромное положение. Скромное положение, а дает такие блага... Дело просто в уровне. Положение, конечно, скромное или почти скромное, но на таком уровне, что там ни говори... Фирма солидная.

Солидная фирма... Там тоже стоянка для машин — в подвале. Въезжаешь прямо под дом. Сторож наклоняется и узнает. Мог бы и не наклоняться: он ведь уже узнал автомобиль. Впрочем, сюда кто

угодно может проехать, было бы немного нахальства. Контроля внутри нет никогда. Но этого никто не знает. Солидная фирма — Жером каждый раз произносит про себя эти слова, когда подъезжает к зданию, выходит в подвале из машины. Фасад высоченный, широкий, весь из стекла, десятки окон, залитых восходящим солнцем.

Сегодня он чуть было не забыл свой букетик. Уже захлопнул дверцу. Открыл ее снова. Как же быть? Что с ней делать, с этой маленькой вазочкой?.. Обычно цветы, в зависимости от величины, он кладет либо в папку, либо осторожно опускает в карман пальто, жилета. Эти легко поместились бы между страницами записной книжки. Но вазочка умиляет его. В этом вся Влин. Не в том, что она дала ему вазочку, а в том, как дала... Но как же быть? Нести ее в руке? А в случае чего зажать в кулак? Да нет, никогда ведь не знаешь, что будет через минуту, протянут тебе руку... Он ставит вазочку в портфель, тщательно закрывает молнию, поднимается по наклонному въезду в гараж — ноги смешно так подкашиваются, видимо, из-за сидения в машине, бросает последний взгляд на залитый солнцем фасад, входит в здание — лифт ему не нужен, его кабинет на втором этаже. На первом ничего нет, только холл, приемная, а кабинеты выше.

Его кабинет ничуть не хуже, чем у других,— дело ведь не в этаже. Ему грешно жаловаться. Сплошное стекло по фасаду изнутри смотрится еще лучше. Эйфелева башня как на ладони, будто она его собственность. Мебель, деревянные панели, ковры не хуже, чем на рекламных страницах дорогих журналов. Как-то в одном из них были напечатаны снимки всего этого великолепия. Из этого дома — особенно с верхних этажей, но отсюда тоже — разговаривают по телефону со всем миром.

А вазочка так было и осталась в портфеле. Жером уже сидел за письменным столом, большим, восхитительно пустым, если не считать электрического календаря. День, месяц, число, час, можно быть в отлучке полмесяца, месяц, уйти в отпуск — возвращаешься, а время, неумолимое, тут как тут. Он открывал ключом левый ящик стола, чтобы взять бумаги, которые положил туда накануне вечером, и тут вспомнил... Взял портфель с пола у ножки кресла справа. В портфеле — ничего, только вазочка. Да «Экспресс» двухнедельной давности.

Гордо держится букетик на письменном столе. Сиренево-белый, такой крошечный, а на равных с Эйфелевой башней и неумолимым временем.

В течение часа Жером работает не отвлекаясь. Правда, этого скромного букетика вполне достаточно, чтобы он ощущал присутствие Влин. Ее образ. Конечно, это не та Влин, которую он видит в квартире или отправляющейся за покупками... Нет, перед ним тот образ, который он обычно увозит с собой, прощальный: Влин в зеркальце заднего вида смотрит на него через заднее стекло машины из окна седьмого этажа. Тот образ, которого сегодня из-за дурной осенней погоды он был лишен.

К концу первого часа он поднимает глаза и позволяет им поблуждать за окном — по Эйфелевой башне, Марсову полю, Сене. Собственно, он ни на что конкретно не смотрит. Если бы он спросил себя, что он видит, то пришлось бы признаться, что перед глазами у него одна и та же картина. Большой горизонтальный прямоугольник окна его кабинета, вполне реальный, потом другой, вертикальный, окно седьмого этажа, потом трапеция, размером поменьше, изогнутая, с закругленными углами — заднее стекло «ситроена», потом трапеция еще меньше, тоже с закругленными углами — зеркальце заднего вида, и там Влин, там и не там... Есть такие очки — панорамические. Еще одно модное слово вроде «функциональный», «экспериментальный»...

Трехкратный стук в дверь заставил его вздрогнуть. Без стука здесь никто не войдет. У него хватило времени вспомнить про букетик, открыть левый нижний ящик стола и спрятать его туда. Вошедший наверняка заметил, но что? А потом, это оказался просто коллега, одной-двумя ступеньками выше его по служебной лестнице, не больше.

Когда же тот ушел, Жером, оставшись снова один, хоть и не вполне осознанно, однако уже не ставит зеленую вазочку с цветами на стол. Больше того: он про нее забывает. Он спокойно работает до обеда. Дел полно. Его одолевает смутная тоска — ничего, не в первый и не в последний раз, бывает. Но если бы он задался целью понять, что гнетет его теперь, выяснилось бы, что это состояние объясняется ощущением, будто сам он запрятан в нижний ящик стола, стеклянный, залитый солнцем, но все же ящик... И там, в ящике, перед его усталыми глазами пляшут настоящие, как в жизни, только крошечные обрывки ослепительно белых линий, яркие краски, горы писем, отосланных и полученных, разберешь которые разве что под микроскопом, и оттуда же, из ящика, плывут запахи, едва уловимые запахи.

Дней через восемь, не меньше, он обнаружил зеленую вазочку и в ней три стебелька примулы,— цветы высохли и упали на дно ящика. Не думая уже о событиях того дня, он взял ее и, машинально похлопывая по горлышку большим пальцем, будто трубку табаком набивая, положил в карман, чтобы вернуть Влин.

Перевод АЛЕКСАНДРА КАРЛОВА

Венерант всегда говорила...

Венерант всегда говорила, что, родись она на двадцать лет позже, она прожила бы на сорок лет больше.

Стало быть, она могла бы дожить до ста лет, раз сейчас ей восемьдесят один.

Правда, она прикована к постели. Если они думают, что она не видит того, что грядет... Если они думают, что она не слышала, как доктор на кухне шепотом объявил, что она обречена, неизлечима, что в этом возрасте уже ничего нельзя поделать, когда почти отказывают...

Она заставляет себя лежать в постели, мысли немного путаются, и чаще она не в сегодняшнем дне, а в прошлом, во временах своей молодости, ее обуревают страхи, чудятся опасности, подстерегавшие везде — ночью в кустах, на улочках, у кладбища или у дома священника; она видит кабачок своей тетки, где в субботу вечером и в воскресенье она обслуживала посетителей и мужчины — когда напивались — приставали к ней: «Да нет же, не мешай мне пройти... а то сейчас расскажу отцу, вот увидишь... И вы тоже, мосье, оставьте меня в покое, разве господа так себя ведут?» Или эти бесконечные картонки и веревки — она работала в экспедиции с шестнадцати до двадцати лет,— только то и делала, что связывала их и развязывала, как вот теперь простыни — разворачивают их, мнут и снимают... А в вечер свадьбы она боялась, и права была, что боялась, а ее мать: «Ман! Ман!» ... Ты считаешь, мы должны бежать, ехать в такую даль, в Бельгию, к волку в пасть — одна только моя сестра Алексия довольна этим путешествием, но она не злая, так что потом, когда речь

© Editions Julliard, 1973

заходит об этом, об эвакуации, она всегда говорит: нашему брату это известно, мы знавали больше «вакуации», и самое страшное, когда явились уланы,— она даже и объяснить не могла, что она там делала, в Лувене,— кинулась, как дурочка, прямо под копыта лошадей и закричала: «Да здравствует Франция!..» Никто никогда не узнает, сколько страху я за свою жизнь натерпелась, потому как с малолетства была я веселая, никого не боялась, такая была смелая — мочи нет... мóчи — мочи́, про которую все они тут говорят... Она, конечно, не знает, что у нее там в моче, но, если они думают, что она не видела в большом зеркале, какую рожу скорчил доктор... Моча — оно, конечно... И она думает: «Испарения, запах мочи, который бьет в нос,— их можно понять...» А когда голова ее проясняется, она слышит их там, на кухне, через тонкую стеклянную дверь, затянутую изношенными, дырявыми розовыми занавесками, у двери старая защелка, которая тоже начинает отказывать, слышен мужской голос — ее сын или доктор? И еще дочь, внучка, соседки?.. Она скосила глаза, чтобы не делать усилий и не поворачивать головы, в сторону маленького шкафчика с лекарствами, который всегда стоял у нее в комнате,— вернее, не шкафчик, а нечто вроде туалетного столика со стеклянной дверцей, который мало-помалу в течение ее жизни наполнялся лекарствами. Она смотрит краешком глаза, а они потом, увидев ее простыни, наверно, спросят себя, почему они сбиты, уж не наступает ли конец, не начался ли коматоз, но, несмотря на то что она совсем исхудала и сил у нее нет, в глазах еще осталась смешинка пятнадцатилетней девчонки. Она овдовела молодой — в пятьдесят лет. И никогда не знала другого мужчины, кроме своего мужа. Замужество ее было коротким — даже тридцати лет не натянуло,— и вот она снова осталась одна, сама должна была во всем разбираться, сама принимать решения, сама находить выход — и не так уж плохо она со всем справлялась, даже достаточно хорошо, так что внутренне могла посмеяться над многим и над многими и высмеять всякого, кто не был с ней согласен, а уж веселая была до самой старости. Вот и сейчас она думает: доктор и шкафчик с лекарствами... словно играет в какую-то игру, где надо делать выбор. Она улыбается, никто ее не видит, но если бы кто-нибудь был рядом, то увидел бы, что она заснула с улыбкой на губах, хотя вот уже пять лет, как никто не видел ее улыбающейся...

Шкафчик. Каких только лекарств она не перепробовала — и капли, и мази, и снадобья по рецептам, разные настойки из целебных трав, особенно после смерти Жерома... Перепробовала... Ей было уже шестьдесят, когда кончилась последняя война. А затем появилось социальное страхование и медицинская помощь малоимущим, и болеть стало чуть ли не удовольствием — ведь ничего не стоит вызвать врача... Тогда как прежде... Вот что хотела сказать Венерант, она всегда это говорила... Шестьдесят лет — это уже поздно. Тут уж никакую болезнь не вылечишь. Раньше можно было выкрутиться. Приходилось ведь обходиться без медицины. Сами себя лечили. Да и сейчас, раз все меня бросили, раз доктор первый меня бросил, я сама еще смогу все уладить — не впервой, и я еще посмеюсь потом, видя, какую физиономию он состроит. Как же! — ученый господин, хороший человек, ничего не скажешь, но еще совсем молодой человек, он себе и представить не может всех трюков, которые мы, старики, используем. Вот я и говорю всегда детям: ну, что вы знаете? Очень будет удивительно, если я не найду в шкафчике для себя что-нибудь подходящее. В лекарствах у меня никогда не было недостатка. Если первое не поможет, приму что-нибудь другое... Там есть все... так в чем же дело? Есть даже собачьи пилюли — вот что... Как

с очками — у меня их добрых пятнадцать пар в коробках лежит. Очки, которые остались от Жерома, от моего отца и матери, от сестер, все в железной оправе, одни вложены в другие... Когда очки, которыми я пользовалась, почему-нибудь мне больше не подходят, я мигом выхожу из положения — пробую одни, другие: эти подходят мне для чтения, те — для дали, но ничего не вижу в них вблизи, эти — только для одного глаза, а для другого — нет, и уж почти не бывает, чтоб я не наткнулась на те, которые мне нужны. Все старики так поступают. И всегда так поступали. Даже когда покупают новые на базаре, там есть такой ящик, где не одна сотня этих очков, вот и выбираешь; хочешь, можно отобрать десять — двадцать пар, прежде чем решить, какие взять. Там есть всякие и на все вкусы, и в конце концов всегда все находят себе подходящие. Ну, тут требуется, конечно, и воля, как во всем... Оно, конечно, в первые дни, пока к ним еще не привыкнешь, что-нибудь да не так, но если станешь все валить на очки — ты пропала, тогда ни одной пары не сумеешь себе подобрать... А если наберешься терпения, то, может, и не захочешь больше других...

И вот в конце концов ночью, когда на кухне наступила тишина и близкие больной, должно быть, заснули на раскладных кроватях или на чем-то там еще,— словом, Венерант ясно слышала, как их раскладывали в сумерках,— она решает выполнить данное себе слово и встает... А они еще говорили, что у нее нет сил, что она хотела бы встать, но не сможет: ноги не будут ее держать... И вот, босая, она ступает на плиты и мелкими шажками мучительно продвигается к шкафчику с лекарствами. Встать было не легко, она должна признаться — больше часа у нее на это ушло: спина никак не желала отрываться от двух или трех подушек, которые подложили под нее, чтобы она не лежала совсем уж плашмя. А потом ноги не хотели слушаться — никак не свесить было их с постели, а ступнями не удавалось коснуться пола... Но вот все-таки получилось, она опять доказала, что сильнее их всех, и никто ничего даже не услышал... Электрический ночник — Жером сам пристроил его на деревянной перекладине — давал вполне достаточно света, чтобы найти то, что она искала; сначала стакан, в котором время от времени ей приносят теплое питье, разбавленное водой: пей, пей, надо пить! Тебе хорошо говорить — надо пить, а если мои бедные губы не хотят больше, дети мои; к тому же надо оставить немного на потом, и вообще лучше бы отдать это детям... Но света все же недостаточно — она ничего не может разглядеть, приходится искать лекарство на ощупь, пальцы ее скользят по пыльным крышкам и пробкам, тюбикам и картонным коробкам... Нет, на этот раз ей не найти то, что нужно, чтобы выздороветь... Она чуть не плачет: все ее покинули, она готова даже позвать или зажечь полный свет, но тогда ее увидят и помешают, а она вот уже дня два или три стала понимать, что они ей мешают во всем, особенно мешают встать. Если бы дали ей волю... Точно она такая уж своенравная... А в доме-то не прибирают уже три дня... Я им все время говорю, до хрипоты говорю: оставьте меня, дети мои... Так что же? Нет, не даст она себе умереть вот так, чтоб по-ихнему вышло... Так что же?.. А то, что приходит ей в голову мысль, такая мысль, что она чуть не прыскает со смеху: все равно пропадать — они же так говорят, но я попытаюсь выкарабкаться! А чтобы не ошибиться и принять то, что надо, я высыплю все в один стакан — каждого понемножку... И вот вслепую она берет все, что ни попадает под руку: и капли, и порошки, и стебельки вишен, и остатки солодового корня, который она узнала на ощупь, и снова рассмеялась, даже мазь — она провела по стенкам баночки пальцем — при-

годится, чтобы скрепить месиво, а потом еще облатки, плоские и круглые и, наверно, всех цветов, какие сейчас делают,— ярко-желтые, розовые, голубые... Внутреннее, наружное — какая разница? Ведь почки — для них и то и другое годится, верно? Она опустошает шкафчик и сваливает все на маленьком столике — коробки и бутылочки, даже не потрудившись их закрыть: ну и что, если они увидят, что сделано, то сделано, и даже наоборот — ее триумф будет лишь более полным завтра утром...

Она пьет.

И сразу же чувствует, что дело пойдет на лад. Ей уже легче взбираться на кровать. Она ложится и засыпает, успокоенная, довольная собой.

Завтра утром — разве я тебе не говорила? Разве я тебе всегда не говорила, что права? Она встает раньше всех, распахивает дверь на кухню и говорит:

«А ведь, пожалуй, сегодня будет отменная погода!»

■

Она испустила дух улыбаясь — сразу после того, как прошел шестичасовой трамвай.

Умерла во сне.

Не выйдет

Когда все уже позади, очевидцы чаще всего говорят, что они предчувствовали: быть несчастью в тот вечер. Звери волновались. Приближалась гроза. В воздухе творилось что-то несусветное: то ты попадал в полосу тяжелого, жаркого удушья, то вдруг налетал ветер, и хлестал, точно арапником, по коже, и свистел, словно кто-то взмахивал узким ремнем. Атмосфера была насыщена дождем, но он не желал разражаться и портить людям праздничный вечер, да, собственно, так и не разразился, пока люди не вернулись к себе. Ночь спустилась и скрыла от глаз — но не стерла в памяти — необъятное небо, трагически разделенное надвое: на юге — черное, на севере — серое, словно гряпка, пронизанная светом невидимого солнца. Огромные парусиновые полотнища дышали, словно живые,— надувались, хлопали, опадая, и тем вызывали раздражение и поглощали внимание двух тысяч человек, собравшихся под ними на настоящий большой праздник,— поглядывая наверх, люди задерживали дыхание и повышали голос, чтобы слышать друг друга. Но еще прежде чем грянул оркестр, двадцать громкоговорителей, голосивших невпопад на Марсовом поле, и треск мотороллеров затихли.

Бррр... ну и небо!

Больше всего опасений вызывали тигры. Даже сама Прославленная Аида — Прославленная Аида, фигурировавшая на афишах,— и та боялась. И это могло ее погубить... Если появляется сомнение, оно уже не исчезает... Начинаешь сомневаться в поведении диких зверей — и уже сомневаешься в своей власти над ними... И вот Аида решила предупредить события. Она повела себя агрессивно: никто, знаете ли, еще ни разу не видел, чтобы она так обращалась с наибо-

© Editions Julliard, 1973

лее спокойными из своих питомцев. Публика чистосердечно верила, что так и должно быть, что это — своего рода трюк. Но те, кто знал, начали чуточку волноваться: директор, как будто так и надо, подошел к клетке, вместе с ним — ассистенты и цирковые служители — все, растягивая губы в улыбке... А публика, которая за тем сюда и пришла, искренне развлекалась, не задумываясь, трюк то или нет,— еще бы, бельгийский цирк не каждый день бывает здесь, в Т..., в Шампани.

Все произошло очень быстро... Само собой, скалилась больше всех любимица Аиды, которой та дала даже свое имя. Чего же после этого ждать, тем более что на афишах так и значилось: «Прославленная Аида с ее грозной тигрицей Аидой и шестью бенгальскими тиграми». И, однако же, не она, не грозная Аида, явилась источником несчастья, а Саади, самый мирный из зверей — мирный, как лев,— но в то же время самый внушительный по размерам и самый сильный тигр. Нельзя понять, почему знаменитая Аида вдруг подошла к нему, именно к нему, когда он восседал на своем высоком табурете, принялась изо всех сил тыкать в него концом палки, так что публика, среди которой кое-кто уже начал сопереживать, во всяком случае добрые сердца на какое-то мгновенье приняли сторону не дрессировщицы, над которой нависла опасность, а зверя, которого мучили подобным образом. Но только на одно мгновенье. Ибо грозная Аида вдруг прыгнула на свою «тезку», как потом писали газеты, дрессировщица упала, а когда потом выбралась из-под тигрицы, лицо и левое плечо у нее были окровавлены. Ассистенты тотчас просунули вилы между прутьями клетки и заставили тигрицу отступить; тогда директор приоткрыл дверь клетки, вошел внутрь и, схватив растерявшуюся или одуревшую дрессировщицу,— может, она собиралась продолжать сражение с тигрицей? — потащил ее к выходу; и все, безусловно, улеглось бы, на этом бы и закончилось, если бы Саади не прыгнул вдруг с высоты прямо на Прославленную Аиду; сбив с ног директора, он толкнул дверь, и служители кинулись к нему, уже почти загнали его в глубь клетки, когда толпа снова взревела — в третий раз, еще страшнее, чем два предыдущих раза... Как в тех фильмах, где зрители видят предателя или чудовище, в то время как его жертвы еще ничего не подозревают...

Грозная Аида вышла из клетки.

Она стояла у края арены, задрав кверху хвост, растопырив лапы.

Мое перо не в состоянии описать того, что произошло. Переменим тему: сегодня утром я прочел в газете рассказ о несчастном случае, который произошел в глубоком колодце и стоил жизни одному водолазу,— на глубине семнадцати метров под водой у него лопнул баллон со сжатым воздухом. В водолазном скафандре типа «тяжеловес», пишет далее газета, «малейшее падение давления» приводит к тому, что «все тело человека более или менее сильно втягивается в твердую часть его панциря, какою является шлем». Именно это и произошло вчера у Авиньона: «Несчастного под давлением воды стало втягивать в шлем, в результате чего ему сплющило голову и раздробило позвонки».

Нечто подобное произошло и в цирке: кровь, распростертая дрессировщица, эти две тысячи кричащих мужчин, женщин и детей, которых слепая сила толкала к узкому проходу на самом верху, наиболее удаленному от тигрицы.

Никто уже больше не видел ни дикой пляски, сотрясавшей клетку, ни перекрестных прыжков зверей, которые бились в ней (так как дверь, по счастью, снова захлопнулась), ни директора, ни асси-

стентов с револьверами в руках, ни раненой дрессировщицы, тщетно пытавшейся приблизиться к сбежавшей тигрице и повернуть ее назад,— хищница в три прыжка перелетела через ложи и уже была далеко от них. Еще прыжок — и она очутится у края сгрудившейся толпы, а там, между скамьями, немало застряло детишек, женщин и даже мужчин.

Требовалось чудо. И оно свершилось.

Кто-то, стремясь защититься от Аиды, поднял в воздух стул, тигрица заколебалась и хоть приготовилась к прыжку, но не прыгнула.

Человек со стулом шагнул вперед — она отступила.

Директор крикнул Аиде-женщине, которая шла, обливаясь кровью:

— Она его сейчас сожрет!

И, взбежав вверх по ступенькам, встал между мужчиной со стулом и тигрицей, лицом к последней — она еще отступила, спустившись на две-три ступеньки между ложами. За его спиной человек со стулом решил, что с него хватит, и повернулся к толпе, чтобы вместе с ней направиться к выходу, но Аида, едва не сбив с ног директора, тотчас стрелой взлетела по лестнице следом за ним.

Снова в воздух взвился стул. И снова Аида остановилась, отступила на три-четыре ступеньки и замерла...

— Осторожно! — крикнул директор.

Незнакомец, казалось, понял. Держа стул в левой руке, он поднял правую, широко растопырив пальцы,— возможно, он видел, как это делали дрессировщики в других цирках или в фильмах «Тарзан», «Джим из джунглей», или, наконец, возможно, сам мечтал о таком в детстве,— и так пристально посмотрел на тигрицу, что она почти легла, словно пригвожденная к месту, а потом попятилась и стала спускаться, склонив голову набок, как бы говоря «нет».

Директор, стоя к незнакомцу лицом, тоже увидел этот взгляд. И тоже попятился.

Вот уже директор и тигрица снова на арене. Мужчина, прежде чем сойти с последней ступеньки и встать на одном уровне с ними, на секунду остановился. Быть может, испугался, что потеряет это маленькое преимущество — высоту?

Да, впрочем, какой там мужчина! Мальчишка — это сразу бы все заметили, если бы у кого-нибудь хватило присутствия духа посмотреть на него. Лет восемнадцати-девятнадцати, не больше, не слишком умный и не хитрый, в новеньком, но дешевом костюме — слишком узкие и длинные брюки создавали впечатление, что у него кривые ноги, особенно когда он спускался по ступенькам.

Шагнув в свою очередь на арену, глядя в глаза Аиде и не опуская нацеленной на нее руки, он крикнул, обращаясь, очевидно, к директору:

— Что дальше-то делать?

Директор мог бы заставить зверя лечь, но не решался, опасаясь худшего.

И не один он это понимал. Там, наверху, ситуация изменилась. Те, кто был ближе к выходу, сразу же, конечно, этим воспользовались. Но другие, более многочисленные, у которых не было шансов немедленно выскользнуть, поняли, что молодой человек — единственная их надежда на спасение. Воцарилась тишина. Люди вдруг уразумели, что излишний шум, крики, паника могут все погубить. Слышно было лишь, как воет ветер. В этой тишине только парнишка в обуженных брюках продолжал идти — шаг за шагом, переставляя ноги, словно канатоходец или Христос, шествующий по водам. Он уже не держал перед собой стула. Но и не расставался с ним. Теперь в од-

ной руке у него был стул, а другую, с растопыренными пальцами, он вытянул вперед, как бы преграждая путь Аиде. И тигрица то и дело поглядывала на эту руку — именно эта рука (теперь-то оно было ясно) и заставляла ее лежать как провинившуюся собачонку, хоть она и бросала взгляды направо, налево, ища возможности улизнуть.

Клетка была пуста — тигров наконец удалили.

— Что же дальше-то делать? — повторил спаситель громче и как бы теряя терпение. Аида осела еще ниже. А при звуке этого голоса там, наверху, стало еще тише, хотя парень и произнес эти слова с сильным местным акцентом.

Директор кинулся к двери клетки, распахнул ее и тоже что-то крикнул. Ассистенты с вилами стояли теперь полукругом позади молодого человека. Аиде больше не пройти.

Однако драматические события чуть не возобновились. Другая Аида в своей красной с золотом тунике, остановив кровотечение, теперь уже была готова вмешаться, если понадобится. В двух метрах от клетки тигрица увидела ее, повернулась и присела, готовясь к прыжку...

Но голос парня пригвоздил ее к месту:

— Аида!

Он ведь, как и все, читал афиши.

Этого было достаточно. Дверь клетки щелкнула, западня захлопнулась.

Можно себе представить, какой у всех вырвался вздох облегчения. Теперь можешь дуть, ветер, нести грозу — ты никому не мешаешь.

■

Через полчаса спокойствие было восстановлено и настоящая слава ждала Сильвена Робийяра — так его звали. Разумеется, его сразу же окружили, стали благодарить, чуть не качали, но «великие мира сего» — директор и корреспондент «Антанты», который также представлял, в особых случаях, «Франс-суар» и «Паризьен либере», — ждали, «пока пришлют рыбу покрупнее», как говорил он, уроженец приморского городка Алэ. Это был как раз особый случай.

Критический момент прошел. Прославленная Аида уложена в своем фургоне, рука у нее на перевязи, голова забинтована, словно у «человека-невидимки», и директор поспешил к незнакомцу, одновременно с ним прибыл и корреспондент, дважды щелкнув фотоаппаратом: молодое чудо и директор, который может сыграть для него роль счастливой звезды...

— Ну, так чем же вы занимаетесь в жизни?

— Сельскохозяйственный рабочий.

— А... а... а! Это многое объясняет!

— Что же это объясняет?

— Ну как! Вы привыкли к животным! Не к диким зверям, конечно, но все же...

Сильвен давай хохотать:

— Ничего себе животные... К тракторам я привык, вот к чему. А животные — они у нас давно перевелись.

— Да, но голос крови, зов предков, атавистический инстинкт...

Сильвен пожал плечами, поглядел вокруг, как бы ища поддержки:

— Да он что, смеется надо мной, что ли?

— Нет! Нет! — говорит корреспондент.— Наоборот! А вы... вы уже испытывали... вашу... эгу вашу силу?

Сильвен неуклюже развел руками, как бы уклоняясь от ответа, рассмеялся.

— Где же это я мог ее испытывать? А вы сами-то хоть раз свою силу испытывали? — И обращаясь к окружающим: — А? Надо бы ему тоже попробовать!

Те, кто наблюдал за ним сначала, видели, какой он был бледный. Теперь же он то и дело краснел, особенно когда к нему обращался с вопросами директор или корреспондент. А все смотрели на него — в новом, но дешевеньком костюмчике, сиреневом с красной ниткой, ботинках, если угодно, даже подобранных к костюму, начищенных красным гуталином, но стареньких, потрескавшихся, с задранными носами, заново подбитых, да только слишком толстыми, негнущимися подметками. Левый кончик воротничка рубашки высунулся из-под пиджака и торчит, как забинтованная рука Аиды из-под простыни.

Прославленная Аида пожелала видеть Сильвена — и немедленно. Его привели в фургон, с ним вместе пришли директор и журналист: в фургоне ведь удобнее его расспрашивать, чем среди людей.

Аида внимательно смотрела на него, не замечая нескладной одежды. Директор тоже. В цирке ведь внешний вид можно быстро изменить. И возможно, Аида видела сейчас его в костюме гладиатора или кого-то в этом роде — Спартака, Улисса, в плавках из «павлиньих перьев», в кожаных напульсниках, в бесполезных, но... пурпурных или позолоченных крагах, среди тигров и тигриц. Пожалуй, он неплохо будет выглядеть — полуобнаженный, кряжистый, хоть и сутуловатый!

— А вам не хотелось бы стать дрессировщиком? — спросила она.— У вас есть...

— Хм! — хмыкнул Сильвен.— Чего?..

Он пожал плечами, как бы говоря: ясно, ясно, шутите, даже, может, издеваетесь, но уж во всяком случае преувеличиваете. И обернулся, как бы ища, с кем поделиться мыслями, но в фургоне их было только четверо.

— Вы вели себя очень храбро,— сказала Аида.

— Не знаю. Просто хотел защититься стулом. Я и сам удивился, что все оказалось так легко. Особенно когда я растопырил пальцы...

Аида посмотрела на директора.

— Легко — это только на словах,— возразила она.— Хотя, может, для вас оно и так...

Бельгийцы — они тоже говорят с акцентом, хоть и не слышат его.

На другой день во всех газетах была помещена его фотография и несколько строк — столько же, сколько о двух Аидах.

Он вернулся в свою деревню Б..., что в двух километрах от Т... Двести человек жителей. Одна большая ферма — четыреста гектаров и одна маленькая — пять или шесть. Он работал на большой ферме. Их там было трое. Он — самый молодой. Наняли его только в этом году, и он был доволен работой. Отец его был каменщиком, мать — из углекопов, хоть и испанка, но не из семьи тореадоров. Он впервые был в цирке и видел диких зверей — до тех пор он видел их только на экране да на картинках. А фильмы в Т... показывают от силы четыре раза в год. И, кроме кино, ничего. Субботними вечерами и в воскресенье — деревенские танцульки, на которые он ездил на самом обычном велосипеде. Ездил главным образом, чтобы найти счастье,— без громких слов,— чтобы найти любовь... Девушку, которая подошла бы ему. У него была одна на примете. В Т...,

правда, был дансинг, но он не посмел бы туда пойти. К тому же она тоже туда не ходила.

Вот туда-то, в Б..., всем и пришлось за ним ехать. Репортеры, заправилы цирка, всякие важные господа, даже какой-то врач из Парижа. Его находили где-нибудь в поле, на тракторе, где у него не было времени разговаривать, или дома, в низеньком домишке, в присутствии отца и матери,— тут говорили они, а он молчал: так уж он был приучен.

После газет настала очередь толстых еженедельников рассказывать о парне — и они наговорили кучу всяких разностей. Маленький католический еженедельник договорился до того, что назвал это «даром, ниспосланным свыше». Уж и смеялись все трое Робийяров, хоть они и ходят в церковь — когда кюре из Т... приезжает отслужить мессу, а это бывает не каждое воскресенье.

Директор бельгийского цирка попытался воспользоваться своим правом хозяина положения. Однажды вместе с Аидой, которая была для него явно не просто дрессировщицей, а скорее любовницей, женой или совладелицей цирка, они решили взяться за отца и мать Сильвена.

— Вы знаете, он далеко пойдет. Я, к примеру, уверен: стоит ему поднять руку, и все семь тигров Аиды сразу лягут, он может делать с ними все, что захочет.

— Я тоже уверена,— сказала Аида.

— Как, и ты тоже?

— Я тоже в этом уверена,— сказала она.

— Вот как, значит, ты тоже...

— Ну что ты! — сказала она смеясь, раз ему угодно было смеяться, и покраснела. Так и залилась краской тридцатилетняя красавица. А ведь это было совсем на нее не похоже, не в ее жанре. Говорили, что Аида-бельгийка с мужчинами — в работе и в любви — ведет себя как мужчина, а не как женщина.

Прюденция Робийяр дважды пристально посмотрела на нее.

— Это он сам должен решать,— сказал отец.— Так что разговаривайте с ним.

— Да нет, что вы! — сказал Сильвен.— Не выйдет!

Бесконечные препирательства. Неделями. Но подумайте, вместо того чтобы сидеть здесь в глухомани, вы могли бы поехать в Париж, Рим, Мадрид, Нью-Йорк, Токио,— правда, бельгийский цирк никогда еще не посещал этих городов, но кто знает? Да, конечно, в таком большом механизированном хозяйстве, как это, при таких машинах вы по сути стали совсем другим сельскохозяйственным рабочим, чем прежде, вы вполне прилично зарабатываете, кое у кого есть даже маленький автомобиль... И все же нечего и сравнивать — это же удача, черт побери, большое счастье, а вы его упускаете.

— Не выйдет!

Если речь идет о маленькой сердечной истории, которая удерживает вас здесь, то кто же запрещает вам жениться и взять жену с собой. А если это не так, то, говоря между нами, мужчинами, а? Ведь у нас, мужчин, бывают и случайные встречи, не так ли? Во время поездки — особенно у такого молодого человека, как вы,— маленькие прыгуньи, воздушные гимнастки, гимнастки на трапеции, наездницы — широчайший выбор. А публика — люкс, шикарная, самые красивые женщины мира, чудо совершенства, самые неприступные, прекрасные газели, которые будут трепетать, опасаясь за вашу жизнь... А какие дворцы, какие реки... А...

— И у нее все это есть? У мадам Аиды?

— Нет,— сказала Аида,— но вы... у вас... такое начало и с талантом, который у вас проявился...— И она опять слегка покраснела.

Сильвен все это слушал, сидя на камне во внутреннем дворике позади своего маленького домика и лаская кошку, серую с белым, которая мурлыкала у него на коленях.

— Хо! Хо! Скажете тоже. Нет, ничего не выйдет! Вот есть у меня кое-что, и я это крепко держу, не выпущу! Сказать-то все можно, а вот брошу я то, что у меня есть, и, может, никогда больше уже не найду.

Вечером на том же самом камне, освещенном заходящим солнцем, он рассматривал черно-белые и цветные картинки, на которых были изображены и звери: кобра Джо, Вугри — детеныш леопарда.

— И потом, никогда я там не буду чувствовать себя на месте. Если бы они еще сидели в клетке, тогда другое дело. А то ведь страх-то какой...

— Вы боитесь? Вам было страшно?

— Откуда я знаю? Страх — он, конечно, может и пройти, как у всех проходит в конце-то концов... А во всем другом — никогда я не буду на высоте. Все время себя пересиливать. Все время чувствовать, что ты не дотягиваешь. Я ведь ничему такому не обучен. Что мы знаем? Нет, не выйдет!

Через неделю в Б... был бал. И туда явился некий журналист, явился одним из последних — вместе с фотографом. Вот он и заснял — внутренний дворик школы, деревянные скамьи, впереди эстрада, увитая зеленью (так маскировали траншеи во время войны), плошки со свечами вдобавок к двум-трем лампам в сто ватт, поскольку муниципалитет все никак не раскошелится на электрические гирлянды... А журналист — тот потом напечатал целую страницу в толстом еженедельнике, расписав про то, как Сильвен исходящими от него «флюидами» зачаровывает не только диких зверей, но и девушек. И при этом поместил фотографии тех, с кем Сильвен танцевал. Словом, настоящий покоритель деревенских красавиц. А ведь все было не так. Он-то видел только одну, и только ее! Он не осмеливался приглашать все время ее, ибо не знал, как она к этому отнесется. Других он приглашал для отвода глаз. Журналист ловко скрыл свой замысел. Кто бы мог предвидеть подобное вранье! Он делал вид, что интересуется всем. Что ж, может, оно и неплохо — все-таки реклама для праздника на будущий год! Он фотографировал до часу ночи, когда два муниципальных советника — разве от кого дождешься помощи? — а с ними и Сильвен стали вытаскивать из плошек огарки свечей, чтобы сохранить до будущего года. Кажется, это пустяк, но когда свечи оплывут, они крепко держатся в маленьких металлических плошках,— они там словно припаяны, да к тому же огарок маленький, его и так трудно ухватить пальцами, да еще от ночного холода пальцы не слушаются,— словом, это было совсем не просто. Еще повезло, что в журнале про это не напечатали — ну и жадюгами бы вывели...

Первые дни все это скорее забавляло Сильвена. Но мало-помалу он стал думать, что с него хватит. Этот последний репортаж переполнил чашу. Он уже заметил — та девушка из В..., что в семи километрах от Б... (сто десять жителей), вроде бы склонна к ревности. Надо же было журналисту не поместить ее фотографии среди танцующих! Да пусть хоть все они провалятся сквозь землю, эти мерзавцы, вместе со своими историями.

А в остальном жизнь продолжалась, нельзя сказать — возобнови-

лась, просто не останавливалась. Земля была серой, деревья зелеными, небо скорее прекрасным, чем некрасивым,— Франция есть Франция. Некогда «великий» маршал в одном из своих семи больших садов, который он обрабатывал вручную — это в семьдесят-то лет,— когда Сильвен или кто другой проходил мимо, обычно распрямлялся и, подбоченившись, произносил одну и ту же шутку, которую уже слышали сотни раз:

— До чего к земле пригибаться низко!.. В другой раз, как пойду атакой на нее, сначала пророю траншею. Спущусь туда — и земля будет со мной вровень.

Эту шутку знали наизусть. Но все же слушали — а вдруг что-то в ней изменилось?

Со временем — и довольно быстро — Сильвена перестали преследовать. Он сделал все, чтобы их отвадить. И потому у тех, других, раз он не желал ничего слушать, нашлось чем занять себя.

Воспоминание

Вот-вот сюда явятся немцы. Эвакуированные знали, что дорога перерезана. Что же делать: продолжать путь, оставаться на месте или вернуться? На площади в Брюэ царило сомнение. Однако у входа в город, там, где находится главное управление угольных шахт, издали видно было, что основной поток все же движется в город. Двигаться навстречу ему было нелегко для тех, кому не приходилось выбирать,— особенно для солдат, мрачных, пристыженных или взбешенных, среди которых не было ни одного, уже осмыслившего всю бесповоротность постигшего их поражения.

У самого входа в Брюэ только что произошла катастрофа. С той стороны к городу ведет длинный, довольно крутой склон. И вот на самом верху у большой повозки отказали тормоза. Ее тащила только одна лошадь. А на повозке, как и на всем движущемся — на легковых автомобилях и на грузовиках, впереди и сзади,— мебель, пожитки, женщины, старики, дети. Лошадь, не в силах удержать такой груз, побежала — сначала рысцой, потом галопом... Внизу повозка рассыпалась — кровь, крики, всеобщее потрясение; а если оглянуться назад — по всему склону, до самой вершины, виден был оставленный лавиной след: раненые, мертвые, женщина со вспоротым животом, пригвожденная к стене деревянной балкой. Правда, в предыдущие дни видели и пострашнее. Самолеты расправлялись почище. Однако переживаний сейчас не меньше было. Казалось только, что люди быстрее устремились вперед, словно их подхлестнула происшедшая за спиной кровавая катастрофа, такая нелепая — чисто деревенская или даже средневековая: несущаяся лошадь, оторвавшееся дышло, рассыпавшиеся со скрипом доски, и все это, оказывается, может причинить не меньше зла, чем бомбы и артиллерийский обстрел.

Здесь, перед главным управлением шахт, где пересекался путь побежденных солдат и беженцев, только что прошедших по крови, чувствовалось, что цена жизни упала очень низко. Не видно было больше знаменитых «бельгийцев с красными пледами» [1], сложенны-

[1] Во время войны это была своего рода пятая колонна. Немцы набирали шпионов из отбросов бельгийского населения и засылали их во Францию. Их опознавали по казенным красным пледам (*Прим. перев.*)

© Editions Julliard, 1973

ми в восемь раз на багажниках велосипедов. Если бы показался хоть один, ему бы и десяти шагов не сделать — мигом поставили бы к стенке, не разбираясь, шпион или нет. Либо расстреляли бы солдаты, либо беженцы прикончили бы — измолотили бы кулаками, пинками, изодрали бы в кровь...

Как раз в это самое время Альфред Дефоссэ, свежевыбритый, вымытый, подтянутый, вышел на крыльцо. Будучи шофером главного управления, он жил как раз напротив, в одном из домов компании. Высокий красивый мужчина, цветущий, спокойный, в форменной тужурке и фуражке. Было утро, и он собирался на работу. На тротуаре у его дома, как и на другой стороне улицы, стояли люди и смотрели на тех, кто шел по мостовой.

— Ты это чего здесь торчишь? — возмущенно рявкнул вдруг Альфред Дефоссэ.

Люди вокруг обернулись, глядя на него и особенно на того, к кому он обращался. То был худой, очень бледный мужчина, с черной татуировкой у крыльев носа — там, где въелась угольная пыль, человек явно местный, в фланелевой рубашке без пуговиц на манжетах и в старых синих парусиновых сандалиях на веревочной обтрепавшейся подошве.

— Уйдешь ты отсюда или нет?

Мужчина держал за руку мальчика лет двенадцати-тринадцати. Услышав окрик, он повернулся и зашагал прочь, таща за собой ребенка.

— Наглец! Экие мерзавцы!

Альфред Дефоссэ, ожесточенно жестикулируя, двинулся вслед за мужчиной.

— Я сейчас скажу, чтоб тебя арестовали! Коммунист!

Это была правда. Жорж Фламен был коммунистом. Не из тех, что на виду, не из самых активных в Брюэ, совсем нет, не борец, а коммунист по духу, но все же коммунист. И таким он остался до конца жизни — этого у него никто не мог отнять. Шахтер-поденщик, самый низкооплачиваемый, из тех, кого называют «несчастный». К сорока годам у него уже не осталось ни физических, ни духовных сил. Что ему было делать в такой ситуации? Только то, что он и сделал: склонить голову и, не сказав ни слова, уйти...

У мальчика, это чувствовалось, возник страх перед сильным мужчиной в форме, который надвигался на них,— и совсем как та лошадь в упряжке, он помчался вперед, таща за руку отца, который только что тащил его,— и одновременно стыд за отца, который допустил, чтобы с ним так обращались.

■

Теперь этому ребенку, Роберу Фламену, в свою очередь пошел сороковой год. Двадцать лет назад он мелким служащим начал работать в главном угольном управлении. Его мать и отец уже умерли от разных хворей: она — во время войны, он — в 1945 году. Альфред Дефоссэ по-прежнему работал шофером на тех же угольных предприятиях, только теперь они были национализированы.

Через год или два Робер, человек честолюбивый и не боявшийся работы, переехал из Брюэ в Дуэ, там стал быстро подниматься по служебной лестнице и к тридцати пяти годам получил довольно высокий пост в районной дирекции государственной каменноугольной промышленности.

Шофера у него, правда, нет, но по своему положению он намного выше шофера.

И вот он вспомнил о Дефоссэ.

Женился Робер в Дуэ, и, поскольку в Брюэ у него никого не осталось, он и не наведывался туда с 1947 года, то есть с тех пор, как пошел вверх,— ветер изменил направление, и счастье улыбнулось ему. Он был очень доволен, что выбрался из нищеты, особенно когда вспоминал детство, жизнь своих родителей.

В памяти его удивительно четко и живо запечатлелось то летнее утро 1940 года. Как ни невероятно, но сохранились и краски, и звуки. У него и сейчас еще звучат в ушах разговоры о лошади, которая встала на дыбы и напоролась на дышло, а внутренности ее вывалились на мостовую. Он и сейчас еще видит на повозках матрацы грязно-серого цвета в красную полосу, из дыр торчит желтая шерсть или черная морская трава; он видит красные пледы, птиц в клетках и того мужчину, который вез на ручной тележке жену и двух маленьких девочек,— на правой ноге у него был черный кожаный сапог, а на левой — голубое сабо, неизвестно почему... Только два обстоятельства оставались неясными для Робера Фламена. Первое было связано с тем, что по дороге непрерывным потоком шли солдаты — французы, которые все время отступали, и немцы, которые все время продвигались вперед, причем первые — на грузовиках и на танках, а вторые — на мотоциклах с колясками. В воздухе чувствовался страх — это все, что он может сказать, но какая армия — торжествующая или побежденная — несла с собой этот страх? И другая неясность: почему этот Альфред Дефоссэ начал так кричать на его отца? Он размахивал руками, кричал, чтобы отец убирался, словно тот был вором. Робер Фламен мог бы и сейчас описать все пуговицы на мундире шофера. А все потому, что хоть и был ребенком, смотрел — можете не сомневаться — на шофера в упор, ничуть перед ним не робея, несмотря на его форму. Он не понимал, почему отец тащит его за руку, но сам-то он — с какой стати ему пятиться перед этим шофером? Он помнит даже, что в какой-то момент ему удалось высвободить руку и посмотреть шоферу прямо в лицо с надменностью своих двенадцати лет, как бы говоря: «Да что же это?» Во всяком случае, он на какое-то время заставил заткнуться эту здоровую лакейскую глотку, в самом деле, да что же это он о себе вообразил?

■

Однажды в угольный бассейн приехали министерские чины.

Посещения шахт, заседания и обед в самом большом ресторане. Среди приглашенных — разумеется в конце списка, состоявшего из дюжины избранных,— был и он, Робер Фламен.

Есть две категории людей, которые занимают действительно солидное положение в государственной угольной промышленности: во-первых, главы прежних компаний, их доверенные лица и все те, кто более или менее связан с ними; затем — крупные специалисты, без которых нельзя обойтись. Робер Фламен не принадлежал ни к тем, ни к другим. Он поднялся до своего нынешнего положения, действуя локтями и таким образом перебираясь из кабинета в кабинет. В зависимости от настроения вышестоящих он может живо скатиться вниз или немного подняться.

Он еще никогда не был так близок к солнцу, как в тот день, и никогда так не наслаждался этим.

После обеда все разместились в тихом салоне отеля, в глубоких креслах, вокруг трех круглых столиков, поигрывая рюмками с коньяком. Робер Фламен не оказался за одним столиком с «почти мини-

стром» — не надо требовать слишком многого,— он был вполне доволен, очутившись рядом с «папашей» Лемаршаном, одним из самых влиятельных лиц в дирекции угольного бассейна, который — это он точно знал — находился и до войны и во время войны в Брюэ.

— Ах, Брюэ!.. Брюэ!.. Стойте-ка...

Все расслабились — даже Робер Фламен. «Почти министр» небрежно перекинул ногу через ручку кресла, положил голову на спинку. Совсем как Жискар. Та же манера, тот же возраст. В присутствии таких людей кажется, что достаточно приблизиться к ним — и можешь стать кем угодно: ведь сейчас не девятнадцатый век.

И вот толстый, жирный, надушенный Лемаршан благосклонно произносит:

— А в Брюэ вы не знали такого Дефоссэ?

— Альфреда? — говорит Робер Фламен.— Альфреда Дефоссэ? Ну как же, конечно, конечно!

— Да, да. Он служил у меня шофером уйму лет. Вы знаете, что он умер? Два года назад.

— Да неужели?

— Знаете, он ведь тоже был сыном шахтера, но...— Лемаршан сунул палец за воротничок, провел им вокруг шеи и засмеялся.— Бог мой! До чего же он не любил коммунистов!

Робер Фламен побелел, но быстро взял себя в руки. Глоток коньяка, который он, как и все прочие, подогревал в руке,— и лицо его вновь порозовело. Лишь на секунду край рюмки оставил белую полоску на кончике его носа.

— Верно! Кстати, я помню!..

И он рассказывает о происшествии на склоне, о случившейся там беде, о проложенной повозкой кровавой дороге...

— И вдруг в самый разгар появляется один коммунист. Я как сейчас вижу Альфреда, который берет его за грудки... И мой отец, бросив меня, тоже прикладывает к этому руку. Чего только эти двое ему тогда не наговорили! Он просто не знал, куда деваться...

— Заметьте, их тоже не надо сваливать в одну кучу. Я, к примеру, не раз говорил этому Дефоссэ, что он преувеличивает. Ну, а ваш отец, он еще жив? Или нет?

— Нет, он тоже умер.

— Лучшие люди всегда рано уходят,— вздохнул Лемаршан.

Современный инвалид

Инвалид как прыснет...

Там, в библиотеке, мне бы пришлось сдержаться. В библиотеке в общем-то молчать следует. Хотя люди знакомые могут и перекинуться словцом — оно не запрещено. К тому же кого увидишь в библиотеке муниципалитета днем, в рабочее время? На одном и том же месте в конце длинного стола для чтения сидит старик Грегуар, который приходит сюда погреться и кстати посмотреть картинки. Да еще этот юнец Деган, который учится в техническом институте и приходит полистать подшивку журнала «Сьянс э ви». Да внучка привратницы, которую не отдерешь от «Ринтинтина».[1] Не слишком

[1] Популярный детский журнал.

© Editions Julliard, 1973

это важные читатели, но других у нас нет... И потом, конечно, сама библиотекарша, хотя какая она библиотекарша — просто мать малышки, дочка привратницы из мэрии: библиотека-то находится в самой мэрии, вот она и выдает книги в дневные часы, когда Абель — учитель и настоящий библиотекарь — занят в школе.

И все же там я бы сдержался. Я ведь сам прежде всего люблю в библиотеке тишину, покой — вот оно, нужное слово.

Инвалид в своей спаленке над погребом как прыснет, да так громко, что Арманс вышла из кухни в коридор посмотреть... К тому же инвалиду нужны свидетели.

— Ну, вот эта — эта сильна! Ух и лихо — так лихо!

Он осторожно держит толстую книгу на ладонях, но почти вся ее тяжесть приходится на левую руку, так как книга раскрыта на последних страницах и потому тяжесть распределена неодинаково. Стукнув разок по полу деревянной правой ногой и два раза по каменным плитам коридора, инвалид подходит к кухне и говорит, обращаясь к Арманс, а заодно и к Клодине, племяннице Гайтта, сидящей на кухне:

— Нет, вы только посмотрите!

Уже в двенадцать лет я ею интересовался. Бывало, перейду улицу, скажу, как у нас говорят, «здрасьте» Гайтту. Потом обойду сад, вернусь на кухню и, дождавшись удобной минуты, спрошу:

— Эдуард! (Или же: Арманс!..) Могу я пойти посмотреть книгу?

Она уже тогда лежала в спальне, на комоде кремового цвета. Там тоже было тихо, пахло постельным бельем, нафталиновыми шариками. Книга эта — первый и единственный том большого словаря Ларусса в двух томах, которым, неизвестно почему, часто пользовались друзья Гайтта. Это сам Гайтт привил мне вкус к чтению. Потом, годам к четырнадцати, интерес к книге у меня прошел.

Вот и теперь, пока я ждал Гайтта, а он задерживался, вдруг — после стольких лет — мне пришла мысль посмотреть эту книгу, но, конечно, я уже не спрашивал разрешения: слишком я для этого стар. Я сказал:

— Эта книга еще у вас, Арманс? Пойду-ка я полистаю ее, погляжу.

Я услышал, как вскоре пришла Клодина.

Вот и в библиотеке меня тянет перелистывать книги, а не читать их. Я заказываю книгу, и пока ее ищут... На прошлой неделе я заказал «Под солнцем» Мопассана: я слышал, что в ней говорится про всякое такое... Ладно, замнем... К тому же я даже и читать-то ее не начинал... Пока ходили за книгой, я вернулся к входной двери — там, слева, на двух длинных полках вдоль стола для чтения стоят книги, которые нельзя выносить, но можно свободно ими пользоваться. А те, которые можно выносить, запрещено трогать. Есть тут какое-то противоречие, но на то наверняка имеется своя причина.

Последние — все переплетены в черный коленкор, на корешке мелким шрифтом имя автора, название книги — покрупнее и совсем уж крупно — крупнее, чем имя автора и название книги вместе взятые — проставлен номер; книги и стоят по номерам: 2692 — «Рыжик», 2693 — «Девяносто третий год». Ей-богу! И сделано так совсем не для смеха. А если это шутки ради, значит, тут постарался Абель: он всегда любил подшутить, считая, что так уж оно положено рыжим. Я знал троих рыжих, и на моей памяти они вечно хихикали — во всяком случае, нос у всех троих вечно был задран кверху, так что ты

видел одни только ноздри да щелочки-глаза, сжавшиеся от смеха. Если поразмыслить как следует, невольно напрашивается вопрос: этот «Рыжик» — именно «Рыжик»,— уж не Абель ли придумал поставить его на полку, особенно если учесть, что фамилия у него, как и у автора, Ренар[1],— ей-богу, так, это сущая правда, и я тут ни при чем. Рыжий Ренар, библиотекарь, выдает читателям своего поселка «Рыжика». Бывают же такие совпадения. Совсем как в деревне, где все друг с другом встречаются, где все перекрещивается, все знают друг друга. И Абель, выдавая книжку, словно бы всем подмигивал.

По другую сторону «Девяносто третьего года» под номером 2694 — я знаю их все наизусть — стоит роман «Последние дни Помпеи». Эта книжка была уже в библиотеке начальной школы — ее там больше всех читали,— но никто (само собой, достаточно было одному ошибиться — и все последовали его примеру)... никто не называл эту книгу иначе, как «Последние дни Помпы», а иные предпочитали, чтоб было все ясно, без мистики, и называли ее «Последние дни пожарной помпы». Помпея — она ведь далеко. И к тому же разрушена. Тогда как пожарные — они появляются с восходом солнца каждое воскресенье в блеске своих медных касок и труб, их все знают. Самое интересное то, что учитель не рассеивал нашего заблуждения. Правда, книги выдавали в субботу вечером, и ему, видно, уже было наплевать, но как же это можно — наплевать-то... Это был хороший учитель, строгий, он хорошо нас учил, но выдача книг в конце недели — можно было подумать, что это не входило в его обязанности. Он сидел за своим столом, а тетрадку, в которую записывали, кто брал и кто возвращал книги, вел маленький Стьевенар — я был на класс старше его. Ну и вот, делал вид, что интересуюсь книгами и все такое прочее,— на самом-то деле брал их, чтоб был повод зайти к Стьевенару и его сестре. Впрочем, наша, вернее, моя любовь к ней давно кончилась. Ну, а в то время малышка Стьевенар... я был на год старше его и не ходил в первоклассниках, но покровительствовал ему из-за сестры. Зато он в благодарность помогал мне книгами и выдавал всегда такие, которые пользовались наибольшим спросом: «Человек — рваное ухо», «Двадцать тысяч льё под водой» и эта «Помпея»,— и как же я удивился, когда обнаружил, что там совсем не про то, о чем говорилось в названии, во всяком случае — в нашем. Огонь-то там был — это я точно помню, но книга имела такой успех, наверно, из-за неожиданности, которая подстерегала читателя: все там происходило так далеко от нашего поселка с его пожарными и прочими достопримечательностями.

А на трех полках, о которых шла речь, слева от входа, стояли главным образом большие дорогие книги рядом с комплектами иллюстрированных журналов, а также словари, энциклопедии — морская и астрономическая, чего там только не было, прекрасные альбомы с цветными и черно-белыми фотографиями. Нет, тут была какая-то недоработка, в этой библиотеке: с одной стороны, тысячи три книг в черных переплетах, которые нельзя трогать, но можно выносить, а с другой — дюжина-две чудесных книг, которые выносить нельзя, а пользуйся — сколько хочешь.

И все же это приятно, особенно когда стоишь без дела и ждешь заказанной книги, заглянуть в те, что выставлены на трех полках, полистать их. Так случайно можно узнать самые невероятные вещи. Например, там есть французско-польский и польско-французский словарь. Неплохая мысль поставить его тут, потому как в поляках у нас недостатка нет. Так вот, развлечения ради я иной раз нахожу

[1] Ренар — по-французски «лиса».

какое-нибудь слово, учу его наизусть, предположим: шахтер по-польски будет «горник», и когда встречаю моего старого друга Тажека, я ему говорю:

— Это ты? Как дела, товарищ горник?

Он — мой давний друг, и это снова возвращает меня к ней, Бланшетте. Когда-то нас было трое добрых друзей... Третий — Валентин, за которого она вышла замуж, но это нас серьезно не поссорило: при встрече мы здороваемся, говорим — здравствуй, здравствуй, и даже всегда сердечно, но все равно не так, как бывало прежде. К примеру, я никогда бы не смог шутить с ним, как с Тажеком. Так или иначе Тажека я не раз удивлял знанием польских слов — постепенно он начал даже привыкать и меньше стал удивляться, но всегда спрашивал, где я их откапываю. Так вот, в последний раз я решил поступить иначе, я ему сказал:

— Держу пари, что ты не знаешь самого прекрасного слова на польском языке!

Он немного задумался, потом сказал какое-то слово — я теперь уже забыл его, да и слушал-то я невнимательно: думал только о своем слове.

— Нет, не то!

Я взял свой плотничий карандаш, большой плоский карандаш, которым, если немного привыкнуть, можно писать так же хорошо, как любым другим, потом взял свою записную книжку, я всегда ношу ее в кармане — не для того, чтобы записывать туда свои мысли, к счастью, нет, иначе она так бы и осталась чистой... или же была бы полна черных мыслей, которые появляются во время бессонницы, верно?.. Нет, только чтобы не забыть, о чем я хотел спросить у матери, когда буду ей писать,— всякая там была чепуха... Нацарапал я там свое слово, а сам говорю Тажеку:

— Ну-ка, что ты скажешь, как обстоит дело с франко-польской дружбой? Самое прекрасное слово на польском языке получается, если написать французский алфавит. Смотри...

Он не захохотал до упаду, как мне бы хотелось. Но так оно даже лучше. Не люблю я людей, которые смеются каждому моему слову, будто боятся мне не угодить...

Инвалид кладет раскрытый словарь на кухонный стол. Клодина видит страницу вверх тормашками.

— Скажите, разве не стоит на это взглянуть!

Я наткнулся на это по чистой случайности. По чистой случайности. По чистой? Случайности? Наткнулся?.. Я был далек от этой темы — так же далек, как от Бланшетты. Открыл словарь на какой-то странице и увидел рисунок — скелет доисторического животного, оно стояло в позе кенгуру, голова — как у птицы, хвост, на концах лап нечто вроде кистей. Внизу было помечено: игуанодон. Казалось бы, какая связь? Никакой. Однако, внутренне рассмеявшись, я сказал себе: «Каково все-таки — дойти до наших дней, сохранив обе лапы». Рассмеялся невесело, но все же рассмеялся. По правде говоря, на какой бы странице я ни открыл словарь, какой бы рисунок ни увидел, любой избранный мной путь, как ни странно, привел бы к тому же результату. Так или иначе, этот скелет древнего животного на двух ногах и буква «И», с которой начиналось его имя, были вполне достаточными причинами, чтобы инвалид подумал о слове «инвалид», которое находилось в книге поблизости.

Требовалось перелистать от силы пятьдесят страниц с маленькой задержкой на великолепной цветной иллюстрации к слову «инфанте-

рия». Может, кто другой и открыл бы сразу на нужном месте... Но я хоть и читаю не хуже других и алфавит, само собой, наизусть знаю, а не могу так вот сразу сказать: «инв» находится перед «инф» или после... Мне быстрее перелистать книгу, захватывая по две, по три страницы — «им», «ин»... «Инфантерия». Молодой энергичный галл с рогами — кстати, нарисовавший его художник был не лишен юмора... Франк, времен Меровингов — без этого, видно, не обойтись, если хочешь начать с доисторических эпох; солдаты времен Каролингов, Капетингов и так далее. Все налицо, мой генерал, все на ногах, все в красках и все с двумя ногами... и так — до солдата времен колониальной войны 1914 года. Словом, историческая гравюра, которых так много в больших и малых словарях, цветных или черно-белых — есть и про прически, и про оружие, и про дома и так далее.

А тут на слове «инвалид» я чуть было и не пропустил рисунка-то, занятый чтением, да к тому же я решил — после того, как глянул вниз,— что это иллюстрация к другой статье, ниже. Неужто нет? Быть того не может! Под четырьмя простаками в разномастной одежде — подпись: «Инвалиды». В самом деле. Как будто их никто никогда не видел.

«Инвалиды: 1. При Людовике XV; 2. Во времена Первой империи; 3. Во времена Второй империи; 4. Во времена Третьей республики».

Какая между ними разница?.. Я не сразу расхохотался — я еще сомневался: никогда ведь не знаешь... По правде сказать, у меня сильнее забилось сердце — оно колотилось и в то время, когда я читал статью: ведь там же про меня было написано. Первый, второй, третий... и вот тут, между третьим и четвертым, я не выдержал и расхохотался, как, возможно, расхохотался бы и в библиотеке, несмотря на правила,— ничего я с собой не мог поделать.

— Да посмотрите же!

Клодина приподнялась, обогнула угол стола, и инвалид, почувствовав ее возле себя, ткнул пальцем в рисунок — первый, второй...

Инвалид времен Людовика XV одет по французской моде: полы мундира загнуты, и правый рукав загнут. Инвалид времен Первой империи — в костюме той эпохи; правая нога у него деревянная, на левой — гетр. У инвалида времен Второй империи правая нога тоже деревянная, но, следуя духу времени, левая прикрыта штаниной. Что же до инвалида времен Третьей республики, то ему разнообразия ради сделали деревянной левую ногу, но при этом упрятали ее, как и правую, в брюки. Словом, приглядевшись, можно обнаружить несомненный прогресс от картинки к картинке. Правда, только в одежде, но все же прогресс. А последнего, инвалида Третьей республики, художник изобразил в деле — с трубкой, которую он набивает из кисета, беседуя с тремя другими инвалидами так безмятежно и мирно, что даже не шевелятся густые усы. Нельзя же поверить, что кто-то нарисовал такое ради шутки, чтобы посмеяться над бедными людьми, поэтому ему, человеку заинтересованному, это кажется чудовищным гротеском. К тому же можете проверить — взгляните на страницу 1305-ю. Писатель должен быть серьезным, реалистичным или же вовсе не должен писать.

Никто не смеется — ни Арманс, ни Клодина.

Клодина смотрит, и ее маленькая рука, лежащая на странице книги, рядом с рукой инвалида, слегка дрожит.

По правде говоря, если присмотреться получше, есть и другое различие между четырьмя инвалидами, кроме одежды. У первого — никаких орденов, у второго — один орден, у третьего — лента через плечо, у четвертого — не меньше трех медалей. Вот здесь действительно чувствуется исторический прогресс. Рисунок, оказывается, все же имеет некоторый смысл. Может быть, поэтому никто и не засмеялся? Или же они не поняли? Тогда инвалид уточняет:

— Разденьте их, и они будут совсем одинаковые! А меня поставьте пятым. Современный инвалид! Ха! Ха...

Арманс все-таки улыбнулась. Клодина — нет. Она даже не смотрит в левый верхний угол левой страницы, а смотрит в другую сторону — в правый нижний угол правой страницы, хотя там нет ничего интересного: вскрытый живот и в нем кишки — точно требуха на блюде, а в другой колонке, правее, объяснение слова «инъекция»... Клодина как зачарованная смотрит туда, но, должно быть, только для того, чтобы не смотреть на инвалидов. Наконец она пожимает плечами, как бы говоря инвалиду, что вполне согласна с ним,— а как же иначе? Потом закрывает словарь и вручает ему.

На этот раз он кладет словарь не на левую, а на правую руку, так что теперь тяжесть приходится на другую сторону, но ему это удобнее — чтоб возместить отсутствующую ногу. Четыре громких удара деревяшкой — один по плиткам кухни, черным с белым, два — по плиткам коридора, черным с красным, и один — по полу своей комнаты, и вот он уже кладет словарь на место. И сколько же, наверно, в этой книжке можно обнаружить таких вот маленьких фарсов, если открыть ее наугад, думая о своем... Здесь тоже все собрано вместе, обо всем говорится, все встречается и перемешивается, как в деревне, все можно найти... за исключением, конечно, потерянной ноги.

Клодина не засмеялась. Мы же, я это заметил, смеемся охотно. Я сказал «мы», и, однако, как страшно это звучит — мы. А ведь правда — это я тоже заметил,— все инвалиды, которых я знал, люди на редкость тихие, спокойные, улыбчивые, терпеливее других. Объяснить это ничем нельзя, как ничем не объяснишь, почему все рыжие — шутники. Это факт. Просто рыжие — они как диковинка. Когда в деревне трое рыжих, это уже считается чересчур. И если появляется новый, я хочу сказать, когда родится рыжий в семье, где никогда их не было, то на мать смотрят с некоторым удивлением. А вот «нас» в деревне добрая дюжина. Не все одного «помета» — нет, трех, даже четырех разных эпох, совсем как в словаре, если учесть Фифи-Флорентийца, который, как видно из самого его имени, случай особый. Все одинаково тихие, спокойные, можно сказать, почти счастливые, всегда готовые скорее посмеяться, чем ныть,— и в первую очередь посмеяться над тем, что потеряли. Давно это поразило меня — еще до того, как...

Помню, когда я был мальчишкой, Валер Лампэн, инвалид второго поколения,— он тогда был еще совсем молодым, немного старше, чем я сейчас (двадцати пяти, двадцати шести лет)— приезжал к нам на своем велосипеде, держа на весу деревянную ногу... Чтобы остановиться, он нажимал на тормоз заднего колеса и для этого, само собой, должен был вытянуть здоровую ногу; педаль заставляла его приподняться, оттопырив зад,— он, конечно, оттопыривал его сильнее, чем требовалось, зная, что на него смотрят... И на минуту застывал так, в седле, прежде чем спрыгнуть на землю. Легко. Он не был ни тяжелым, ни большим, ни тучным. Нам, мальчишкам, среди прочих развлечений — помимо его деревянной ноги — нравилось, как

он говорил про свой вес. А вес его не превышал нашего. Но он и сам получал удовольствие, когда говорил: «Сорок девять килограммов плюс деревяшка».

Я как сейчас вижу нас, ребят, столпившихся вокруг него у лестницы Ландронов, где мы обычно собирались по вечерам. Другим источником развлечения было для нас заднее колесо его велосипеда. Оно не имело свободного хода, и без него, даже если вооружиться тормозными колодками, нельзя ехать на велосипеде, когда у тебя всего одна нога. Он давал нам свой велосипед покататься — он отдал бы все что угодно, даже последнюю рубашку,— очень он любил бывать с нами, детьми (это, как я заметил, частенько наблюдается), и только и думал о том, чтобы доставить нам удовольствие. И мы — не затем, чтоб подражать ему и, уж конечно, не затем, чтобы над ним посмеяться, а просто ради удовольствия — стрелой катили вниз по откосу, к пруду...

Как раз там все мы более или менее научились ездить на велосипеде... С нами всегда был сын продавца велосипедов... Из-за спуска, конечно... Он сажал нас в седло и на бегу подталкивал, а потом отпускал... Скорость заставляла нас ехать стоя. Там, внизу, когда она уменьшалась, мы все падали в высокую крапиву, кто направо, кто налево. Сейчас я бы всегда падал налево. Чтобы не обжечься крапивой, мы нашли другой способ. Надо было крутануть педалью разок-другой, и тогда дольше прокатишься. А в пруд все равно не упадешь: там была крепкая изгородь, перегораживавшая тропинку возле хижины, где сторож пруда расставил клетки с утками. А нам вовсе не хотелось очутиться среди обезумевших уток, бившихся в четырех проволочных стенах, и мы вскоре научились останавливаться и слезать с велосипеда, не доезжая до пруда. Велосипед от этого слегка портился, но такая легкая поломка была предусмотрена... Сын продавца привил нам к этому вкус, и мы разыгрывали все как по нотам: возвращались домой и требовали возмещения при удобном случае — после первого причастия, при получении свидетельства об окончании средней школы, мы требовали, чтобы родители раскошелились на новый велосипед, а в деревне был только один продавец велосипедов.

...А на велосипеде Валера мы садились в седло, делали разбег, поднимались на вытянутой ноге, как это делал Валер, когда останавливался, педаль приподнимала нас и снова опускала — раз, другой, третий, четвертый, а иногда и раз пять: зад в воздухе, голова опущена, словно бесплатные деревянные лошадки...

Нет человека добрее Миньо. Он из первого поколения инвалидов — не сорокового, а четырнадцатого года. У него не хватает только руки. Вместо нее протез, на котором всегда надета черная бумажная перчатка. Из-за этого протеза и еще потому, что он был сельским полицейским, мы, дети, его побаивались... Но если его хорошо знать... «Железная рука в черной перчатке»,— говорили про него, а на самом-то деле он был мягкий как воск. Он все всем позволял. Был хороший, как свежий хлеб.

Мы могли бы просмотреть таким образом и всех остальных. Чем это объяснить? Их поведением, тем, что они выделялись из общей массы — вроде рыжих? Хотя они-то знали о своей неполноценности, но старались ни в чем не отстать. Может быть, они говорили первую пришедшую на ум глупость, чтобы их не заподозрили в унынии? Нет, не так. Просто эти люди расстались со многими иллюзиями, со своими честолюбивыми планами, и можно предположить, что все плохое в их характере тоже ушло. Об этом невесело говорить, но од-

новременно они как бы очистились и от всех удач, от всех желаний. Валер не работал, и это позволяло ему проводить все время с детьми. Но даже те, кто работает, как правило, заняты не столь тяжелым трудом. Некоторые работали на дому, как я, столяром, выполняя заказы. Они получают маленькую пенсию, совсем мало, черт подери, но... Когда чувствуешь себя вне игры, нет больше смысла жульничать. «Они»? Мы. Посмотрите на нас: мы добрые, рассеянные, бескорыстные. Мы самые демобилизованные. Самые мирные.

Инвалид все еще смеется, вернувшись на кухню. Клодина сидит одна на том же месте. Он даже не спрашивает, где Арманс. На дворе? Или в саду? Со своими курами? С кроликами?

— Приятно слышать, когда кто-то смеется так, как ты,— говорит Клодина, а сама чуть не плачет.

Он это замечает и, избегая смотреть на нее, садится, положив деревянную ногу поперек прохода: он уберет ногу, если Арманс вернется.

Что с ней, с Клодиной? Меня плакать — нет — больше не заставишь. Но я не говорю: лучше смеяться, чем плакать. Просто самая мысль, что можно заплакать, исчезла. Давно ушло то время, когда я плакал. Как говорится: выплакал все слезы... Поначалу — среди бела дня, все равно перед кем, не стыдясь. Затем — прячась, потихоньку. Потом один по ночам. А теперь я только во сне вижу, что плачу. Или взять хотя бы равновесие — я лишь мечтаю о прежнем равновесии. Меня ведь все время перетягивает влево, на сторону здоровой ноги, или, если можно так сказать, моя деревянная нога приподнимает меня справа, и я как бы падаю не падая, раскачиваюсь в пустоте. Порой я снова становлюсь ребенком и прыгаю на одной ножке без конца — на той ноге, которой у меня нет, только в тысячу раз проворнее, чем когда я был ребенком.

Равновесие. С тех пор как существует мир, все сводится к равновесию. Вот ведь Бланшетта долго колебалась между мной и Валентином, и никто не может сказать, почему она приняла такое решение в конце концов... Да, все оказалось просто. Ее перетянуло к Валентину. Как будто бы у нее никогда и не возникало сомнений. Я первый сделал вид, что это так. Мы стараемся больше не встречаться, не слишком часто видеться,— с одной стороны, они оба, с другой — я. Теперь уже было бы напрасно искать близости с Бланшеттой или с другой девушкой. Нечего сказать, хорошо бы меня приняли. Значит, надо приготовиться к тому, что так я и останусь старым холостяком. Да теперь, честно говоря, ей-богу, я вовсе не уверен, что Бланшетта так уж мне нравилась тогда.

Что хорошо в малышке Клодине, это то, что она знает меня таким, как я есть. И видит меня всегда здесь, в этой кухне, которая, можно сказать, совсем не изменилась. Тишина. Этим всегда отличался дом Гайтта, с его садом, комнатой и книгой,— тишиной. Ей было пять лет, Клодине, когда мне было десять; ей было десять, когда мне — пятнадцать. И вот ей двадцать. Для меня расстояние остается таким же, как будто она все так же заплетает две косички, как маленькая девочка. Но даже и с двумя ногами мне никогда бы не пришла в голову мысль о Клодине.

— Почему ты закрыла книгу?

Она не отвечает, пряча от меня под ресницами глаза... Она поднимает руку, точно хочет тихонько положить ее на мою, но не делает

этого... И такая сдержанность ее создает впечатление, что это она старше меня на пять лет.

— Я почувствовала, что ты идешь,— говорит Арманс.— Вот и вышла к калитке.

За ней в кухню входит Гайтт, пропитанный запахом завода.

Минут пять говорят о том о сем.

— Пойду к себе, чтоб вы могли переодеться, Эдуард,— говорит инвалид.— Действуйте. До свидания!

Через мгновенье Гайтт спрашивает:

— Что это с ним, с нашим Дени? У него сегодня такой серьезный вид. А то ведь обычно кривляется, как клоун.

2 + 2, или Политические

Ну, нет! Ты, мразь, убирайся на свое место! Я тебя закрываю, и не вздумай дрыгаться!

Если уж заговорил с бритвой — значит, дела неважнецкие. А уж если говоришь с ней, когда ее убираешь в футляр, не можешь больше вынести ее вида,— это вроде как если бы ты с кем-то говорил, а в глаза ему глянуть не смеешь, верно? А с другой стороны, с кем еще можно словцом перекинуться?

Напугала меня, мразь. А может, не она? Я сам? Сам себя напугал? Сказал себе: «Сдрейфил? Слабо тебе!..» — как мальчишка в игре, как в грязной игре, самой гнусной из игр... Я повесил зеркало на этот гвоздь, я стою перед ним прямо, подбородок задрал, открыл ее, эту мразь... прижал к шее, кожу натянул сильней, еще сильней... Смотрю на себя. Ты бы такое сделал? Не знаю, но смотри, смотри хорошенько. Раз — и сделал незаметное движение, совсем крошечный порезик, чуть прижал ее к коже, полоснул, будто, как там его, смычком по скрипке, провел вроде того типа, который перед тем, как начать, играет под сурдинку, кроме него никто и не слышит. Смогу или не смогу? Достаточно одной дурацкой мыслишки, стоит ей промелькнуть в голове — и парень приставляет револьвер к виску, и даже если он уберет из предосторожности палец с курка, даже если не заряжен этот паршивый револьвер, все равно, тут уж точно: мыслишка в нем засела. А ну! Прекрати свои глупости, Жак, малыш... Положи-ка эту штуку туда!..

Должно быть, это не так уж и трудно. Во всяком случае, не хуже самого худшего. Самое худшее — это когда заперт здесь и нет возможности выйти, не знаешь, что они там замышляют на воле, особенно эта жирная старая шлюха, когда невозможно ни защититься, ничего. А если бы секунду назад я это сделал? Говорят, за одну последнюю предсмертную секунду разом видишь всю свою жизнь. Это была твоя последняя секунда, ты успел все посмотреть?

Ничегошеньки я не видел... Выходит, это не была последняя секунда. Тогда начинай, вспоминай по новой. Ох нет, только не это! Большая радость снова увидеть, да что увидеть-то? Такой несчастный, что сдохнуть хочется, несчастный, как загнанный больной зверь. Ничего ты не можешь увидеть, только то, что здесь вокруг. И ты еще хочешь снова все увидеть, в который раз вспомнить, это же еще в сто раз хуже. Сейчас, здесь, я даже не знаю, которая это камера — первая

© Editions Julliard, 1973

или вторая, потому что я вошел сюда как во сне, точно думал, что кого-нибудь здесь еще найду, стол был опрокинут, я его поднял, высыпал на пол весь свой инструмент, пододвинул ногой табурет, сел, а на остальное мне и глядеть незачем, наизусть все знаю, койка тоже опрокинута, без белья, без одеяла, конечно, только железный остов, и параша в углу у меня за спиной, не обязательно на нее смотреть — ее и носом чуешь, все это я знаю наизусть. Имею же я право быть совсем несчастным, несчастным до того, чтоб разучиться видеть. Конечно, зачем себе-то врать, сказки рассказывать? Ну, буду я спать или хныкать — и что? Даже еще хуже. Я сыт по горло, все, хватит, такое состояние, будто я в дурмане, сплю на ходу, и точно знаю, что другим уже не буду: доказательство — окно открыто, а мне и глянуть не хочется, а окно открыто, они здесь проветривают, сам понимаешь, пользуются случаем, ведь долго не будет стоять без дела, и если бы я выглянул, я увидел бы настоящее солнце, как говорится, вольный воздух, солнце, которое для всех и для воробышков, да на кой мне теперь эти воробышки!

Опять увидеть, уже увидел, даже при моем плохом зрении. Что увидеть-то? Уж не эту ли жирную старую шлюху, ее мать? За кого она втемяшила себе в голову выдать ее замуж? Ума не приложу. Держу пари, у нее не было на примете никого определенного. Это мне сразу бросилось в глаза, еще в тот самый первый раз, когда я пришел в их мясную лавку. Выперли меня, скажу тебе, с треском. Чем я провинился — разве сразу узнаешь? Лет двадцать было Югетте тогда, и улыбалось им это или нет, только мы-то с ней оба были *за*. Да, клянусь богом, она была *за* не меньше, чем я, голову даю на отсечение. Мы встречались уже три месяца, дело было тоже, знаешь ли, летом. Прекрати ты свои бредни, не мучай себя заново, к чему все это? Мы были уже по сути дела мужем и женой, а за мэром и кюре дело бы не стало, что за вопрос. Только Югетта боялась сказать своим об этом одна, конечно, я мог бы уже в этом почувствовать дурной знак, но, если бы все пошло нормально, если бы я мог попытать счастья, а она бы все время была со мной заодно, я бы взял верх, а она-то, она ничего другого и не хотела, как загладить грех и им сказать... Она была не из тех, кто идет на попятный, вовсе нет, она только боялась одна, но при мне она могла напрямик говорить с отцом и даже с матерью. Потому-то она и захотела, чтоб я пошел,— разом все выложить. Помню, мы были так в себе уверены, что старики мне казались смешноватыми, даже он — руки все в крови, а ничуть не страшный, хоть ему, может, и хотелось попугать, уж я-то видел, и что он не в восторге, это я тоже приметил, а она, жирная сволочь,— на переднике ни складочки, ни пятнышка, прямо весь топорщится от крахмала, и вся она жесткая, серая, точно всю ее накрахмалили, только пятна на скулах, будто их натерли красной капустой. Знали они меня? Да что и говорить, они меня знали еще с тех пор, как я сопляком играл напротив их дома, на тротуаре. Она мне давала взаймы ролики, и мы катались вместе, вернее, она давала мне на одну ногу — одной катишься, другой отталкиваешься, все лучше, чем ничего или чем кататься поодиночке. Может, они тоже тогда смекнули, что следовало бы раньше почувствовать в нашей дружбе дурной знак и давным-давно принять меры.

«А что он делает в жизни?..»

Все-таки спросила эта жирная стерва, как будто не знала или как будто можно что-то делать где-нибудь, кроме как в жизни. В жизни... Она захотела, чтобы Югетта сама ответила, покраснев как рак, мол, действительно, все, что я пока успел в жизни,— это

стать грузчиком, разносчиком, в общем, на подхвате у соседнего торговца ранними овощами, приятеля моего отца.

«Да, о тебе уж никто не скажет, что ты далеко пойдешь»,— говаривал мой отец; я в это время тянул последний год в школе и не мог дождаться, когда уж он кончится. И в самом деле, недалеко — просто напротив, к зеленщику Гаспару (он давно обещал меня взять); я был, можно сказать, уже пристроен, и он взял бы меня тут же, так нет,— надо было протрубить этот последний год, хотя заранее было ясно, что аттестата я все равно не получу. В обязательном порядке, как военную службу. Пока что я уже ходил к Гаспару по четвергам помогать, а он мне совал деньги на развлечения. Что ж, мне не за что упрекнуть отца, он ни в чем не виноват передо мной, разве в том, что слишком рано умер. Хотя, будь он жив, вряд ли он смог бы для меня много сделать! Но, как бы там ни было, мой старик одно мне твердил: в жизни надо быть победителем, и дураки умеют побеждать не хуже, чем ученые, но главное — это быть честным, пусть простаком, но честным. Он говорил: «Ты будешь не меньше полезен, чем любой другой; всякие нужны». В сороковом он схлопотал по почкам от военного грузовика, который пятился задом, отступая, отец тоже отступал, все тогда отступали — это было модно, в общем, за это он получал пенсию и ни капельки не был доволен, что получает это дармовое пособие, как будто он его не заработал. Нужно было видеть его руки — он торопливо хватал бумажки, будто они не были ему положены, да еще как!.. Будто он не был уверен, что их у него не отнимут через секунду, а может, решат вообще ему больше пенсию не выплачивать; он быстро-быстро смешивал эти бумажки с другими деньгами: я тебя не знаю, не различаю, не видел — и в материн железный ящичек для рукоделья, под катушки, под пуговицы; вот тебе и все. При мне. Никогда они от меня ничего не прятали, прямо скажу, и они были правы. В жизни я не притронулся бы к их деньгам и вообще ни к чьим. Только старик-то мой помер, не сразу помер, но все же, можно сказать, погиб на войне, хоть и скромнее, чем когда прямо на войне погибают, и не так уж дорого ему за это заплатили, если сложить всю пенсию за годы, что он протянул. А было ему всего сорок семь лет; мать пережила его на год. Моя сеструха была уже замужем, вроде удачно, и работала, а ее благоверный гнул спину на автомобильном заводе «Испано». Он до сих пор там. Что до меня, Гаспар выгородил мне угол — комнатенку над складом, а по мне чего лучше? — всегда тепло, пахнет приятно ранними овощами, апельсинами и всем прочим, и работа под боком, и за квартиру платить не надо. Ну, наш квартал, сам понимаешь, это как маленькая деревня, все всё знают, и она, верно, подумала, жирная пьянчуга,— что же люди-то скажут? Скажут, я дочку выдаю за самого распоследнего? Ладно, не дал я Югетте ответить, ляпнул первый: «Вы что же, вам правда нужно рассказывать, что я и кто?..» — «Ах, это он,— сказала эта дрянь, как будто там был еще кто-нибудь,— ну-ну, говорят, у него склонности к торговле!» — «Да он даже в армии не отслужил еще...— добавил ее папаша, вытирая фартуком руки.— Наверно, разумней подождать, пока он отслужит», а сам поглядывает на свою половину искоса: мол, не заводись, попробуем выиграть время, можно обойти парня по-тихому. В общем, сам-то он, когда увидел, что об этом нечего и мечтать, быстро пришел в себя и не стал мне пакостить. А для нее, для нее сделать пакость — просто тьфу. Он хоть знал, что такое тяжелая работа, начал тоже с самых низов; вот и думал, что обучит меня делу и постепенно сам станет посвободней, а со временем и вовсе на меня все свалит. Притом он очень дружил с «божоле» и рассудил, что зять — какой-никакой,

я или другой — может быстренько смотаться на уголок в десяти метрах от мясной: все компания, собутыльник. Она-то, старуха, сильно нажимала на белое бордо — даже удивительно, отчего у нее такой цвет лица. А старик у нее до того был фальшивый — мне же на нее и наговаривал у нее за спиной. Правда, может, потому, что я оказался в тюряге, он перестроился и стал не намного лучше ее.

Все случилось быстро. Мы еще и полгода не были женаты. Я работал по-прежнему у Гаспара и слышать не хотел, чтобы перейти к ним в мясную. Не хотел я никому втирать очки — хватит с меня всяких намеков, вдоволь наслушался... Еще и шести месяцев, значит, не прошло, как я получил повестку в солдаты,— нормально, ничего удивительного, мы этого ждали. Но я-то уже видел, какой все принимает оборот, как она, старая карга, настраивает против меня Югетту, хоть Югетта мне и говорила: «Ничего не бойся, нет никакой опасности...» И действительно, опасности еще не было — не было, пока я был с ней. Правда, месяцем раньше, когда мы узнали, что будет ребенок, этой карге почти удалось задурить голову моей Югетте — почему не попытаться в самом начале беременности, пока еще есть время... Делать аборт — громко сказано, то, что она ей советовала, это, мол, ерунда, никакого риска, а потом, когда я приду из армии, все будет ясней, ведь никогда не знаешь... Моя Югетта даже призадумалась, только призадумалась. Ведь если представить,— кто знает? — что меня не оставят во Франции (уже начиналась заваруха с Индокитаем), что меня отправят далеко, на долгий срок и я не смогу приехать в отпуск домой целых шесть месяцев, а может быть, год? Что будет, когда я вернусь, что они мне сделают из моей жены? Ведь уже были доказательства... В общем, я сказал: нет, не пойду. Что тут началось! Бесчестье, дезертир, неподчинение — в общем, ясно. Потом на месяц я изловчился спрятаться. Ну, конечно, часто приходил на ночь в нашу комнатушку, или же Югетта приходила туда, где я прятался, иначе какой смысл — остался-то я, чтобы с ней быть... Ясное дело, они меня накрыли. Не знаю, может, и старуха приложила к этому руку, вполне свободно могла, позже я убедился: это ей запросто, она и не на то еще способна. И вот пришили два года. А я ведь пытался им все честно объяснить, клянусь, господин судья, я говорю только правду, чистую правду, вот ей-же-ей... Но я попал, когда такие истории вошли в моду. Они говорили громкие слова, я даже вначале и не знал, что эти слова означают, только потом понял: ведь мне, в общем, пришили неповиновение из убеждений. Но это было не так. Я же из-за Югетты. Все дело в нас двоих — в Югетте и во мне. И ничего больше. И я им говорил, что так нельзя, что когда такой случай, должны быть какие-то способы все уладить. Может, уехать мне. Ведь я заранее знал — не миновать беды. Вообще-то я не был против, и ни от чего не отказывался, и не хотел быть не таким, как другие, ну, я не знаю, но есть же много таких, кому дают отсрочку, предположим, мне бы разрешили что-нибудь в этом роде, всего год, может, даже поменьше,— дали бы время, чтобы собрать немного денег, снять комнату в другом месте, чтоб она не держалась все время за юбку своей матери — разве нельзя так было? Она бы согласилась работать, хотя ничегошеньки еще не умела, она училась в школе до семнадцати лет, было у нее удостоверение об окончании, сто раз я слышал, как старая паршивая похвальбушка хвасталась: тут все у нее чин чином. А через недолгое время все устроится, появится ребенок, тогда все и разрешится, господин судья. Как сказать, ну, в общем, нельзя же нарочно приносить людям несчастье, это ведь бессмысленно — понимаете, господин судья? А он ничего не понимал. Два года — и больше ничего знать не желал. Даже и не по-

верил мне. Заладил свое: «неповиновение из убеждений», и все тут. Но я же — только бы уладить,— я готов был на все, что они потребуют, даже и на это, я им так и сказал. Они до того удивились, что у меня вдруг появилась надежда,— уставились друг на друга, ничего не понимая. Ты представляешь, золотко, они пожимали плечами и разглядывали меня, как будто перед ними последний идиот, потом мой адвокат — и тот туда же,— мол, будь я нормальным, я бы такого говорить не стал, и это, мол, снижает мою ответственность... В общем, если у кого там была хоть капля разума, так это у меня, по-моему, это ясно. Чего уж проще: я и Югетта. И если я уезжаю, всему конец. Ладно, не буду заводить все сначала. И потом, если уж говорить про разум — ну, предположим, я глупей других,— разве это причина так на меня набрасываться и отрезать мне все выходы, все возможности, а?

Теперь здесь, во Френе. Два года. Сначала она держалась, моя Югетта. Не пропускала ни одного свидания. Если бы их разрешали вдвое больше, приходила бы точно так же. Все мне рассказывала. Как ее дома сперва заласкали, потом начались драмы, и все из-за того — какой я позор для семьи; этот мерзавец из мерзавцев не пришел сказать мне это в лицо — даже сюда, где я теперь, за два года они ни разу не пришли, ни он, ни она. Один только раз что-то он такое сказал Югетте, из-за чего она расплакалась, и у него, наверно, совесть заговорила, и он тайком ей дал для меня бутылку своего любимого «божоле», из собственного погреба. Югетта не посмела мне его притащить и правильно сделала, она меня знала, я бы нипочем не взял, я, может, и глуп, но честен, как говаривал мой отец, для меня важно, за кого меня принимают, я всегда за этим следил. А сейчас? И не говори. Сейчас все дерьмо, все утонуло в дерьме, и какая теперь разница, так или этак...

Впервые Югетта не пришла в конце первого месяца — она тогда потеряла ребенка. Вроде бы от переживаний. Она мне клялась. Теперь, когда я дошел до полной точки, я думаю: а все ли она мне говорила уже тогда? Потом она снова начала ходить. Только иногда пропускала. Ее тоже можно понять: два года — это очень долго. Она отбивалась дома изо всех сил, я в этом уверен. Единственно, что было не так: она по-прежнему жила у них, не искала работы. Я-то на нее нажимал, она плакала, со стороны могло показаться, что я ее толкаю на что-то плохое, может, это из-за обстановки в приемной, из-за рож у этих типов вокруг и у их жен, которые приходили на них полюбоваться сквозь решетку,— я был, ясно, в уголовном отделении. В камере нас сидело трое: я и два уголовника, старые, сорок пять и пятьдесят, одному вкатили три года, другому — пять. А мне было двадцать два, уж я и наслушался от них, навидался, никогда бы не подумал, что человек может до такого докатиться, стать такой мразью. Сейчас, конечно, мне все это уже без разницы. Но что верно — это то, что был я дурак дураком. Ну, пока у меня была Югетта, мне удавалось держаться. И потом, все-таки уже был виден конец. С Югеттой снова все стало лучше некуда. Уже за шесть месяцев до моего освобождения мы начали строить планы, загадывать, как будем выпутываться из всего этого. Мне придется отслужить, потому что два года тюрьмы в счет не шли, об этом и речи не было. Она мне клялась жизнью, что выстоит. Даже если придется работать? Даже. И уйти от них? Да. Тогда я тоже обещал, мол, решено: я отслужу. Что мне, впрочем, оставалось? Какой другой поворот, какой выход? Я все думал, передумывал, обдумывал, искал — туда, сюда, времечко-то у меня было. Два года! Тот, кто через это не прошел, не знает, что это такое. Даже год тюрьмы тянется, точно десять лет на воле. Очень просто. Особен-

но вначале. Только представить себе: целых два года! Но через это нужно было пройти, не было выхода.

Но тут-то и выявилась эта непредвиденная подлость.

Когда говорят — освобождение, это только так говорится. Тебя прямиком запихивают в казарму. А там уж никаких-никаких посещений. Я надеялся, что как-нибудь вечером приду в мясную, я бы, конечно, дождался ночи, чтобы выйти на улицу, я не настолько туп, чтоб не подумать о том, как на меня посмотрят. Я пришел бы ночью, и я не ждал, что меня встретят с цветами, конечно, это подлило бы масла в огонь, но обо всем приходилось думать снова, и о самом худшем тоже, но главное — я бы снова смог обнять мою Югетту. Уже два года, как мне это было заказано, не нужно забывать,— заказано было обнять ее. Наша комната...

Все к чертям. Ничего. Изменение программы. Увезли. И тут же я начал искать выхода. А она в своем первом же письме мне рассказывала, что они велели ей выбирать: либо развод, либо они больше не хотят, чтобы она у них жила, перестают ее кормить, в общем, все такое. Она не писала, что хочет порвать, но и наоборот тоже не писала. Значит, ни минуты не тянуть, прямо к ней, хоть ползком, хоть нет выхода, ни малейшей дырочки. Я пошел на это, я сбежал. Я шагал пешком трое суток, старался идти по ночам, таился, я уже не соображал, где я, что делаю, в брюхе за все время ни крошки... Холодно не было, а я дрожал, как лист, когда вышел на их улицу, подходил к их дому, я был будто сумасшедший, а они закатили сцену, какой я в жизни не видывал: ну орать среди ночи, хотели меня вышвырнуть... Ладно, замнем. Короче, через две недели меня снова взяли и снова пришили два года, ни больше, ни меньше, два года. Тут-то у Югетты и случилась депрессия, ее уложили в постель, а я узнал об этом только через месяц, целый месяц ничего не знал, никто не приходил, не писал... Все мне сообщила моя старшая сеструха — она-то меня навещала, и ее муженек тоже при случае. Югетта поправилась только через два месяца, очень изменилась, похудела, но мне казалась еще краше, а может, это от воздержания. Опять все пошло по-старому, трагедия произошла на шестом месяце моего второго срока. Она попросила моего согласия на развод. Я сказал — нет, да только что же я мог поделать: я был один, и у нас никогда не было времени по-настоящему поговорить, и всегда между нами расстояние в метр и две решетки и между ними шныряет взад-вперед надзиратель, а если он не сволочь, так стоит в конце коридора, но только делает вид, что не слушает и не смотрит. А письма? Ты ведь понимаешь, я — и писать письма. Я попросил сеструху с мужем пойти к ней и объяснить, как оно получается: у нее это лучше выйдет. В результате еще полгода потянули — то получше, то похуже. Уж и плакала Югетта! Была бы у меня возможность обнять ее, руку даю на отсечение — я бы ее вернул, сохранил. А плакать — ни за что. Говорят, похудел и стал белый, как мертвец, но не заплакал ни разу. Вот сейчас смотрю на себя в зеркало и не понимаю, как же я стал таким. Конечно, меняешься не сразу, а потихоньку, со временем, а потом, здесь не лучшее освещение, хоть окно и открыто. Этот порез на шее, что я только что полоснул этой дрянью, никак не удается разглядеть его в зеркале, я чувствую — немножко саднит, особенно когда провожу пальцем, да и пот, наверно, тоже его разъедает: я теперь чуть что, сразу жутко потею, особенно руки,— но разглядеть его не могу.

Так вот, значит, в самую тяжкую для меня пору определили меня брить политических. А она, Югетта, твердо решила насчет развода и ни о чем другом больше слышать не хотела, а если я откажусь, больше

ко мне не придет. Но ведь если я соглашусь, тоже не придет, тогда чего ж тут и думать. Те, политические, они сидели в каталажке уже шесть месяцев, значит, могут и еще шесть просидеть,— толком они ничего не знали: приговора у них не было, дело лежало в суде, и они все ждали, что их выпустят через неделю-другую, а то и не сегодня-завтра. Когда так вот ждешь выхода, то и год, наверно, незаметно проходит. Ну, получилась у них история с их первым парикмахером, они мне потом рассказывали. Он стал у них своим, не дурак был и не прощелыга — вот они и говорили с ним на равных, доверяли, в общем, как потом и мне, так что я теперь представить себе могу, как оно было. Каждое утро он водил бритвой у них по горлу. И только через полгода они узнали, за что он сидит. Оказывается, он устроил целую резню: ночью на своей улице изнасиловал маленькую девочку после того, как отца и мать ее зарезал кухонным ножом, а ее потом придушил. У них мороз по коже. А потом еще у них было подозрение, что он тянул сахар. В тюрьме оно всегда так. Нет мелочей. Все становится таким важным... просто ужас. В тюрьме оно все просто — словно проснулся среди ночи и все думаешь, думаешь и все тебе кажется в тысячу раз легче или в тысячу раз трудней, чем на самом деле,— смотря по настроению. Так вот тюрьма — это то же самое, это как бессонная ночь, только тянется она два года, днем и ночью одно и то же, ясно? Они-то, политические, они умели защищаться. Официально они не назывались политическими, а уголовниками, как все. Но они устроили такой тарарам, что пришлось их поместить всех вместе, здесь, внизу, отвели им специальное отделение — только для них одних, дверь отделения заперта, а двери их камер весь день отперты, и отдельный дворик им тоже выделили, и дверь из отделения во дворик — нараспашку. Они были как у себя дома. Специальный надзиратель для них, я чуть не сказал: к их услугам. Потому что в этом-то и разница: у них был тыл, поддержка с воли, поэтому они могли все себе позволить, хоть они и коммунисты и обвинены были в предательстве, всякие там слова про войну в Индокитае говорили и все такое прочее — точно не знаю, посмотрел бы я, как кого-нибудь из них в карцер заткнули. Вот бы заорали газеты на воле! Ну, они и позволяли себе: бомбардировали директора письмами, не угодно ли, требовали того, сего, мы-де, господин директор, считаем недопустимым то-то или то-то, неважно. Говорили надзирателю: позовите старшего надзирателя, или помощника директора, или даже самого директора... И не говорили так просто, а, наоборот, даже перегибали палку, всю дорогу называли охранника «мосье»: мосье надзиратель, не будете ли вы так добры позвать мосье старшего надзирателя, мы бы хотели с ним побеседовать по поводу... Дело кончалось всегда одним и тем же: он уже с раннего утра бежал рысью, и всех этих начальничков они требовали по очереди. И так почти каждый день. И начинали они сразу, не успев еще даже оглядеться. Первый, которого привели, еще был у двери, еще не переступил порога, такой невысокий, но, видно, не лыком шит, и кого, ты думаешь, он видит? — как раз проходит старший надзиратель, тот на него как глянет, надзиратель-то, и пустился наутек. А тот, заключенный, как крикнет ему вслед: «Эй, вы, напомните-ка мне, как вас зовут!» А старший-то от него по стеночке, по стеночке. Узнали друг друга — уже встречались: один был надзирателем, другой сидел во времена бошей. «Напомните-ка мне, как вас зовут!» А потом, извините, смелости у них хоть отбавляй. Тот маленький — ведь был какой-то важной шишкой в Сопротивлении, что-то там возглавлял в Париже, а между собой они его звали просто Тото, а уж симпатяга — сил нет, и веселый, шутник, хоть и такой

маленький. Там приходила к одному из них адвокатша, не знаю к которому, с таким длинным именем: Мэтр Громкоголосая де Толстозад, ей-богу, ее так звали, представляешь? Ну и Тото сразу прозвали — Тото де Плоскозад. Надо было видеть, как он прыгал,— при такомто прозвище, когда они играли у себя на дворике в волейбол. Потому как они добились, чтоб им разрешили передать с воли сетку и мяч, посмотрел бы я, кто бы им не разрешил. Они у себя на дворике даже нашли улиток на газонах вдоль стен. В отделении у них было несколько свободных камер. В одной они сделали вроде бы общую кладовку — там и ели все вместе, а в другой, в конце коридора, сложили в ящик улиток. Только ночью твари эти расползлись, далеко они не ушли, потому что на ночь все двери запирали, даже в этой камере, но из ящика утекли и расползлись по стенам, потолку, окнам. Пришлось все облазить, чтобы их собрать,— смеху-то было: одну за другой и — снова в ящик, чтоб дошли для готовки. Следы этой охоты до сих пор сохранились, хоть уже пять месяцев прошло. Держу пари: если бы хватило у меня духу, отправился бы туда и нашел бы их следы, вспомнил бы то время, когда ребята там еще были.

Не нужно только думать, что все делалось само собой. Просто если им в чем отказывали, они подымали бучу. А те, даже сам директор, не то чтоб уж очень их боялись и не слишком усердствовали, только вид делали. Наверно, про себя они думали, что ведь может прийти день, когда эти коммунисты возьмут верх, и случай с главным надзирателем, которого Тото узнал, был уроком на будущее — ничего загадочного тут нет. Особенно они боялись шума на воле — газет и всего прочего — и внутри. Потому что была опасность, и немалая, что эти политические превратят в бордель всю тюрьму, всех перезаразят. Когда в самом начале они взялись колотить в дверь, потому что их заперли, кое-где и в других камерах начали этим развлекаться. Все это сборище налетчиков, воров, разных там чернокожих, все они не очень-то долюбливали коммунистов, но когда дирекции доставалось, это всегда вызывало восторг. Не говоря уже о том, что как только политические выцарапывали кой-чего для себя, те тут же начинали орать: а нам? Дурной пример. А уж заразительный! Взять хотя бы их умение говорить с начальством! Политические — они имеют право, счастливцы, чтобы жены приходили к ним в камеру. Если б я имел такое право, я бы смог удержать Югетту. Но им тоже не разрешали таких встреч, и они бились, чтобы разрешили. И добились, чтобы при свиданиях не две сетки отделяли их от жен (а между этими сетками по коридорчику еще надзиратель вышагивает), теперь им разрешили разговаривать через одну сетку. Мало того — они еще стали проделывать в сетке дырки. Сначала маленькие, совсем маленькие, только чтоб просунуть два пальца, три пальца, погладить жену по руке, а потом — больше, чтобы уже можно было передать записочку, пакетик сверх положенных передач и заодно... Ох, и спорили же между собой по этому поводу политические! Меня они не стеснялись, не считали наушником — я ведь уже рассказал им всю свою жизнь. Одни говорили про эти дырки в сетке, что их-де поставят нам в вину, используют против нас и нам труднее будет защищаться. Другие говорили наоборот: чем больше им гадить, тем скорей они поднимут ручки. А дыры пока что увеличивались. Одна-две были уже такие, что можно было просунуть голову, чмокнуть жену, поздороваться, попрощаться с ней, поцеловать в губы, подержать за руку, погладить по щеке,— ведь все были еще не старики, а прямо-таки впадали в детство и шкодили, как в восемнадцать лет,— другим-то заняться было

нельзя — это же тюрьма, не что-нибудь, они сами так говорили. А под конец те, кто мыл полы в их приемной, рассказывали, что сетки там были в клочья разодраны и проволока торчала во все стороны, точь-в-точь как балки в разбомбленном доме. А было еще и почище — всего две недели назад, 14 июля,— тогда еще и не знали они, что их вот-вот освободят, но ведь для них это вообще праздник свободы, вот они и перелезли через сетку к своим женам на ту сторону. Надзиратель в панике, старший, директор — тоже, да только что они могли поделать?

В общем, стал я у них парикмахером. По мне — что коммунисты, что другие, я о них вообще ничего не знал, мне даже ни разу и голосовать не пришлось. Интересно, будет ли у меня вообще такое право после всех этих дел — судимостей, армии и так далее? У Гаспара я ведь всего один был — иди и «организуйся», как они говорят. Муж сеструхи работал на «Испано», был членом профсоюза, но если вы спросите меня, какого... Ладно, вопрос не в этом. Они меня тут же выспросили, за что я загремел,— они уже тоже говорили, как все в тюрьме, «загремел»,— и это была с их стороны просто естественная предосторожность после того сюрприза с предыдущим парнем. Ну что ж, я и сказал, сказал всю правду, как и судьям, самое смешное, что сначала эти тоже начали молоть об этом самом неповиновении из убеждений, а я им тоже сказал — правда пусть и будет правдой, и это никакие не убеждения, а личные мотивы. Потом они мне сказали, что они не поддерживают такое решение вопроса — так уж принято у них выражаться: «решение вопроса», обожают они громкие слова, но когда с ними общаешься, приходится привыкать. Мы, говорили они, мы за коллективные действия как в армии, так и везде. Чушь какая-то. Но самое тут для меня было главное то, что они могут вот так говорить за других. Я, к примеру, с трудом понимаю, что я сам думаю. А любой из них скажет тебе с ходу, что они все вместе думают: мы — то, мы — это, и даже больше: они и тебе говорят, что ты должен думать в том или другом случае. Ну, ладно, замнем — кстати, я всегда на эту тему помалкивал, да и они, по правде, разговаривали со мной так только первые дни, точно надо это высказать раз и навсегда, чтоб потом быть поспокойнее. А потом все стало просто — никто со мной никогда так не разговаривал, как эти ребята. Даже Югетта, сеструха, зять — все считали, что я виноват, это чувствовалось. Эти же — ничего похожего. Они, так сказать, «заминали» эту тему, я бы их, может, и подтолкнул, да только видно было, что у них вообще нет охоты перемалывать, что было. Что сделано, то сделано, и ничего тут не попишешь — вот как они ко мне относились. Как быть, когда выйду? Прежде всего найти свою Югетту, раз она тебе нужна. Еще бы не нужна! Если бы не нужна мне была, так и ничто другое не было бы нужно и ничего бы я не боялся — ни армии, ничего, пожалуйста, мог бы ехать в этот ихний Индокитай, пусть убивают, и вообще на край света. Это же из-за нее я все натворил, а они еще спрашивают, нужна мне она или нет. А ты не эгоист немножечко, Жако? Я — эгоист, как же, пусть покажут мне кого-нибудь несчастнее меня... А она, ты думаешь, она любит тебя так же, как ты ее? Сейчас — не знаю, но еще совсем недавно — да, голову даю на отсечение. Был среди них один — Луи, такой большой, славный парень, жуть какой вспыльчивый, но тут же отходил и утыкался в свои книги; папаша его держал ресторанчик на Монмартре. Откуда я знаю? Он же мне раз сказал: вот увидишь, когда все утрясется, как-нибудь приедешь к нам туда вечерком со своей Югеттой и увидишь. Ну и я — он-то мне этого никогда не говорил — представляю себе Монмартр: низкое небо, никогда не ви-

дел, а представил себе и сейчас представляю этот маленький ресторанчик с бочонками вина, возле них столики, а вместо скамеек — доски, из которых торчат гвозди, и надо быть осторожным, а может, все там и совсем иначе — я ведь в жизни-то не видел. А теперь и вовсе никогда не увижу. Так вот этот самый Луи чаще всех со мной разговаривал. И лучше всех. Потому как они тоже всю работу делили между собой, и он, явное дело, жратву им обеспечивал — научился этому у отца и как раз работал, когда я приходил. Другие гуляли во дворе или работали у себя по камерам, как они это называли, ты, конечно, скажешь, что это за работа в тюряге. На самом деле очень скоро я уже никого не брил — у них были у всех свои бритвы и лезвия, и надзиратель это прекрасно знал, они ему прямо так и сказали, надзирателю, чтобы я у них все равно остался. Они-то ведь видели, что мне от этого легче. Приходил я со своим ящиком — мыло, кисточка, ремень, бритвы, машинка для стрижки, ножницы, вот как сегодня, ставил все на стол, на том дело и кончалось. И целый час никто меня не донимал. Некоторые надзиратели даже разрешали мне высунуть нос на воздух, выйти во двор, только чтоб меня не увидели из камер смертников напротив, на верхнем этаже. Иногда, в особо торжественных случаях — посещения там, допрос в Париже — кто-нибудь из них просил: «Ну-ка, Жако, освежи мне стрижку». Они сразу же стали звать меня по имени, как друг друга. Я сначала говорил им «вы», а они как заорут: «Да ты что, спятил?» А он, Луи, сказал мне как-то: «Доверься мне, Жако», очень уж он любил повторять: «Доверься мне, доверься, если получится так, что я выйду раньше тебя, я сам навещу твою Югетту, и вот увидишь, я сумею с ней поговорить, доверься мне».

А моя Югетта тем временем — да уж, надо признать, это была бы самая страшная, самая страшная полоса в моей жизни, если бы не эти парни,— как она и грозилась, перестала у меня бывать. Месяц шел за месяцем, прошло четыре месяца, как я ее не видел. И вот — это был самый тяжкий, право же, самый тяжкий для меня день, явились ко мне сеструха и шурин вместе, и я сразу все понял, как они заходили вокруг да около, пока решились мне сказать, что нужно одуматься, Жако, она подала на развод, Югетта, и вообще ее уже видят с другим, даже и не француз, сказали они, а вроде бы испанец с прилизанными волосами и бачками. Так что все погорело. А тут еще месяц назад эта встреча для примирения — еще одно громкое слово,— и для этого меня даже вывезли из тюрьмы. Я узнал об этом накануне, узнал, что увижу ее, может, мне удастся с ней поговорить, обнять ее, вернуть, кто знает. И в то же время я был таким несчастным — дальше некуда, а все по дурости надеялся: ведь все может быть, кто знает. Я вспоминал наши лучшие с Югеттой минуты — только их и хотелось вспоминать. Ребят я предупредил накануне. «Но мы же еще увидим тебя завтра утром?» — спросили они. Конечно, ведь фургон за мной приедет только в час. В то утро — я, конечно, преувеличиваю, я знаю, что преувеличиваю, но знаю также, что хоть и преувеличиваю, а не вру,— они только что не брили и не стригли меня, готовили меня к этой поездке, к этой встрече для примирения или как там оно называется. Мне так хотелось этому верить. Помылся и побрился-то я еще до прихода к ним, незачем было по новой. А они все вокруг меня собрались, точно я боксер перед выходом на ринг, а они тренеры, массажисты, болельщики, вся команда,— и не забудь про то, и особенно обрати внимание на это, и держи себя в руках — потому что я тоже вспыльчив, они уже заметили. А один: «Смотри-ка, я забыл в кармане с того раза, как меня возили к судье Дювалю! Тебе не

лучше с галстуком? Нет? Давай все же попробуем, я его тебе одолжу!» И у них в камерах всегда были цветы — жены приносили. Так они выбрали мне цветок, чтоб я подарил его своей Югетте. Они, конечно, тоже перебарщивали, но не для того, чтоб посмеяться надо мной, нет, хотели меня поддержать, развеселить, видели, как это для меня тяжело,— ну, Жако, приободрись! Так я и уехал, потому что было это в полдень, до часу я не мог ничего ни есть, ни пить, только весь трясся. И не зря. Ничего не получилось: никогда я не видел ее такой. Все пропало. Подумать только, выйди я на два, на три месяца раньше, я уверен, что... Вечером я был до того убит, что чуть не забыл про них. Они взяли с меня слово и сговорились со своим надзирателем, что вечером я смогу к ним пройти и рассказать, как все было. И они ждали меня. У этих ребят было предостаточно развлечений и новостей, каждый день они получали полно газет, интересовались, что там происходит во всех концах света, и особенно делами обычными — отсюда, из тюрьмы, они на все как бы с высоты смотрели, а тут — голову даю на отсечение,— в тот вечер они ждали меня, я был им важней всего. Доказательство: они старались от меня это скрыть, но я-то видел, я не мог ошибиться.

Я им сказал, что все пропало, хоть сам заранее почти знал все, что они будут мне говорить, даже при надзирателе, этот мерзавец стоял сбоку и чуть не плакал, и хоть все они насквозь перевертыши, не решался он потянуть меня за рукав, намекнуть, что пора-де идти: ведь мы оба с ним нарушили правила. Это было месяц назад. А позавчера их всех разом освободили. Вот радость-то, представляешь, и я был рад не меньше их. Я был ведь вроде как ихний, и я даже исхитрился прийти к ним попрощаться,— а как же. И без всякой задней мысли — был, правда, рад не меньше их самих.

Вот только ночью в камере, когда остальные двое спали, а меня разбудил первый обход, и один храпел, а другой громко говорил во сне не разберешь что, тут я запаниковал.

Вчера утром я сюда пришел как обычно. Дверь в отделение не заперта — толкни и входи. Надзирателя нет. И двери всех камер нараспашку. И окна тоже. И сквозняк. Когда я открыл дверь в отделение, на другом конце коридора захлопнулась дверь во двор. Так это странно, особенно в тюрьме, когда все открыто и пусто. Еще ничего не убирали. Картинки на стенках, газеты, даже афиши, смятые клочки бумаги на полу, запасы продуктов, которые они сложили вместе три дня назад, чтоб хватило на неделю. Когда отсюда уходишь, ясное дело, кто же станет возиться с таким барахлом, просто дуреешь, дуреешь от радости, бегом бежишь, стараешься, чтоб не заметили, или даже не стараешься, а если тебя зачем и задержат, все равно бежишь, аж задыхаешься.

И сегодня утром я тоже пришел сюда, сам не знаю почему. Все прибрано, вымыто, в помещении как-то еще пустей. Не знаю уж, но мне стало еще хуже, чем прежде, чем до того, как их привезли.

И как подумаю про Югетту: ведь несколько месяцев назад достаточно было бы, чтоб я побыл с ней на воле еще чуть-чуть, или вначале — полгода или год, чтобы все закрепилось, хоть сто раз им повторяй... Нельзя так с человеком обходиться. Глупый, не глупый, но я человек, хотите вы этого или нет. И она, Югетта, тоже, уж до чего же она наплакалась, прежде чем сдалась. А теперь слишком поздно. Если бы даже я вышел сегодня и бросился их искать, бросился искать прежде всего Луи, я еще не знаю, сумел бы я их найти, все равно было бы слишком поздно. А ведь это только одно «если бы»! И на «если бы» не проживешь. А Югетта — нет, ничто меня не переубедит — она меня любила. Как и я ее. А мо-

жет, и больше. Тот раз, когда она пришла в мою комнатушку у Гаспара... Сам-то Гаспар в первые месяцы, в первые разы относился ко всему этому скорей одобрительно, это потом он забоялся, что на него косо смотреть станут или еще что. Нет, перевелись люди! А тот раз в кино, в самом начале, когда она все щекотала мне ухо концом косыночки... Или тот раз, в разгаре лета, на берегу Марны, когда она поскользнулась на глине — высокие каблучки ее так и провели две борозды,— и она сказала, что ушиблась, но это для того, чтобы я понес ее, а ведь я тоже мог поскользнуться, потому как дождем всю землю размыло, точно от коровьей мочи. А теперь она так же, может, заигрывает с другим.

А порез-то этот чертов саднит. Какая же это беда, что не хватает у меня духу! Ну-ка, вылезай снова, ты, я же знаю, что не хватит у меня духу, не то вот было бы здорово! Посмотри, как я дрожу! Ты не очень-то радуйся, что широко открыта в моей руке, не обманывай себя: никакой нет опасности. Я могу смотреть в зеркало — прямо себе в глаза, ну и что? Увижу только, что боюсь, что я трус. Никакой опасности — я могу даже приложить лезвие к коже, там, где щиплет, и острием нащупать порезик, видишь?

И глядя себе прямо в глаза, он сам подивился, наш Жако, что у него все же хватило духу.

Перевод Т. ЕРОФЕЕВОЙ

■

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

К 100-летию со дня рождения

■

С немецкого

Райнер Мария Рильке родился 4 декабря 1875 года в Праге, городе, где, должно быть, и возникли впервые его пронесенные через всю жизнь славянские — позднее особенно русские — симпатии. Ненадежное, без опоры в будущем, существование на окраинах тогдашней Австро-Венгерской империи наполняло душу поэта тревожным ощущением общего неблагополучия мира. В девятнадцать лет Рильке уехал из дома.

Мюнхен, Берлин, Ворпсведе, Париж, Швейцария, многочисленные странствия по Европе — все это густо исписанные страницы биографии поэта, так и не обретшего того, что он смог бы назвать домом. Какое-то время сильно влекла его к себе Россия, куда Рильке ездил дважды, в 1899 и 1900 годах, и даже как-то высказывал намерение поселиться там окончательно. Об этих путешествиях, о двух встречах с Львом Толстым, запомнившихся поэту на всю жизнь, писалось у нас много [1]. «Ни с чем не сравнимый мир, мир неслыханных измерений», который, по его словам, открыла Рильке Россия,— это не только ставшие ему дорогими спокойные русские ландшафты, но и, в большей степени, мир русской культуры. Об этом свидетельствуют письма Рильке, где вплоть до последних лет его жизни находят место точные и полные искреннего восхищения высказывания о Толстом, Достоевском, его переводы с русского («Слово о полку Игореве», чеховская «Чайка», отрывок из «Бедных людей» Достоевского, стихотворения Лермонтова, Фофанова, З. Гиппиус), даже попытки писать стихи на русском языке. Отсветы русского мира проступают и во многих произведениях поэта (один из примеров— «Ночная езда. Санкт-Петербург»).

Путешествия в Россию стали тем рубежом, который отделил творчество раннего Рильке, с его настойчивым стремлением найти собственный поэтический голос и в то же время данью литературной моде «начала века», от «Часослова» (1903), первого, как считал поэт, значимого его произведения. Здесь сходятся разные направления духовных исканий Рильке. Обретенное было в религиозных раздумьях гармоничное восприятие жизни разрушается из-за несовершенства «мира божьего» с его нищетой, несправедливостью («Книга о бедности и смерти»).

Господы! Большие города
Обречены небесным карам.
Куда бежать перед пожаром?

(Перевод В. Микушевича)

Позже, в Париже, свершился другой важный поворот в творчестве Рильке — от лирической многозначности, импрессионистичной размытости контуров образа в «Книге картин» (1906) к строгой образной чеканке «Новых стихотворений» (1908). Так, в

[1] См.: Р. М. Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., «Искусство», 1971 г.

стихотворении «Конфирманты», входящем в «Книгу картин», главное — передача неуловимого, невещественного: переплетения световых оттенков, тревожного ощущения исхода детской поры и вступления в неведомое — в зрелость. Зато такие стихи, как, например, «Голубая гортензия» (сборник «Новые стихотворения»), тщательно воссоздают образ в его конкретности, в зримой, почти осязаемой пластичности.

С беспощадной, хотя и не всегда бросающейся в глаза требовательностью относился Рильке ко всему, что выходило из-под его пера. Роден и Сезанн, два дорогих ему художника, примером своей жизни убедили поэта в том, что «жизнь может стать искусством, только если она станет сначала работой». И становится понятно, почему расстояние из нелегких десяти лет — а сюда вошли и годы первой мировой войны, когда Рильке почти ничего не писал, и революция 1918 года в Германии — пролегло до его поздних свершений: «Дуинских элегий» и «Сонетов к Орфею» (1922), целостных, дополняющих друг друга циклов.

Хотя творческий путь Рильке, со всеми его подъемами и спадами, был не простым и далеко не гладким, внутренний рисунок жизни поэта поражает своей завершенностью. Здесь одно, горькое и радостное, стремление — «пережить все человеческое, вплоть до смерти», и сохранить, сберечь пережитое в «невидимом» мире души как единственно возможную собственность, как дар судьбы («И это дар...»), чтобы когда-нибудь позже, в миг одиночества и высшей сосредоточенности, сделать это стихами, «создать нечто жизнеспособное, нечто длительное, очередную ступень возвышения: вещь». «Вещи» Рильке несут на себе отпечаток обыденного, повседневного человеческого бытия, однако они не исключают и иного, более углубленного и обобщающего толкования.

Трудно назвать другого поэта нашего времени, у которого было бы столько комментаторов и исследователей, примыкавших к самым разным направлениям, и в то же время столько благодарных читателей, чаще всего равнодушных к комментариям, как у Рильке. Это и понятно. Цельная, эмоциональная, с запоминающимся ритмическим рисунком, в основе своей доходчивая, его поэзия скрывает в своих глубинах стремительное течение мысли, обнажая временами сложные философские и этические построения. Отнюдь не суля «легкого чтения», она требует и сопереживания, и соразмышления. Впрочем, философская мудрость Рильке естественна, ненавязчива. «...С какой бы философией я ни сталкивался в моей жизни,— писал он в письме к А. Н. Бенуа,— я всегда обращался с ней как с поэзией». И дальше: «...я всякий раз пытаюсь искать человека там, где его опыт, еще синтетический и нерасчлененный, выступает во всей своей живой полноте, без ущерба, наносимого ему ограничениями и уступками, которых требует любая систематизация». Это стремление вырастало из добросовестности образной мысли поэта, из обостренного эстетического и нравственного чувства. Не случайно возникли разногласия Рильке с Кьеркегором в романе «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910) и долгая, прошедшая почти через всю жизнь внутренняя полемика его с Ницше, которая стала особенно явной в «Сонетах к Орфею» (характерно, что Орфей — «истинной кротости бог»).

Отдельная человеческая жизнь, неповторимо индивидуальное переживание мира представляют для поэта высшую ценность и высший интерес. Люди разных духовных устремлений, разного ремесла, разных сословий (часто это обитатели беднейших кварталов больших городов, униженные и оскорбленные, которым принадлежали всегда глубокие симпатии поэта), даже персонажи из античной и христианской мифологии, ведомые людскими тревогами, обретают в поэзии Рильке голос, становятся участниками судьбы поэта. Постичь сокровенное, истинно человеческое, неуловимое, осмыслить это и облечь в слова, не разрушив неловким прикосновением, неточным выражением, слишком поспешным выводом,— в этом виделось Рильке назначение искусства. Такого, какое смогло бы противостоять становящемуся все более тревожным миру, где разрушались естественные связи между людьми и утверждались мнимые ценности собственничества, где человеческая жизнь, обезличиваясь, все больше уподоблялась продукции столь ненавистной Рильке машины.

Видишь — машина?—
Дребезг и дым.
Нами рожденная, мстит нам, живым.

Это бесстрастье, бездушие сил
нас изгоняет. Раб подавил
жизнь господина.

(Перевод З. Миркиной)

Рильке нередко сравнивают с Блоком, и это убедительное сравнение. У двух великих поэтов, живших в одну эпоху, есть немало точек соприкосновения. Но судьба австрийского поэта, его мировоззрение оказались более трагичны. Ему так и не был дарован в конце жизни выход, так и не открылись иные возможности мироустройства.

Оставалось уповать только на свои силы. Поэтому искусство становится у Рильке единственным средством спасения, призванным сохранить гармоничное и целостное восприятие жизни, уберечь от разрушения человеческую душу.

Поздние сонеты Рильке воспевают бога Орфея, символ вечно возрождающейся в мире песни, приносящей человеку «плоды утешения». «Но не в христианском смысле (от которого я все более решительно ухожу), а в чисто земном, в глубоко земном, в блаженно земном намерении все то, что мы зрим и осязаем здесь, перевести в более широкий, широчайший круг бытия». Этим широчайшим кругом бытия стала для Рильке культура, основанная на гуманистических традициях прошлого, культура, продолжать которую призвано подлинное искусство.

...В известном стихотворении Рильке «За книгой» есть строки:

И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему!

(Перевод Б. Пастернака)

Таковы и книги Рильке.

Произведения Рильке издавались у нас в стране. Около десяти лет назад вышел первый сборник, включивший в себя стихи из всех наиболее значительных его произведений («Лирика». Перевод с немецкого Т. Сильман. М.-Л., 1965). За ним последовала уже упоминавшаяся книга издательства «Искусство». К юбилею поэта советский читатель получил еще два сборника его стихотворений — «Избранная лирика» (М., «Молодая гвардия», 1974); «Лирика» (Киев, «Днипро», 1974; перевод на украинский язык М. Бажана); готовится книга в издательстве «Художественная литература». В нашу небольшую публикацию вошли главным образом стихи, не представленные в указанных сборниках.

Н. ЛИТВИНЕЦ

Из сборника «ЧАСОСЛОВ»

Убогие углы — как алтари,
там вечное становится едою,
но вечерами, с первою звездою,
сливая в эхо все пережитое,
оно в себя уходит до зари.
И бедные углы — как алтари.

Дом бедного — как детская ладонь.
Вбирая все, что взрослому не надо,
она жуку диковинному рада,
сыта песком, горошинками града,
речной ракушки звоном и прохладой —
и, как весы, становится крылатой
от каждой лепты, с каждою утратой
и вся дрожит, едва ее затронь.

Дом бедного — как детская ладонь.

И как земля бедняцкое жилье,
осколок — и, быть может, изумруда,
еще неразличимого покуда;
все бедно теплой бедностью закýта,
но смерклось на земле, еще минута —
и звезды начинаются с нее.

Когда темны часы моей дороги
и жизнь моя встает передо мной,
она как писем выцветшие строки,
где отошли события и сроки
далекой, как легенда, стариной.
Впотьмах видней, как в эту пустоту
вступает жизнь бессрочная, вторая.
И я тогда, как дерево, расту,
на дно могилы корни опирая,
где мальчик (а теперь — земля сырая)
доверил листьям праздновать мечту,
которую проплакал умирая.

Из сборника
«КНИГА КАРТИН»

Слова на сон

Найти бы кого бессонного,
присесть на его кровать
и, в детство перенесенного,
баюкать и согревать.
И знать одному, как ночь холодна,
когда впереди ни огня.
И вслушиваться, пока тишина
не вслушается в меня.
Струится время по руслам рек,
часы окликают мрак.
А мимо бредет чужой человек
и будит чужих собак.
И вновь тишина. Я глаза подниму,
и взгляд, уходя вперед,
придержит тебя и отпустит во тьму,
где что-то на миг оживет.

Сосед

Чья-то скрипка, в каком краю
не встречала знакомой нотой
твоя сирая ночь мою?
Это первый скрипач? Или сотый?

И не будь тебя под рукой,
он ушел бы на дно речное?
В каждом городе есть такой?
И всегда за моей стеною?

Почему не найти угла,
где бы вновь, кого-то жалея,
ты не пела: — Жизнь тяжела
и всего, что есть, тяжелее?

Одиночество

Оно как дождь. Вставая молчаливо
навстречу ночи с темного залива,
оно с земли, глухой и сиротливой,
уходит в небо, свыкшееся с ним.
И, падая, течет по мостовым.

Льет в серые часы, когда округа
к рассвету тянет улицу, как руку,
когда тела, не разгадав друг друга,
кончают путь по замкнутому кругу
и люди, ненавистные друг другу,
в одной постели молят о покое,—

тогда к морям течет оно рекою...

Перевод А. ГЕЛЕСКУЛА

Конфирманты

(Париж, май 1903)

В одеждах белых входят конфирманты
под зелень неокрепшую садов.
С них детство снято, как снимают банты,
и впереди — ничьих следов.

Сейчас они у времени в провале,
на полпути меж завтра и вчера.
Окончен праздник. Дни оттанцевали.
Становятся печальней вечера.

Шло восхожденье к белому наряду,
проход вдоль улиц, пестрых, как букет;
и церкви шелковистая прохлада,
и длинных, как аллеи, свечек свет;
и все огни сверкали, как награда,
глазам их переполненным в ответ.

И стихло все. И зазвучал хорал.
И, как туман, он все в себя вобрал,
и просветлел под сводами собора,
и пал дождем на белые уборы;
и всколыхнулся белый ветер лент,
и цвет проник в оборки и фестоны,
как будто, лопнув, вспыхнули бутоны,
трава и эльфы, звезды и драконы
из полупозабывшихся легенд.

А день снаружи зелен был и ал.
Он звал в края голубизны и света.

И красок рой летел на крыльях лета,
и пруд волнистый тихо уплывал.
И все внезапно зацвели сады.

Распахиваясь, окна загорались,
плелись венки из солнечных лучей,
как будто проступала суть вещей.
И даже стены чувствовать старались.

Перевод Н. ГРИГОРЬЕВОЙ

Из сборника
«НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»

Голубая гортензия

Как слой сухой зеленой краски в тигле,
шершава и суха ее листва
за зонтиком цветов, чья синева
их не проникла — только к ним приникла,

как отражение, как пелена
рассеивающейся слезной влаги,
и, как в старинной голубой бумаге,
в них есть лиловость, серость, желтизна.

Как детский фартук сношенный, любимый,
застирана и выцвела она.
Как этой жизни краткость ощутима!

Но вот голубизною обновленной
соцветий жизнь опять воскрешена,
и синь сияет пред листвой зеленой.

Чужая семья

Как возникает пыль из ничего,
и нет ее, и вдруг с какой-то целью
пустынным утром забивает щели
и, значит, превратилась в вещество,—

вот так они возникли в некий миг
бог знает из чего перед тобою.
Ты шел куда-то мокрой мостовою,
и что-то неопознанное в них

к тебе рвалось. Иль вовсе не к тебе?
Был голос, как тогда, он плыл из тьмы,
и пел, и все ж заплакал в завершенье.
Была рука, как взятая взаймы,
и все же не было прикосновенья.
Что ищут все они в твоей судьбе?

Опыт смерти

Мы ничего не знаем про уход
раз навсегда ушедших. И не нам
судить о смерти, забежав вперед,
приглядываясь к сдвинутым чертам

на маске трагедийного конца.
Пока мы здесь разыгрываем роли
в надежде славной лицедейской доли,—
играет смерть от своего лица.

Но ты ушла, и к нам одновременно
проник луч подлинности в ту же щель,
в которой ты исчезла с нашей сцены:
луч яви, нам неведомый досель.

А мы за славой гонимся упрямо,
мы упиваемся своей игрой...
Но вырвавшееся из нашей драмы
твое существование порой

нас будто тянет за собой из плена,
чтоб вдохновить нас подлинностью яви.
И в те минуты мы самозабвенно
играем жизнь, не думая о славе.

Уход блудного сына

Уйти, оставив хаос непокорный,
не ставший нашим, нам принадлежа,
что, словно горный ручеек проворный,
неверно отражает нас, дрожа;
покинуть это все, шипами терна
цепляющееся за нас, уйти
и обрести
Того и Тех, прозрев
(они так будничны и так привычны),
открыть глаза, увидеть мир вторично,
но заново, сменив на милость гнев;
внезапно догадаться, как безлично
страдание готовит свой посев,
чтоб с детских лет нас одарить сполна,—
и все ж уйти: черта подведена.
Разбередив залеченную рану,
уйти: куда? В неведомые страны,
в далекий край недвижности и сна,
стоящий, как кулисы, постоянно
и безразлично: сад или стена.
Уйти: зачем? Но в этом суть порыва,
надежды смутной и нетерпеливой,
что недомыслием порождена:

тащить всю тяжесть бытия земного
и выронить в растерянности, чтоб
сойти в уединенье горьком в гроб —

и это ли начало жизни новой?

Перевод К. БОГАТЫРЕВА

Ночная езда

Санкт-Петербург

Помню, вихрем, на осатанелых
вороных орловских рысаках —
в час, когда при фонарях, на белых,
сумраком залитых островах
по-ночному улицы мертвы,—
мы катили, нет — летели, мчали
и дворцов громады огибали
и ограды пасмурной Невы,

замирали от броженья ночи,
где земля и небо наугад,
в час, когда округу что есть мочи
травяным настоем Летний сад
одурял, и статуи скользили
мимо нас и спрятаться спешили
в зыбком полумраке,— мы катили;

помню, отступил назад
город. Вдруг постиг он, что его
вовсе не было, что одного
он покоя жаждет,— так больной,
приступом ошеломлен, разбит,
верует, когда очнется снова,
что от сновидения дурного
навсегда избавился: гранит,
отпустивший мозг полуживой,
канул, точно в воду, и забыт.

Из стихов,
НЕ ВОШЕДШИХ В СБОРНИКИ

Летняя ночь в городе

Серый вечер лег, загустевая,
и холстиной, вымокшей до края,
ночь у газовых рожков висит.
А повыше, контуры теряя,
занялась огнем стена глухая
флигеля и, дрожь не унимая,
точно полная луна, парит,
свет лимонный, как луна, лия.

И плывут над крышей одиноко
дали в чужедальние края,
и во все концы глядятся окна,
белые, без признаков жилья.

Перевод В. ЛЕТУЧЕГО

■

И это дар: что мимо нас прошла
возможность счастья. Нет, не то. Не так.
Скорее невозможность. Лишь прозренье,
что это лето, старый дом в цветах
и музыка минут, мелькнувших тенью,
невинны в том, что юность солгала.

Далекая, вновь полон я тобой.
Не как дитя смятенное — как бог
ликующий. О, если бы умела
нам память все вернуть, какой чертог
из отблесков того, что пламенело,
смогла бы жизнь сплести в душе — любой.

Перевод Н. ГРИГОРЬЕВОЙ

Из сонетов К ОРФЕЮ

■

Где-то есть корень — немой,
в недрах, глубоко,
сросшийся с древнею тьмой,
с тишью истока.

Головы в шлемах, белей
кудри, чем луны,
братство и брани мужей,
жены как струны.

С веткою ветвь сплетена
гуще, теснее...
Только вот эта одна

вырвалась. Тянется ввысь.
О, не сломайся! Согнись
в лиру Орфея!

■

О, не кичитесь, суды, тем, что каленым металлом
больше людей не клеймят — терны не ранят чела.
Но не возвысился мир — тот же в великом и в малом,
кротость ему на лицо лживой гримасой легла.

То, что нам время несет, время уносит в свой срок,
точно игрушек набор. Будут опять именины,
новые куклы придут. В вечно простые глубины,
в ясность молящих сердец истинной кротости бог

входит иначе: дыхание мощи,
миг озаренья, лучей всеохват!
Больше, чем ветер для крепкого паруса, проще

тихого слова. Так тайно и свято
сердце берет он, как вспыхнувший взгляд
детский, в бездонности мира зачатый.

■

Где, в каких сокровенных садах, из каких облетевших
соцветий
вызревают плоды утешения? Эти
чудотворные грозди, одну или две из которых
мы порою находим на выжженных наших просторах,

на истоптанных бедных лугах? О, как сердце дивится
форме, силе целебной плодов наливных
и тому, что нигде не склевали их птицы
и что нет ни одной червоточины в них.

О, сады, где витает легчайшая стая
тихих ангелов! Там дерева, вырастая,
плодоносят для нас, хоть они взращены

и не нами. И как это — схемы и тени —
мы своей суетой скороспелых хотений
не нарушили их золотой тишины?

■

Правда ль, все рушит оно — грозное время слепое?
Сколько веков на горе замок недвижно стоит?
Верное вечным богам сердце в глубоком покое.
Разве его Демиург сокрушит?

Правда ли, так уж мы все хрупки и вечно во власти
у своенравной судьбы? Все ли уйдет без следа?
Детство... та весть из глубин... безотчетное счастье —
разве не длится оно тихо, в корнях, навсегда?

Ах, только призрак, теней колыханье
сквозь простодушное око сознанья
быстро проходят, явившись едва...

Мы же, подвластные зиждущим силам,
вечно струимся по жизненным жилам,
неотделимые от божества.

Ничего не нужно, кроме стелы —
лика с вечно кроткой белизной.
Близкое, почти земное тело,
но без лишней тяжести земной.

Ничего не нужно, кроме точной
линии, ведущей внутрь пустот.
Холод бездны... Может, в час полночный
это он неслышно к нам плывет?

Но и все, что здесь, перед глазами,
так бездонно! Синева ясна...
Ветер лечит... утешает пламя.

«Здесь» и «там» едино. Ты в объятье
двух миров. Так просто! Белизна
нераздельна с белой тканью платья.

■

Вслушайся... вот уже звуки работы
первые, там, в предвесенних полях...
В крепкой земле расправляется что-то
долго лежавшее. Жизнью запах

мир. Этот запах тепла молодого,
вкус ветерка, наполняющий рот,—
старое, бывшее, радостью новой
входит и сердце всевластно берет.

Даже дубовой листвы прошлогодней
шапка нам кажется в сумерках кроной
будущей. Вдох все полней и свободней

Густо чернеют кусты придорожий.
Сытая темень листвы разрыхленной
с каждой ушедшей минутой моложе.

Перевод З. МИРКИНОЙ

■

Критика

Е. ГАЛЬПЕРИНА

МОЛОДОЙ БУНТАРЬ В ПОИСКАХ ПУТИ

О творчестве А. Квеи Армы

Выбор пути, альтернативы дальнейшего развития — сейчас основной вопрос для новых независимых государств Тропической Африки. Неудивительно, что это и основной вопрос, волнующий писателей этой части континента.

Молодой романист из Ганы А. Квеи Арма (род. в 1939 году), сейчас уже автор четырех романов о судьбах Ганы и Африки в целом, стал широко известен при первом своем появлении в литературе. Его роман «Прекрасные еще не родились» (1968) имел успех, равный сенсации, и был очень высоко оценен европейской и американской критикой, а африканцами воспринят как одна из сильнейших книг в Тропической Африке.

Со второй половины 60-х годов в литературе этого региона наметились тенденции, которые западная критика окрестила «второй волной» африканских литератур, «волной разочарования», и Арму приветствовали как писателя, взлетевшего на гребне этой волны.

Творчество Армы достаточно сложно, и только в совокупности всех его четырех романов раскрывается облик писателя и его развитие.

Окончив Ачимотский колледж в Гане, Арма оказался в числе трех одаренных юношей, которых в конце 50-х годов правительство молодой независимой Ганы послало учиться за границу в США. Арма провел несколько лет в Гарварде, изучая политические науки, социологию; и не случайно во всех романах и статьях Армы ощущается острый интерес к социальным и политическим вопросам. В конце 60-х годов Арма вторично на два года уехал в США, на этот раз чтобы в Калифорнийском университете изучать литературное мастерство, и вернулся бакалавром искусств.

По книгам и статьям Армы можно отчетливо представить, какие американские впечатления, какие влияния воздействовали на характер Армы и его идеи, насколько они усилили его яростное бунтарство, его ненависть к неоколониализму, и шире — ко всем формам и нравам капиталистической цивилизации.

Арма видел студенческую элиту в Гарварде, а позднее в Калифорнийском университете. Он провел в Соединенных Штатах годы и видел нарастание, а потом и взрывы молодежного бунта, студенческие волнения, отказы молодых американцев, рвавших военные повестки, сражаться против Вьетнама, убийство ряда негритянских лидеров, среди них Малькольма Х. и М. Л. Кинга, следил за развитием негритянского движения в США.

Это были годы, когда волны молодежного бунта ощущались то в одной стране, то в другой — во Франции, ФРГ, Италии, странах Латинской Америки. Годы, когда молодежь вызывающе прокламировала свой разрыв с «отцами», то есть с «системой», с хозяевами «общества потребления», с его нормами, ханжеством и преступлениями, с его культом доллара, вещей, наживы и насилия.

Вместе с тем вспомним, что эти годы были для западной молодежи временем безмерной идеологической путаницы, когда фразы, пестрые, надерганные отовсюду, больше могли выразить эмоциональный взрыв, нежели говорили об обдуманных решениях и тем более о глубоком анализе. Годы кипения умов и страстей, бурные и сумбурные; в левацких программах тогда соединялись обрывки

марксистских идей, с обрывками идей маоистских, троцкистских, анархических; годы, которые, как может показаться, отошли, почти не оставив следа: у одних все это вылилось в «нормальный конформизм», у других — в истерический правый экстремизм или в не менее истерический левый экстремизм, порой провокационно используемый власть имущими, а еще у других — в серьезные стремления слить свой протест с широкими движениями масс. Как бы пестры, а порой смешны ни казались поверхностные всплески молодежного бунта 60-х, за его «великим отказом», за его «нет», брошенным буржуазной системе,— за этими всплесками можно и сегодня (может быть, сегодня это еще яснее!) ощутить предвестников глубинных сотрясений океанского дна.

Вне этой атмосферы 60-х годов, думается, невозможно понять творчество Квеи Армы и самый его характер, беспокойный и бунтарский, его резкость, эмоциональность, постоянную жажду действия, его склонность к «левацким» крайностям и предубеждениям, а в чисто литературном смысле — его пристрастие к гиперболам и гротеску.

При этом нужно учесть, что Арма попал в бунтарскую обстановку США не как белый американский юнец из благопристойного семейства. В первом романе он вспоминает дни ранней юности, когда он, студент Ачимотского колледжа, и его друзья бегали на политические собрания, где в наэлектризованной бурной атмосфере выступал лидер национально-освободительного движения Кваме Нкрума, те дни волнений и надежд для молодежи Ганы, которые завершились победой, достижением политической независимости. И если в 1960 году «сердитость» молодых африканцев была сильнее, тяжелее чувств, скажем, «сердитых» молодых англичан, то это произошло потому, что такие юноши, как Арма, несли в себе счеты с капиталистической цивилизацией более исконные, уходящие в глубь веков, к столетиям рабства,— и в этом он, может быть, был более близок молодым неграм США.

В 1962 году, окончив Гарвард, Арма поехал в освобожденный, только что завоевавший независимость Алжир, где работал переводчиком, позднее он делал такую же работу в Париже для еженедельника «Жён Африк». Возможно, что в симпатиях Армы к Алжиру сказалось влияние Франца Фанона [1],— не только с теми сильными сторонами, которые были ему свойственны, но и с его сектантскими слабостями. Во всяком случае, мысли Фанона о коренном изменении социальных и экономических структур как цели национально-освободительной борьбы ощутимы во всем, что написано Армой,— в его романах и публицистике.

Вернувшись в Гану, Арма столкнулся со сложной действительностью, о которую разбились его «нетерпение», его иллюзии юноши, по-видимому ожидавшего, что за эти годы в Гане будет построено то общество, к которому должна была — казалось ему — привести национально-освободительная революция.

Но, разумеется, осуществления этого идеала Арма в столице Ганы Аккре не увидел — к этому времени в стране резко обозначились теневые стороны послеколониального развития. И более всего Арму поразило обуржуазивание людей, проникновение в страну нравов капиталистического общества. Тот же культ вещей, престижных вещей, символом которых были американские и английские «линкольны» и «ягуары». Та же страсть к наживе, то же взяточничество сверху донизу, та же беззастенчивая коррупция политических верхов и чиновников, которые Арма только что видел в США, нагло выпирали отовсюду и здесь в Аккре. А простые люди голодали, пока чиновники обогащались. Это ли «изменение структур»? И Арма произносит свой приговор —это новое рабство, как в XV веке, только теперь мы проданы не за стекляшки, а за шикарные лимузины.

Такое общество для Армы — «труп смердящий», загнивающее, разлагающееся, больное общество. Так сказано в первом романе Армы «Прекрасные еще не родились». Труп смердящий — это, конечно, метафора. Никто из читателей не представляет себе при этом труп, из которого течет гной и несет зловонием. Однако Арма применяет литературный прием *«реализации метафоры»*, превращая роман в развернутую притчу. Он не углубляется в детальный психологический анализ основных персонажей; своего «героя», мелкого клерка, обозначает просто: «человек» («man»), что также характерно для жанра притч. Но сам городской пейзаж, улицы Аккры, ее дома, контора, в которой служит «человек», настойчивые описания уборных — все переполнено образами и приметами тления, распада, зловония, пятнами грязи и гниения, вызывающими у читателя ощущение физической тошноты и *физического отвращения*. Метафоры «гнющее общество», «труп смердящий» ощущаются уже в их физиологическом смысле. И читатель воспринимает по-новому и те социально-критические образы, в которых Арма воплощает социальное и политическое перерождение. Это чрезвычайно резко подчеркнутые контрасты кричащей роскоши в доме министра — и скудного, бедного жилища «человека»; пресыщенных деньгами, использующих возможности легкого обогащения верхов — и полуголых детей «человека», цинизма богатых — и моральных мучений бедняка, сохраняющего честность ценою унижений и голода; контраст между прежним революционером (Учитель), как бы выброшенным за пределы общества, и министром, развращенным властью и богатством. И отвращение читателя вновь переносится с физиологических подробностей на детали социальные, оно обретает *моральный* и *идеологический* смысл.

И если в семье «человека» намечен драматический разлад между осуждением «паразитов» (человек) и завистью к ним (его жена), то фигуры богачей, выскочек, которых Арма называет «обезьянами, подражающими обезьянам»,— плоскостны, гротеск-

[1] Статья Е. Гальпериной «Величие и трудности деколонизации», посвященная Францу Фанону, была опубликована в «Иностранной литературе» № 10, 1970.

ны. Своим гиперболическим, гротескным самодовольством они символизируют гниение общества, а когда государственный переворот сметает циничного министра, тот, «лопнув», как пузырь, «воняет», становится как бы прямым воплощением гниения. И Арма растягивает этот образ зловония на страницы. Цель его романа-притчи достигнута. Книга воспринимается как удар, как пощечина молодого писателя тем, кто обманул революционные чаяния молодежи 1957 года.

«Роман разочарования»? Безусловно. Но еще более «роман-разоблачение», роман критический, обличающий коррупцию. Так и определяли его англо-американские критики, вероятно, довольные тем, что острие этих разоблачений было направлено в адрес молодых независимых государств.

Гораздо сложнее была реакция африканцев. А ганская писательница Ата Айду, признавая «страшную силу» романа Армы, который потряс ее, назвала эту книгу лекарством, которое, может быть, необходимо, чтобы излечить болезни страны, но которое может стать и смертельным для больного.

Очень точно определил и причины успеха первого романа Армы, и его просчеты африканский критик Э. Обиечина, преподаватель нигерийского университета в Нсукке [1]. Он сказал, что Арма, найдя яркие, броские физиологические образы для показа перерождения, блестяще использовал своеобразный жанр притчи И *здесь* (курсив мой.— Е. Г.) достиг успеха Но, продолжал критик, одновременно Арма создает в романе и реальный образ Аккры и Ганы. И в этом реальном образе он не смог передать сложности данного общества. А тем самым оказалась нарушена правда. Нельзя не согласиться с этим выводом.

Но, на мой взгляд, оба ранних романа Армы имеют и более широкий смысл. Это не только разоблачение коррупции, это «нет» писателя, брошенное неоколониальному обществу, брошенное всей той буржуазной цивилизации, которая пятнает лицо Ганы. Это отказ от возможности и целесообразности для Африки капиталистического пути.

В 1969 году Арма издал свой второй роман «Осколки», представляющий как бы дополнение к первому,— только более камерный и более психологический, говорящий о самом авторе, о его творческом «я». По жанру «Осколки», так же как и «Прекрасные еще не родились»,— роман-притча.

В первой книге есть символический образ безумца, объясняющий развитие сюжета в «Осколках». Вспомним образ пещеры, заимствованный у Платона: узники в пещере никогда не видели дневного света, мира вне своей пещеры. И когда один из них вышел за ее пределы, увидел широкий мир и попытался рассказать о нем другим узникам, они не поняли, не поверили ему, более того, сочли его сумасшедшим и побили камнями. Для них он — больной, безумец.

Безумец — центральный образ «Осколков», это человек, ставший в непримиримое противоречие с окружающими, со своей семьей и всем обществом и доведенный ими до сумасшедшего дома. Арма неоднократно объяснял смысл слова «Осколки». Творческая сила людей велика, писал он, когда они вместе, когда человек слит со своим народом, их сила слабеет, когда они становятся одиночками, «осколками». Люди, не понимающие ганского интеллигента Баако Онипу, считают его безумным. И в этом романе, как в первом, опять происходит реализация метафоры: «безумие» становится реальным, болезнью. Характерная деталь: фамилия «Онипа» на одном из языков Ганы означает «человек». Так повторяется то же обобщение, что и в книге «Прекрасные еще не родились».

Многое в «Осколках» автобиографично — Арме хорошо известна судьба «бин-ту». Объясним это странное слово (от английского «been to»): оно означает молодого африканца, учившегося за границей (буквально: «побывавшего»). Вернувшись, он обычно привозил с собой шикарную машину — как символ богатства и нового социального положения, деньги и готовность делать карьеру и занимать большие посты (надо заметить, что гогда посылали учиться главным образом детей из привилегированных слоев общества). В лице Бремпонга в карикатурном, гротескном виде Арма изобразил «нормальное», обычное возвращение «бин-ту» и прием, оказанный ему торжествующей родней.

Возвращение же Баако проходит отнюдь «не нормально». Он — интеллигент, жаждущий, вернувшись, отдаться творческой работе, трудиться для своей страны — личное обогащение его не интересует. Но его мать, сестра, вся его семья, все его окружение, редакторы телевидения, куда идет работать Баако,— все уже вросли в жизнь Ганы, главное в которой — деньги, роскошь, вещи. Ситуация уже более узка, но по сути продолжает ситуацию первого романа. Поэтому конфликт Баако с семьей и обществом предопределен. И трагедийность романа задана с самого начала — Баако нарушил то, что уже становилось нормой для Ганы, он безумен. И его «раздавливают».

Как всегда в прозе Армы, основной символ притчи проявляется в целой системе частных символов. В одном из первых эпизодов книги собака, безжалостно раздавленная на дороге Аккры, уже предваряет судьбу самого Баако. Как и смерть шофера, который гибнет у переправы из-за холодного, жестокого равнодушия окружающих,— параллель судьбе Баако. Символична гротескная сцена, когда новорожденного младенца представляют родным и знакомым семья Баако открыто и нагло превращает традиционный африканский ритуал в акт отвратительной наживы, ведущий к смерти ребенка.

[1] В журнале «Окике» № 1, 1971.

Е. ГАЛЬПЕРИНА

МОЛОДОЙ БУНТАРЬ В ПОИСКАХ ПУТИ

Наконец, полны символики те сценарии, которые Баако предлагает телевизионной компании Ганы, еще не понимая, что содержащаяся в них критика не может быть пропущена редакцией, которая занята только славословием.

Оставшись вне работы и в одиночестве, Баако действительно заболевает, и тогда семья, уверившись, что он не может быть нормальным «бин-ту» и принести семье богатство, запирает его в сумасшедший дом.

Правда, Баако не совсем одинок. С ним ставшая его подругой Хуана, которая приехала в Гану работать для молодой республики, но увидела совсем не то общество, которое она себе представляла. С ним его прежний учитель. И с ним его старая бабка Наана. С Нааны начинается книга, ею она заканчивается. И такая кольцевая композиция не случайна. Наана — это старая Африка, не воспринявшая тех черт неоколониального капитализма, которые с ужасом видит Баако. Наана и ее внук Баако близки друг другу, потому что они — вне жажды наживы, которая отравляет всю семью. В симпатии, с которой Арма написал образ старой Нааны, едва ли можно усмотреть идеализацию древней традиционной Африки, с ее верованиями и обычаями (а такое мнение высказывалось). Только те, кто противостоит буржуазно-колониальным нравам, для Армы — люди, они человечны. В глубоком, истинном смысле только они нормальны.

Перед Баако, запертым в психиатрической клинике, встал вопрос, который, несомненно, возникал у самого Армы. Как работать, что писать, если его творчество в Гане не принимается? И практически Арма сделал для себя тот же вывод, который был подсказан Баако его учителем. Работать в одиночку.

В романе «Прекрасные еще не родились» на последних страницах описан государственный переворот 1966 года, который отстранил от власти Кваме Нкруму. Мы знаем, что это был реакционный переворот. Но в романе он неожиданен и непонятен для «человека». И Арма кончает роман, как бы говоря, что дело не в том, что одни люди сменят других у кормила власти. Будут наживаться новые люди, но те, кто голодал, будут голодать и дальше. Отчаяние героя и, казалось, глубокий пессимизм автора бросались в глаза.

Оба первых романа Армы так и были оценены как выражение пессимизма и неверия автора в будущее Африки. И только одна фраза противоречила такому выводу, фраза, кончавшая роман и давшая ему заглавие: «Прекрасные еще не родились». Иначе говоря, время истинного обновления еще не пришло, обстоятельства и люди еще не созрели для него. Но когда-нибудь они созреют, и тогда придет время действовать. Именно в таком духе заканчивалась статья Армы [1], видимо писавшаяся одновременно с романом «Прекрасные еще не родились». В ней мы находим как бы ответ на упрек в пассивности героев Армы, презирающих обуржуазивание, но не знающих, как бороться против него.

Повторяем, бесспорным достижением обоих ранних романов Армы было резкое «нет» капиталистическому пути для независимых государств Африки, резкая критика неоколониальных нравов и привычек.

Что же касается просчетов Армы, то, воплощая свой гнев и свои разочарования, свои разоблачения охватившего людей культа наживы, он не смог проникнуть в совокупность обстоятельств, определявших тогда обстановку в стране. Надо подчеркнуть, что Кваме Нкрума был сложной фигурой, именно он хотел вести Гану по некапиталистическому пути. Население, молодежь Ганы горячо поддерживали его, когда он возглавил борьбу за политическую независимость. Однако пути строительства нового государства были гораздо менее понятны ганцам.

Сейчас, когда прошли годы, можно более объективно оценить политику Нкрумы, ее перспективы и трудности. Сам Нкрума рассказал о них в книге «Темные дни Ганы» (1968).

Однако не была учтена вся сложность обстановки, вся сложность политики, предполагающей коренное переустройство экономической и социальной структуры страны, в условиях Ганы. Не было учтено, что необходимо время, чтобы плоды такой политики стали хотя бы частично ощутимы для населения. Этого времени не было дано. Силы империализма сделали все, чтобы сорвать политику Нкрумы, организуя прямые покушения на его жизнь и поддерживая оппозиционные элементы в стране.

И все же к началу 1966 года что-то уже было достигнуто молодым государством — построены дороги, новый порт Тема, гидростанция на Вольте, алюминиевый завод, были заметные успехи в народном образовании, появились свои специалисты. И, вернее всего, именно эти успехи заставили неоколониалистов после ряда неудавшихся покушений на жизнь Нкрумы ускорить государственный переворот 1966 года; после него к власти пришел реакционный лидер Бусия, партия которого опиралась на патриархально-феодальные и буржуазные слои Ганы.

В 1964—1965 годах Арма мог ясно видеть порочные стороны неоколониального развития, коррупцию министров, аппарата, буржуазное перерождение нравов, полуголодную жизнь низов. Все это было. Все это удалось ему показать в двух своих первых книгах. Но понять общий смысл проводимой политики Арма, с его «романтическим нетерпением» молодого левака, не сумел.

Арма был, видимо, глубоко травмирован тем, что его книги, столь захваленные американцами, были так болезненно восприняты в Африке. Он понял, что то, о чем он хотел сказать, о чем хотел кричать, может ранить и без того израненные души африканцев. Более того, что внутренние враги радикальных изменений в Гане могли быть рады этому удару по молодому государ-

[1] Журнал «Презанс африкэн» № 64, 1967.

ству, неожиданно для них нанесенному слева. Поэтому не лучше ли молчать?

Но писатель, идеолог, обрекающий себя на молчание,— нелепость, это равно бесплодию. И Арма понимает, что единственное действие, остающееся ему в существующих условиях,— это писать книги.

В 1972 году выходит новый роман Армы с ироническим заглавием «Почему мы так благословенны?» [1]. В этой книге, действие которой происходит в Алжире в последние дни национально-освободительной войны, соединились все главные темы творчества Армы. И моральные мучения молодого писателя, готового обречь себя на молчание, и проблема «бин-ту» в разных вариациях его судьбы, и обжигающая ненависть писателя к капиталистической Америке, и всегда трагический для него вопрос об итогах национально-освободительных движений. Но и в этом романе, уже на алжирском примере, Арма повторяет свои просчеты, прежде совершенные им в оценке первых лет независимой Ганы.

Композиция этого небольшого романа сложна. Изложение идет от имени троих. Это—Соло, молодой африканец, начинающий писатель, а здесь, в Алжире, переводчик с английского; Модин, африканский студент, учившийся в США, и Эме, его подруга, белая американка. Модин и Эме, леваки, ультрареволюционно настроенные студенты, жаждут активно участвовать в борьбе, в боях, хотя не представляют себе ни целей, ни методов, ни форм национально-освободительного движения; не имея никакой специальности, они здесь решительно никому не нужны.

Грань между воиной и победой. Уже начинают осваивать плантации, перешедшие к свободному Алжиру, но на улицах столицы Соло обступают толпы голодных беспризорных детей. Их отцы убиты, ведь Алжир потерял в войне одну девятую часть своего населения. А в центре Фронта Национального Освобождения, где Соло работает переводчиком, он видит, как уже явно обозначаются в новом, свободном государстве верхи и низы. На первом этаже, бедно, скудно обставленном, сидит рядовой член ФНО, а на втором — ковры, бар, глубокие кресла создают интерьер для партийного босса, министра уже сформированного за границей правительства. Значит, думает Соло, таковы итоги, за которые Алжир заплатил миллионом жизней?

И вырастает центральный символ книги: инвалид алжирской войны в больничной библиотеке лихорадочно перелистывает том за томом «Историю французской революции» в жажде найти ответ на проклятый вопрос: «Кто выиграл?»

Кто выиграл?! Значит, этот вопрос возникает всюду, где идет национально-освободительная борьба,— в Алжире, где она оплачена кровью ее бойцов, или в Гане, где она прошла бескровно?

Но — скажем мы — ведь книга Армы написана через десять лет после победы Алжира, и ответить на «проклятый вопрос» невозможно, не проследив дальнейших путей страны, расстановки сил в ней, не продумывая ее успехов и ее противоречий. Однако ни герои Армы, ни сам автор не заглядывают в будущее, заменяя анализ броским эмоциональным символом.

Как уже говорилось, композиция книги сложна, как сложны отношения между рассказчиками. Соло, персонаж, близкий автору, видит в Модине свое недавнее прошлое, свое интеллектуальное «детство». Модин, юный студент, полный наивно-романтической жажды погибнуть в благородной борьбе, полный несбыточных иллюзий, и Соло, разочарованный, уже трезво оценивающий итоги борьбы,— это как бы два этапа в развитии самого Армы. Думается, что крушение детского, наивного «революционаризма» — один из важнейших мотивов этой книги.

И тот же Модин — жертва капиталистического хищничества, высшее проявление которого Арма находит в США.

«Почему мы так благословенны?» — эта фраза в книге Армы возникает в названии статьи американского студента, самодовольно рекламирующего США как земной рай. На ужасной судьбе Модина Арма хочет показать второе, ироническое значение фразы. США не Рай, но Ад, где предельно обнажены разобщенность людей, их одиночество, хищнический, звериный облик человека. США для Армы — антипод тому идеалу, который уже бегло сформулирован в этой книге: эгалитарное общество, не знающее деления на верхи и низы, где действуют нормы общины, взаимопомощи, где радости и горести переживаются всеми сообща.

Уже в этой книге уродства капитализма выступают как черты *белого* общества, противостоящие гуманистическим идеалам *черного мира*. Антиамериканская интонация становится здесь антибелой.

В США Модина пытается завербовать и подкупить организация, набирающая «своих» африканцев. Ведь в сущности, утверждает Арма, и само образование, щедро предоставляемое в США африканцам, преследует прямую цель создания «работорговцев» — посредников между рабовладельцами и рабами. Так называлось это в средние века, а сейчас, разумеется, называется иначе. Но суть для Армы та же. Однако хищническая сущность белой Америки, как ни странно, ярче всего раскрывается Армой через эротику. Это хищничество — в белых женщинах, в их отвратительной голодной жадности, с которой они пытаются овладеть чернокожим мужчиной. Цинизм белых женщин, с точки зрения Армы, в том, что они никогда не вносят в отношения с африканцами ни капли сердца, чувств, но лишь обнаженную сексуальную жадность. Такова и Эме, фригидная девушка, которая после

[1] По-английски — «Why are we so blest», что может означать: «почему мы так благословенны» и иронически: «почему мы так прокляты».

Е. ГАЛЬПЕРИНА

МОЛОДОЙ БУНТАРЬ В ПОИСКАХ ПУТИ

долгих бесплодных попыток познать чувственное наслаждение наконец находит в Модине любовника, способного разбудить в ней женщину. Не любовь связывает ее с Модином, она лишь использует его и равнодушно, жестоко приводит к гибели. Холодная, развратная Эме — образ гротесковый, «предельный», как предельна и жестокая сцена гибели Модина в пустыне от рук кастрирующих его оасовцев.

Мотив бесплодия американцев и белых вообще настойчиво возникает уже в этой книге и еще более широкое звучание получит в романе «2000 сезонов» (1974), где образ *пустыни*, как символ белых хищников и белой цивилизации, пришедшей к своему банкротству, становится центральным.

Эта книга — своего рода рубеж в творческом развитии Армы. Рубеж между его ранними книгами, где он бросает свое «нет» капиталистической цивилизации, и поисками нового решения, поисками цивилизации иного типа, которые побудили его, как и ряд других писателей, обратиться к прошлому Африки. Однако не для того, чтобы просто воскресить его, но чтобы и обдумать, какие именно ценности прошлого можно взять с собой, отправляясь в путь к будущему.

В книге «2000 сезонов», написанной в 1971—1972 годах, уже в Танзании, куда переселился Арма, он говорит об искушениях отчаяния, однако и о том что хотя период отчаяния—закономерный этап развития, но все же это лишь этап, временный и переходный. Противовесом отчаянию всегда будет более глубокое восприятие мира, рождающее действие.

И, обращаясь, несомненно, к литераторам, Арма спрашивает: «В чем же долг тех, кто услышал призыв истории? Как дошли мы до того, что стали зеркалом нашего уничтожения? Для кого должны мы отражать в своих произведениях гибель нашего народа? Ради чьего развлечения воспевать нашу агонию?»

Но когда этап пессимизма преодолен и в порядок дня становится действие, то предпосылкой к нему, считает Арма, для африканцев станет осмысление прошлого Африки и возможностей ее будущего, осознание того, какое место занимает настоящее по отношению к прошлому и к будущему.

Вот в чем смысл книги «2000 сезонов». И мы уже не удивляемся ее необычному жанру. А он необычен. «2000 сезонов» — не работа историка и не исторический роман. Скорее это беллетризованная схема истории древней Ганы и шире — Тропической Африки примерно за тысячу лет. Это еще одна притча Армы, на сей раз о *«своем пути»*, «пути черных народов». Всю книгу пронизывает противопоставление «белой цивилизации», разрушающей человека, «человечной цивилизации черных народов».

Книга написана как пророчество и как призыв.

Вступление зачин в интонациях библейских пророков заставляют вспомнить нашумевший «Дневник возвращения на родную землю» Эме Сезэра, вышедший в 1939 году. Та же торжественно-патетическая речь с непрестанными повторами, возвещающая новые истины «третьему миру». «Вы, кто слышит, видит, мыслит, изобретает, вспоминает, вы, пророки, призванные открыть истины о живом пути народу, зачарованному смертью, вы, призванные связать память о прошлом с прозрениями будущего, связать бесчисленные сезоны нашего потока с неведомыми бесчисленными днями грядущего...»

История — это поток Но живые воды африканского потока, считает Арма, потекли по ложному руслу, повернули на Запад, где их ждет пустыня, пустыня жадная, иссушающая, готовая вобрать воды, ничего не оставая взамен. Запад для Армы — это мир белой смерти, мир белых разрушителей.

И Арма призывает народы сойти с этого смертельного пути, вернуться на свой путь, который он именует «Путь» с большой буквы. И если Запад в представлениях Армы — это Смерть, то африканцы — люди заблудшие, утратившие свой путь, память о своих истоках и представление о Цели. Это люди, добровольно идущие в рабство к «белым разрушителям».

(Надо заметить здесь, что из лексики этой книги, по сути своей публицистической, устранены все современные политические или социологические термины, неуместные для жанра притчи: общество, история, эксплуатация, демократия и т. д. Поэтому завоеватели арабы здесь — «хищники пустыни», европейские колонизаторы — «белые разрушители», африканская знать — «паразиты», история — «путь» и т. д.)

Сразу же возникает два вопроса: во-первых, не стала ли здесь идеалом Армы старая африканская община? И, во-вторых, не означает ли постоянная антитеза Армы «белое—черное» обращение его к идеям негритюда? Вспомним статью Армы [1], где он издевался над поисками социализма уже в древнеафриканской общине. А сейчас? Нет, он, конечно, не приписывает ей социалистического характера, но что же тогда привлекает в ней Арму? Бесспорно, ее демократические, эгалитарные черты, черты общества, которое еще не знало разделения на верхи и низы. Общность земли. Принцип общности и взаимности, определяющий человеческие отношения. По формуле Армы: «Давать и брать — как единый нераздельный процесс жизни».

В отличие от тех, кто идеализирует отсталость Африки, Арма подчеркнуто современен и в своем атеизме, и в своем утверждении разума. Атеизм его заходит так далеко, что он отрицает вообще все виды религий и всякое значение религии даже во времена средневековья. «Мы ничего не знаем о начале нашей истории,— пишет он,— мифы и легенды — это не более чем сказки». В обычае инициации он отрицает элемент ритуала, видя в нем только методы обучения, африканскую школу того времени. Африканских верований и культов, по

[1] «Презанс африкэн» № 64, 1967.

явно тенденциозному изложению Армы, как бы и вовсе не существовало. Об исламе же Арма говорит с отвращением, потому что он имеет отношение к арабскому завоеванию и силой насаждался в Африке, а также и потому, что развязанные мусульманством религиозные распри еще более обострили противоречия общества, где уже и так шло социальное расслоение. Не менее отвратительно для Армы и христианство, завезенное в Африку европейцами, религия «с культом смирения и страдания и смехотворным мифом о непорочном зачатии».

Все это резко отделяет Арму от писателей, которые так или иначе идеализировали консервативные формы африканской жизни, как и от многих европейских и американских африканистов, утверждавших, что религия, культы — едва ли не наиболее характерная черта африканской жизни, сознания и искусства.

От идеологов негритюда Арма отличается и тем, что он не видит никаких особых физиологических или психологических черт черного человека, и, в частности, пресловутого иррационализма, составившего основу философии Сенгора и поэзии Сезэра и противопоставленного ими рационализму белых. Очень характерно изображение Армой юношей и девушек средневековой Африки, смелых и самостоятельных молодых бунтарей, оппозиционных по отношению к царской власти, не связанных традиционными ритуалами, не знающих ни религии, ни полигамии и весьма серьезно относящихся к своему профессиональному обучению. По правде сказать, они выглядят довольно современно.

От идеологов негритюда Арму отличает и его взгляд на африканскую историю. Для Армы не существует задачи реабилитации ее в противовес долголетней презрительной трактовке ее колонизаторами. Подобно Йамбо Уологему[1], Арма не только не идеализирует африканскую историю, но даже подчеркивает ее порочные стороны. Грехопадение Африки, источник всех ее пороков Арма видит в распаде демократических устоев общин, когда возникли верхи и низы, когда появились цари, знать, завладевшие землей. «А если земля стала их собственностью, то потребовались и рабы, чтобы ее обрабатывать».

Арма отнюдь не скрывает, что рабство было свойственно Африке уже в средневековье, задолго до европейского колониального завоевания. И именно правители, цари предавали свои народы. Это они продавали людей сначала в страны Магриба, а затем за безделушки и ром — европейским работорговцам. Если и теперь всевластие и пышность двора средневековых африканских царей еще кружат головы некоторым современным правителям независимых государств Африки, если еще недавно африканские поэты порой воспевали владык и завоевателей древних африканских империй (стоит вспомнить хотя бы «Кайя-Маган» Сенгора), то Арма находит для этих владык и завоевателей только одно обозначение: паразиты. И он не сваливает всю вину за страдания африканцев лишь на белых колонизаторов, указывает, что африканское общество в себе самом несло зерна рабства. В нем самом проснулись жажда власти, привилегий, паразитизм и зависть к завоевателям.

Арма — гораздо более социолог и публицист, чем историк. История, с его точки зрения, должна главным образом облегчить понимание современности, понимание паразитизма современной африканской буржуазии, понимание той *привычки к рабству*, которая не проходит для народа бесследно и порождает огромные трудности в преобразовании африканских стран.

За главами об арабском завоевании древней Ганы, то есть о событиях на рубеже XI и XII веков, идет описание долгих и мучительных странствий той части народа, которая, избегая исламизации, ушла на поиски новых земель и наконец, дойдя до моря, осела на землях нынешней Ганы. Возможно, что Арма использовал здесь предания одного из народов, населяющих современную Гану.

Дальше рассказ ведется от лица юноши из группы молодежи, проданной царем европейскому работорговцу. (Это уже, вероятно, XVI век.) Простой, казалось бы, бесхитростный рассказ, выдержанный в рамках реалистического правдоподобия, однако с постоянным аллегорическим подтекстом, обращающим читателя к сегодняшнему дню. Рассказ о бедствиях этих проданных в рабство юношей и девушек на корабле работорговца, об их бегстве и тайном возвращении на родину, где они скрывались в лесном убежище, накапливая оружие, отнятое у белых. Они тайно «ведут пропаганду» среди жителей города и наконец совершают государственный переворот, убив царя. Действия всей этой группы молодежи напоминают опять-таки современные молодежные герильи, их тайная база в лесу — партизанский очаг в духе Режи Дебрэ, а лихо проведенный удачный переворот — некоторые современные государственные перевороты в странах «третьего мира», осуществляемые молодыми офицерами. И Арма подкрепляет такие ассоциации читателя своими замечаниями.

Однако переворот для молодежи — не самоцель. Дело не в том, чтобы усесться в кресла свергнутых «паразитов». Дело жизни этой молодежи, как и дело жизни самого Армы, в том, чтобы указать цель Пути. Подобно своим молодым героям, писатель не жаждет простого возвращения к истокам: «Это был бы выбор жизни инвалидов, лучше оставить боязливых в неподвижном удобном покое». Основное, что их занимает,— это будущее, цель. А цель — это возрождение Человека, это общество, смыслом которого будет творчество, непрерывное творчество, сообща, всем народом. Но Арма слишком общо и неопределенно говорит о предпосылках и объективных возможностях движения к будущему. В этом смысле его книга

---

[1] Современный малийский писатель, автор романа «Долг насилия».

Е. ГАЛЬПЕРИНА

МОЛОДОЙ БУНТАРЬ В ПОИСКАХ ПУТИ

приближается к утопиям, столь типичным для африканских литератур последних лет.

Бросается в глаза некоторое сходство между утопическими аллегориями Армы и «утопией Айеро» в романе Воле Шойинки «Время беззакония». Оба писателя, каждый по-своему, пытаются найти некий синтез социальных и моральных ценностей демократии африканской общины с современным научно-техническим уровнем. Оба они в своих утопических построениях во многом приближаются к социалистическому идеалу. Вместе с тем едва ли кажется случайным, что оба они тщательно избегают таких понятий, как социализм или капитализм, видимо не желая сближения своих условных образов с современными, реально существующими обществами.

Но Шойинка, со свойственным ему подчеркнутым интернационализмом, связывает воедино гуманистическую мечту народов всех рас и континентов. Призыв же Армы обращен к черным народам и ко всем «народам Пути», к которым, видимо, относятся народы «третьего мира». Можно бы удивиться этому: настолько далеки обычно от идей негритюда молодые литераторы англо-язычных стран Тропической Африки, в том числе, как уже говорилось, и сам Арма. Но тут, очевидно, сыграли роль и влияния на писателя негритянского национализма в США, и сами резкость, максимализм мышления Армы.

Можно пожалеть об этом. Ибо если в первых романах Армы радикализм его мысли был ограничен сектантской прямолинейностью, мешавшей ему увидеть всю сложность жизни, то в его последних книгах настойчивое противопоставление белого и черного может быть использовано во зло теми, кто хочет разрушения человека, кто хочет создать мир, где бы царила не «Взаимность», но рознь — рознь наций, рас, «мировой деревни» и «мирового города».

Мы видим, таким образом, что творчество Армы не свободно от тенденций, с которыми мы не можем согласиться. Впрочем, сейчас еще трудно предвидеть все изломы и оттенки его дальнейшего развития.

Но и сейчас А. Квеи Арма — один из ярких и талантливых писателей Тропической Африки. Многое в нем привлекает нас: его ненависть к компромиссам, его отказ размениваться на мелкие и частные темы, его упрямое желание говорить о самом главном для него — о решающих проблемах Африки. Боевой темперамент Армы, его презрение к нормам и нравам буржуазного строя, его страстные поиски радикальных решений, сближающие его с бунтарской молодежью других континентов,—все это порождает его резкий, сильный реализм. В его реализме—и напряженная трагедийность, и психологический анализ, и гротескное заострение образов, и настойчивая символика, и те метафоры, которые Арма превращает обычно в развернутые притчи, придающие неповторимое своеобразие его прозе.

◆

Л. СТАРОСТОВ

РАННЯЯ ПРОЗА НАЗЫМА ХИКМЕТА

Обращение Назыма Хикмета к прозе имело объективные причины. В 1930 году был вынужден прекратить свое существование прогрессивный журнал «Ресимли ай» («Иллюстрированный ежемесячник»), в котором активно сотрудничал поэт, и тогда ему пришлось искать для себя трибуну в газетах. Собственно, не столько трибуну, сколько заработок, ибо Хикмет — хотя и аристократ по происхождению — не имел никаких поместий и зарабатывал на жизнь собственным трудом.

В Турции в каждой более или менее солидной газете есть особый вид публикаций — «фыкра»: известному писателю или популярному журналисту на определенной полосе отводится определенное место, где он ежедневно выступает с короткими статьями. Чаще всего это комментарии, так и будем их впредь именовать; в практике же Назыма Хикмета — это прозаические миниатюры. Такие комментарии делаются на самую разнообразную тематику. Объединяет их лишь принадлежность к этому своеобразному жанру. В большинстве случаев комментируются злободневные вопросы внешней или внутренней политики, однако политические темы и злободневность отнюдь не обязательны. Внешне автору предоставлена полная самостоятельность — коль скоро его пригласили и он являет собой «имя» (или, как говорят турки, «имза» — «подпись»), ему доверяют. Однако ограничения, точнее — крепкая узда, конечно же есть: это политическая ориентация и коммерческие интересы хозяев газеты. Еще бо́льшую роль играет политический «климат» в стране (в Турции он за сравнительно небольшой исторический период — в 1973 году отмечалось пятидесятилетие республики — очень часто и весьма резко менялся).

В жанре «фыкра» работали многие писатели Турции. Достаточно сказать, что давно знакомый и полюбившийся советским читателям Азиз Несин с начала своей литературной деятельности и по сей день также выступает главным образом в этом жанре. В газете «Акшам» («Вечер»), той самой, где сорок лет назад печатал прозаические миниатюры Назым Хикмет, с начала шестидесятых годов до реакционного переворота 1972 года в стране, в качестве комментатора сотрудничал известный писатель, популярный публицист (а в ту пору еще и член парламента!) Четин Алтан. Его по-настоящему страстными комментариями — в основном по вопросам внутренней политики — зачитывалась вся Турция. У Четина Алтана очень яркий, своеобычный стиль, тем не менее в его практике прослеживается влияние Назыма Хикмета.

Некоторое время в газете «Тан» («Заря») поэт печатал прозаические миниатюры, подписываясь «Орхан Селим». Орхан Селим обратил на себя внимание, и в 1935 году его пригласили на роль постоянного комментатора во влиятельную буржуазную газету «Акшам». Здесь он проработал почти год, публикуя в каждом номере свои миниатюры — в сборнике «Собака лает, караван идет», изданном Лебибом Муаммером в 1965 году в Стамбуле, их более двухсот.

В среде гурецких литераторов той поры псевдонимы были некоей традицией и повальным увлечением. Орхан Селим родился не из любви Хикмета к моде. За этой подписью поэт не мог укрыться ни от читателей, ни от полиции. В Турции цензуры нет,

а судебную ответственность за крамольную публикацию несут редактор или издатель и автор. Подписью «Орхан Селим» Назым Хикмет давал понять, что в своих газетных выступлениях при сложившихся условиях он не может говорить в полный голос. Стихотворение «Орхан Селим», написанное тогда же, начинается строчками:

Мой милый,
мой худосочный,
мой бедный ребенок Орхан Селим![1]

Так автор как бы подводит читателя к мысли, что, работая в буржуазной прессе, он скован и стеснен. Однако в каких бы условиях ни работал Назым Хикмет, он не мог изменить своим убеждениям, сойти со своей идеологической платформы. Стихотворение заканчивается такими словами:

Но тому, кто найдет,
что ты продал меня хоть строчкой
одной,
покажу, где раки зимуют.

Орхан Селим, alter ego Назыма Хикмета, не мог продать самого себя.

В предисловии к упомянутому сборнику Лебиб Муаммер утверждает: «Вы можете убедиться, что в этих комментариях Назым Хикмет далек от какой бы то ни было коммунистической пропаганды. Вспомним об обстановке, в которой они писались: только что родилась новая Турция. Революционные преобразования Ататюрка[2] проводились под его собственным руководством. Назыма мы видим среди тех, кто грудью встал против врагов Ататюрка (в комментарии «Собака лает, караван идет»)».

Слов нет, Ататюрк был куда более прогрессивным и демократичным государственным деятелем, чем все предыдущие (не говоря уже о последующих) правители Турции. Назым Хикмет горячо поддерживал его прогрессивные реформы. Действительно, в миниатюре «Собака лает, караван идет» весьма положительно оцениваются эти реформы — «от низвержения халифата в седьмой круг ада до запрещения фесок» (в этих строчках поэт образно охватывает их все, «от и до»). Более того, Назым Хикмет высоко ценил Ататюрка и создал его лучший поэтический образ, хотя за время правления Ататюрка дважды (1928 и 1932—1933 гг.) отсидел в тюрьме. Все это говорит о благородстве Назыма Хикмета, о величии души, если угодно.

Однако комментарий «Собака лает, караван идет» на самом деле направлен не против врагов Ататюрка. Лая таких «собак» в середине тридцатых годов практически не было слышно, они сидели поджавши хвост. Миниатюра представляет собой ответ тем, кто лаял на самого поэта: это Пеями Сафа, известный романист, докатившийся до апологетики фашизма; Нихаль Атсыз — автор ультрашовинистических исторических романов, именовавший поэта-коммуниста «Назым Хикметович Хикметов».

Главное же, чего не отметил Л. Муаммер, это то, что цикл миниатюр Назыма Хикмета мог принадлежать только перу коммуниста, это ясно каждому, кто знаком с марксистско-ленинской теорией (при этом Назым Хикмет, конечно же, рассчитывал на то, что владельцы газеты, да и всякие там «инспектора по делам печати» понятия не имеют об этой теории и не обнаружат ее присутствия).

Быть может, я напрасно упрекаю Л. Муаммера, он сделал большое, доброе дело, издав в Турции «фыкра» Хикмета — весомую часть его наследия. Но здесь нельзя обойти это молчанием. Сам Назым Хикмет, всегда гордившийся тем, что он коммунист, не простил бы этого.

Тематический диапазон цикла миниатюр чрезвычайно разнообразен. Ранняя проза Назыма Хикмета отличается от его поэзии того же периода, тематически строго ограниченной, не признававшей, к примеру, никакой лирики, тогда как миниатюры полны ею. Поэт отлично использовал особенности жанра «фыкра», предоставляемые им возможности, нащупав средства для выполнения самых различных задач, среди которых первой надо назвать пропаганду марксистско-ленинских идей.

В одних случаях Хикмет вкрапливает в текст миниатюр прямые высказывания Маркса, Энгельса, Ленина: «Свобода есть осознанная необходимость», «Преобразуя природу и общество, человек переделывает и самого себя» или приводит обширные цитаты из их трудов. Миниатюра «Противоречивость Гёте», например, начинается словами: «Я прочел статью о великом немецком писателе Гёте. Нашел ее такой правильной и глубокой, что не могу не привести некоторых отрывков». Далее подробно цитируется статья Ф. Энгельса о трагедии Гёте.

В других случаях Назым Хикмет излагает положения марксизма-ленинизма в «олитературенном» пересказе: «Не ищи единственных, абсолютных истин. В этом мире, который беспрестанно изменяется, станешь посмешищем».

Зачастую связь с первоисточником завуалирована еще тщательнее: «Богу — божье, говорят, кесарево — кесарю. Хорошо, а рабу что? Раб сам отстоит свои права. Если раб не вернет сам отобранных у него прав, никто для него этого не сделает».

Однажды Назым Хикмет назвал Чарли Чаплина материалистом, специально подчеркнув: «в смысле философском». И все же один читатель понял его превратно: «Какой же Чарли материалист! Когда полицейские волокли его по мостовой в участок, он

---

[1] Все переводы принадлежат автору статьи.

[2] Ататюрк, Мустафа Кемаль (1881—1938) — вождь национально-освободительного движения и кемалистской революции в Турции, первый президент Турецкой республики, пришедшей на смену полуфеодальной Османской империи. Многочисленные его реформы, направленные на ликвидацию средневековой отсталости страны и приобщение ее к современной европейской цивилизации, носили прогрессивный характер, хотя по своим взглядам, достаточно противоречивым, Ататюрк не был даже социалистом *(прим. автора)*.

заметил пробившийся между булыжниками цветок, сорвал его и бережно вставил в петлицу. Конечно же он идеалист чистейшей воды!» По этому поводу Назым Хикмет сокрушенно замечал: «Вот так, у нас множество даже уважаемых интеллигентов считает, что материалист — это человек своекорыстный, гоняющийся за материальной выгодой и плюс к тому же грубый, не способный на тонкие душевные переживания, не умеющий понимать и ценить прекрасное». В нескольких миниатюрах Хикмет возвращается к этой теме, растолковывая философское понимание материализма и идеализма с позиций марксизма.

В некоторых случаях поэт прибегает к эзопову языку:

«Когда-то, сынок, в тридевятом государстве жил-был человек с белой бородой, мудрейший среди самых добрых, добрейший среди самых мудрых.

На самой многолюдной площади самого большого города той страны, где жил этот мудрый старец с белой бородой, был воздвигнут идол высотой в тысячу раз больше человека, со сверкающими глазами из драгоценных камней, с волосами из чистого серебра и телом из чистого золота. Люди той страны, где жил мудрейший среди самых добрых и добрейший среди самых мудрых человек с белой бородой, поклонялись, сынок, своему идолу. Они думали, что все на земле... дело рук идола, ростом в тысячу раз выше человека.

Только наш мудрец с белой бородой не верил, сынок, в этого идола. Он долго скрывал свое неверие... И вот однажды, наконец, он не выдержал и, придя на площадь, где возвышался идол, громко крикнул:

— Чего ради вы, люди, преклоняетесь перед этим идолом со сверкающими глазами из драгоценных камней, с волосами из чистого серебра и телом из чистого золота? Ведь вы сами своими собственными руками сотворили его. Того, кто создан вашим умом и вашими руками, вы считаете творцом вашего ума и ваших рук. Ничто в мире не выходит за пределы бытия, не имеющего ни конца, ни начала, постоянно изменяющегося и никем не созданного. Уничтожьте этого идола, братья мои! — И мудрый старец одним ударом кулака свалил золотого идола и стал вечно юным».

Значительная часть цикла миниатюр-«фыкра» посвящена размышлениям о том, каким должен быть человек. Критерии эти подаются как собственные, назимовские, субъективные, но не так уж трудно увидеть, что писатель здесь с коммунистических позиций смотрит на будущее человека. Характерной вещью в этом плане представляется совсем коротенькая, поэтически лаконичная «Колыбельная моему сыну»:

«Простудился мой мальчик, лежит в жару. Никак не заснуть ему. Глаза и пылают и искрятся. «Спою-ка я мальчику колыбельную»,— говорит мать. Какую?.. «Баю-баю, спят ребята, в огород — зашли телята» или «Спи, как вырастешь большой, даст бог, станешь ты пашой»? Ни то и ни другое. Я попросил мать спеть нашему малышу такую колыбельную:

Спи, моя крошка, баюшки-бай...

Пусть тебе приснится безбрежное море. Волны бросаются одна на другую, вздымаясь и падая, кипя и пенясь. Спи, детка, баюшки-баю. Ты на корабле, на капитанском мостике. Вода шумит и справа от тебя и слева, вода бросает тебе вызов, вода — и спереди и сзади. Ничего, мой мальчик, не бойся. Машины действуют безотказно, как твое сердце, киль прочен, штурвал в крепких руках.

Спи, моя детка, баюшки-бай...

С одного берега на другой перебрасывают громадный висячий мост. Ты там. Смотри, вон на той сверкающей металлической балке. Взгляни вниз, пусть только не кружится у тебя голова. Посмотри вверх, голова твоя словно касается неба...

Спи, мой мальчик, баюшки-бай...

Смотри, как много книг! Ты все их прочел? Лоб твой в морщинах, волосы у тебя белы как снег. Такого мудрого взора, как у тебя, ни у кого на свете больше не сыщешь. Лицо твое прекрасно, как сама вечность. Не падай духом, не бойся, что тебе не найти того, что ты ищешь. Читай и найдешь, учись в борьбе, не отделяя от нее того, что тобою познано...

Спи, моя крошка, баюшки-бай...

Слушай, до тебя доносятся звуки. Смотри, как прекрасны эти краски! Твои руки ласкают мрамор, чтобы придать ему самые вдохновенные, самые живые формы.

Спи, моя детка, баюшки-бай... Спи...

Будь бесстрашным, как моряк, созидающим, как строитель, мудрым, как философ, и вдохновенным, как артист... Спи, мой мальчик, усни, баюшки-бай».

Особую часть цикла представляет собою серия философско-психологических этюдов, где, отталкиваясь от морали басен, пословиц, афоризмов, крылатых слов, поэт показывает, сколь они несостоятельны, если их рассматривать не в общепринятом, привычном аспекте, а в некотором другом: «Все зависит от условий места и времени». Вот пословица «Свечка лжеца горит до вечерней молитвы»: «В ту пору, когда люди пользовались свечами, возможно, было так. А сейчас у нас век электричества» (и говорится, какими мощными средствами лжи располагают в наш век буржуазные радио и печать); или известное «Тьмы горьких истин нам дороже...» — «Как ни горька, как ни страшна оказывается истина, ей надо смело глядеть в лицо и не прекращать борьбы!» А вот как толкует поэт (здесь хочется подчеркнуть — именно поэт) популярную басню:

«Цикада — артистка. Целое лето наполняет она жаркие желтые степи, теплые звезд-

---

Л. СТАРОСТОВ
РАННЯЯ ПРОЗА НАЗЫМА ХИКМЕТА

ные ночи радостной песней. Работающие в степях, прилегшие отдохнуть под звездами наслаждаются ее светлым голосом.

Цикада — артистка. Исполняя песни, она не жалеет дыхания, словно светящиеся капельки, частички своего сердца, рассыпает она по воздуху звуки. Утомляется. Выбивается из сил. Только не ради себя, а ради всех тех, кто ее слушает. Она так привыкла петь для других, что о себе не думает, за все лето ей даже и в голову не придет хоть один раз спеть для собственной выгоды.

Пришла зима лютая. Цикада голодна. Цикада зябнет на холоде. Идет, стучится к муравью.

Муравей все лето думал только о себе, только о собственной персоне, наполняя свои амбары и кладовые, запасался едой на зиму. И теперь, спесиво задрав нос, сидит на своих мешках. Он уже забыл, что все лето, когда он таскал еду к себе домой, его подбадривали, ему прибавляли силы песни цикады, что эти песни дали ему хоть чуточку почувствовать прелесть лета. А сейчас он гонит постучавшуюся к нему цикаду, да не только гонит, а еще и издевается над ней, как ему вздумается.

Я испытываю отвращение к муравью из этой басни, я презираю его. Что до цикады — на нее я сержусь. Нет, не потому, что она все лето, не заботясь, не думая о себе, распевала песни — это как раз самое прекрасное, самое достойное восхищения ее качество. Я сержусь на нее за то, что она дошла до такой глупости — постучалась к муравью и тем самым уронила свое достоинство».

В других случаях, как в упоминавшейся миниатюре «Собака лает, караван идет», поэт комментирует пословицы, которые, наоборот, покоряют его своей меткостью, глубиной мысли, неувядаемой свежестью. Иногда Назым Хикмет «обыгрывает» пословицы и поговорки, зачастую каламбурно, так, что это не поддается переводу. Все это, включая обращение к жанру сказки,— свидетельство тому, сколь широко, умело, с какой хорошей «отдачей» использует Хикмет народное творчество. И это в те годы, когда в среде даже прогрессивных писателей Турции находились литераторы, серьезно утверждавшие, что обращение к фольклору якобы снижает художественный уровень литературы.

Назым Хикмет не гнушается и темами «приземленными», чисто житейскими. Но буквально во всех этих случаях он придает повествованию такой поворот, что всюду чувствуется резкое неприятие поэтом окружающего его мира собственности.

Вот заметка «Классы в загробном мире»: «Муниципалитет решил подразделить похоронные церемонии на пять классов. Тот, кто внесет 200 лир авансом, будет похоронен по первому классу. Эх, скажете вы, после того как самый что ни на есть бесклассовый загробный мир поделен на пять классов, 200 лир за первый не такая уж большая плата. К тому же смотрите, что муниципалитет обеспечивает за эту цену: 1) надгробие, 2) гроб из самого добротного первосортного материала, 3) шикарный венок, 4) 20 легковых автомобилей лучшей марки, а если вы предпочитаете автобусы — четыре автобуса, 5) саван и прочее убранство из самого прочного первосортного материала, 6) избранных священнослужителей с проникновенным голосом для отправления заупокойной службы, 7) два траурных извещения в газетах, 8) катафалк. Прочитав этот перечень, удивляешься, почему муниципалитет не обещает плюс к тому особняк, трех гурий и двух ангелов в раю.

Но если говорить правду, несмотря на такие выгоды, муниципалитет запрашивает слишком большую плату. В наше время, когда смерть настолько подешевела и, кто знает, насколько еще подешевеет в связи с нынешним развитием европейских дел, даже для первого класса 200 лир дорого. Вы скажете: если 200 лир для тебя слишком много, ступай внеси 15 лир. Отправляйся в загробный мир представителем пятого класса. Если вы говорите это мне, не трудитесь, я и без того в этом мире не очень-то почитал первый класс. Муниципалитет может отправить меня на кладбище на телеге мусорщика, мне наплевать».

Советские литераторы, знавшие Назыма Хикмета по пятидесятым годам, неизменно отмечают в числе наиболее ярких его черт пламенный интернационализм. К. Симонов пишет, что турецкий поэт «больше всего ненавидел запах национализма... При нем нельзя было сказать плохо ни о турках, ни об армянах, ни о французах, ни о русских, ни о евреях — ни о ком». Назым Хикмет был интернационалистом с юности — вспомним «Мои девятнадцать лет»: «Негр Джонни, немец Тельман, китаец Ли и девятнадцатилетний Назым, товарищ, товарищ, товарищ всем им». В миниатюре «Белая раса, черная раса» говорится о средневековой работорговле, о фашистской «теории» арийской расы и, наконец, о положении негров в Америке, где они, несмотря на законодательно закрепленное равноправие, «не могут сесть за один стол, в один трамвай с белыми». С удивительной проникновенностью прозвучала эта тема в миниатюре «Мой брат абиссинец»:

«У меня белокурые волосы, голубые глаза. Среди вас не сыщешь ни одного белокурого, ни одного голубоглазого. Попади я в те места, где ты живешь, я умру от жары. Попади ты в мою страну, даже в самый солнечный летний день — замерзнешь. Нас разделяют высокие горы, безбрежные моря. Но что из этого, брат мой абиссинец? Ты в душе у меня, в самом моем сердце. Я слышу биение твоего сердца, словно я возле тебя, совсем рядом с тобой. Я вижу, как ты стискиваешь свои длинные смуглые пальцы в бледных ладонях...»

В миниатюре «Бей его!» поэт пишет:

«Уважение, которое я испытываю к рабочему, художнику, ученому любой нации, я питаю к рабочему, художнику, ученому еврейской национальности. Отвращение, испытываемое мною к спекулянтам любой нации, то же самое, что и отвращение к спекулянтам-евреям... Делать из всей еврейской

национальности козла отпущения — не что иное, как выступать в роли лакея немецких, английских и иных спекулянтов и торгашей».

Много места в миниатюрах отведено вопросам искусства — музыки, живописи, театра и, конечно же, литературы. Нет нужды говорить о том, какое значение имеют высказывания Хикмета на эти темы для понимания его собственного творчества, в частности драматургии.

В одной из миниатюр — своеобразных рецензий на театральные темы — Назым Хикмет очень одобрительно отзывается о спектакле по пьесе Сундукяна «Пэпо» («Актеры-любители Муаззез, Азиз, Юсуф играли не хуже профессионалов») и о самой пьесе («По правде говоря, у нас еще нет драматургов, которые могли бы равняться с Сундукяном, написавшим «Пэпо» шестьдесят шесть лет назад»). Поэт не жалеет красок, оценивая игру популярного комедийного актера Нашида. Его самую значительную заслугу Назым Хикмет видит в том, что Нашид несет свое искусство в рабочие кварталы, что он умеет заставить народ смеяться («а заставить народ смеяться — дело очень трудное»), что он смог заставить народ и полюбить его, Нашида («а заставить народ кого-нибудь полюбить — дело очень трудное»).

В миниатюрах, посвященных вопросам литературы, самое пристальное внимание Назым Хикмет уделяет поэзии.

В комментарии «Новые стихи» он пишет: «В новых стихах разных поэтов прежде всего бросается в глаза их схожесть, однообразие, словно вышли они из-под пера одного и того же поэта. Вот я беру по одной строке из стихов разных поэтов и располагаю их, пусть без рифм, в виде единого стихотворения:

Кровь отхлынула от домов,
Тают и льются крыши.
В этот безвкусный вечерний час
Прилетайте, эй вы, кто ждет вдалеке
На своих невидимых крыльях,
Протяните нам руки, тени.

Вот так, приложив немного труда в выборе и расположении строк, в подгонке их концовок, вы можете продолжать такое стихотворение сколько угодно.

Возьмем излюбленные заголовки новых поэтов. Они также не представляют ничего иного, как разные оболочки одного и того же чувства. Вот я беру первые попавшиеся: «Ночи», «Час, когда все ушло», «Годы вечера», «Осень», «Печаль и одиночество», «День, когда я умер», «Чувство вечера».

Возьмем слова, встречающиеся в каждом стихотворении каждого нового поэта: «вечер, загадка, мечта, сон, кот, черный, свеча, темнота, гроб, смерть».

Назым Хикмет — вернее Орхан Селим — не берется объяснять «социальные, экономические и еще не знаю какие причины такого положения»: «Очевидно, я не способен на подобное исследование. А может быть, тому не способствуют ни мои знания, ни рамки этих моих размышлений».

Это, разумеется, всего лишь очень уместная (с достаточно прозрачным намеком на «социальные, экономические... причины»), сознательная оговорка Назыма Хикмета (маленькая деталь, еще раз показывающая, какие удобства представлял для него псевдоним «Орхан Селим»). Конечно, он знал причины упадка турецкой поэзии в эти годы, но высказаться о них не мог. Не позволял политический «климат» в этот момент: именно он и послужил причиной упадка, о котором говорилось у Назыма Хикмета.

Если в конце 20-х — начале 30-х годов, после выхода в Турции первого издания сборника стихов Назыма Хикмета «835 строк», у него появилась масса последователей и просто подражателей, то в середине 30-х годов резкий подъем реакции в стране, вызванный международной обстановкой того периода (война в Абиссинии, наступление германского фашизма, события на Дальнем Востоке), вынудил этих поэтов либо сменить направление, «поправеть», либо вовсе замолчать. Образовавшийся «вакуум» не замедлили заполнить декаденты. Они-то и притащили с собой «новые стихи», о которых пишет Хикмет.

Некоторые миниатюры этой группы касаются проблем чисто теоретических, литературоведческих — скажем, турецкой версификации (причем здесь Орхан Селим говорит от лица «друга»):

«Одна из самых значительных особенностей турецкого стиха в том, что он может включить наиболее многосложные по сравнению со стихами на других языках строки, которые при этом легко произносятся. Мои опыты в области техники стиха показывают, что даже строки, содержащие свыше двадцати слогов, легко читаются, не утрачивая своей гармонии...»

Впоследствии в беседах на литературные темы Назым Хикмет не раз повторял эту мысль: «Ни на одном языке не может быть таких длинных стихотворных строк, какие возможны на турецком». Имеется в виду специфическое для тюркских языков, особенно турецкого, уподобление гласных — каждое слово характеризуется определенным набором гласных, принадлежащих к одному фонетическому ряду, что обеспечивает своеобразный мелодический рисунок речи.

После литературы самым близким для Назыма Хикмета родом искусства была живопись: поэт и сам был художником. О том, что Хикмет видел мир глазами художника, говорит одна из миниатюр «Страсть к живописи»:

«Я ощутил ее после того, как перебрался на этот чердак. Мои окна здесь на уровне второго этажа обводов Галатской башни.

С высоты птичьего полета, словно игрушечный рельефный макет, я вижу весь

Л. СТАРОСТОВ
РАННЯЯ ПРОЗА НАЗЫМА ХИКМЕТА

Стамбул с его морскими водами, крышами, улицами, холмами, судами и рощами.

Сейчас я расскажу, что я ощутил.

Стамбул представляется картиной, писанной в зависимости от погоды то маслом, то акварелью, то пастелью, то углем.

Я говорю это не ради поэтической метафоры. Производят ли такое впечатление другие города, я не знаю. Но Стамбул, например, вчера в декорациях пасмурной, свинцовой погоды был картиной, рисованной углем. Все краски слились в черную и белую.

А вот три дня назад, в час захода пламенеющего пестро-огненного солнца, Стамбул напоминал плохо отпечатанную открытку с картины начинающего художника, исполненную никудышными масляными красками.

По вечерам Стамбул как бы написан пастелью. Пастелью пишут на ворсистой серой бумаге. И наносят ее легким касанием мелка. Вот такими нанесенными пастелью на ворсистую серую бумагу и выглядят стамбульские вечера при свете луны, особенно в районе скутарийских берегов.

Я не художник. Хотел бы им быть. Но с тех пор, как я переехал на этот чердак, желание сделаться художником стало у меня страстью».

Трудно перечислить темы, которых Хикмет коснулся в своих «фыкра»: поэта всегда волновало все, что встречал он на своем пути, и с его страстной натурой — всегда глубоко. Но все же по-разному. Он писал и по важным общественным проблемам — о народном образовании, профсоюзном движении, социальном обеспечении, здравоохранении, религии и сельской жизни. Касается Хикмет и вопросов техники, точных наук, затрагивает исторические темы и т. д. По форме миниатюры, написанные на конкретную тематику, представляют собой, казалось бы, традиционные газетные комментарии. Но у Назыма Хикмета, поэта до мозга костей, все или почти все они «олитературены» каким-либо поэтическим тропом или иным приемом художественного изображения. Вот почему и эти миниатюры-«однодневки» я счел вполне резонным рассматривать в цикле ранней назымовской прозы.

Темы разные, и, естественно, решение их различно. Назыма Хикмета волновало все, но, как уже сказано, по-разному. Одинаково конкретны сюжеты — похоронная такса стамбульского муниципалитета и война в Абиссинии. По значимости же дистанции между ними немалого размера. Ясно, какая тема и насколько сильно волнует Назыма Хикмета. В итоге, миниатюра о похоронной таксе — почти стопроцентная публицистика, «Брат мой абиссинец» — стихи в прозе, с поэтическим тропом-гиперболой («умру от жары», «в самый солнечный летний день — замерзнешь») и взволнованным «поэзийным» ритмом.

Наряду с миниатюрами, посвященными конкретным темам, цикл содержит целую серию притч-иносказаний философско-психологических (сюда же надо отнести и некоторые миниатюры смешанного типа). В этой части цикла Назым Хикмет выступает новатором «с головы до пят» — здесь у него не было предшественников, по крайней мере в отечественной литературе. Вполне оправдан и закономерен поэтому поиск, опробование формы. Вот отрывок из миниатюры «Песня неба»:

«В одну звездную летнюю ночь губы неба пропели мне бесконечную свою песню. Я привожу здесь нашептанные отрывки этой песни, которые остались у меня в ушах, и так, как они остались,— в беспорядке.

У неба ни начала, ни конца, ни низа и ни верха.

Все, что распадается и воссоединяется, рождено небом. И небо — колыбель всего, что беспрестанно, беспрерывно протекает и проходит.

Нет на небе ни старца с белой бородой, нет и того, кого рукою не потрогаешь, глазами не увидишь.

Смотрите на небо и смейтесь над своею немощью, смотрите на небо, гордитесь своей мощью.

У неба ни начала, ни конца, ни низа и ни верха.

Не сравнивайте небо с атласом голубым. Он рвется. И с позлащенным куполом. Он разрушенью поддается.

Ни плакать небо не умеет, ни смеяться. У неба ни начала, ни конца, ни низа и ни верха».

Здесь все недосказано и в содержании (полуконкретном-полуотвлеченном) и в форме (набор разрозненных, хотя и ритмизированных строк). Единственное здесь, что всегда свойственно Назыму Хикмету,— рефрен, его излюбленный прием, встречающийся в разных видах повсюду. В остальном же — явный поиск, нащупывание формы.

А вот форма выверенная, принятая поэтом «к серийному производству»:

«Ты как дерево молодое со светлыми листьями, мой малыш. Ты как молодое дерево, не сознающее ни вкуса своих плодов, которыми невозможно насытиться, ни свечения своих листьев. Ты даже не ведаешь, что есть такие плоды, такие листья.

Ты как море, детеныш мой. В твоих водах прогуливаются серебристо блестящие рыбы. Самые мягкие, чарующие взор водоросли колышутся в тебе. Но ты не знаешь прелести этих рыб, гуляющих в твоих водах, несравненной красоты водорослей, шевелящихся там Ты как весенний ветер, мой малыш. Как ветер весенний, наполненный ароматом благородной черной земли. С востока на запад и с запада на восток, без забот и без дела проносишься ты, словно волны света. Ты не знаешь ни силы своего дуновения, ни прелести неимоверной того аромата, которым ты переполнен.

Если бы ты познал вкус своих плодов, свечение своих листьев, сверкание своих рыб, от радости сердце твое перестало бы биться. Ты бы так полюбил себя, что эта самовлюбленность могла б обернуться самумом, сбить плоды с твоих веток, вызвать

страшную засуху, умертвить рыб, развеять твои ароматы. Потому что самовлюбленность подобна змее, свернувшейся кольцами в человеческом сердце. И когда она поднимает голову сынок, то первое, во что она вонзает свои ядовитые зубы,— это сердце, в котором она затаилась». (Рефрен здесь, заметим, другого вида — ты как... ты как... ты как... не ведаешь... не знаешь... не знаешь.)

Как уже говорилось, этот глубокий лиризм можно обнаружить лишь в цикле прозаических миниатюр. В тот период Назым Хикмет еще был убежден, что писать, скажем, о любви — дело, пролетарского поэта недостойное, и в стихах мы упоминания любви не найдем.

Теперь немного о юморе.

Выше можно было познакомиться с некоторыми примерами назымовского юмора: «Цикада и муравей» — улыбка печально-веселая. «Классы в загробном мире» — со злинкой, почти сатира. А вот наиболее типичный образец юмора у Назыма Хикмета:

«Хорошей хвори не бывает. Всякая хворь плоха. Все хвори, сколько бы их ни было на свете, достойны того, чтобы их черт забрал. Едва ли кто станет утверждать обратное, и все же есть в этом деле, по-моему, одно «но».

Если мы оставим в стороне такие болезни, как рак, о которых мы даже еще не знаем, что это за штука, все остальные можно расположить по ступенькам. Такие недомогания, как легкая головная боль, насморк и им подобные, окажутся в самом низу лестницы, их даже болезнями не назовешь. Одна таблетка, пара щепоток порошка — и хвори как не бывало. И в то же время для меня из всех видов хвори наиболее отвратительная, наиболее страшная — этот самый насморк, который, по общему убеждению, проходит от одной щепотки порошка. Вся сила и вся отвратительность этой пакости, именуемой насморком, в том, что он выдает себя за легкое недомогание, проходящее после щепотки порошка. Мы простодушно поддаемся подлой хитрости насморка. Дескать, подумаешь, что за болезнь, что в ней может быть страшного, и оставляем ее без внимания. Выходим из дому на холод с насморком, не бережемся. А там, глядишь, господин насморк спускается к тебе на грудь. Располагается там как у себя дома. Затем, сменив свое имя и обличье, оборачивается бронхитом и валит тебя в постель...

Насморк, на который мы поначалу не обращаем внимания, насморк, над которым мы подшучиваем — а по этой причине легко попадаемся в сети, расставленные гадким этим хитрецом, и на многие дни выходим из строя,— встречается не только среди многих видов хвори. Есть похожие на насморк «насморкочеловеки». «Насморкочеловек» слаб, тщедушен и немощен настолько, что не вызывает у вас опасений насчет того, что он способен на какую-либо пакость. Однако вся его сила, вся его мощь именно в этом. Подобно тому, как вы можете схватить насморк лишь оттого, что кто-то кашлянул разок или пожал вам руку, «насморкочеловек» цепляется к вам с помощью пары малозначащих слов, маленького притворства, но стоит ему прицепиться — и вам совсем не просто избавиться от хватки его мягких и влажных рук.

Не болейте насморком и не имейте дела с «насморкочеловеками».

Одушевление животных и предметов, пришедшее из сказки,— прием для литературы совершенно обычный. Но вот одушевление явлений встречается гораздо реже — у Назыма Хикмета же оно обыкновенно, как и его образ «плачущей айвы». Назым Хикмет идет еще дальше, он использует обратный прием — опредмечивает или «объявленивает» человека. В цикле встречаются «виночеловек» («с виночеловеком ты можешь говорить, шутить, веселиться и быть приятелем»), «уксусочеловек» («с уксусочеловеком станешь либо дружить, либо враждовать»), «сиропочеловек» («лучше выпей стакан воды, чем такой напиток»). А вот здесь появляется и «насморкочеловек».

■

Яркой, специфической чертой хикметовской поэтики — всей, не только художественного строя его ранней прозы — представляется отсутствие лирического героя в обычном смысле этого слова. Где бы Назым Хикмет ни сказал «я», исключая прямую речь персонажей, всегда имеется в виду он сам, Назым Хикмет. Хотя, конечно, не все сказанное им от первого лица строго соответствует фактам его биографии.

Миниатюры написаны Орханом Селимом. Казалось бы, предоставляется возможность «отойти от себя», что дало бы бóльший простор, обеспечило некоторые преимущества. Но нет, во всем обширном цикле такой отход допущен всего один-два раза по самому безобидному поводу (в миниатюре «Новые стихи» утверждается: «Я не поэт» — маленькая полемическая хитрость Орхана Селима — Назыма Хикмета). Выше было сказано, что Орхан Селим — второе «я» Назыма Хикмета, так что в остальных случаях высказанное от первого лица относится к самому автору. «Отход от себя» во всех прочих ситуациях, не связанных с подобным безобидным поводом, означал бы переход Орхана Селима в иную ипостась.

Миниатюры печатались под шапкой «Размышления». Но это скорее беседы. Весь цикл пронизан разговорными интонациями: то задушевными — в местах, проникнутых лиризмом — то доверительными, то просто товарищески-дружескими, а то и, на наш, порою слишком педантичный, взгляд, простецки-фамильярными. Миниатюры пестрят оборотами вроде: «вы скажете, что...», «вы

Л. СТАРОСТОВ
РАННЯЯ ПРОЗА НАЗЫМА ХИКМЕТА

возразите...», вопросами к читателю: «а вы как думаете?», «что ты на это скажешь?», «а как бы вы поступили?», риторическими вопросами, типа «а имеет ли право говорить о стихах тот, кто их попросту любит?» с неизменным в таких случаях ответом — «не знаю». Разговорность интонаций подкрепляется (не специально, конечно, здесь, как и во всем другом, невольно дает себя знать непосредственность, безыскусственность натуры Назыма Хикмета — и человека и писателя) чисто разговорными, если не просторечными, лексическими оборотами: «а мне плевать», «черт бы побрал», а также типично хикметовскими речевыми шуточками: «...социальные, экономические и не знаю еще какические». Это характерно и для его поэзии, сравним «Мои девятнадцать лет»: «Я смотрю на тебя с уважением, удивлением, восхищением и не знаю, с каким еще «ением».

Замечателен язык ранней прозы Назыма Хикмета. Дело не только в том, что поэт был выдающимся художником слова. Именно в тридцатые годы началась «языковая революция» в Турции Так экспансивные турки назвали провозглашенную Ататюрком реформу языка, которая имела целью очистить турецкий язык от арабско-персидского засилия, превратившего для широких масс народа литературный язык в «волапюк». Назым Хикмет называл свои выступления в газете «Акшам» опытами имея в виду в первую очередь именно опыты по очищению литературного языка от ненужных заимствований, по внедрению в него элементов языка народно-разговорного. Но эти опыты сразу же превратились у Назыма Хикмета в великолепную практику создания нового литературного языка, общепонятного и в то же время богатого, яркого, сочного, поскольку поэт черпал для него соки из неиссякаемого источника устного народного творчества.

■

Необычайно широк «созидательский» («яратыджи» — один из грех-четырех самых любимых назымовских эпитетов) диапазон Назыма Хикмета.

Мы его знаем как великого поэта, блестящего драматурга, талантливого прозаика.

Мы знаем его как замечательного публициста.

Известно, что Назым Хикмет писал киносценарии, либретто опер.

Назым Хикмет оставил заметный след в области художественного перевода, подарив турецкому читателю ни много ни мало — «Войну и мир» на турецком языке и еще значительное число переводов, главным образом из русской и советской литературы.

По ныне опубликованному в Турции эпистолярному наследию Хикмета нельзя не заключить, что и в области литературоведения он был прекрасно эрудирован, ориентирован и более чем талантлив.

По вполне понятным причинам в Турции цикл прозаических миниатюр Назыма Хикмета долгое время оставался в полном забвении на пожелтевших страницах газетных подшивок. Только после смерти поэта (как он, кстати говоря, и предсказывал) у него на родине стало публиковаться все или почти все, вышедшее из-под его пера. Тогда-то и смогла появиться книга, составленная и изданная Лебибом Муаммером.

Сам Назым Хикмет — и это может удивить читателя — не видел в миниатюрах художественной ценности. В одном интервью в середине 30-х годов он говорил: «Насколько мне известно, Орхан Селим до сих пор писал лишь «фыкра» и со своим романом «Кровь не говорит» впервые сует нос в художественную литературу». Зекерия Сертель, издатель и редактор упоминавшегося журнала «Ресимли ай», в своих мемуарах свидетельствует, что Назым Хикмет даже стыдился работы в газете «Акшам». Это объясняется, во-первых, тем, что он, сознавая уже себя опытным мастером слова, был вынужден работать «по найму» за две лиры в день, что отнимало время, нужное для настоящей, «созидательской» работы; а во-вторых, друзья упрекали его в том, что он работает на буржуазную прессу, «продался капиталистам» (из-за этих упреков, как свидетельствует Зекерия Сертель, поэт в конце концов и оставил журналистскую работу). А между тем легальными выступлениями, пусть даже в буржуазной прессе, такой человек, как Назым Хикмет, приносил большую пользу своей партии, не меньшую, чем расклеиванием листовок (этим поэту также приходилось тогда заниматься).

Хикмет давал свои «фыкра» в «Акшам» ежедневно, ни о каких «заготовках» не могло быть речи, весь или почти весь цикл создавался, можно сказать, экспромтом. Это обстоятельство тоже повлияло на оценку самим Назымом Хикметом художественного уровня этих «комментариев». Трудно, однако, представить что маленькие шедевры, вроде «Колыбельной», как и все остальные стихотворения в прозе, созданы экспромтом. Тем не менее это так. В этом проявилась сила подлинного, могучего таланта: «По одному когтю видно льва».

Азиз Несин говорит, что цикл миниатюр Назыма Хикмета — лучшее из того, что он создал в прозе. Это мнение можно оспаривать, но нельзя игнорировать. В послесловии к сборнику собственных «фыкра» Азиз Несин подразделяет вещи этого жанра на однодневки имеющие «злободневную газетную ценность», и произведения, представляющие «непреходящую книжную (читай «художественную».— *Л. С.*) ценность», ко вторым он прежде всего относит газетную практику Назыма Хикмета.

Уточняя мысль Азиза Несина, следует сказать, что подавляющая масса миниатюр, включая и «злободневные» (к примеру, «Мой брат абиссинец»), будучи написана

сорок лет назад, и нынче звучит так, будто создана вчера. И в этом проявилась сила подлинного, могучего таланта.

Но испытывая полное равнодушие, скажем, к похоронной таксе, утвержденной стамбульским муниципалитетом когда-то, сорок лет назад («Классы в загробном мире») и давно «снятой с вооружения», мы не можем быть равнодушны вообще к самой этой заметке и всем другим ей подобным «однодневкам». Ведь в каждой из них можно найти штрихи к портрету Назыма Хикмета — «живого и по-земному осязаемого». В его отношении к такому немалосущественному делу, как собственные похороны («пусть хоть на телеге мусорщика»), есть что-то от молодого задора и бравады. Но ведь это свойственный Назыму Хикмету юмор, пусть здесь веселый, а впоследствии закономерно погрустневший, однако не изменивший ему и в рассуждениях на ту же тему уже непосредственно перед настоящей смертью: «Чем-нибудь голубь капнет мне на лоб — ничего, это к счастью».

Нельзя не согласиться с Лебибом Муаммером, который в предисловии к сборнику миниатюр Назыма Хикмета выразил уверенность в том, что его выход в свет явится литературным событием, поскольку «без анализа этих комментариев, сверкающих и сейчас, как солнце, мы не сможем составить полного представления о литературной личности Назыма».

Выход сборника действительно стал литературным событием. Что же касается анализа этой ранней назымовской прозы, то у наших турецких коллег нет еще возможности ставить все точки над «i», оценивая «литературную личность» Назыма Хикмета.

Мы не стеснены подобными обстоятельствами, поэтому нам выпадает и удовольствие и честь, на нас, советских исследователей, ложится и почетная обязанность говорить о великом турецком поэте во весь голос.

◆

МОРИС ВАКСМАХЕР

ПРИРОДА ИСКУССТВА НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ

Заметки о современной французской поэзии

Передо мной несколько сборников стихов Ги Отье, «Кости и сухожилия». Франсуа Армель, «Другие заблуждения». Мишель Рашлин, «Шкура-бытие». Жан-Клод Фюро, «Опус для восьмой спазмодии». Изданы в Париже. 1973 год, 1974 год. С чем же приходят к читателю эти молодые поэты?

Открываем книжку Ги Отье. Первая строка первого стихотворения (все стихи без названий): «Горизонты заполнены жизнью до самого края...» Стоп-стоп-стоп! Не то. Инерция чтения подвела. Тут — не «до самого края». Тут, как говорится, непереводимая игра слов. «До края» — было бы «jusqu'au bord», а здесь — «jusqu'au bordel». И строка читается так: «Горизонты заполнены жизнью до самых борделей».

Строка эта довольно точно отражает суть и тональность всей книжки. Сумятица яростных криков, проклятий, страстной и при этом невнятной хулы, изливаемой на власти, на культуру, на нравы и моральные нормы, на религию, на женщин — словом, на все и на вся, на современную жизнь. Потоки непристойностей, сумбур раздраженности. Анархия мыслей и чувств, невыстроенность образов, случайность ассоциаций. Отсутствие гражданской позиции — и какой бы то ни было позиции вообще, если не считать позицией это бездумное бунтарство. Словом, как говорится в стихах у Отье,— «фантазмы детского гнева».

Берем сборник Франсуа Армеля. Несколько искренних лирических миниатюр тонут в той же стихии. Анархический вызов всем моральным установлениям, воспевание гомосексуализма, кокетничанье своей разнузданностью, мешанина отрывочных картинок, выкриков, диалогов, глумливо переиначенных афоризмов, вывернутых наизнанку пословиц. Есть и каламбуры — но они неуклюжи, неточны. Мастерства еще нет, непосредственности уже нет. Название книжки самокритично: «Другие заблуждения».

Книжка Мишеля Рашлина. Название претенциозное и не слишком понятное. Очевидно, автор хотел поиграть словами; его «шкура-бытие» немного созвучна и словам «может быть» — «Peau-Etre» и «peut-être», и слову «поэт» — «poète». Стихи в сборнике — это густая, вязкая масса длинных строк и периодов, это назойливый эротизм, нудное смакование непристойностей, прорицание грядущих вселенских катастроф, подкрепленное научными терминами из области космогонии и физики («черные дыры»!) и математическими формулами. Все громогласно, трескуче — и скучно.

«Опус для восьмой спазмодии» уже и вовсе непристоен. Жан-Клод Фюро ни смыслом, ни синтаксисом не связывает в строки слова, надерганные из совершенно разных стилистических рядов; судорожные вскрики; неологизмы — гибрид секса и научной терминологии — порой выделяются крупным шрифтом; через дефис пишутся такие «придумки», как «парнишка-действительность» и «промашка-действительность», или «женщина-руда», или, скажем, «пуля-кораблекрушение». Крупным же шрифтом выделяются какие-то будто и проходные слова — впрочем, как знать, возможно, они для поэта то-

же ключевые. Глумление над всем. И ни над чем... Ну и, разумеется, никаких следов (как и у других названных выше поэтов) какой бы то ни было организации стихотворной речи — ни ритма, ни рифмы, ни звукописи, ни синтаксической структурности.

Но рядом с этим пластом существует в сегодняшней французской поэзии и нечто иное, непохожее — во всяком случае, на первый взгляд непохожее. Существует поэзия «серьезная», весьма ученая, идущая в ногу с научно-техническим и лингвистическим прогрессом, даже опережающая его, демонстрирующая солидную эрудицию ее творцов. Вот, к примеру, Мишель Деги, один из видных представителей этого направления, автор многих книг, изданных у Галлимара. Что это? Языковедческие исследования, эстетические эссе, социологические выкладки? Литературоведение, структуралистское изучение поэтических текстов? Как вам сказать... И да, и нет. И наука, и сам поэтический текст как таковой...

В вышедшей в 1969 году книге Мишеля Деги «Обозначения» три раздела: «Стихи», «Теоремы», «Этюды». Раскроем «Стихи». Несколько стихотворных строк, вкрапленных в обширный объяснительный текст, в котором эти строки становятся предметом подробных рассуждений; высказанное предположение тут же отвергается, подвергается сомнению, снабжается возможными толкованиями второй степени, параллельными вариантами объяснения; поэт старается проникнуть в тайники собственного творческого сознания и подсознания, пройти вместе с читателем весь путь зарождения и словесного оформления образа Но это лишь один способ смешения текста и «анализа». Есть у Мишеля Деги и другой. Когда собственно стихотворный текст никак не отделен от текста аналитического, когда комментарий включен в «стихотворение» или, если хотите, стихотворение включено в комментарий и само является этим комментарием, все границы размыты: объект поэтического изображения — само стихотворение, самый процесс его создания; рассуждения о тексте — это и есть сам текст; язык уже не только средство создания поэтического образа, строки, текста, но и образ, созидаемый поэтом, и материя, из которой и которую творит поэт... Для этого используются приемы ассоциативного письма, фиксация прихотливых, как бы стихийно возникающих в сознании (или опять-таки в подсознании) поэта картин — и одновременно жесткие рамки структурного анализа этих образов; выплывающие из смутного океана видений слова-образы ухватываются щипцами заданной заранее схемы, расставляются по местам, заполняют «пространственные решетки»; новаторство поэта подчеркивается зримо: шрифтовыми решениями, расположением слов на странице, вертикальным, диагональным и иным необычным набором. Трудно сказать, что́ здесь доминирует: аморфность — или сухая рационалистичность, субъективный разгул необязательного, случайного — или холодная рассудочность. Оба эти начала соединяются, порождая странный гибрид нестихов и ненауки.

Именно о такого рода упражнениях писал недавно на страницах журнала «Советская литература», выходящего в Москве на французском языке, видный литературовед и крупный поэт Жан Руссело: «Поль Валери упрекал Виктора Гюго, что в нем «отсутствует критик». У многих же наших «неопоэтизаторов» присутствие критика ощущается настолько, что совершенно не остается места для собственно поэта, не остается места для того, что мы привыкли называть поэтическим вдохновением...» И дальше: «Эти стихи не красивы и не безобразны, не нежны и не грубы. Что же они собой представляют? А ничего. Вернее, самих себя. И их авторы испытывают удовлетворение лишь тогда, когда их типографские коллажи, аппликации, склейки, сгибы, соскребы и распылы оказываются полностью неудобочитаемы и неудобоваримы».

Как ни странно, но эту головную, холодную структуралистскую поэзию-анализ многое роднит с теми совсем «ненаучными» стихами, разговором о которых я начал эти заметки. Роднит и неудобочитаемость, и претензия на новаторство, на новое слово в искусстве, роднит и жесткая заданность (там — вселенский бунт, здесь — лингвистические построения), исключающая человеческую непосредственность, вытравляющая живые голоса, уводящая от живого разговора о реальной жизни, о человеческих страстях, стремлениях, заботах, делах.

Откуда же все это пошло? Почему столь многие поэты Франции ощущают этакую странную потребность освободить слово от смысла, а поэзию — от всякого содержания? Зачем эти потоки сумбурных ассоциаций? Кому нужно лишать поэзию красоты и стройности, того ритма слов, фраз, чувств, который находит резонанс в биении читательских сердец? Кому, какому читателю захочется вникать в многомудрый текст, где математические знаки и формулы, помноженные на жаргон клошаров или на строки афиш, перемешаны с сугубо научной терминологией и нашпигованы бесконечно варьируемыми перечислениями интимных отправлений человеческого организма? Кому это нужно, кому интересно?

Ответ на подобные вопросы вряд ли может быть однозначным; анализировать все факторы социальной и культурной жизни Запада, вызвавшие к жизни такого рода поэзию,— работа большая и сложная. Поделюсь некоторыми мыслями по этому поводу.

Прежде всего хочется сразу сказать, что фокусы со словом, жонглерство, трюкачество отнюдь не новы. Нет, не ново новаторство, спешащее отменить большую поэзию прошлого и настоящего. Вспомним бесчисленные группы и школки и в русском, и в немецком, и во французском искусстве, в ли-

---

МОРИС ВАКСМАХЕР
ПРИРОДА ИСКУССТВА
НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ

тературе, в поэзии на рубеже двух веков; вспомним — более поздние — упражнения так называемых леттристов во главе с Изидором Изу, в сороковые годы объявивших буквы алфавита средоточием культурных ценностей века и проклинавших всякого, кто составляет из букв слова, ибо незамутненный, магический, могущественный смысл буквы выявляется лишь тогда, когда она соседствует со случайным набором других букв, наугад высыпанных на страницу... Вспомним издержки сюрреалистского «автоматического письма». Говорю «издержки», потому что в мастерских сюрреализма отрабатывались и такие приемы постижения человеческой натуры, которые затем — именно и только как отдельные приемы — органично вошли в лирику Арагона, Элюара, Превера, Десноса, Шара, подчинившись большим идейным и нравственным задачам творчества этих поэтов. А эпигоны сюрреализма — и тогда, и ныне — абсолютизируют прием, предают анафеме все, что приему противоречит, выбрасывают живое содержание из однобоко понятой поэтической техники и принимаются за бесконечное нанизывание ассоциаций на стержень эротики, жестокости и бреда...

Все большие поэты Франции двадцатого века внесли что-то свое в обновление и развитие традиционных поэтических структур. Та поэзия нашего столетия, которую поносят, проклинают и отвергают как устаревшую и традиционную современные «обновители», совершенно лишена застойности. Каждый из настоящих французских поэтов — а ими наш век удивительно богат — заметно и существенно преобразил весь строй поэтического видения, поэтического осмысления действительности, существовавший до него. У каждого из этих мастеров — свой, только ему присущий образ мира. И притом все они идут в широком и могучем русле национального французского стиха.

Свой мир поэта...

Наполнен гулом океанских приливов, напоен густыми испарениями южных архипелагов, насыщен отголосками античной метрики и эллинских мифов стих Сен-Жон Перса; нов мир его притч и аллегорий, неповторим строй его речи, беспокойной и вместе с тем плавной, убежденно и неуклонно славящей тревожное бытие пастуха, воина, мореплавателя, поэта, которые отстаивают достоинство человека, отбивая атаки стихий и враждебных темных инстинктов...

Шершав, суховат, полон загадочных намеков и умолчаний эллиптический стих Рене Шара, в котором первородство человека — творца и борца — утверждается с пафосом пророчества и с тоской по братству...

За головокружительными каскадами каламбуров и парадоксов в лирике Жака Превера всегда слышна печаль уязвленного социальной несправедливостью сердца; любовь и ненависть клокочут в его озорных строчках, в шутовских скороговорках, в этих галльских раешниках: любовь к детям и птицам, к труженикам и цветам — ненависть к войне, к жадности и корысти, к лицемерию, мещанскому скудоумию...

Поэзия Арагона — многоголосый, полифонический внутренний монолог, нескончаемое признание в единственной на всю жизнь любви — в любви к женщине, к родной земле, к братьям по борьбе, монолог человека, беспощадно казнящего себя за былые промахи и ошибки; и весь этот мудрый порыв устремлен в грядущее и пронизан памятью о былом, и виртуозна музыкальная техника, и сменяются ритмы и строфика, но неизменна интонация доверительной откровенности, убежденность в правоте истории...

Поэзия Элюара — тихий и поэтому особенно проникновенный голос, дарящий первозданную прозрачность человеческим отношениям, возвращающий исконную чистоту простым словам: «жизнь», «любовь», «смерть», «вода», «огонь», «глаза», «руки»... Стих этот, словно бы чураясь внешних примет стихотворной речи, в самой структуре французского языка, в интонациях старинной народной песни черпает свою завершенность, свою рвущую душу гармонию...

Страшноватый, бесприютный мир наваждений Анри Мишо, навязчивая сублимация зла, выраженная в будничных прозаических словах, и за этой обыденностью — безмолвная боль при виде абсурдности социального бытия...

И мир Аполлинера, мир Жюля Сюпервьеля, Пьера Реверди, Раймона Кено, Гильвика...

В каждую из этих вселенных нелегко войти, еще труднее обжиться. И материал на их постройку вроде бы шел обычный: французское слово, французский синтаксис, французский силлабический стих или тот или иной вариант верлибра,— но всё в них чуть-чуть иное, чем в поэзии прошлого века, чуть-чуть иное, чем во французской прозе, иное, чем в соседних поэтических мирах. Трудно войти, но войти хочется, потому что с первых строк знакомства чувствуешь, что здесь ты найдешь великолепные богатства щедрой души и ума, потому что сразу ощущаешь озабоченность поэта единственным, что стоит заботы,— жизнью людей. Усилия, необходимые для проникновения в мир большого поэта, будут для меня, читателя, вознаграждены радостью приобщения к новым эстетическим ценностям, радостью постижения нового знания о душе человека, о нашем столетии. Непривычность выражения, затрудненность поэтического языка здесь — не дань моде, а единственный для поэта, единственно возможный для него как для неповторимой личности способ творческого мышления, способ выразить новое содержание.

Связи большой французской поэзии с насущными требованиями времени, с потребностями современного читателя сложны, многоплановы, многослойны. Поэты зачастую проецируют свои гуманистические раздумья, свои демократические оценки истории на некий воображаемый экран, и движутся на нем образы причудливые и странные, но этот, так сказать, «метафизический» пласт бытия в конечном итоге всегда имеет выходы в реальный мир. Надо лишь знать шифр, найти ключ, и эти ключи и шифры у каждого поэта — разные, свои.

И все же...

И все же в какой-то момент, на каких-то участках сложного своего пути французская поэзия нашего века, даже если по-прежнему говорить только о ее вершинных явлениях, начинает эту сложность, эту затрудненность — не только формы, но и содержания — абсолютизировать. Даже истинные таланты слишком уж ценят свою «особость», зашифрованность, глухую герметичность, слишком уж безоговорочно принимают на себя сан оракулов, магов, слишком уж резко отделяют поэзию не только от других литературных видов и жанров, не только от других форм искусства, но и вообще от всех и всяких видов человеческой деятельности. Эта поза исключительности становится привычной, и сознание причастности к высшей касте жрецов духа заставляет еще больше усложнять свой язык, приписывать ему самостоятельную власть над человеческим бытием, и герметичность стиха и языка отталкивает уже не только непосвященных, но начинает устрашать даже собратьев по жреческому цеху.

Не будем сейчас говорить об эпигонах, бог с ними. Нет, даже у больших, щедрых сердцем мастеров, у которых туманность и темнота выражения выстраданы, у которых зашифрованность не нарочита, не дань моде, не поза,— даже у них эта гипертрофия отвлеченности, тяга к анализу самых дальних, возвышенных, общих, далеких от земли и человека категорий бытия, эта затрудненность языка становятся зачастую не благом, а злом. Злом для них самих, ибо поэзия теряет читателей, собеседников, теряет связи с людьми.

А ведь однажды уже звучал сигнал тревоги: накануне второй мировой войны поэзия Франции теряла читателей, все больше замыкалась в себе, утрачивала контакты с жизнью. И лишь события испанской войны, затем трагическая, суровая и славная эпоха Сопротивления влили в творчество крупных французских поэтов новые соки. Поэзия французского Сопротивления — поразительная страница в истории мировой литературы. Все поистине яркие, самобытные, поистине национальные таланты встали в ряды борцов. Их стихи били по фашистскому варварству, их стихи оказались нужны простому человеку Франции, как воздух и хлеб. Поразительно и другое: эти боевые, патриотические, звенящие медью набата, дрожащие от гнева, трогательные в своей бесстрашной хрупкости грозные строки не теряли интонаций, издавна присущих их авторам: это не было облегченной, упрощенной поэзией, нет, поэзия ни на гран не поступалась своими высокими качествами, своими завоеваниями духа и формы. Воспевал Францию и хлестал ее врагов Сен-Жон Перс — в тех же, только ему одному присущих и ему одному подвластных ритмах и образах; разил врага Элюар — в своих, элюаровских, неповторимых, чистых, тихих стихах; сражались за Францию и Сюпервьель, и Реверди и Френо — каждый по-своему. Индивидуальность каждого расцвела в эти годы ярче и чище. При всей своей сложности их стихи обретали новую силу, гибкость, понятность. Появилась цель, появился читатель, все стало на свои места.

Но отгремели бои, и вскоре герметизм начал брать реванш. Не у всех и не со всеми это произошло, но тенденция именно такова. И результат — тревожный и горький результат — налицо: французский читатель, новые его поколения снова отвыкают от чтения стихов. Именно об этом говорят крохотные тиражи поэтических книжек.

Так что, чего греха таить, трюки и фокусы, заводящие поэзию в тупики, увы, реально существуют и в большой французской поэзии. И этот факт, с одной стороны, разлагающе действует на не слишком умных, не слишком талантливых эпигонов, готовых подхватить внешний трюк и не умеющих понять всего остального, главного, живущего в творчестве истинного поэта, а с другой стороны, из-за этого поэзия теряет читателя.

К тому же в душе многих хороших французских поэтов крепко сидит этакое высокомерие по отношению к поэзии «легкой», «простой» и «доступной», к поэзии «обстоятельств», к поэзии «для всех». Как будто не было ни опыта Аполлинера, зачинателя французской поэзии двадцатого века, поэта мудрого, страстного, сложного, умевшего обращаться к простому человеку и говорить с ним о трудных и сложных вещах. Как будто не было уроков Элюара, или Превера, или Десноса. Как будто не было уроков поэзии Сопротивления.

Один отличный французский поэт, великолепный и тонкий знаток поэзии своей страны, как-то подарил мне две свои книги. Одна — сборник его стихов о вечности и верности, о любви, о жизни и смерти, другая — сборник его стихотворных текстов, на которые созданы и с успехом исполняются популярные песни. Автор очень просил меня не смешивать эти две стороны его творчества, он явно немного стыдился тех стихов, которые стали песнями, добрых, мастерски написанных стихов, тоже о любви, о жизни, о смерти, стихов, которые, право же, не стали хуже от того, что в них есть рифма, четкий размер, четкая строфика, от того, что они более ясны и прозрачны в своей образной системе, чем стихи первой книги...

И возникает вопрос: не сдают ли своих позиций настоящие поэты, не уступают ли они — добровольно или в силу обстоятельств,— не уступают ли место бездарностям, трюкачам ремесленникам, сочинителям облегченного стихотворного чтива?

Почему читатель отходит от поэзии? Его отпугивает «высоколобость», отсутствие видимой связи философских стихов с его сегодняшними заботами и интересами. И в том, что это именно так, убеждает обратный пример. Пример неослабевающей популярности Жака Превера.

Превер — один из немногих французских

МОРИС ВАКСМАХЕР
ПРИРОДА ИСКУССТВА
НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ

поэтов, чьи книги выходят огромными тиражами. Разве его поэзия примитивна, разве подделывается она под «массовый», потребительский вкус? Ничуть. Успех его стихов объясняют также и тем, что дорогу к читателю им проложили опять-таки песни — песни, созданные на его слова. Но почему эти стихи стали популярными песнями? Не потому ли, что они не герметичны, не заумны? Простыми их тоже не назовешь, порой их трудно понять во всей внутренней многообразной метафористике, они обладают и вторым и третьим дном, и эмоционально они не однозначны, в них всегда есть привкус иронии, они грустны и задорны одновременно. Но они обращены к «человеку улицы», к «человеку толпы», они открыты для восприятия, ибо ситуации, отраженные в них, типичны, лирический герой понятен, структура прозрачна — не примитивна, нет, но стройна и доступна.

Вообще массовый читатель во Франции утоляет свою жажду поэзии из другого источника — песни.

Песни Брассенса, Бреля, Ферре, Беара, Ферра, многих других шансонье восполняют недостающее [1]. Читатель делается слушателем. А потом опять читателем: многие тексты песен этих великолепных мастеров становятся «собственно стихами», печатаются в сборниках, в антологиях рядом со стихами «собственно поэтов». Не всем поэтам это нравится... Но главное — полюбиться взыскательному и умному читателю.

Ибо без читателя поэзии нет. Это понимают все. Вот почему иные экспериментаторы, озабоченные поисками читателей, объявляют свои тексты поэзией социальной, действенной, стремятся наделить их теми качествами, которые могли бы заинтересовать трудящихся, молодежь. «Они утверждают, что достаточно уничтожить в поэзии и литературе всяческий смысл — и тотчас наступит социализм»,— пишет в уже цитированной статье Жан Руссело. При всей кажущейся парадоксальности этих слов, дело обстоит именно так. Экспериментаторы левацкого толка, как писал Андре Стиль в «Юманите» во время майских событий 1968 года, «навешивают ярлык «буржуазный» и «западный»... на любой осмысленный, удобочитаемый текст, даже если в нем воплощено подлинно научное содержание». Образцами истинно «революционной» и «пролетарской» поэзии они объявляют свои заумные опыты. Но могут ли эти тексты, непонятные даже «посвященным» и «избранным», заинтересовать сколько-нибудь значительную аудиторию? И дело не в эрудиции, которой эти «новаторы» щеголяют,— у того же Превера в стихах подняты огромные пласты исторических и иных сведений — дело в том, что за каскадами слов у них начисто отсутствует содержание.

Природа, как известно, не терпит пустоты. Природа искусства — тоже. Там, где большое искусство забаррикадировалось непроницаемой сложностью формы, там под его стенами разбивают свой шумный лагерь бродячие акробаты, там зрителя, слушателя, читателя пытаются ошеломить — или увлечь за собой, кинув ему пустой и броский трюк, наобещав ключи от завтрашнего рая на земле.

Бессодержательность — другая сторона формалистических ухищрений. Она мутным экраном заслоняет от читателя жизнь, отучает задумываться над проблемами современности. Игры ультралевых, ультрамодернистских реформаторов поэтического текста весьма устраивают поборников старого, выгодны для буржуазного порядка вещей.

Спешу оговориться: картина современной французской поэзии вовсе не так мрачна. Большая гуманистическая поэзия жива, она продолжает свою борьбу. Ярко работают многие и многие поэты старшего поколения, появляется талантливая молодежь. С радостью раскрываешь каждый новый сборник Гильвика, Пьера Сегерса, Жана Руссело, Жоржа-Эммануэля Клансье, Жана Марсенака, Алена Боске и многих других ветеранов. Звучит с эстрады бессмертная французская песня — боевая, нежная, грустная, задорная; рядом с мастерами, уже завоевавшими международное признание, появляются молодые шансонье, продолжающие традицию песенной поэзии, демократической по своей природе. Выходят книги молодых поэтов.

Вот, например, новое имя — Жорж Роз. Его первую книгу стихов — так и названную «Стихи» — выпустило в конце 1973 года парижское издательство «Характер». Покоряет простота и свежесть этих стихов о человеческой душе в мире беспокойных ветров: «С той поры, с той поры, как ветер нас слушает, с той поры, как он слушает нас иногда, он ничего нам не скажет, он ничего нам не хочет сказать на понятном нам языке,— это, должно быть, все потому, что мы сами ни разу еще не сказали такого, что было бы ветру занятно, что его бы задело всерьез,— мы почти ничего не сказали...» Открываешь один из новых сборников Жана Руссело, встречаешь в нем строки: «Пространство не знает времени, время не знает пространства, они просто друг друга терпят, как чета глухих стариков, что едят из одной миски, из одной памяти, из одной беспамятности». Или находишь у Клансье, тоже в одном из последних его сборников, непритязательную пейзажную зарисовку: «На краю кукурузного поля бук и орешник вступили в союз — чтобы свежестью пахла роса, чтобы в душу вливался покой, чтобы лут круглый год зеленел в глубине моей памяти». Читаешь жаркие и горькие строфы арагоновской элегии, посвященной Пабло Неруде,— и обретаешь противоядие от неверия, веру в счастливую судьбу настоящей поэзии.

И надежду, что не трюки и не тупики определяют пути поэтического слова во Франции.

[1] Тексты песен некоторых французских шансонье опубликованы в № 6 «Иностранной литературы» за 1975 г.

Заметки на полях

ЕЩЕ УДАР ПО КУЛЬТУРЕ

Сквозь политическую практику маоистов, осуществляющих «линию Мао Цзэ-дуна в отношении литературы и искусства», ясно прослеживается тенденция борьбы против творческой интеллигенции как таковой. Были годы, когда маоисты ограничивались критикой отдельных писателей, например, во время борьбы с «правыми» в 1957 году. Затем «культурная революция» в 1966 году уже нанесла удар по писателям и творческой интеллигенции в целом. Теперь, в середине 70-х годов, ставится под вопрос существование профессиональных писателей вообще. Даже если созданные ими произведения соответствуют гребованням «идей Мао Цзэ-дуна», эти люди все равно внушают беспокойство, потому что они могут составить новую творческую интеллигенцию с присущим ей критическим зарядом и живым недогматическим мышлением.

Внутриполитическая практика маоистов основана на проведении массовых кампаний. Всего, начиная с 1949 года, по подсчетам известного маоистского деятеля Яо Вэньюаня, им удалось провести восемь кампаний общенационального масштаба, не считая тех, которые были сорваны или не развернулись в полную силу. С 1973 года страну будоражила волна критики Линь Бяо и Конфуция.

Не будем подробно останавливаться на ее последствиях. Заметим лишь, что не успели улечься страсти старого, как началось новое движение. Такое быстрое переключение, без передышки, свидетельствует, что критика Линь Бяо и Конфуция не дала всех ожидаемых результатов. Восполнить пробелы и призвана, по замыслам маоистов, новая, нынешняя, десятая по счету кампания.

Официально она началась публикацией изречений Мао Цзэ-дуна. Изречения эти нарочито туманны, полузагадочны. Их связь с сегодняшней действительностью Китая приходится отгадывать, как ребус. Мао Цзэ-дуи сказал:

> «Надо выяснить, почему Ленин говорил о диктатуре в отношении буржуазии. Если не выяснить этот вопрос, можно переродиться в ревизионистов. Надо, чтобы вся страна знала» («Хунци», № 3, 1975).

Так был дан ход шумихе, которая во главу угла ставит изучение «теории диктатуры». Стало очевидным, что пекинские руководители явно недовольны развитием ситуации внутри страны.

Ежегодно китайская печать отмечает годовщину выступлений Мао Цзэ-дуна по вопросам литературы и искусства в Яньани в мае 1942 года. Эти выступления составляют главную идейную основу, с которой ведется атака на культуру. В статье Синь Вэнь-туна «Серьезно преобразовывать мировоззрение, коренным образом порвать с традиционными понятиями» провозглашается, что:

> «Председатель Мао поднял вопрос о преобразовании мировоззрения работников литературы и искусства на высоту политического курса.
>
> ...можно ли сказать, что мировоззрение работников литературы и искусства уже «почти» преобразовано? И нельзя ли сейчас остановиться и «перевести дух»?

Можно ли, как утверждают некоторые, после нескольких лет непрерывных кампаний с «головой уйти в профессиональную работу»? Конечно, нельзя. В вопросе о преобразовании мировоззрения всякие послабления и настроения самодовольства — ошибочны» («Гуанмин жибао», 23 мая 1975).

«Жэньминь жибао» в юбилейные дни также высказала неудовлетворенность нынешним положением:

«В области литературы и искусства все еще имеет место перекос, в отдельных сферах проявляется влияние ревизионистской линии, непрочны результаты преобразований. В наших рядах все еще сеет отраву буржуазная эстетическая мысль, карьеризм и эгоизм, сектантство, групповщина и прочие проявления помещичье-буржуазного общественного сознания. Теперь нам становится все яснее, почему на почве литературы и искусства буржуазия на смену свергнутым авторитетам выращивает новые. Почему буржуазный дух в литературе и искусстве, если его остановить в одном, немедленно проявляется в другом. Почему после критики старой буржуазии в литературе и искусстве немедленно появляется новая буржуазия» («Жэньминь жибао», 23 мая 1975).

Литература и искусство продолжают оставаться в глазах маоистов подозрительной сферой деятельности. Их тревога красной нитью проходит во многих статьях «Жэньминь жибао», и, например, 22 мая эти страхи были кратко сформулированы:

«Здесь может опять народиться новая духовная аристократия, могут вырасти новые перерожденцы буржуазной литературы и искусства».

Эти заявления свидетельствуют, что для маоистов любое творчество способно с объективной неизбежностью порождать все новых и новых врагов маоистской догмы. Конечно, речь идет не о буржуазии и буржуазном влиянии в строго классовом, марксистском понимании этого термина. Сама китайская действительность порождает у подлинных патриотов Китая стремление вывести страну из тупика маоцзэдуновского курса, освободить культуру и искусство Китая от пут мертвящей догмы «идей Мао Цзэ-дуна», сделать что-то полезное для народа, облегчить участь трудящихся масс, на плечи которых возложено непосильное бремя «подготовки к войне» и финансирования гегемонистских великодержавных замыслов. Подробно об этом говорится в статье журнала «Коммунист»[1]. Вот почему после каждой очередной кампании, даже столь массовой и жестокой, как «культурная революция», у маоистов находятся в Китае все новые и новые противники, и конца сопротивлению не видно, поскольку основные проблемы развития Китая остаются нерешенными.

«Жэньминь жибао» отнюдь не предлагает в своей статье решить назревшие вопросы культурного развития страны. Нет, рецепт маоистского органа прост: «Необходимо установить твердую всестороннюю диктатуру пролетариата в отношении буржуазии в литературе и искусстве». В духе нынешней кампании автор требует проанализировать корни «ревизионизма» в китайском искусстве. Он пишет:

«Как Лю Шао-ци, Чжоу Ян и К° проводили диктатуру буржуазии в литературе и искусстве? Они с помощью реакционной программы теории так называемой всенародной литературы и искусства выступали против служения рабочим, крестьянам и солдатам. Их важной контрреволюционной тактикой было проводить политику «знаменитого артиста», «знаменитого писателя» и «знаменитого режиссера», политику «высокой зарплаты», «высокого гонорара» и «высокой премии». Они внедряли принципы товарного обмена в область литературы и искусства, всемерно укрепляли, расширяли и усиливали буржуазное право, давали идеям буржуазного права свободно распространяться и преграждали работникам литературы и искусства путь для смычки с рабочими и крестьянами. Таким образом, те, кто пытался сделать карьеру на поприще литературы и искусства, те, кто поддался идеям буржуазного права, с наслаждением проглотили приготовленный им яд в сахарной оболочке. Некоторые из этих людей, начав с буржуазного стиля жизни, постепенно становились духовными аристократами, новыми буржуазными элементами, социальной базой для проведения ревизионистской линии в литературе и искусстве... Благодаря этому мы поняли что те, кто не идет искренно на смычку с рабочими, крестьянами и солдатами, а стремится воспользоваться буржуазным правом, чтобы создать для себя лично привилегированное положение, те могут стать пленниками буржуазии, вплоть до того, что и политически встанут на вредный путь» («Жэньминь жибао», 23 мая 1975).

В статье осуждается практика руководства культурой при Лю Шао-ци, когда работники литературы и искусства получали за труд гонорар и тиражные, когда талантливые авторы приобретали известность и пользовались почетом. Линь Бяо, мол, также ратовал за награждение талантливых людей высокими званиями и зарплатой. Теперь китайская печать считает, что большинство китайских работников литературы и искусства — «вы-

[1] «Коммунист» № 12, 1975, стр. 103—123.

ходцы из семей помещиков, буржуазии и мелкой буржуазии», они должны перевоспитываться как классово чуждый элемент. Перевоспитание, которому они подвергались в годы «культурной революции» и в период движения критики Линь Бяо и Конфуция, «не означает, что вопрос преобразования мировоззрения уже решен». Маоисты говорят, что надо перевоспитывать их и дальше.

Эти заявления повторяют радикальную маоистскую позицию периода «культурной революции» и сулят ухудшение условий для творческой деятельности даже тем литературным работникам, которые послушно шли указаным маонстским курсом. Нетрудно предвидеть, что в таких условиях нельзя ожидать расцвета литературной деятельности и оживления китайской культуры.

Маоистская «смычка», которую свергнутый Линь Бяо по показаниям самой китайской печати без обиняков называл просто ссылкой, была массовой мерой «трудового перевоспитания» творческой интеллигенции. Такое перевоспитание растягивается на многие годы. Несколько лет назад оно рассматривалось даже официально как наказание. Теперь его хотят применять ко всем, занимающимся творческой деятельностью, независимо от поведения и результатов творческого труда, как некую обязательную профилактическую меру. Противодействие, которое в сфере культуры встречают маоисты даже со стороны иовых, ими самими выдвинутых за последние годы лиц, квалифицируется не иначе, как проявление политической неблагонадежности.

Сегодняшняя практика трудового перевоспитания, видимо, не удовлетворяет пекинское руководство.

> «Некоторые товарищи не хотят на долгое время становиться рабочими крестьянами или солдатами, что на самом деле является нежеланием или отсутствием решимости порвать с ревизионистской линией в литературе и искусстве. Поскольку перевоспитание, перемена места жительства потребует от них отказа от таких вещей, как, например, лучшие материальные условия городской жизни, семейное уютное «гнездышко», а также уже привычный для них жизненный круг с его взглядами и интересами.
>
> ...Неправильно, когда преувеличивают трудности, изыскивают всевозможные предлоги, чтобы не уезжать, а когда едут, душой остаются прежними, лишь бы переждать трудное время, или же стараются не смыкаться с массами по-настоящему» («Жэньминь жибао», 23 мая 1975).

Статья требует: «пустить корни в трудовом народе». Это означает переселение в деревню на постоянное место жительства, а для молодых — браки с уроженцами той местности, где их поселили.

Городская жизнь, семья, круг близких и друзей — всего этого люди должны быть лишены в маоистском Китае, чтобы они не «испортились». Как ни дико читать такие рассуждения на страницах газет, но они полностью соответствуют действительности сегодняшиего маоистского порядка. И не приходится ожидать каких-либо послаблений в ближайшем будущем:

> «Всякие разговоры о том, что с идейным перевоспитанием дело обстоит уже вполне благополучно и осталось теперь поднять уровень художественного мастерства, чрезвычайно вредны». («Жэньминь жибао», 22 мая 1975).

Сейчас уже можно определить подлинные пружины и цели очередной кампании маоистов в отношении творческих работников и всей сферы китайской культуры. Пекинские руководители явно решили, что пора навести экономию и сократить расходы на культурные цели.

Китайские газеты запестрели требованиями срезать оплату труда творческих работников, демагогическими обвинениями в корысти и алчности, грубыми нападками на авторское право и само понятие авторства.

Вэнь Шао пишет в «Жэньминь жибао»:

> «Частная собственность на искусство» и «частная собственность на мастерство» являются ярким проявлением мышления в духе буржуазного права в сфере литературы и искусства. В старом обществе произведения литературы и искусства рассматривались буржуазией как товар, художественные произведения были частной собственностью. Сегодня, хотя форма собственности изменилась, в головах некоторых людей сохранились в весьма серьезной степени пережитки старой формы собственности в виде идеи о «частной собственности на искусство». Эти люди свое творчество и мастерство не считают инструментом, служащим рабочим, крестьянам и солдатам, не считают орудием укрепления диктатуры пролетариата, а рассматривают как «частную собственность», рассматривают как капитал, чтобы вымогать славу и положение. «Один раз угодишь — будешь сыт всю жизнь», «теория одной книги» — вот проявления такого образа мыслей. Эти люди мечтали, будто «их будут щедро оплачивать особо обслуживать, упрашивать ездить в особых автомобилях и питаться особой пищей, вплоть до того, что им будут подавать бутерброд со словами: «Кушайте, наш поэт!» Эти люди воистину «при дворе требуют почета, на рынке ищут прибыли» и не стыдятся, а гордятся этим. Неко-

торые докатились до того, что все считают товаром, в том числе и самих себя» («Жэньминь жибао», 22 мая 1975).

Многократные, в том же духе, выступления китайских газет убеждают в существовании конфликта между маоистскими руководителями и творческими работниками не только старого поколения, но и новыми, пришедшими уже после «культурной революции».

За последнее десятилетие творчество в Китае подверглось строжайшей регламентации. Все, допущенное в печать, многократно переделывается и перепроверяется, предпочтение отдается произведениям коллективного творчества, необычайно распространилась практика обезличивания — большинство авторских подписей стали псевдонимами.

Очевидно, нынешняя кампания ставит перед собой двойную цель: экономию на содержании авторов с полной свободой переделывать и перекраивать любое художественное произведение на потребу очередному лозунгу. Конечно, практика перекраивания имеет в маоистском Китае глубокую традицию и никого не может удивить, но официальное отчуждение авторов от прав на произведения, ими созданные, провозглашается столь цинично впервые.

Новое маоистское движение уже породило новых героев, у которых, по утверждениям печати, «надо всему учиться».

Вероятно, эта «учеба» у новых «образцов» стала причиной того, что творческая деятельность в Китае в 1975 году количественно заметно ослабла по сравнению с 1973 и 1974 годами. Поэтому демагогически звучат постоянные заявления: «Мы непременно добьемся еще большего процветания пролетарской революционной литературы и искусства». Такие заклинания регулярно повторяются на страницах маоистской печати с мая 1967 года, но не приносят позитивных перемен.

А. ЖЕЛОХОВЦЕВ

◆

САРА КИРШ

НЕПРИЧЕСАННЫЕ РАССКАЗЫ

Главы из книги «Укротительница»

Перевод с немецкого М ФЕДОРОВА

Беспокойные годы

Родилась я в 1911 году в рабочей семье. Отец был токарем, мать набивала сигареты на табачной фабрике. Жили мы сначала в Юргихте под Дрезденом, потом перебрались в сам Дрезден. Детство и юность у меня прошли как обычно в рабочих семьях — я рано повзрослела. Отец, помнится, зачастую сидел без работы. Положение дома было тяжелое: недоставало самого необходимого, и мать выбивалась из сил, чтобы прокормить семью.

Отец участвовал в забастовках металлистов, был в профсоюзе, однако сознательного политического воспитания в родительском доме я не получила. Оно началось, когда я познакомилась со своим будущим мужем. В ту пору мне сровнялось семнадцать. Он — член Социалистического союза студентов — ввел меня в кружок молодых рабочих и товарищей из КПГ и СДПГ.

Жили мы в маленьком флигеле на Аммонштрассе, отец работал там дворником. В доме размещались студии художников и скульпторов. У одного скульптора, он был в КПГ, собиралась молодежь — поговорить, поспорить. Оглядываясь назад, я думаю, что эти годы — 1930—1933 — и определили мой путь. Кружок находился в самой гуще событий. Муж был тогда председателем Социалистического союза студентов в Дрездене, и через него я впервые соприкоснулась с политическими сражениями тех лет. Хорошая школа, лучше не придумаешь. Друзья матери и отца помогли мне: два года я проучилась в коммерческом училище. Родители сами не могли предоставить мне возможность учиться дальше. После училища я устроилась в банк и работала там стенографисткой. А позднее — секретаршей. Изо всей семьи зарабатывала в те годы я одна, и заработок шел в общий котел. Но почему так получалось, я поняла, только овладев политграмотой.

Дрезденская группа имела свой клуб, я получила гостевой билет и ходила туда на политучебу. Настроение у всех было самое боевое. В то время мы жестоко боролись против студентов-корпорантов. Когда на собраниях выступали наши, дело почти всегда кончалось дракой. Зал обычно охраняли члены «Железного фронта» [1], так они сразу к нам: «Ребята, валите-ка отсюда!» Беспокойное было время, но, пожалуй, по-своему замечательное. А потом я вдруг поняла, почему у нас дома так и иначе быть не может. Жалко отца — сработался, сломался. Во мне исподволь просыпалось классовое сознание.

И вот наступил 1933 год. Нашу группу нацисты, конечно, сразу же разогнали. Страшное время. Наци штурмом взяли На-

© Copyright 1973 by Aufbau — Verlag Berlin und Weimar

[1] Организация социалистов Веймарской республики *(здесь и далее — примечания редакции)*.

родный дом: в студии, где мы собирались, устроили обыск. Товарищи исчезали один за другим, правда, кое-кому удалось скрыться. Арестовали одного из наших — Артура Буркхардта, мы звали его Абу,— потом пришел и мой черед. Меня тогда не привлекли к нелегальной работе: мы были слишком молоды и неопытны, да и связей не наладили. Я продолжала верой и правдой разносить письма дрезденским товарищам — от Аммонштрассе до самого Блазевица,— на том все и кончилось. Мы собирались вместе и пытались разобраться, а потом, в январе 1934 года, меня арестовали, конечно, без ордера на арест.

Рано утром подняли с постели, в доме произвели обыск. Сначала я сидела в одиночке и меня каждый день водили на допрос. Я была так неопытна в конспиративной работе, так не готова к подобным вещам, что это время стало для меня тяжелым испытанием. Решила: самое лучшее — вообще ни слова не говорить. Меня ежедневно в чем-нибудь уличали. Этот комиссар и по сей день стоит у меня перед глазами. Внешне это был приятной наружности буржуа — но как же он меня мучил! Осыпал страшными ругательствами, но я так ничего и не сказала, даже того, что было давным-давно известно. Они знали, что мой Гельмут печатался в «Фольксцайтунг», показывали мне статьи; знали, что он был председателем Социалистических студенческих групп Средней Германии в Дрездене, знали, о чем он говорил на собраниях, где выступал, и прочее.

Его арестовали три дня спустя. Он пришел с моей матерью справиться обо мне. А они говорят: «Ну вот, раз уж вы здесь, то можете сразу и остаться, мы бы вас все равно взяли!» Так Гельмут тоже очутился в тюрьме. А мне вдруг показалось, что на двери исчезла ручка и что тюрьма — это навсегда. Я заболела, с сердцем плохо стало. Но немного полегчало, когда меня перевели в камеру к одной из наших. Это была пожилая женщина, мужа ее арестовали, сына тоже. Через две недели я уже смогла гулять с остальными — полчаса в тюремном дворе. Идти полагалось на расстоянии двух метров друг от друга, и всякие разговоры вообще запрещались. Однажды за моей спиной очутилась одна венгерка, танцовщица из нашего кружка, и тихонько, совсем тихонько спросила: «Что с Гельмутом?» Я говорю: «Не знаю!» А она шепчет: «Руди тоже здесь». Руди — это ее муж, потом он работал в «Вохенпост», Руди Ветцель. Она сказала, что мужчин выводят на прогулку на полчаса позднее, попробуй, дескать, встать на койку. Так я и сделала и не заметила, что надзиратель подсматривает в глазок. Стою на краешке койки и вижу: выходит Гельмут. Так странно: зима ведь, холод, а он без шляпы, застегивает перчатки. и я, представляешь, перепугалась, думаю: «Черт возьми, и он здесь!» Только слезла, дверь распахивается — за мной пришли. На допрос. Я нагрубила и попала на два дня в карцер.

Шесть недель. Почему нас выпустили? Вероятно, за недостатком улик. И наверняка вот еще почему: мой свекор был юристом и когда-то учился вместе с тогдашним дрезденским начальником полиции. Сам свекор в Саксонии был очень популярен, потому что на процессах по трудовым спорам всегда защищал интересы рабочих. Я его любила за справедливость и демократизм. Обстановка в семье мужа и воспитание были полной противоположностью моей юности. Его отцу хотелось, чтобы сын по семейной традиции учился на врача — врачами были и дед, и прадед,— но Гельмут вполне сознательно стал учителем народной школы. Он так поступил по политическим убеждениям.

Свекор, стало быть, вмешался, и нас через шесть недель выпустили. Я опять принялась за старое. У нацистов тогда еще не было хорошей организации, поэтому некоторые вещи проходили незамеченными. Ведь Гельмут даже получил диплом и устроился учителем в одной дыре под Лейпцигом. Через полгода к нему явился школьный советник и спросил, не желает ли он вступить в СА и НСДАП [1]. Гельмут отказался и получил от тогдашнего гаулейтера Саксонии Мучмана бумагу: «Уволен по причине национальной неблагонадежности». Последующие годы прошли весьма бурно, туговато пришлось. Гельмут сначала сидел без работы, а потом они — он и еще несколько безработных товарищей — организовали рекламное агентство. Через полгода оно прогорело, оставив изрядные долги. Гельмут переквалифицировался и стал книготорговцем, представлял одно издательство, выпускавшее учебники и учебные пособия, и объездил всю страну. Потом он перебрался в Вену в издательство «Шроль», которое издавало книги по искусству, и проработал там около трех лет. Это очень известная фирма, и вещи там выпускали совершенно фантастические. У Гельмута сохранились альбомы, правда, никто в них уже больше не заглядывает. Все то время я прожила в Дрездене одна.

Мы поженились в 1938 году, ждали довольно долго — материальное положение не позволяло. Поколебались-поколебались — в конце концов все-таки рискнули. Гельмут начал прилично зарабатывать, когда перешел к Шролю. А я смогла чуть больше помогать матери. Нашему Томасу было полгода. Из-за бомбежек мы перебрались в Циннвальд. Он находился на чешской стороне и в ту пору был убежищем для всех нас. Дрезденские товарищи приезжали всегда, когда нам хотелось немного отдохнуть или выговориться. Мы встречались в маленьком домике на самом гребне горы. Там нас и застала Советская Армия. Гельмут почти до самого конца уклонялся от службы в фашистском вермахте. Профессор Фечер, которого СС расстреляла перед сдачей города давал справки о болезни и все такое. В конце концов деваться было некуда, и Гельмут стал санитаром в Эйленбурге. За восемь дней до вступления советских войск он сбросил форму и вернулся к нам в Циннвальд. Мы его спрятали. Его и еще

[1] СА — нацистские штурмовые отряды; НСДАП — название фашистской партии.

одного товарища, Курта Либермана, нашего старого друга. Он просидел в тюрьме шесть лет и снова попал под процесс. Курт пришел к нам, так как в Дрездене было оставаться чересчур опасно.

Утром того дня случилось еще вот что: я собралась в деревню за молоком, вдруг вижу — целый отряд эсэсовцев, сплошь молодые парни. Спрашиваю одного, что плелся сзади: «Чего вам тут надо, на высоте 1000 метров?» А он говорит: «Спросите вон того идиота впереди». Так он определил своего начальника. Эсэсовцы окопались и, когда советские солдаты устремились вниз по склону, начали стрелять. Но с эсэсовцами быстро справились. Я в тревоге стояла возле дома с Томасом на руках, когда показались советские солдаты. Вернулась в дом и крикнула: «Гельмут, Курт, спускайтесь, русские пришли!» Мы все собрались в доме, на улицу не выходили: стреляют.

В Рудных горах во всех домах есть застекленный эркер. Через него мы и смотрели, как советские солдаты шли от дома к дому и прочесывали местность. Потом они направились к нам. Тем временем у нас собрались все, кто жил рядом. За годы, прожитые с нами, они, должно быть, поняли, что у нас другие взгляды. Так вот, собрались на кухне, как сейчас помню, и тут входит советский офицер. Остановился и смотрит на нас. А мы сидим тихо, слышно, как муха пролетит. Он нам говорит по-немецки, довольно-таки правильно: «Страшные русские, вот они и пришли!» Поставил автомат и смотрит. Мужчины — Гельмут и Курт Либерман — сказали, что мы не нацисты, но это его не очень-то заинтересовало. Потом он ушел.

В ту же ночь танковая армия осуществила прорыв. В доме появилось очень много солдат, мы все пытались объяснить, что мы не нацисты. Да, тяжело нам пришлось в те восемь дней. Одни уходили, другие приходили. Появлялись и немецкие солдаты, разоруженные чехами, потом советские политкомиссары. Они поговорили с нами и сказали, что нам нужно ехать в Дрезден работать. Но ведь все было перекрыто. Этот негодяй Шёрнер [1], который двинулся со своей армией в горы, шел через Гейзингталь и перерезал дороги. Он еще оборонялся, воздушные налеты следовали один за другим. Прошло несколько дней — и это наваждение миновало. До сих пор вижу: стоим у окошка и плачем от радости.

Соорудили сообща тележку для скарба, спасенного от бомбежек,— пальто, теплые вещи, постели и все такое. Погрузили на тележку, у которой все колеса были разные. Поймали лошадь, то есть нам все время дарили лошадей русские солдаты. Раз у нас была крестьянская коняга, она нам чуть дом не разнесла, до того была сильная. Пришлось ее отпустить. Под конец нам попалась сивая кляча. Мы сменяли ее на верховую лошадь, доплатив пару бутылок шнапса. Верховая вообще не везла, не везла, и всё. Кто-то пришел, посмеялся и сказал: «Вы что, свихнулись, разве не видите — лошадь-то для верховой езды. Вашу телегу она и не потащит». Сивая кляча была хромая. Запрягли мы ее, стало быть, вещи погрузили, моя мать с коляской пошла следом. У нас справка имелась, что проезд из Циннвальда в Дрезден разрешен. Спускались по долине Гейзингталь от Циннвальда до Гейзинга.

Между тем союзники издали приказ собрать всех солдат и считать их военнопленными. Посреди пути наших мужчин забрали, хоть они на самом деле не были солдатами, особенно Курт Либерман. Он был не годен к военной службе, а Гельмут прослужил без году неделю. Их вывели на обочину, а мы с матерью стояли с лошадью и коляской на дороге. Я испугалась и совсем отчаялась. Тут на меня заорали: «Чего на дороге стала, давай отсюда!»

Каково мне было — лошадью правила впервые, да еще телега, но делать нечего, пришлось ехать дальше. Через полчаса все свалилось в придорожную канаву. Солдаты помогли вытащить телегу, и мы двинулись дальше в Гейзинг. Ночевали под открытым небом. Люди шли теперь из Дрездена: увидели его—и назад. Какой-то старик крестьянин напоил нашу лошадь и подкормил ее. Однажды ночью всех подняли, всех женщин. Привели на какую-то фабрику, что-то мы там делали. Так вот и получилось, что мы тащились со своей лошадью и телегой целых четыре дня. А мужчин все нет и нет, я чуть не умерла от страха. На ногах мозоли, все в грязи. Но ничего с нами не случилось, до Дрездена добрались.

Когда мы поженились, у нас была квартира на Кирхплац, она уцелела. Я уже совсем измучилась. Как сейчас помню, сижу и думаю: «Куда же теперь с лошадью?» Пошла в антифашистский комитет, там работал такой Вилли Грюцнер, наш товарищ, мы его давно знали. Бери, говорю, лошадь, а то я не знаю, куда с ней деваться. Лошадь они забрали, она им как раз пригодилась: эта самая кляча потом долго еще возила молоко в Лаубегаст [1].

Через восемь дней мужчины вернулись. Их протащили до Теплица и посадили вместе со всеми в тюрьму. Объяснения не помогали; вероятно, их так бы и увезли с остальными, но им удалось смыться. Еще одна история на грани смешного. Курт Либерман — отличный товарищ, потрясающий человек, все его любили. По профессии он котельщик. Во время войны он работал на сборке, заботился обо всех нас: просто-напросто крал. Сидя в тюрьме, Курт приобрел несколько странных привычек. Он все тщательно рассчитывал. Каждый кусочек хлеба для него был, так сказать, священным. Все эти тяжелые годы в тюрьме ему изо всех сил приходилось бороться против голодной смерти. Что найдет — поднимет, возьмет с собой и бережет. Один раз мы прямо решили, что он спятил. Желая выяснить вопрос, кому принадлежит лошадь, Курт написал

[1] Район Дрездена.

[1] Командующий южной группой войск фашистского вермахта.

САРА КИРШ
НЕПРИЧЕСАННЫЕ РАССКАЗЫ

бургомистру Лаубегаста письмо. Дело в том, что она понадобилась ему на убой, чтобы нам было что есть. Вот так-то.

Я получила первую работу. Секретарем в антифашистском комитете. Курт Либерман стал руководителем информационного управления в Дрездене, а Гельмут открыл первую народную школу в Лаубегасте. Это была самая первая школа, которая начала работать в Дрездене. Мне пришлось заняться малышом, мать заболела. С 1946 года я начала работать по-настоящему. Все было прекрасно, и сегодня кажется почти неправдоподобным. Гельмут, значит, заведовал школой в Лаубегасте. Потом он возглавил школу-интернат в Вахвице, там готовили первых учителей. Одновременно он вошел в тогдашнее земельное правительство Саксонии как старший советник по делам вузов и университетов. Нужно было налаживать все: демократизацию вузов, обучение рабоче-крестьянских кадров. Гельмут открыл в Саксонии подготовительные курсы, а я оборудовала на улице Нойберинштрассе для этих курсов первое рабочее общежитие.

Начали мы просто с нуля, но с каким воодушевлением! Мне помогала одна молодая коммунистка, Ютта Вокс. Сами привезли из казарм и покрасили старые тумбочки, отмыли полы и устроили в бывшей школе первое общежитие для рабочих. По-моему, я работала день и ночь, причем с неслыханным увлечением. С тем увлечением, которое мы, к сожалению, позже, знаешь ли, чуточку порастеряли.

Гельмут страшно переутомлялся, да и видела я его лишь несколько часов по ночам. Но работа была прекрасная, на доверии, подъеме. Наконец-то мы занялись делом, которое было политическим заданием партии. Общежитие открылось, а мне иногда казалось, что это невозможно. Каждую кастрюлю и каждую тряпку приходилось получать по особой справке. В приступе отчаяния я кинулась в СВАГ[1] и там по-страшному разревелась. Я ревела, потому что дошла до ручки. Говорила, что через восемь дней надо открывать, а нам не успеть и нет того-то, того-то и того-то — короче говоря, излила душу. Там был один замечательный офицер по вопросам культуры, Лужников, он меня очень спокойно выслушал и сказал: «Товарищ Хенцше, когда в России была революция, гражданская война и интервенция, у нас было еще меньше и жилось нам гораздо хуже». Мне стало стыдно, сижу и думаю: «Черт побери, прожужжала ему уши своими причитаниями!» А потом пошла домой, и все в конце концов обошлось.

Затем я работала в ведомстве социальной помощи учащимся, занималось оно приемом рабочих и крестьян в вузы. Борьба за демократизацию вузов и университетов была жестокой. Вот одна история, столь характерная для тех лет. Когда Гельмут еще входил в земельное правительство (в 1947 году), он однажды явился домой с портфелем, который мне показался необычно тяжелым. Заглянула. Смотрю — три банки мясных консервов. Три большие, настоящие банки. Я обрадовалась, пошла на кухню и объявила матери, что у нас есть три банки мяса. А поскольку нам всегда недоставало таланта самим раздобыть что-нибудь, это было прямо-таки необыкновенно. Гельмут рассердился и сказал, что банки принадлежат одному мяснику из Лейпцига, его сын не попал в вуз, так как был нацистом,— вот мясник и «забыл» эти три банки. На следующий день матери пришлось нести банки в детский сад. Там ей дали расписку, и Гельмут отослал ее мяснику, присовокупив благодарность за пожертвование для детского сада. Нам эта история далась тяжеловато, мама плакала.

Потом Гельмут перешел в Лейпцигский университет, а я, собственно, собиралась месяца на четыре прервать работу. Но когда через восемь дней приехала в Лейпциг, пришла телеграмма от партийного руководства университета — мне надо туда явиться на следующий день. Еще через день меня назначили руководителем районного отделения социальной помощи учащимся, потому что один тип там сбежал на Запад. Работа была дикая, от нее я поседела. Иногда, решая вопрос о стипендиях, мы задним числом исправляли ошибки приема. Довольно-таки тяжелая работа. Но там было целое поколение: Вагнер, Кюн, Мюккенбергер[1], мой брат, Соня Курелла,— все они были тогда в нашем клубе. Кант очень похоже описал все в «Актовом зале». Группа была необычайно активная. Хойслер, Майснер, Аленсвальд — товарищи вели большую политическую работу. Незаурядные люди, обладающие массой человеческих достоинств.

Вспоминаю брата. Ему на своих курсах приходилось здорово напрягаться. Например, историю литературы у них читал профессор Майер. Он давал материал, который, по правде сказать, был им совсем не по зубам. Первые ректоры Лейпцига и буржуазная профессура совершали самые натуральные закулисные сделки в приемных комиссиях. Они боролись за своих, а мы, с другой стороны, делали то же для наших. Проводили последовательную классовую политику. Вот, например, Жорж Мейер, он тоже пришел из буржуазного лагеря и состоял в руководстве социальной помощи учащимся. Так он нам здорово помог. Но очень многие изо всех сил мешали. Потому что считали наш путь ложным.

Из Лейпцига мы через полтора года перебрались в Берлин. Гельмута назначили заместителем школьного советника Большого Берлина. Я подхватила воспаление лобных пазух и долго болела. Потом пошла в райком Панков и работала там на общественных началах в отделе кадров. Работа у меня была совсем сумасшедшая: бумаги, документы и прочее. Правда, бывали беседы с людьми, но я не представляла тогда, что это станет моей профессией.

Потом я встретилась с одним товарищем из главного управления кадров министерства внутренних дел. Он-то и предложил мне перейти туда, ведь я же интересуюсь

[1] Советская военная администрация в Германии.

[1] В настоящее время видные деятели СЕПГ.

работой с людьми. За те три года я научилась работать с кадрами. И вообще в политическом смысле здорово выросла. Потом я перешла в министерство культуры. Оно в ту пору еще называлось Государственной комиссией по вопросам искусства.

Как раз при создании этого министерства я познакомилась с Бехером. Было это 7 января 1954 года. До самой смерти он оставался моим шефом, и работалось с ним очень хорошо. Жизнерадостный он был, лучился весь каким-то добрым весельем. Приходилось, конечно, держать ухо востро, а то мигом разыграет. Встречаю его однажды в коридоре, он куда-то спешит с пачкой газет под мышкой. Человек уж, видно, так создан: считает, что обязан выложить то, о чем думает. Подхожу, значит, к нему, а он говорит: «Некогда мне, хребет сломался» [1]. Я в общем-то не особенно находчива, но говорю ему: «По тебе не видно». Он мне в ответ: «О, один: ноль!» В мою пользу, зато после приходилось быть начеку — отплатит!

Время было живое и прекрасное. Еще я с удовольствием работала при Абуше. У этого человека есть сердце, из многих трудных ситуаций он умел найти выход. Я тогда входила в партийное руководство, и Бехер хотел, чтобы я серьезно подучилась Меня направили в ВПШ — чудесное время! На этих годичных курсах учились товарищи, которые при фашистах сидели в тюрьмах, концлагерях,— отличные люди! Мне этот год доставил большую радость. Собственно говоря, я впервые прошла систематическую партийную подготовку, что очень пригодилось в дальнейшем. Ведь с теоретическими знаниями, да еще с моим жизненным опытом можно многое сделать.

Бехер в самом деле просто покорял силой своего духа. По-моему, ему тогда удавалось очень многое делать, и в разговорах с западногерманскими партнерами тоже. Популярность его выходила далеко за пределы страны. Бехер последовательно отстаивал наше общее дело и стал символом нашей культуры.

Проблем ведь было бесконечно много. Я пыталась решать их сама, но это превышало мои силы. Однако думаю, я была хорошим кадровиком, потому что у меня существовал свой внутренний моральный кодекс и действовала я не только по директивам и инструкциям. Изучала людей, стремилась открыть главное в каждом и тем горжусь. И всегда старалась быть принципиальной. Но все эти годы — а их было четырнадцать — я держала себя в струне, жила на пределе. Непростые были годы.

Оглядываясь назад, говоришь себе: «Ведь на ребенка времени не оставалось». Мой Томас в детстве тоже не раз говорил, что у нас нет для него времени. Но сейчас я думаю, тут две стороны. Он ведь и гордился родителями. Он очень любит отца, уважает его взгляды и знает, что я тоже стою за наше дело. Иногда мне казалось, что мы страшно много упустили в его воспитании. Но теперь, когда он вырос, я думаю: ничто не проходит бесследно. Наша мораль, наша этика теперь проявляются и в его поведении. Когда умерла моя мать, Томас частенько сидел совсем один, а ему было всего шесть лет. Тогда он научился готовить. Позднее он сказал, что в армии ему здорово пошло на пользу и умение готовить, и то, что ему все приходилось делать самому.

Он записался добровольцем на флот сразу после школы. А я той порой перешла заведовать отделом кадров к Елене Вайгель [1]. Я ее знала по работе — легендарная личность, наша Хели. Так вот, часто она ходила к Бехеру, а позднее к Абушу, плакала и жаловалась. На то и на се, что, дескать, что-то не обеспечили, нет достаточного почтения к наследию Брехта. В министерство она подчас приходила в слезах. Я ей говорю: «Хели, ради бога, ну что там опять стряслось?» Мы с ней шли прямо в приемную министра, и она на целый час, плача и рыдая, скрывалась за дверью. А потом выходила с сияющим лицом: победа по всем статьям. А я с моей привычкой принимать все всерьез, близко к сердцу, думала: как это необыкновенно здорово!

Не раз я бывала у нее дома и даже немножко познакомилась с Брехтом. Присутствовала на репетициях. Это мне страшно нравилось.

Так вот я и пришла в «Берлинер ансамбль». Работать с кадрами — значит работать с людьми. Так я всегда и считала: говорить с людьми и пытаться подходить не схематично, а проникать глубже, в самую суть, в причины того или иного поведения и помогать по мере сил. Я никогда не судила о людях по образованию и должности. Здесь, в театре, группы невелики, но бывает, что и один человек способен разрушить целый коллектив. И доверие людей можно снискать, только оказывая им практическую помощь. Я — председатель жилищной комиссии, приходится пробивать еще и места в детских садах, и телефоны. Каждый день требует решений, зачастую быстрых, надо иметь свою точку зрения. Бывали в театре и тяжелые годы, столкновения между Веквертом [2] и Вайгель. Мне тоже пришлось принять на себя всю эту тяжесть. И были пять добрых лет. Так сказать, завершение моей профессиональной деятельности.

Я бы давным-давно могла с чистой совестью уйти с работы и все же не могу решиться. Дома у нас разгорелась острая дискуссия. Дети говорят: «Ма, когда же ты, наконец, поумнеешь и бросишь работу, отдохнешь по-настоящему?». Иногда я думаю:

[1] Здесь игра слов, ибо Achsenbruch — это в оригинале фамилия, которая буквально значит: «перелом хребта».

[1] Елена Вайгель (1900—1971) — выдающаяся актриса, жена Бертольта Брехта. Один из основателей, а после смерти Брехта в 1956 г.— руководитель знаменитого брехтовского театра «Берлинер ансамбль».

[2] Квверт, Манфред (род. в 1929 г.) — режиссер, ученик Б. Брехта. До 1969 года работал в «Берлинер ансамбль», в настоящее время — главный режиссер «Дойчес театер» в Берлине.

САРА КИРШ
НЕПРИЧЕСАННЫЕ РАССКАЗЫ

я одна из тех тысяч женщин, которые работали для страны по заданию партии. Выполнила ли я его как следует или с ошибками и слабостями? Мне все же кажется, что и я отчасти несла государство на своих плечах. За работой прошло столько лет, я никогда себя не щадила и всегда работала с удовольствием. Да.

Ванна взбитых сливок

Мне было лет восемь, когда я нашла в печке у одной старушки книгу по истории. На вид она была очень старая, на каждой странице в отдельной колонке какой-нибудь государь и еще изображение замка Вартбург. Начала читать и увлеклась. Сперва толку было мало: я вообразила, что люди, о которых рассказывалось в книге, еще где-то живут, и у меня сместилось представление о времени и пространстве. Случилось это в годы фашизма, и, будь я постарше, весьма вероятно, что интерес к истории не довел бы меня до добра. К одиннадцати годам я проглотила все романы Феликса Дана [1], которые сильно на меня повлияли.

Однако я никогда не вышла бы на верный путь, если бы не встреча с марксизмом. Сначала история просто вызывала у меня интерес, и только позже взгляд на историю обрел характер мировоззрения, позволив ощутить ход развития человечества. Но с тех далеких времен во мне сохранилось чувство причастности к истории. Доходит до того, что мне иногда кажется, будто история не женское дело. С какими чудовищными вещами приходится сталкиваться! Взять хотя бы сожжение ведьм еще в конце XVII века. Например, такой случай: вся семья истреблена, мать сожгли как ведьму. В живых остались двое детей, семи и девяти лет. Еще четыре года их продержали в тюрьме, потом сунули каждому в руку пфенниг и выслали за границу. Надо додуматься до столь рафинированной бесчеловечности! А с другой стороны, та эпоха оставила нам прекраснейшие памятники архитектуры.

У дедушки и бабушки — родителей моей матери — было шестеро детей. Они были не слишком счастливы и позднее даже разошлись. Виной тому, вероятно, бедность. Мать работала на фабрике и санитаркой в больнице. Тогда-то она и познакомилась с отцом. Он с приятелем приехали из деревни попытать счастья в городе, и оба намеревались жениться на деньгах. В ту пору свирепствовала безработица, делать ему было нечего, а мама была весьма пригожая. В результате появилась я. Потом мама вышла замуж за отчима, с ним у нас всегда были натянутые отношения. Человек он был неплохой, но слишком уж неустойчивый: до тридцать третьего года состоял в Коммунистическом союзе молодежи, а после тридцать третьего из осторожности перестал узнавать товарищей. До вступления в НСДАП, правда, не дошло, но он записался в НСКК, это расшифровывалось, кажется, как национал-социалистская механизированная колонна. После сорок пятого года он незамедлительно, разумеется «по искреннему убеждению», заявил, что он за нас. Словом, совесть его не мучила, он действовал всегда из лучших чувств... Они с мамой расстались, хотя и слишком поздно, чтобы мать могла начать работать. Впрочем, мама ведь всегда нам помогала. Если я чего-то добилась, то это, конечно, ее заслуга. В детстве она не перегружала меня работой и разрешала много читать, а сама в войну чистила овощи на консервной фабрике. Иной раз принесет домой три мешка луку: за ночь надо очистить. Представляете, как рыдало все семейство! Ночью она чистила лук, а днем отмывала нас. В сорок пятом нас разбомбили...

Надо сказать, мне очень повезло: я поступила в университет, хотя имела в аттестате всего одну двойку [1] и не состояла ни в ССНМ [2], ни в других общественных организациях. Мою биографию и успехи сочли достаточно хорошими; сейчас я бы не прошла по конкурсу. Именно университет стал для меня переломным этапом.

Я впервые попала в настоящий коллектив. Там были дети политэмигрантов и участников Сопротивления. Вместе мы прошли через серьезные испытания. Например, распространяли листовки в Западном Берлине. При этом меня однажды схватили, и если б не Йохен... Ребята вообще прекрасно относились к нам, девушкам. Сколько книг я получала в подарок на день рождения и на праздники! По сей день они со мной: «Капитал» Маркса и другие. Кстати о праздниках... Раньше 1 Мая я всегда скучала, теперь же все стало по-другому. Накануне мы допоздна разучивали песни, а наутро шли на демонстрацию. Я готова была шагать и шагать, до того все было здорово. После демонстрации никто не расходился, мы пели, и люди думали: вот самая настоящая группа ССНМ! Здесь, в Берлине, мы пережили 17 июня[3], отсюда ездили на уборку урожая. За это время я очень изменилась. Вступила сначала в ССНМ, а на четвертом курсе в СЕПГ.

В 1960-м я ездила в Болгарию и познакомилась с отцом моей дочери. В шестьдесят первом опять побывала там и встретилась с его родителями. Короче говоря, мы почти уже договорились, что поженимся, как только сможем. Во всяком случае, мы хорошо понимали друг друга, и это общение

[1] Дан, Феликс (1834—1912) — немецкий писатель-историк.

[1] Соответствует нашей четверке.

[2] ССНМ — Союз свободной немецкой молодежи, комсомол ГДР.

[3] Имеется в виду попытка контрреволюционного путча в 1953 году.

меня духовно очень обогатило. В шестьдесят втором родилась дочь. Раньше я частенько ловила себя на том, что уже много месяцев не смеялась, а теперь, после рождения дочери, все переменилось. Наверстываешь радость, словно живешь жизнь сначала. И с годами это чувство только усиливается. В следующем году мы получили огромный садовый участок, а такой сад — сам по себе большое событие. Пройтись ранним утром, когда солнце еще отбрасывает густые тени, в ночной рубашке по саду и поглядеть, что там еще распустилось. Сад полон неожиданностей и вместе с тем не такой приглаженный, как надо бы. А после смотришь, где самый красивый уголок. Светит солнце, и кажется, словно кругом золотые яблоки. Чудесно! Или первый полет! До чего же там в облаках здорово! Кругом облака — словно горы мороженого. А иногда представляешь себя мухой над ванной, полной взбитых сливок.

В 1964-м я защитила диссертацию. Тема — «Исследование социальной структуры в районе баварского округа Эберсберг в VIII—IX вв.». На первый взгляд слишком далеко от современности, но это фундаментальная тема, так как речь идет о том, являлись ли германцы вольными землевладельцами или уже в то время были зависимыми безземельными крестьянами, как считают в ФРГ. Хотя диссертация получила оценку «очень хорошо», возможности продолжать работу в этом направлении в университете им. Гумбольдта не нашлось. Я поехала в Сан-Суси и устроилась там. Директор был в отъезде и, вернувшись, запротестовал: историк, тем более медиевист, ему не нужен. В это время подвернулась возможность заняться историей Пруссии в Академии наук в Берлине, и мне пришлось переквалифицироваться. Я обратилась к истории Пруссии и, естественно, всей Германии начала XVIII века. Материал огромный — ведь тогда существовало 1889 самостоятельных германских государств. Число невероятное, но всеми ими заниматься не обязательно. Трудность заключалась прежде всего в том, что изучение новой истории требует овладения другой методикой. Медиевист поворачивает источник и так и эдак, чтобы собрать те немногие факты и свидетельства, которые в нем содержатся, а тут материала огромное количество, его нужно побыстрее просмотреть и попытаться вышелушить главное. Тем не менее думаю, я успешно перешагнула этот рубеж. Работа доставляет мне большую радость. О прозябании нет и речи. Хорошо, конечно, когда живешь рядом с работой. Но в этом мне не повезло. Работала в Сан-Суси, а жила тут, в Потсдаме.

В это время я совершенно случайно столкнулась с «Культурбундом». Мы в Сан-Суси организовали курсы гидов, а потом решили устроить лекции для учителей и вообще для всех интересующихся. Я созвонилась с окружным отделом «Культурбунда», там идею одобрили, и мы начали ежемесячно читать лекции по истории Потсдама. Курс охватывает как политическую историю, так и историю культуры всех эпох. Мы не ограничиваемся чисто потсдамской тематикой, история Потсдама — своего рода ключ к пониманию истории нации и истории вообще.

Именно «Культурбунд» и выдвинул мою кандидатуру в окружное собрание. Должно быть, потому, что вела общественно-научную работу, и еще потому, что я женщина. Избрали меня в 1967 году. Если позволительно подвести здесь общий итог, то хотелось бы особо отметить следующее — объективное и субъективное открытие себя. С одной стороны, нужны, конечно, объективные заслуги, но не менее важно, чтобы нашелся кто-нибудь, способный распознать скрытые в человеке задатки. Заслугами я похвастаться не могла, общественные мои нагрузки были до той поры на уровне члена ССНМ, редактора стенгазеты и заместителя профуполномоченного. Меня надо было открыть. И сделала это секретарь «Культурбунда». Она вообще умеет работать с людьми и сама является депутатом Национального фронта.

Направили меня в комиссию по культурно-идеологическим вопросам и организации досуга. В начале депутатской деятельности нас предупредили: никогда не обязуйтесь выполнить непременно все наказы избирателей. Ведь не исключено, что они пойдут вразрез с общегосударственными планами. Принимая наказ, говорите только, что передадите его в соответствующую инстанцию. Этим я и руководствовалась. Конечно, тут присутствует отрицательный момент, но ведь нельзя зря обнадеживать людей, а то у них сложится превратное мнение.

Мне лично довелось предложить два вопроса. Один о том, что строителям — от инженера до рабочего — надлежит проходить более серьезную эстетическую подготовку. Во-вторых, я предложила создать в округе комиссию из архитекторов, градостроителей, социологов и художников с целью разработки директив по различным аспектам градостроительства. Архитектурный ансамбль должен не давать людям забиваться в свои каморки, побуждать их к общению друг с другом. В плане работы комиссии я взяла на себя особые задачи, а именно: вопросы охраны исторических памятников и градостроительства. Если вдуматься, они тесно взаимосвязаны (в Потсдаме, например, преобладают кирпичные постройки, так зачем же строить голубой «Интеротель» по типовому проекту?). Во-вторых, я занимаюсь исторической агитацией и пропагандой.

Меня очень волнует творческий подход к градостроительству, и хотелось бы некоторые идеи закрепить решениями окружного совета. Индустриальное типовое строительство легко приедается. Но ведь с тем же дешевым материалом можно строить иначе, чем сейчас. Мне, например, видятся большие возможности в использовании окружающего пространства. Его не выравнивать надо, а совсем наоборот! Ленне повсюду делал ландшафт холмистым, а что

САРА КИРШ
НЕПРИЧЕСАННЫЕ РАССКАЗЫ

творят нынче бульдозерами? Жуткий ровный газон! Я не говорю при этом о каких-го огромных садах, но купы деревьев, маленькое озерцо — это было бы интересно. Нужно разработать систему мелких построек — беседки, переходы, маленькие площади, аллеи. Копировать классические парки, по-моему, ни к чему. Так мы только все испортим. Нужно создать новый, социалистический парк. Кое-кто смеется, когда слышит «социалистический парк». А ведь в Сан-Суси можно убедиться, что бывают барочные и ландшафтные парки, причем изменение паркового стиля совпадало с изменением общественного строя. И все же при упоминании «социалистического парка» многие улыбаются. А я считаю, его необходимо создать. Но о парке я вспомнила по ассоциации. Самое главное, нужно разработать теоретические основы перспективного развития города с учетом особенностей нашего строя. И тут нельзя медлить. Поиск, экспериментирование — вот путь к решению.

Как видите, у меня масса всяких идей, должно быть, научная подготовка способствует. В депутатской практике мне частенько приходится бороться с обывательским аргументом: ну что ты суешься, наверняка этим вопросом уже занимаются другие, где-нибудь такое уже существует! Что ж, я всегда готова отказаться от лишнего. Что может быть лучше?

Третью сферу, которая заинтересовала меня в последнее время, можно, пожалуй, назвать «семья и школа». Дело в том, что я несколько раз уже выступала в школах, рассказывала о деятельности депутатов. И хожу я по школам потому, что считаю — детям надо с самого раннего возраста объяснять, какое значение имеет собственность на средства производства и основа всего то, что власть принадлежит именно им. Демократия — не во всеобщей беспорядочной инициативе, это только приведет к разочарованности, а, наоборот,— в осознанной, целенаправленной активности. И чувство истинной демократии надо воспитывать с детства. Ведь многие люди почти или вовсе не представляют себе, кто такие депутаты, не отдают себе отчета, что через депутатов им подвластно все. Поэтому я говорю детям то, о чем сейчас принципиально не упоминала: основная задача палаты депутатов заключается в координации государственных планов с окружными. В том, чтобы при создании централизованных предприятий учитывать все побочные моменты — жилье, магазины, кинотеатры и все прочее. В этой связи мы вспомнили детские площадки. Дети мне рассказали, насколько запущено большинство из них. А ведь дети не должны привыкать к запущенности. На площадке они играют, там воспитывается у них чувство прекрасного. По-моему, лучше привести в порядок площадки, чем вгонять средства в какой-нибудь духовой оркестр. Я предложила отчислить сюда часть ассигнований на культуру.

Если вы спросите, как я справляюсь со своими многочисленными заботами, я склонна ответить: плохо. Сил нет отмести второстепенное, следовало бы каждое утро часок подумать, постараться отделить важное от неважного. Для этого нужны и силы, и мужество.

На чем мы остановились? Видите ли, такой уж у меня характер. Мой бывший шеф, профессор Генрих Шеель, говаривал: «Ты, Ханнелора, как речка, вечно выходишь из берегов». Правильно, тут мои достоинства и недостатки, я вечно перебиваю других, потому что каждое сказанное слово вызывает у меня массу ассоциаций. Многие люди размышляют про себя, а потом выкладывают готовую мысль, я же отношусь к числу тех, кто свои суждения развивает в разговоре.

Вообще-то, нет таких дел, которые меня отпугивают. Бывают мероприятия более или менее важные, но нет таких, которые я посещаю просто по обязанности. Везде сталкиваешься с интересными людьми.

А вообще, я бы пожелала себе так обуздать свой характер, научиться работать так, чтобы максимум узнавать и максимум отдавать. Мне почти сорок, и тем не менее...

Эстафета по плаванью

Я родилась в воскресенье 18 июня 1939 года в половине второго ночи. Год спустя родилась моя сестра Карин.

Родители жили в Ганглофзёммерне, это такой городишко возле Зондерсхаузена, там для гурманов разводят знаменитых виноградных улиток. Впервые я отведала их года два-три назад. Жили мы в домике посреди парка. За парком находилась фарфоровая фабрика. Там работало много мужчин и женщин, изготовляли унитазы, умывальники и прочий грубый фарфор. Отец работал в Зёммерда и каждый день ездил туда поездом. Домой он приходил поздно вечером. В 1942 году его призвали. Я еще помню, как в сорок третьем он приезжал в отпуск, в последний раз. Через год отец пропал без вести. Больше мы его не видели. Мать вторично вышла замуж.

Еще в Ганглофзёммерне, когда нам с сестрой было шесть и семь лет, мы очень полюбили плавание.

В школу мы пошли уже после переезда в Лейпциг. Я закончила двенадцать классов, а сестра — восемь. В двенадцать лет мы снова очень интенсивно занялись плаванием. Нам предложили вступить в спортивное общество, и мы тут же согласились. Так вот я и попала в детско-юношескую спортивную школу в Лейпциге. До уроков — тренировки, после уроков — тоже, а летом три тренировки в день. Сейчас требования изменились и усложнились, а в ту пору проплыть в день 2000 метров уже считалось достиже-

нием, теперь в день проплывают минимум пять-шесть километров.

В классе и на спортивных занятиях я пользовалась известным авторитетом, должно быть, из-за веселого, общительного нрава. Есть во мне еще что-то от клоуна, я здорово умею передразнивать других. Конечно, не обходилось и без конфликтов, в классе ведь всегда бывает несколько группировок. Еще я была руководителем актива ССНМ. Трудности с авторитетом? Я бы не сказала. Дело в том, что мне всегда как-то удавалось привлечь к себе людей. Правда, потом, во время учебы в институте, мне говорили, что поначалу я кажусь поверхностной. У собеседника такое чувство, словно я толком не слушаю, да так оно часто и бывает. Говорю «да-да», а на следующий день ничего не помню. Во время учебы приходилось бороться с этой привычкой. Теперь она мне снова наруку, а то хоть десяток ушей заводи.

Аттестат зрелости я все-таки получила, хотя, честно говоря, после восьмого класса каждый год собиралась бросить школу. В девятом классе мне хотелось стать стенографисткой, потому что в спортивном обществе было много секретарш. В одиннадцатом классе я собиралась уйти из школы и стать инженером-полиграфистом. Ну, выдали мне аттестат, а планов у меня, по правде говоря, никаких. Хотела стать химиком, но в Мерзебурге негде заниматься плаванием. Значит, химия отпадает. Потом долго носилась с мыслью о журналистике. Но вместе со стажировкой учеба заняла бы лет шесть-семь. Мать жила одна, и мне хотелось начать зарабатывать. Значит, и это не подходило. Тогда я отправилась в Росток на экономический факультет, так как там в 1956 году построили новый плавательный бассейн. Как только начались занятия, я записалась в спортивный клуб «Эмпор-Росток». Мы были там первыми пловцами, а с тех пор в Ростоке выросло много настоящих мастеров мирового класса. Но первыми были мы. Я дневала и ночевала в бассейне. У меня была там маленькая комнатка со столом и койкой. Меня всегда можно было найти либо в воде, либо на койке.

Из-за спорта я ни разу не участвовала в студенческих рейдах и не ездила на картошку. С самого начала. Так продолжалось почти до последнего курса. Я оказалась как бы на отшибе. Ребята-однокурсники хоть и держались на дистанции, но относились дружелюбно, подшучивали, а вот с девицами вечно выходили неприятности. Зато в бассейне были настоящие друзья.

Всерьез стала учиться только на последнем курсе, когда начала писать дипломную работу. Купила книги и засела в читалке. У меня было множество пробелов, мне просто очень везло на экзаменах. Память у меня хорошая. Достаточно было подзубрить, просидеть три-четыре ночи — и на экзамене я шпарила наизусть. Слабым моим местом было финансовое дело. Этот предмет нужно обязательно учить. Я с треском завалила три письменных работы по производственному учету. Пришлось пересдавать устно. Преподаватель очень удивился и сказал, что ему это совершенно непонятно. Я ведь так активно участвовала в семинарах. А дело в том, что я обычно старалась выступать с самого начала, когда царила мертвая тишина. Тогда сказанное имело вес, а я с достоинством выходила из дискуссии. Мне казалось, что это самый экономный способ выступать на семинаре.

Диплом получился очень веселый. Пару недель назад, при переезде, я его перечитала. Когда переезжаешь, перечитываешь письма и все такое. Дипломная работа называлась «Рационализация и составление производственной программы мебельной промышленности в округе Росток». Я должна была изыскать возможности такой организации производственного профиля на отдельных мелких мебельных фабриках, чтобы добиться максимальной эффективности. В дипломной работе я обругала всевозможные государственные учреждения, начиная с плановой комиссии и кончая советом народного хозяйства, который тогда еще существовал. Я их раскритиковала в пух и прах. Смело соединив плетение крытых пляжных кресел с производством кухонных и комнатных гарнитуров, я внесла несколько ценных предложений, но за работу получила всего три балла. После защиты мне ее тут же вернули.

В 1957 году во время коллективизации нас всех послали в деревню налаживать бухгалтерский учет в разнотипных кооперативах. А у меня по бухучету была четверка. Сначала мы проводили инвентаризацию зерна, коров и всего прочего. Нас послали в район Хагенов под Шверином. Община почти сплошь католическая. Но несмотря на различия в вероисповедании, мы прекрасно сработались с крестьянами.

Через две недели нас собрали вместе, и каждый должен был рассказать о своем опыте. Конечно, нам, желторотым, было трудно находить ответы на серьезные вопросы типа: «Зачем нужна коллективизация?». Мы приехали из города и просто не переварили те аргументы, которыми нас снабдили в институте. Кое-кто из студентов выступил на собрании с требованием продолжать учебу, говоря, что задания вроде соскребания навоза с ног теленка мешают учебному плану. Только здесь мы на собственной шкуре почувствовали, что такое классовая борьба. Да и с учетом справились.

После института я собиралась работать в Берлине. Усердно штудировала «Нойес Дойчланд» и наконец выяснила, что в Берлине есть предприятие, представляющее для меня интерес. Написала туда, хотя и знала, что так не положено. Но мне не очень хотелось распределяться. Многие из сокурсников устроились в городском совете, в совете округа и в других коммунальных ведомствах, а мне это было не по душе. Мне больше нравилась сфера сбыта, торговля, хотя я и не имела о ней понятия, но эта мысль прочно засела у меня в голове. На-

---

САРА КИРШ
НЕПРИЧЕСАННЫЕ РАССКАЗЫ

писала я, стало быть, в Берлин и получила ответ. Предприятие было очень заинтересовано использовать меня в сфере бухгалтерского учета. Я сказала тогдашнему начальнику отдела кадров, что по учету у меня четверка [1] и использовать меня в этой области невозможно.

Начала я работать в Лихтенберге. Все-таки в отделе сбыта. Начальника отдела звали Мюль, он и сейчас там работает, так он мне сказал: «Вы для нас прямо дар небес!»

И вот я сижу там со своими длинными белокурыми волосами, загорелая, а о работе, по правде говоря, имею очень туманное представление. Он тоже толком не знал, куда меня приткнуть. Потому что я единственная во всем отделе сбыта была с высшим образованием. Все остальные ничего за душой не имели, и он сам тоже. Всему пришлось учиться. После начальника отдела я получала наивысшую ставку, а знала меньше всех. Но друзья верили в меня и до сих пор остались друзьями.

Дали мне небольшую группу. Чем дальше — тем больше заданий. Так постепенно я и росла. Никогда не жалела, что меня не сразу выдвинули на руководящую работу. Я научилась диктовать деловые бумаги, отвечать на письма, то есть всему тому, чему не научишься ни в одном университете.

Уже через несколько недель меня привлекли к работе в ССНМ, и я стала казначеем ССНМ на предприятии. Взносы я собирала оперативно, и меня не раз хвалили на различных окружных конференциях. Должно быть, я проработала на предприятии около полугода, когда познакомилась со своим будущим мужем. Он был тогда секретарем ССНМ. Скоро я стала на одном из слетов членом партии. Я подала заявление о приеме в кандидаты, заявление зачитали с трибуны. На другое утро на работе меня встретили цветами, обнимали и все такое. Я выступала на всевозможных конференциях — Крумбайн знали все. Не прошло и года, как мы поженились. Накануне свадьбы я весь вечер проревела. Все вспоминала свою первую любовь, но не видела выхода. Я всегда думала, что выйду замуж в двадцать пять лет, а вышла в двадцать три.

Праздновали свадьбу в кафе «Варшава». Начальника планового отдела дирекция уполномочила присутствовать на торжестве, сообщив только, что женится секретарь ССНМ. Он отправился туда без особой радости. Увидев в фойе меня, подошел и сказал: «Вот здорово, что ты здесь. Меня прислали на бракосочетание, а я здесь ни души не знаю! Теперь хоть я не один!» Он думал, я представляю руководство ССНМ. Не успели мы сесть, как он выяснил, что я невеста. Это его ошарашило. Как-то все неудачно складывалось, но я была такая веселая, хотя мне было все равно. К браку меня никто не принуждал, но я почему-то чувствовала себя обязанной выйти замуж, потому что за четыре месяца до того мой муж развелся. И развелся из-за меня. Я сказала: раз между нами такие отношения, ты должен со своей стороны все уладить. Глупость, конечно.

И вот началась вся эта дурацкая история. Я жила замкнувшись в себе. И после появления ребенка тоже. Отдала его в недельные ясли, потом в дневные, а сама сразу вернулась на работу. Сейчас я уже все плохо помню. Это время очень все отодвинулось. За четыре года брака едва могу вспомнить что-нибудь хорошее. Помню, когда он за мной ухаживал, была модной песня «Танцуй со мною до утра». Нам было хорошо танцевать друг с другом. А теперь он меня беспрерывно опекал: так нельзя, не трать столько, делай не так, а эдак. Если меня посылали в командировку, я едва осмеливалась об этом заикнуться. Иной раз скажу вечером, часов в восемь: «Ах, да, знаешь, завтра я еду в Пистериц». И начинается: «Кто еще едет? Почему обязательно ты? Когда вернетесь?» Бесконечные ссоры, и все пошло прахом.

Меня послали в окружную партийную школу. Там я в политическом отношении сделала скачок. В школе были товарищи из различных отраслей, и я впервые как следует прочитала «Капитал», «Коммунистический манифест» и многое другое. Научилась спорить, потому что сказала себе: прошло время, когда борются сердцем. Теперь надо бороться рассудком. Борясь сердцем, можно своротить горы, но когда не хватает ума, горы иногда попадают не туда, куда нужно. Наш брак распался окончательно. С мужем я развелась.

По окончании партшколы я получила по всем предметам «очень хорошо» и меня направили в один из заводских секторов экономистом. Шла подготовка к VII партсъезду, и я считала своим долгом добиться снижения общих затрат. В нашем секторе работала молодежь, моложе тридцати. Мы всегда выполняли план, не раз снижали себестоимость, сэкономили много меди и денежных средств.

Я тогда была на заводе председателем женского комитета. У нас ведь работало как-никак более восьмисот женщин, и в основном только работницы средней квалификации, старше сорока. Мы устраивали беседы по проблемам воспитания детей, организовали курсы повышения квалификации для женщин, оборудовали специальные рабочие места и делали все, чтобы наконец подготовить расценки и нормы по нашей отрасли. В ту пору это играло еще бо́льшую роль, чем теперь, когда многое прояснилось.

Меня послали делегатом на VII съезд СЕПГ, и там я познакомилась с очень многими людьми, в том числе с секретарем по вопросам промышленности и строительства окружного комитета СЕПГ. Он всегда говорил: «Девочка, девочка, только учись, ты далеко пойдешь, мы поможем». Свое слово он сдержал. Меня перевели из производственного сектора и направили в коммерческий. Я возглавила новый отдел, отдел

[1] Соответствует нашей двойке.

баланса и планирования. Это было совсем новое направление в связи с новой экономической системой.

Потом я закончила в Галле, в Академии министерства химической промышленности курсы подготовки директоров. Нас пичкали теорией, и я, руководитель группы, была мелкой сошкой среди начальников отделов и директоров. Моя задача была внедрить на практике все то, чему меня учили. Возможностей для этого на комбинате хоть отбавляй. Меня назначили и. о. коммерческого директора. И на меня свалилось огромное количество проблем. А тут еще не заладились взаимоотношения с непосредственным начальником, который донимал меня мелочной опекой.

Когда директор комбината перешел на другую работу, мне стало ясно: тут я ни в коем случае не останусь. В Лейпциге на ярмарке со мной переговорил директор одного из заводов, спросил, не хочу ли я поработать у них, и предложил мне пост заместителя директора по реализации продукции комбината.

Я обещала подумать и снова пошла к секретарю окружного комитета по вопросам промышленности и строительства. Он сказал, что это самое правильное решение. Так я и попала на одно из крупнейших берлинских предприятий.

Две недели я спокойно проработала в бюро, читая толстые папки с документами, проспекты и предложения по вопросам сбыта. Об ассортименте продукции я не получила ни малейшего представления. С такими изделиями я никогда не сталкивалась. И мне пришлось очень трудно. Меня, женщину, рекомендовал директор комбината, и каждый почему-то полагал, что у меня с ним что-то есть. Вроде бы иначе я и не получила бы эту должность. Кроме того, у меня начались всякие неприятности со здоровьем, но я не теряла чувства юмора и за полтора года втянулась в работу. Большую поддержку оказал мне директор комбината. Он поставил вопрос ребром: кто выступает против меня, выступает и против директора. Пусть каждый над этим подумает. Сейчас, когда его уже нет с нами (автомобильная катастрофа, в которой двое коллег Б. Ш. погибли, а сама она осталась невредима.— **С. К.**), я вижу, как это было важно. После несчастья разные доброжелатели советовали мне уйти оттуда, чтобы совсем развязаться. Но ко мне пришли товарищи и сказали: «Тебе нельзя уходить, оставайся. Мы знаем, как он тебя ценил».

Ну, за полтора года я вошла в курс дела. Все мы работали очень много, по субботам, по воскресеньям, всегда до поздней ночи. Иной раз с ног валишься и вообще ничего не воспринимаешь. Но я человек довольно крепкий.

Каким образом мне удавалось все время быть в форме, я и сама толком не знаю. Лучше всего мне работается, когда у меня настоящие огорчения. Тогда я работаю, как зверь, силу девать некуда. И в спорте было так же. Как раз тогда, когда у меня бывали серьезные неприятности, я показывала лучшее время.

У меня слишком мало времени для размышлений о собственной жизни. Первый раз я подвела итоги после катастрофы. Раньше я этим никогда не занималась. Обо мне всегда говорили, еще на первой работе один старый товарищ говаривал: «Эту Беату господь бог сотворил в добрый час». А все потому, что у меня обычно хорошее настроение, я веселая и общительная, никогда не дам сесть себе на шею. Свои личные дела я ни с кем не обсуждаю. Отключаюсь. Дома я тоже умею отключаться, если не хочу думать о работе.

Что-нибудь приходится все время откладывать. Иногда стираю по ночам, в двенадцать. С завода придешь — с ног валишься, как выжатый лимон. Вот и сидишь тогда язык на плечо — но на дистанции я всегда в норме. Прилягу на часок, и пока довольно. Иной раз катализатора не хватает. Мальчугану ведь не расскажешь, что мне надоело, а что нравится.

Из-за того несчастья у меня как-то опустились руки. С тех пор я начала задумываться над жизнью. Говорю себе: тебе уже тридцать три, если так будет продолжаться, годы пройдут и ты состаришься. Теперь я перестала бросаться часами и минутами.

Я молода, поэтому на переговорах частенько удивляются и думают, что можно ограничиться светской болтовней, но это только на первых порах. Говорят, что если я сказала «да», то сдержу слово. Мне доверяют. На это ушло много труда, ведь почти целый год положение нашего предприятия было не очень-то стабильным. Задачи большие. Моя заключается в том, чтобы при установлении плановой квоты сказать, что́ будет выпускаться. Я определяю ассортимент, структурные направления. Мы изучаем рынок, планируем и выдвигаем свои требования. Я, конечно, многое делаю механически. Научилась и распределять работу. Иногда у меня из-за этого чувство вины перед самой собой, потому что я прекрасно понимаю, что́ делаю. Целый день как на перевозе — при такой работе уж не до творчества. Можно только помогать другим, а может, это и есть самое главное?

Работа с утра до вечера расписана по графику. Многие хотят поговорить со мной, в конторе и вне ее. В календаре мало свободного времени, нет ни минутки на болтовню — нет, и всё. Потому что в самом деле приходится с одного совещания лететь на другое. Я радуюсь отпуску, так как могу чуточку отдохнуть. В настоящее время я только функционирую, своих идей нет. Нет ни времени, ни желания размышлять по вечерам. После двухнедельного отпуска, когда хорошенько отосплюсь, начинаю читать и конспектировать. Это я не считаю работой, это удовольствие. А потом опять чего-то хочется. Тогда работа становится творческой, появляются идеи.

САРА КИРШ
НЕПРИЧЕСАННЫЕ РАССКАЗЫ

Близнецы

Родилась я 20 августа 1944 года в Торгау, но я вообще-то берлинка. Я была внебрачным ребенком, отец бросил маму. Он — актер, а у актеров, должно быть, часто так. Что произошло потом? У меня еще брат был, он умер в семнадцать лет, и мама так и не смогла с этим свыкнуться.

В школу я ходила тут, на Еснерштрассе, и частенько отлынивала. Матери пришлось хлебнуть со мной горя. В первую же неделю я оттуда смоталась: никак мне не удавалось различать четные и нечетные числа. Я все прикидывалась, будто это умею, а потом — 22 дня подряд прогуливала.

Мать работала в три смены и жила с одним человеком, за которого впоследствии вышла замуж. Я его признала только в двадцать лет. Меня отправили в интернат. Ну, и из-за такой жизни я, вероятно, чуточку окамела. С удовольствием бы осталась дома, но они не хотели. На меня временами находит, и тогда я кое-кого укоряю, но, в сущности, время ведь было другое.

Я всегда верховодила, любила прихвастнуть. Когда прогуливала уроки, вместе со мной прогуливали еще трое — просто по дружбе. Потом все обнаружилось, и меня прямо на веревке втащили в школу. Словом, я никак не желала учиться, почему — сейчас не представляю.

С воспитателями я, как ни странно, всегда отлично ладила, в чем-то они мне заменяли родителей. Водили в парикмахерскую и к себе домой. Я там у них ночевала, они мне волосы на бигуди накручивали. А на самом деле мне полагалось стоять в углу за болтовню. В другой раз накинули на меня одеяло — иди сюда, моя маленькая,— а потом отослали в постель и еще волосы завили. На другое утро являюсь в локонах — откуда кудри, раз ты была наказана? У воспитателей я всегда имела блат. Сейчас-то уж маленько поутихло. С нашими мастерами такое не проходит. Взрослому хвастовством да болтовней многого не добиться.

Дальше что? Ну вот, проучилась я в школе до восьмого класса, на второй год, понятно, не оставалась. Они уж постарались, я держалась в серединке. Больше всего любила спорт и немецкий. На физкультуре всегда показывала упражнения, а на немецком читала вслух. Собирались меня послать в спортивную школу, а у меня по русскому четверка да и по математике тоже — ну, и не потянула по успеваемости. Потом решили из меня сделать повара. Вообще-то из преподавателя физкультуры в повара — это уж они чересчур хватили, но куда деваться при моих-то отметках.

Ничего у них не вышло. Я смоталась и поступила в одну контору. Курьером. Разносила от одной двери к другой разные бумажки. И у каждой двери сердце замирает, зайти боязно. В этом самом «Электропроекте» я проработала два года. Тогда я еще пользовалась расположением начальства. Печатать на машинке научилась, но почему-то потом опять всякая охота пропала. Надоело торчать с утра до вечера в машбюро с затычкой в ухе и долдонить на машинке за 270 марок. В шестнадцать лет 270 марок — гроши! У меня уже был дружок, и хотелось шикарно одеваться. Я собрала манатки и перебралась на производство, на «Стеромат». Там познакомилась с мужем.

На «Стеромате» проработала шесть лет. Что-то вроде электромеханика, но только средней квалификации. Все меня уговаривали — сдай, мол, на разряд. А я говорю: тогда уж заодно давайте научусь на пианино играть — что тут, что там надо начинать с азов, и вообще отвяжитесь. Но в ихнем плане было еще столько-то незаполненных мест, ну и я в конце концов дала себя уломать, пошла.

Целую четверть выдержала до самых дробей. Когда затем начались уравнения, я весь этот хлам зашвырнула подальше — сухомятка не по мне. Стой там целыми днями, шлифуй, раздвижным калибром орудуй — скучища! Скандал был здоровенный, деньги назад выплачивай! Ну, кое-как выкрутилась.

Да, шесть лет так и тянулось, пока из-за беременности я не ушла. Родила близнецов — им теперь по шесть лет — и три года просидела дома. Муж у меня механик. Эту самую сухомятку, которую я зашвырнула, он грыз целых три года. Посмотрели мы давеча его тетрадки по спецпредметам, так ему тоже несладко приходилось. Только он, видать, решил по-другому. Прикинул как мужчина: надо семью кормить, так давай. А я думала: будет у меня муж, он-то своего добьется. Отслужил полтора года в армии, потом еще полтора — дети родились. Три года просидела дома.

Для детей и для меня это было самое распрекрасное время. Нанервничалась, конечно, да детей без этого не вырастишь. В зоосаде, в парке, в «лягушатнике», всегда при них, в песочнице — с ума сойдешь. А потом им исполнилось три, и с деньгами стало плоховато. Пришлось мне подыскивать работенку. Но теперь это было еще сложней.

Раньше-то я надомницей подрабатывала, кустарем. Разные рождественские пирамиды из картона клеила, на пасху лила и раскрашивала восковые фигурки, потом еще подсвечники из свинца делала — словом, всякие забавные пустяки. Кисеты шила вон на той старой швейной машинке, что в прихожей стоит. Глупая была. Он приходил с работы усталый, а я тут со своими кисетами путаюсь. Так он мне еще и помогал. А ну ее, эту частную лавочку! Всё пытались к себе в карман положить. На них несколько женщин на дому работало. Позже из-за неуплаты налогов лавочку прикрыли и все всплыло наружу. Ну, а мне это тоже боком вышло. В квартире у нас то воском несет, то краской, то я ящики со свинцом ворочаю, а потом тигель на газ —

примитив! Как я уже говорила, хозяину пришлось свои дырки затыкать, сунул он нам в зубы по полсотни — и привет.

Пошла я на почту. Время к рождеству, а денег все меньше. Ух и досталось мне там. Таскала в вагон и складывала штабелями тяжелые посылки, что шли с Запада на Восток и обратно. Я там торчала вечерами с семи до одиннадцати. А до этого целый день с детьми. Бывало, чуть не на четвереньках ползешь. Там женщины работали, лет сорока—пятидесяти. Ну и дрессированные, скажу я вам! От беспрерывного курения они смахивали на мешки с цементом и были такие же изношенные, а посылки подымали, что пушинки. Я-то помоложе их была, все хваталась за вещи, которые были мне не по силам.

Три недели я там пробыла. Через отдел дошкольного воспитания ко мне домой зашли с предприятия «Фортшритт», из отдела кадров, и спросили, не хочу ли я там поработать. Я обрадовалась, что хоть кто-то пришел. Только там надо было шить, а я еще про кисеты не забыла.

Пошла на склад, где за сдельную оплату нужно было развешивать по стоякам костюмы, пиджаки, жакеты. Ну, думаю, подвесишь разок-другой по курточке, запишешь куда надо, получай свои 350 марок, и будьте здоровы. Но там пришлось повкалывать. За пиджак платили один пфенниг, за костюм — два. Женщины сразу брали в охапку костюмов десять. Попробуйте подымите — вес тот еще. Все время по десятку, все вешалки крючками в одну сторону — чик! — и на стояк. Снова десяток — чик! Я там чуть себя вместе с пиджаками не вешала, а другие считали, что я чересчур ленива. У меня не получалось. А женщины работали не разгибая спины. После надо было еще отыскать этикетки, на них цены, размеры, стандартные и нестандартные, черт знает что! Потом надо наклеить маркировки — что идет на экспорт, что на импорт. Затем получали вешалки от Неккермана и торгового дома Отто — словом, чего только женщинам не приходилось держать в голове. И всего за каких-то 300 марок!

Вы, говорю, совсем одурели — так за гроши надрываться? Работайте медленнее, они мигом смекнут, как мы им нужны, и прибавку дадут. Только эти женщины как самые настоящие кули. Молодые, кто в ту пору начал учиться, те были другие; уперлись — так, дескать, не пойдет. А мне-то пришлось. Полгода там проработала и до сих пор в толк не возьму, как это там пожилые женщины могут выдержать? Там, где я сейчас работаю сдельно, можно, если работаешь по-настоящему, отдать девять марок в профсоюз — это хоть стоит, верно? Но там пожилые женщины считали меня просто никчемной. Стоило присесть внизу на штангу, как они, при всей своей беготне и суетне, немедленно засекали меня: «Ага, Байер опять лодыря гоняет». А ведь я не ленилась, просто не могла.

Хотели меня оставить в конторе, но я бы тогда попала из огня да в полымя. Тут как раз удачно получилось: с завода, на котором я сейчас работаю, пришло письмо. Там не знали, что у меня уже есть место. Пришло, стало быть, письмо, не заинтересует ли меня работа наладчика. Ну, я опять обрадовалась, ах, какая удача! И вот я здесь уже два с половиной года, и это действительно то, что нужно. Зарабатываю неплохо, 700—800 марок.

Я отлаживаю реле, главным образом для светофоров. В этих ящиках иногда щелкает, а то, что щелкает, и есть реле. Дико муторное занятие. Туда надо вставлять двухграммовые гирьки и выдерживать расстояния меньше миллиметра. И все сдельно. И норма существует — одна штука за четыре минуты. Я теперь даю в день 200%. До такой степени насобачилась. По норме 110, а даю 220, иногда даже — 250. Но это совсем не так просто. Поначалу надо было ухитриться и норму выполнить. Прихожу домой: слушай, я сделала целых шесть штук. Потом сорок, ах, целых сорок штук! А там и норму выполнила, прямо возликовала. Но гляжу: рядом-то по сто пятнадцать дают. Тут уж меня допекло. Стала прикидывать и так и эдак. Наконец, добилась своего, а тем временем девчонка у меня за спиной уже до двухсот пятидесяти догнала.

Вечерами, когда на первых порах я домой приходила, хоть деньги и зарабатывала, но безумно уставала. Мужу приходилось все делать по дому самому. Я как барыня валилась на диван, сил не было. Тащу из детского сада детей, они щебечут, болтают, а у самой все мысли только о постели. Он приносил на диван кофе, чтобы я немного встряхнулась. И все делал. Потом одна из моих девочек заболела менингитом. Ей везде чудились зеленые жуки и пауки, и она очень их боялась. Только выписалась из больницы, вторая подхватила желтуху. Это было уже слишком.

Теперь я работаю по полдня и чувствую себя лучше. Знаю, что в обед могу уйти. Денег ровно столько, чтобы покрыть расходы на детей. Так всегда бывает, когда не имеешь специальности. А у вас, при ваших свободных профессиях, опять же все не так просто. Хоть и говорят: интеллигенты, мол, как сыр в масле катаются, в золоте купаются. Так ведь не все же. Я тут вам рассказываю о своих денежных неурядицах, а вы-то, небось, сами живете ничуть не лучше. Я в свое время тоже стихи писала, была у меня такая полоса, и ему приходилось их расхваливать. Когда я их сейчас перечитываю — смешно, ребячество! Но тогда мне нравилось, только времени потом больше не стало.

Иногда на меня находило и я вела дневник. Дневник-то я веду регулярно, но только очень кратко. Не то чтобы я записывала все свои мысли и чувства. А когда проходит некоторое время, заглянешь туда и обхохочешься. Вот купили хомяка, через неделю он уже помер, а как его звали? Написано «Август», а никто, в общем, и не

САРА КИРШ
НЕПРИЧЕСАННЫЕ РАССКАЗЫ

помнит. Одно время записывала все про детей.

Близнецы! Прежде думала: ах, пару лет без детей, потом сразу двоих — в облаках витала. Записывала первые глупости, первые слова, но, как говорится, за временем не поспеешь. Теперь я только откладываю их рисунки и развешиваю кое-какие по стенам. Они очень любят рисовать и музыкальные. Поталантливей меня будут, я-то вообще без талантов. Дашь им в руки триолу, и они тут же начинают играть все песни подряд. Не так давно ходили мы на выставку птиц, там стояло старое пианино. Я подняла крышку, моя малышка — прямо к нему и сразу сыграла «Все мои утятки». Я просто восхитилась, словно она сам Шопен. Само-то я не очень, а хотелось бы.

Мы часто слушаем музыку, видите, сколько пластинок. Франк Шёбель и ему подобные нам не нравятся. У нас всегда так — что мужу нравится, то и мне. Недавно вот приносит он пластинку Бетховена. Я говорю: ну, отец на Бетховена перешел, то ли еще будет. Мы раньше такую музыку никогда не слушали, разве что Чайковского иногда — «Танец маленьких лебедей», а он с Бетховеном. Вы только послушайте! Ах, вот он тут, посередке, и стерео. Дети носятся вокруг — а мне стало как-то не по себе, оробела. А когда позже больная дома сидела, так потихоньку разыскала Бетховена и одна слушала. После, как говорится, словно уши открылись. Я уж совсем была готова.

Да, а сейчас у нас уже целая коллекция. Все симфонии и фортепьянные концерты. Началось совсем с ничего, и вдруг Бетховен нас так заворожил. И всегда, когда появляются деньги, он свои карманные тратит на Бетховена. Уж и не знаю, что он раньше с ними делал? А-а, магнитофонные записи покупал. Первое время мы джазом увлекались — Крисом Барбером. Теперь у него абонемент есть на концерты, и мы частенько туда ходим. И вообще много чего делаем. В музеи ходим, а я архитектурой интересуюсь. Интересуюсь тем, чего мне, должно быть, в детстве не хватало. Детям надо с самого начала к таким вещам привыкать. Не как у нас в доме было, когда по радио арию какую-нибудь передавали, кричали сразу: «Выключи ты эту дребедень!»

Обед в воскресенье — настоящая церемония. Свечи зажигаем, скатерть нарядная, салфетки. Создает настроение. Один ребенок возле меня, второй рядом с ним, все торжественно. Обычно-то вечная спешка. Потом он ставит пластинку с симфонией. Каждое воскресенье выбирает что-нибудь особенное. То Моцарта, и тогда мы, конечно, едим чуточку побыстрее, в самом деле, а малыши считают, что так и надо.

Сейчас, когда я работаю по полдня, имею возможность отдохнуть с книгой. Я просто в восторге от Виктора Гюго. У него все так фантастично и так подробно описано, что три первые страницы читаешь целый день. Но стоит только как следует вчитаться, прямо сердце замирает и волнуешься. Я моему отрывки вслух читала. «Представь себе,— говорю,— такая простая вещь, а как изумительно описана».

Правда, я стала такая только после того, как познакомилась с ним и родила детей. Раньше я была более ограниченная. В 16—17 лет на уме только жевательная резинка да мальчишки. Бетховен мне и в голову не приходил. Словом, все у меня хорошо, и для него я самая красивая и самая лучшая. А ведь я даже не могу в воскресенье встать раньше десяти, такая уж я ленивая.

Тогда он осторожненько раздвигает шторы, включает тихо музыку, легонько потрясет меня, а потом тащит поднос с завтраком. Он приделал к нему ножки, в середке нарисовал большое алое сердце и в уголках по маленькому сердечку. Все сам сделал, с любовью. Художник из него никакой, но это все равно чудесно. Он ставит передо мной завтрак, я выползаю из-под одеяла и ем. Потом укладываюсь еще на полчасика и засыпаю, а он пока хозяйничает в кухне, жарит там что-нибудь. Лучше не бывает.

Моя мать на первых порах все приговаривала: «Что ты в нем нашла, вон он какой худущий». Тогда мода была на узкие брюки и у него такие были дудочки. Я считала, что это шикарно, и мне они очень нравились, да к тому же в продольную полоску. Он казался еще худее, а волосы у него не такие длинные были. Ну, а теперь мать помалкивает. За десять лет моего замужества, должно быть, сообразила, что дело не в волосах и не в штанах.

Мы отмечаем Год женщины, он как раз идет к концу. Мы ежегодно празднуем Международный женский день, постоянно ведем речь об освобождении женщины, о равноправии, эмансипации, о многом другом. Говоря в этой связи о Саре Кирш и ее литературных поисках, хочется прежде всего подчеркнуть: все Дни, Годы, Слова никоим образом не должны отдавать небрежением.

Почему я начал именно с этого? Не является ли это соображение ограничением, опасением или даже своего рода защитой от никем не высказанного упрека? Тому есть две причины. Одна из них, пожалуй, кроется в моей «географической среде»: западногерманские средства массовой информации — радио, телевидение, пресса — изо дня в день потчуют нас этим самым небрежением. В буржуазном обществе пренебрежение к женщине оправдывается идеологически — ущемление ее экономических, политических, культурных прав как раз и выражается в снисходительном к ней отношении. Небрежное, покровительственное отношение к представительницам этой социальной группы органически связано с главной функцией современной буржуазной идеологии —

с антикоммунизмом. Именно пренебрежительная снисходительность определяет тон комментариев, посвященных теоретическим выкладкам и практическим мерам, предпринимаемым социалистическими странами для решения вопроса о полном раскрепощении женщин. Такова первая причина.

Назвать и сформулировать вторую несравненно труднее, ибо она касается нас самих, я имею в виду наше социалистическое общество. Здесь, пожалуй, приходится говорить не о пренебрежении, а об определенном оттенке самодовольства, самоудовлетворенности. Грубо говоря, для того или иного индивида женский вопрос «решен», выродился в дело одного дня или пусть даже целого года, превратился в торжественный акт или лозунг и так и застыл в этой ипостаси. Подобные люди довольны, и, честно говоря, для этого есть достаточно оснований: экономически женщина в социалистических странах уравнена с мужчиной, политически она равноправна, в науке и культуре ей предоставлены широчайшие возможности, а в таких областях, как образование и медицина, она уже сейчас играет решающую роль, причем не только количественно. И я тоже повторю: низок тот, кто не «видит и не признает» в этих успехах достижений социалистического общества. Но считать эти успехи окончательным решением — значит, по-моему, скатиться от марксизма к экономизму, считать достижением цели каждый шаг, который можно зарегистрировать или учесть статистически. А ведь на самом деле — это всего лишь этапы на пути к цели. И, наоборот, мы останемся на марксистских позициях, если примем достигнутые успехи за исходный пункт и, поднимаясь на более высокую ступень, будем намечать новые цели и к ним стремиться.

Отдельные читатели могут раздраженно спросить, какое отношение все вышесказанное имеет к литературе вообще и Саре Кирш в частности. Отвечу: самое прямое. Ныне в самом разгаре процесс определенного теоретического переосмысления понятия «реализм», который вряд ли является простым описанием только уже существующего. Реализма нет, пожалуй, и тогда, когда художественное произведение отображает модели современной жизни людей, пусть из лучших побуждений, но абстрактно или утопически. Несомненно, реализм не может возникнуть без соотнесенности с существующим. Но и без соотнесенности с идеалом его тоже нет. Социалистическим он станет лишь, если окажется способным не только указывать путь к этому идеалу, но будет видеть существующие в действительности проблемы, ставить их где нужно нелицеприятно и остро, нацеливая и устремляя на достижение идеала.

Быть может, не стоит говорить все это в связи с именем одного писателя, но, по-моему, именно этими принципами руководствуется Сара Кирш и еще целый ряд авторов. Для них — я имею в виду, скажем, Рюккера и Кристу Вольф, Гюнтера де Бройна и покойную Бригитту Рейман, Карла-Гейнца Якобса, Ульриха Пленцдорфа, Клауса Шлезингера и других, тех, что выросли вместе с нашим обществом,— для них достижения социализма неоспоримы и сами собой разумеются. Более того, с их точки зрения, бессмысленно оспаривать эти достижения. Смысл для них в одном — принять достигнутое за отправную точку и отыскивать те возможности, которые уже вынашивает в себе новая действительность. При этом, видимо, нельзя полагать случайностью, что такой поиск велся именно в связи с женской проблематикой. Я бы мог назвать здесь целый ряд имен и произведений, где подобные проблемы образуют средоточие интереса или хотя бы упоминаются вскользь. Достаточно сказать о фильмах Рюккера «Третий», Пленцдорфа — «Легенда о Паúле и Паýле». Издательство «Хинсторф» выпустило антологию рассказов на эту тему, которая носит название «Гром среди ясного неба» по опубликованному на ее страницах рассказу Сары Кирш. Кроме того, туда вошли произведения К. Вольф, Г. де Бройна, К.-Г. Якобса — назовем здесь только авторов наиболее удачных рассказов. (По чистой случайности, но если вдуматься, не случайно, в шестой книжке журнала «Звезда» за 1975 год я недавно натолкнулся на посмертно опубликованный рассказ Василия Шукшина, где этот талантливый художник опять-таки обратился к этой тематике. Если копнуть поглубже, наверняка можно обнаружить еще целый ряд родственных явлений в литературах СССР и ГДР.)

Давая общую характеристику этому сборнику, я непосредственно подхожу к Саре Кирш. Все рассказы в антологии исходят из экспериментально-фантастической ситуации, когда герои в силу случайности или намеренно пережили изменение своего пола. Ситуацию, скажем, связанную с переживаниями и внешним обликом мужчины, который внезапно вынужден самоутверждаться как женщина, можно в самом деле посчитать неким пробным камнем эмансипации. Действительно, авторам удается ярко показать, что некоторые положения в эмансипации следует переосмыслить, ибо сооружение красивого фасада (что, быть может, вполне отвечает самодовольству статистиков) — отнюдь не в духе серьезных задач нашего общества.

В самом деле, достигнутый нами уровень раскрепощения женщины выдвигает ныне проблематику, которая в будущем также определит контуры коммунизма. Если почти 80% женщин в ГДР участвуют в производстве, иными словами, составляют 50% трудящихся, то это имеет вполне очевидные и далеко идущие последствия для разделения труда в обществе, для изменения и выбора профессий. Но и для брака и семьи тоже. Прежде всего для института воспитания детей. Если мы и в социалистическом обществе обнаруживаем, например, серьезные изъяны в поведении детей и молодежи, которые находят свое выражение, скажем, в детской преступности, то мне

кажется, что при всей сложности причин определенную роль здесь играет изменение положения женщины в обществе: «институт матери» не заменишь, расширяя ясли и детские сады.

Ограничусь этими намеками, цель которых заключалась лишь в том, чтобы вскрыть глубокие общественные источники и потребности, из которых многие авторы молодого поколения ГДР черпают энергию для своего творчества.

В «Укротительнице» Сара Кирш знакомит нас с женщинами, которые являются гражданами ГДР, и, надо сказать, чем меньше они идеализируют свое положение, тем более убедительно отождествление их с нашим обществом. Эти женщины — разного возраста, разных профессий — рассказывают о своей жизни. В самом обычном разговоре они делятся своими мнениями, воспоминаниями, переживаниями. Беседы записаны на кассетный магнитофон, а затем просто перенесены на бумагу, то есть «не причесаны», не подвергнуты литературной обработке.

Материал этот вряд ли можно именовать «рассказами». По-моему, речь идет о сюжетах для романов, о заготовках для рассказов. Я говорю это, рискуя навлечь на себя подозрения в недооценке этого жанра. Но отнюдь не собираюсь повторять, что роман и рассказ есть нечто большее, чем «жизнь», чем «конфликты, которыми полна улица...» и т. д. Писательница Сара Кирш, автор удачных произведений, не нуждается в подсказке, какую роль играют основная идея, переплетение мотивов, конфликты, язык и многое другое, позволяющее еще раз, причем точнее и живее, пережить реальность.

Это не защита романа от документальной литературы. Все женщины, представленные в «Укротительнице» — начальник отдела кадров, депутат-историк, руководитель производства и, наконец, мать близнецов с ее трех-, четырех-, пятикратной попыткой найти настоящую профессию,— все они в той степени, в какой рассказали автору о своей жизни и надеждах и в какой их исповедь изложена на бумаге, действительно интересны читателю, настоящему и будущему.

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС

БОРИС ГАЛАНОВ

СОВРЕМЕННОСТЬ И МОДА

Заметки о новых зарубежных фильмах

Передо мной лежат вырезки из двух популярных французских журналов. В одной читаю список новых фильмов, вышедших на экраны Франции. Какой из них поглядеть в первую очередь? Социальную драму или веселую комедию? Чему отдать предпочтение? Многие зарубежные журналы помещают из номера в номер репертуар недели, декады, месяца и, чтобы облегчить своим читателям выбор, рядом с названиями новых фильмов публикуют отметки — от единицы до пятерки,— которые выставляют этим фильмам (и, надо надеяться, нелицеприятно!) известные, авторитетные кинокритики. Если фильм набрал одни колы, пропустите его без всяких сожалений. Если мнения критиков разошлись и отметка колеблется между тройкой и четверкой, решайте сами, стоит ли картина того, чтобы потерять на нее вечер. Ну, а если фильм единодушно оценен по высшему баллу, нужно, наверное, отправиться в кино не раздумывая.

Но вот в другом списке, списке фильмов — рекордсменов по числу просмотревших их зрителей, фаворитами оказываются отнюдь не те картины, что завоевывали премии на международных фестивалях и получали пятерки у строгих критиков. Долгое время во Франции этот второй список возглавляла, например, эротическая «Эммануэль», при имени которой многие французы стыдливо опускали глаза. А известный актер Аллен Кюни, снявшийся в этой картине, потом даже публично каялся: черт, дескать, попутал. Тем не менее «Эммануэль» успели просмотреть 30 миллионов человек. А вошедшую в моду после «Эммануэли» секс-звезду Сильвию Кристель срочно заняли в новом фильме, перенеся действие в 30-е годы, где, судя по рекламным анонсам, ей предстоит соблазнить Гитлера, Аль-Капоне, знаменитого афериста Ставиского и не помню кого еще.

Впрочем, если говорить о кассе, спекуляция на сексе сейчас приносит куда меньше доходов, чем прежде. Примелькались бесчисленные порнофильмы, которые тем только и отличаются один от другого, что каждый следующий грубее, грязнее, циничнее предыдущего и что сегодня его авторы норовят показать на экране такие патологические извращения, которые еще не отваживались показать вчера. Пока что рекорды побил, пожалуй, бельгийский фильм «Свадебная ваза», показанный на Каннском фестивале в рамках «Недели кинокритики». Однако даже история сожительства человека со свиньей, у которой рождаются три малосимпатичных (отнюдь не диснеевских) поросенка, сенсации не произвела. Опротивело. Надоело. Наскучило.

После «Эммануэли» самый большой коммерческий успех выпал, пожалуй, на долю серии «фильмов-катастроф» — о людях, терпящих бедствие на земле, под землей, в воздухе, на воде, в горящем небоскребе, в каютах идущего ко дну океанского лайнера, в теряющем управление пассажирском «Боинге», сотнями погибающих при землетрясении, погребенных под раскаленной вулканической лавой, разорванных и съеденных гигантской акулой и т. д., и т. п. Техническая сторона такого рода зрелищ буквально ошеломляет. Стереофония, цвет, широкий формат, искусство комбинированных съемок — все отмечено высоким мастерством, не говорю уж о масштабах и размахе массовых сцен. Конкурировать с киноколоссами даже самому опасному сопернику кинематографа — телевидению не под силу. Прибавим к сказанному назойливую рекламу с упоминанием астрономических сумм, израсходован-

них на постановки этих картин. Как бы низко ни оценивались их художественные достоинства по пятибалльной системе, зрителю трудно будет устоять перед искушением рекламы и хотя бы из простого любопытства — а на что же были израсходованы такие громадные деньги? — не поглядеть «Многоэтажный ад», «Землетрясение» или самую последнюю сенсацию в этом жанре «Челюсти».

Реклама рекламой, но есть, разумеется, и социальные причины столь неожиданного успеха у зрителей «фильмов-катастроф». На них-то в первую очередь и указывает прогрессивная зарубежная критика. Говорят и пишут, что авторы этих лент намеренно играют на настроениях тревоги, страха, ожидания всяческих напастей, которые испытывают сегодня многие и многие люди на Западе. «Фильмы-катастрофы» подогревают эти чувства, но переводят их в план внесоциальный, отрывают от того, что порождает в действительности тревоги и страхи, ослабляют внимание к главному. Не социальная система и неизлечимые пороки буржуазного общества оказываются источниками бед и страданий человеческих, а стихийные силы природы, события неуправляемые, напасти фантастические, порой даже ирреальные, потому что, если поверить кинематографу, в нашей жизни с лихвой хватает всякой дьявольщины. И как хорошо, что нас, сидящих в зале, она пока еще не коснулась.

Внешне, казалось бы, мало сходства между нашумевшим «сатанинским» фильмом «Изгоняющий дьявола» («Экзорцист») — историей ирреальной и «Многоэтажным адом», историей вполне реальной — пожар в гигантском небоскребе. В первом фильме одна-единственная жертва — девочка, в которую вселился дьявол, в другом — жертв множество, и они в панике мечутся по этажам горящего небоскреба. В «Многоэтажном аде» устрашающие подробности катастрофы переданы с максимальным правдоподобием. В «Экзорцисте», напротив, давно заезженные вульгарные кинотрюки вроде срывающихся с места столов и диванов, порывов ветра, гуляющих по дому, густых клубов дыма и прочей чертовщины, казалось бы, должны вызвать улыбку. Вслед за чеховской Аркадиной из «Чайки» хотелось иронически воскликнуть: «Серой пахнет... да, это эффект». Однако люди в темноте всхлипывали, охали, встревоженно перешептывались, «Экзорцист», как сейсмограф, предсказывал катастрофу, внушая зрителям чувство неуверенности и собственной незащищенности.

Аналогия с «фильмами-катастрофами» напрашивалась сама собой. Некое неуправляемое, даже мистическое зло — будь то сатана, пожар, тайфун, упыри или другая нечисть — там и тут возводилось в абсолют, в обобщение как неотвратимый рок, подстерегало героя в собственном доме, в пути, на празднике, захватывало врасплох как раз тогда, когда он меньше всего ожидал несчастья. Если угодно, некое успешно эксплуатируемое, кошмарное отражение страшной современной действительности, где террористы взрывают бомбы, похищают и убивают заложников, где неофашисты могут безнаказанно совершать свои кровавые преступления, где насилие прочно вошло в повседневный быт. А на экране — «фильмы-дьяволиады», «фильмы-катастрофы», масса инертных, деморализованных людей, растерявшихся перед разъяренной стихией. Я думаю, «фильмы-катастрофы» вполне можно было бы назвать «фабрикой страшных снов», хотя в каждом брезжит луч надежды, в каждом появляется отважный утешитель, свой самоотверженный герой, человек долга, на которого можно положиться. Уж он-то постарается найти выход, всех вытащить из беды. В одном случае (определяется характером разразившейся катастрофы) — это командир пожарной команды, в другом — летчик и храбрая стюардесса, а в схватку с дьяволом вступает благочестивый священник. Не зря режиссер Уильям Фридкин снимал картину в тесном контакте с консультантами, облеченными высоким духовным саном, которые гарантировали «научную» достоверность ритуала «Экзорциста» — изгнания сатаны и самого факта чудесного исцеления девочки. А чудо спасения гибнущего самолета и предпринятых ради этого энергичных мер консультировала одна авиакомпания, для которой «фильм-катастрофа» «Аэропорт-75» стал отличным рекламным бизнесом в полном смысле этого слова.

Разумеется, прогрессивный политический кинематограф Запада, выводя драматические конфликты прежде всего из самой социальной действительности, определяющей поведение людей, их борьбу за создание условий, достойных человеческого существования, не обещает своим зрителям, что спасение от всех бед сумеет обеспечить некий отважный и находчивый человек. Да и конструируется этот герой отнюдь не по образу и подобию героев «фильмов-катастроф». Он должен быть мужественным, самоотверженным, бескорыстным, но всерьез, а не понарошку, потому что испытания ему предстоят нешуточные и надо найти в себе силы выстоять, не сломиться под их натиском, одержать победу в конфликтах куда более опасных, чем фантастические схватки с дьяволом в «Экзорцисте».

Правда, люди счастливой судьбы, счастливой не в духе традиционного, благополучного голливудского «хэппи-энда», а потому что при всех обрушившихся на них невзгодах выстояли, не изменили ни себе, ни своим идеалам, все же не так часто появляются на экранах Запада. В дни Каннского фестиваля, например, перед нашими глазами больше промелькнуло одиноких бунтарей, мечущихся в поисках истины, пытающихся протестовать, сопротивляться, у которых недостает ни выдержки, ни сил, чья жизнь чаще всего завершается трагически.

Но начать мне все-таки хочется не с них.

У героини фильма американского режиссера Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» личная жизнь сложилась не слишком удачно. Она рано осталась вдовой с 12-летним сыном на руках. Но оказалось, что эта молодая, незаметная и робкая поначалу женщина обладает огромным запасом

«Алиса здесь больше не живет». В роли Алисы — Эллен Бирстин.

жизненной прочности, органически не приемлет какое бы то ни было насилие, обман, грубость. Фильм Скорсезе представляется весьма скромным, даже камерным по своим непосредственным задачам. В центре внимания художника — частная жизнь Алисы, ее попытки осуществить давнюю мечту: вернуться в город своего детства, где когда-то все так счастливо для нее начиналось. И в то же время — невозможность, ненужность, бессмысленность такой попытки, потому что сказочный город детства существует только в ее воображении. И пока в своем старом автомобиле Алиса колесит по дорогам Америки, она все больше убеждается в этом.

Алиса здесь больше не живет! Где здесь? Всем своим содержанием фильм отвечает на этот вопрос — в мире иллюзий, в стране чудес (видимо, авторы сознательно дали героине имя знаменитой Алисы из книги Льюиса Кэрролла). Зато отныне она будет жить в этом реальном мире, многое заново увидев и поняв, научившись бороться, давать отпор.

Фильм итальянского режиссера Этторе Сколы «Мы так любили друг друга», удостоенный одной из высших наград на IX Московском международном кинофестивале, при всей несхожести с «Алисой» — и по своему замыслу, и по его осуществлению,— в чем-то все же напоминает «Алису». Героям этого фильма тоже суждено расстаться со многими иллюзиями, воспитать в себе чувство протеста, на этот раз уже протеста политического, ощутить необходимость действия. Фильм начинается так же, как не раз уже начинались многие ленты до него: жили три товарища... В годы войны Джанни, Антонио и Николо участвовали в итальянском Сопротивлении, храбро сражались с гитлеровцами. А после войны дороги трех друзей разошлись. Джанни, тот, которого они считали самым лучшим, самым достойным, выгодно женился, разбогател, растоптал все, чему поклонялся в молодости. Двое других при всех поворотах судьбы сумели проявить и душевную стойкость, и принципиальность, не отделяя себя от тех, кто в эти нелегкие для итальянского общества годы выступал против социальной несправедливости, в защиту демократических свобод, вел борьбу против неофашизма в Италии.

Неожиданная параллель: фильм Этторе Сколы не только сам сделан в духе благородных традиций неореализма, он постоянно возвращает нас к произведениям замечательных мастеров. И коротенькая ретроспек-

---

БОРИС ГАЛАНОВ
СОВРЕМЕННОСТЬ И МОДА

тива со съемками Феллини — этот «фильм в фильме» как бы напоминает о том, что целое поколение итальянцев воспитывалось, формировалось под непосредственным влиянием неореалистического кинематографа. У американца Джона Шлезингера в его новой картине «День саранчи» одним из главных действующих лиц тоже стал кинематограф, а героиней — маленькая актриса на эпизодические роли, которая безуспешно пытается сделать кинокарьеру и, в конце концов отчаявшись, вынуждена добывать себе средства к жизни проституцией. Но, в отличие от Сколы, который воздал дань уважения кинематографу прогрессивному, борющемуся, Шлезингер с горечью и сарказмом говорит о растлевающем влиянии коммерческого кино и завершает свою работу в духе «фильмов-катастроф» — почти апокалипсической сценой массовой истерии и бреда, всеочищающим пожаром, бушующим над Голливудом, как неизбежным возмездием этому киносодому за все его прегрешения.

Кстати, в другом американском фильме, «Ленни», тоже возникает тема искусства и общества, облагораживающего или губительного влияния искусства на умы. Режиссер Боб Фосс, постановщик знаменитого «Кабаре», на этот раз заинтересовался драматической биографией Ленни Брюса, популярного в 50-е годы американского актера, утверждавшего на американской эстраде жанр сатирических «шоу», искавшего новые формы общения с публикой. Однако буржуазное общество не простило Ленни его политических шуток, а владельцы кабаре не захотели долго терпеть те «форумы» правдивых вопросов и ответов, которые он стремился устраивать во время своих выступлений.

Обвиненный в непристойности, преследуемый полицией, выбитый из колеи скандальным разводом с женой, отвергнутый публикой, которая еще недавно поклонялась ему как кумиру, Ленни опускается душевно и физически, все чаще прибегает к наркотикам, не вылезает из ночных кабаков и в конце концов погибает, всеми забытый, дожив всего до сорока лет.

Фильм Боба Фосса — своеобразный сплав художественного, игрового и документального кино. Его стилистика заставляет, пожалуй, вспомнить «прямое кино» — «синема-верите» 50-х годов. Тут есть записи бесед с живыми свидетелями — матерью Ленни, его женой, его импресарио, воссозданы сцены из тех дорогостоящих вульгарных коммерческих ревю, против которых пытался бороться Ленни (роль Ленни играет талантливый актер Дастин Хоффман). И чтобы усилить, укрепить у зрителей ощущение документальности, картину сняли не в цвете, а черно-белую. Так или иначе, авторы напомнили нам о судьбе человека талантливого, душевно чистого, бескомпромиссного в осуждении социального зла и несправедливости, убежденного противника коммерческого, бездуховного искусства. Впрочем, как и многим другим героям западного кино, Ленни не хватает стойкости настоящего борца. Но себе, своему призванию актера, гражданина он остается верен до конца. И то, что Ленни не захотел изменить своему «я», в конечном счете тоже стало причиной его гибели.

А вот Дэвид Локк, герой фильма Микеланджело Антониони «Профессия: репортер», погибает тогда, когда, воспользовавшись случайным стечением обстоятельств, предпринимает отчаянную попытку изменить своему «я», освободиться от самого себя и начать жизнь заново, выдав себя за другого человека.

Но, унаследовав груз дел и забот своего внезапно умершего дорожного знакомца — и, как оказывается в дальнейшем, опасный, непривычный груз,— журналист Дэвид Локк (отличная актерская работа Джека Николсона) вместе с чужим именем — Робертсон — обретает не только верных друзей, но и смертельных врагов, которые будут гнаться за ним по пятам, принимая его за Роберт-

«Мы так любили друг друга». В роли Лучаны — Стефания Сандрелли, Антонио — Нино Манфреди.

«Ленни». В роли Ленни Брюса — Дастин Хоффман.

сона, до тех пор, пока не доконают. Подходящий сюжет для захватывающего приключенческого фильма! И у Антониони в «Репортере» (как, впрочем, и в предыдущих его фильмах) приметы приключенческого жанра действительно налицо: преследуемый и преследователи, похищения, погони, калейдоскоп городов и стран. Однако не это для Антониони главное. В беседе с корреспондентом итальянского журнала «Эуропео» Альберто Онагро он признавался, что хотел свести к минимуму развлекательный сюжет, заставить его присутствовать, так сказать, косвенно, «между прочим».

Главное для Антониони заключалось в ответе на вопрос — почему же все-таки Дэвид Локк не смог изменить себя, свою жизнь, перечеркнуть прежнюю биографию. Что заставило его решиться на столь неожиданный и, как оказалось, роковой шаг, можно понять и объяснить: личные неурядицы, разлад с женой, глубокая неудовлетворенность собой, своей профессией, предназначавшей ему судьбу соглядатая, наблюдателя событий и никогда — их участника. Наконец, необходимость — таковы «условия игры» — лгать, рассказывать не полную правду, но полуправду. А вот довести свое намерение до конца Дэвиду Локку уже не хватило решимости. И тут односложным ответом не обойтись.

Сам Антониони предлагал: «Давайте присмотримся к герою. Это репортер, а значит, человек, живущий в мире слов и образов». Роль активного участника борьбы, насыщенная действиями жизнь, которую вел Робертсон, поставлявший оружие в Африку для черных повстанцев, Дэвиду Локку не по плечу. И девушка, повстречавшаяся ему в этой новой для него, полной риска жизни, не сможет заставить его стать сильнее, чем он есть. Историю Локка — Робертсона кри-

---

БОРИС ГАЛАНОВ
СОВРЕМЕННОСТЬ И МОДА

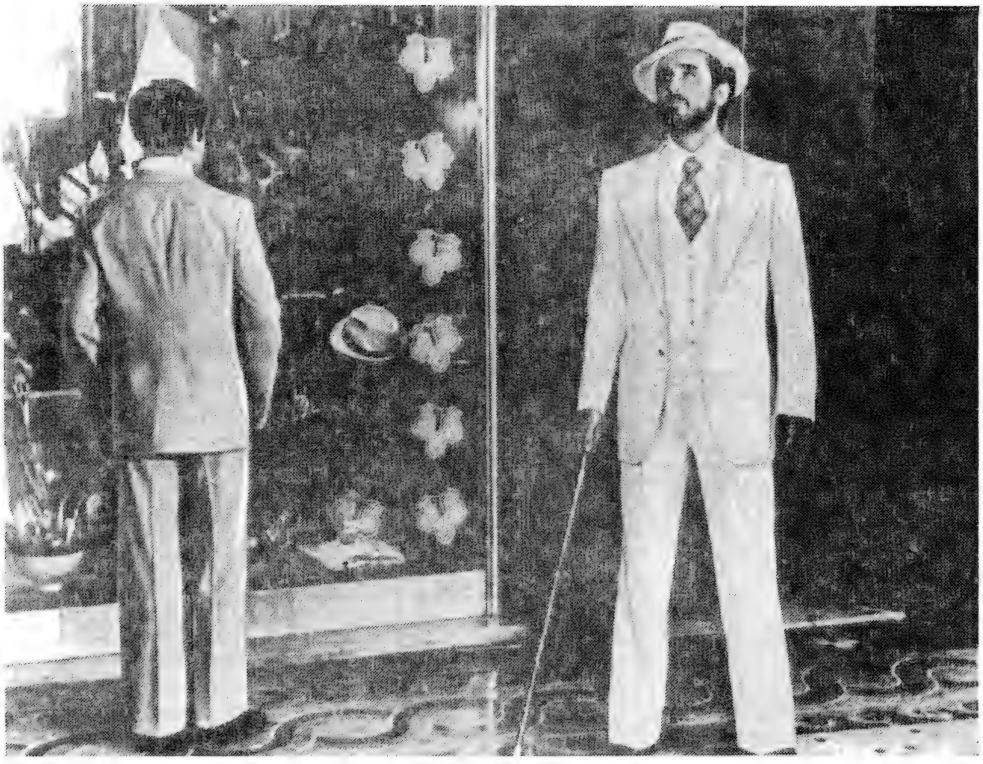
тики и зрители объясняли по-разному. Одни увидели в поступке Локка стремление действовать, стать лучше, честнее. Жить дальше с сознанием всей глубины ответственности за все, что совершается вокруг тебя. Другие, напротив, осуждали Локка за намерение вмешаться в политическую борьбу без настоящего понимания предмета и, по существу, без глубоко осознанной внутренней потребности, что не могло не привести и неизбежно привело к краху.

В фильме Антониони есть, на мой взгляд, то и другое: есть благословение к действию, есть укор и предостережение. Что изменилось от того, что жизнь Дэвида Локка обернулась для него трагедией? Поразительны в этом смысле заключительные кадры «Репортера» — семь последних минут в маленьком деревенском отеле с громким названием «Глория» («Слава»), где сейчас умрет Дэвид Локк. Ничего особенного не совершается на жарком, пыльном дворе — сюда выходит зарешеченное окно его комнаты. И все-таки в самой этой будничности есть жгучее ощущение тревоги, надвигающейся неотвратимой беды. А потом, когда все будет кончено, засветится разноцветными огнями бар и неторопливо отправится на вечернюю прогулку хозяин гостиницы подышать вечерней прохладой. И его жена, как обычно, усядется на крыльце с вязанием в руках. «Все возвращается к нормальному положению вещей»,— написал в статье о фильме итальянский критик Лино Миччике. Все как обычно, только без Дэвида Локка.

Мне вспоминается счастливый, относительно счастливый, финал трагикомедии итальянского режиссера Дино Ризи «Запах женщины» с неподражаемым Витторио Гасманом в роли слепого офицера Фаусто. Вспоминается потому, что последний монолог Дэвида Локка посвящен слепому человеку, который, прозрев после хирургической операции, сначала был счастлив: лица людей, краски природы — все его восхищало, а потом испугался своей зрячести — столько жестокого и безобразного ему открылось в окружающем мире. Наверное, притчу о слепом Дэвид Локк относил к самому себе. Прозрев, он уже не нашел в себе силы бороться. И напрасно девушка, которая могла бы стать для него опорой, ожидала в последнюю роковую минуту на пыльном гостиничном дворе, что он ее позовет. А одинокий слепой Фаусто, пережив глубокое душевное потрясение, трижды в финале фильма с отчаянием, мольбой и надеждой произносит имя той, которая, как и героиня Антониони, будет тревожно бродить вокруг дома, надеясь и уже почти не надеясь на то, что Фаусто ее позовет. Для героя Дино Ризи финал фильма знаменует возвращение к людям, к жизни. В его призыве слышится надежда. Как в последнем молчании Дэвида Локка — безнадежность.

Так что же, значит, благие порывы Дэвида Локка бесплодны? Но разве не странно,

«Профессия: репортер». В роли Дэвида Локка — Джек Николсон, девушки — Мария Шнейдер.



«Запах женщины». В роли Фаусто — Витторио Гасман.

что Рэчел, жена Дэвида, отказалась признать в умершем своего мужа? А возлюбленная Дэвида в свою очередь подтвердила, что это и есть Робертсон. Может быть, я слишком вольно толкую замысел фильма, но мне кажется, что в словах обеих женщин угадывается правда жизни героя фильма, который все же так далеко ушел от самого себя, от прежнего Дэвида Локка, что этого не могли не почувствовать близкие ему люди.

Новый фильм Антониони знаменует в его творчестве не только дальнейший — после «Блоу ап» и «Забриски пойнт» — сдвиг к социальной тематике, он отражает возрастающий на Западе интерес к политическому кинематографу в целом. Когда корреспондент журнала «Эуропео» заметил по поводу «Репортера»: «Как правило, в ваших фильмах политические проблемы не ставятся напрямик, здесь же наоборот...», Антониони перебил его: «А по-моему, они и здесь поставлены напрямик. Вообще политика меня очень интересует, и я внимательно за ней слежу...» Несколько лет назад такое заявление могло бы показаться неожиданным в устах художника, который в ранних своих фильмах зашифровывал социальную идею, но сегодня оно, по-видимому, действительно выражает позицию Антониони.

Разумеется, политическое содержание фильма не исчерпывается эпизодами, связанными с национально-освободительным движением африканцев. До нас доходят отголоски этой борьбы. Но практически в фильме мы почти не соприкасаемся с повстанцами. Их лагерь находится где-то далеко-далеко в песках пустыни, куда Дэвиду Локку так и не удалось пробиться. Да и пафос фильма в другом — в драматических усилиях Дэвида Локка освободиться от прежнего образа жизни, сменить вехи, сблизиться с социальной действительностью. Для него она олицетворяется в недосягаемом повстанческом лагере. Но в фильме все напоминает о неустроенном и жестоком социальном мире — пронзительные сирены полицейских машин, наемные убийцы, шныряющие по улицам европейских столиц в поисках своих жертв, похищения политических противников, грустный монолог старика в саду, который, глядя на играющих детей, рассуждает о вечно повторяющейся трагедии жизни. И пусть в созданной Антониони и не проясненной до конца сложной психологической коллизии какие-то мотивировки ускользнут от нашего внимания, художнику важно, чтобы в целом зритель принял и пережил судьбу Дэвида Локка, его поиски более тесных контактов с жизнью как нечто личное, непосредственно касающееся каждого из нас.

БОРИС ГАЛАНОВ
СОВРЕМЕННОСТЬ И МОДА

Мне уже приходилось писать, что в спорах, которые ведутся сегодня на Западе о том, какие же фильмы считать политическими, критики крайне левого толка и критики, спекулирующие на левизне, потому что сегодня это модно, отстаивают максималистскую точку зрения: только те, что призывают людей к непосредственному революционному действию, к бунту. Зрелищная сторона в политическом фильме не имеет существенного значения (оставим зрелищность коммерческому кинематографу). Более того, забота художника о сюжете, о завязывании и развязывании сложных сюжетных узлов, об углубленной психологической разработке характеров, то есть обо всем том, что презрительно именуется элементами традиционного «знакового» кинематографа, только отвлекает внимание от главного. Для пробуждения активности зрителей предпочтительнее всего фильмы, которые прямо освещают конкретные, сиюминутные факты, оперативно переносят на экран политические дискуссии в различных троцкистских и маоистских группах и группках, с которыми связаны создатели этих фильмов.

Попытки Жан-Люка Годара снимать «лобовые» агитки находили шумных сторонников и подражателей. Я не разбираю здесь содержания этих фильмов, крайне путаных, атакующих марксистскую идеологию с маоистских позиций. Что же касается формы, то демагогический призыв Годара разговаривать с народом «без манипуляций» на деле обернулся созданием крайне слабых в художественном отношении, длинных, болтливых лент. А «черные» прокладки, которые вводил между эпизодами Годар и которые он сам называл «черными досками», предназначались для того, чтобы, поглядев годаровский фильм и набравшись ума-разума, зритель «написал» на этих черных досках то, что он узнал, увидел, понял после просмотра фильма. Поучившись у черной школьной доски Годара, иронически заметил несколько лет назад критик итальянского журнала «Бьянко э неро», молодой зритель напишет: долой Пруста, долой Пиранделло, долой Шекспира, долой всех, кто от буржуазии! Да и сам Годар отвергал «буржуазного» Шекспира во имя создания, о чем он не раз публично заявлял, «настоящего политического и революционного кинематографа», кино «нового стиля». Впрочем, очень скоро во французской прессе «новый стиль» годаровских картин за их дидактизм, за назойливые черные прокладки окрестили «стилем классной доски».

Нужно ли подробно говорить, что возможности кинематографа в целом, и политического в частности, сужают и нивелируют жесткие схемы теоретиков и практиков так называемого «параллельного кино» (очевидно, параллельного художественному) и предлагаемые ими однозначные решения. Разглагольствуя о тотальной вредоносности всякого искусства, создаваемого в буржуазном обществе (кроме их собственного, разумеется), «новые левые» выносят за скобки и произведения прогрессивно мыслящих художников Запада, ставят их на одну доску с продукцией коммерческого кино.

Между тем процесс политизации кинематографа не прошел бесследно для многих видных мастеров. Об этом свидетельствуют и «Амаркорд» Феллини, и новые фильмы Антониони, содержащие острый социально-критический анализ современного буржуазного общества, но отнюдь не противопоставляющие искусство и политику как антагонистов. Напротив, художник ищет тут новые для себя выразительные средства, которые помогли бы ему раскрыть политическую идею фильма. А последняя лента Этторе Сколы «Мы так любили друг друга» дает повод поразмышлять и о том, как в современном политическом кино Италии своеобразно преломляются благородные художественные принципы неореализма.

Как правило, эти и другие фильмы не призывают к непосредственному революционному действию. Их героям не всегда даже достает, о чем говорилось выше, решимости и выдержки настоящих борцов. Не будем, однако, приуменьшать силу критической мысли художника, антибуржуазной по самой своей сути, ни того влияния, которое он оказывал и может оказывать своим творчеством на общественное сознание, затрагивая проблемы, действительно волнующие миллионы людей.

Среди картин, которые мне довелось увидеть в последнее время и которые помогали воспринимать действительность не обольщаясь и за красивым фасадом разглядеть суровую, неприкрашенную реальность, я бы назвал «Порядок» канадца Мишеля Бро — фильм, обличающий произвол и беззаконие полиции города Квебека; «Я — Пятница» англичанина Джека Голда — злую насмешку над колониализмом с классическими Робинзоном Крузо и его слугой Пятницей, который в фильме сурово осуждает своего господина; «Все в порядке, ничего не устроилось» итальянки Лины Вертмюллер — смешную и горькую историю нескольких молодых людей, чье поведение в современном капиталистическом городе, образ мышления, отношения друг к другу определяются жестокими законами «общества потребления». И хотя перечень этот ни в коей мере не претендует на полноту, можно сказать, что каждый из названных здесь фильмов — по-своему, в жанре комедии нравов или трагедии нравов — продолжает традиции политического кинематографа.

Заметным явлением политического кинематографа Запада представляется картина братьев Паоло и Виттори Тавиани «Аллонзанфан» — «Вперед, вперед, сыны Отчизны». Начальная строчка «Марсельезы» дала название фильму. Начальную строчку «Марсельезы» выбрал взамен настоящего своего имени молодой итальянский революционер.

Итак, год 1816-й. Распалась империя Наполеона. Эпоха Реставрации. Низвергнутые короли вновь взгромоздились на троны европейских государств. Время не благоприятствует революционным борцам. Одни рассея-

«Я — Пятница». В роли Робинзона — Питер О'Тул, Пятницы — Ричард Раундтри.

ны по свету, другие осуждены на смерть, третьи брошены в тюрьмы. Сопротивляются самые упорные. В Италии не склонили головы радикально настроенные члены тайного общества «Пречистые братья». Аллонзанфан! Еще не все потеряно. Запасемся оружием и двинемся на юг, чтобы вместе с обездоленными бедняками поднять там восстание, сокрушить угнетение и нищету. Но романтических порывов, но сентиментальной мечтательности, но слез, объятий, взаимных клятв и торжественных обещаний в действиях «Пречистых братьев» больше, чем глубокого понимания обстановки. И есть что-то оперное в дымных факелах, кроваво-красных куртках, пластичных позах, замедленных жестах, в маскарадных конспиративных переодеваниях заговорщиков. Все это сообщает фильму своеобразную живописную силу.

Не зря французские критики в рецензиях на «Аллонзанфан» вспоминали имя Верди. И называли фильм «барочным». Не в укор авторам, а определяя этим словом стиль повествования — пышный, романтически приподнятый, одновременно печальный и торжественный, изысканный по краскам пейзажей, интерьеров, одежды. Вообще цвету в фильме отведена еще и символическая роль. Цвет усиливает социальные и психологические характеристики персонажей, соединяясь в одно целое с музыкой композитора Эннио Морриконе или же контрастируя с ней. Антониони начисто исключил музыку из своей новой картины, расширив тем самым «зону пустоты» в душе Дэвида Локка. У братьев Тавиани музыка создает определенное настроение, подчеркивая драматизм, юмор или поэтическое обаяние многих сцен.

Коллективный герой фильма — «Пречистые братья». Их антагонист Фульвио — якобинец в прошлом, а теперь уставший от борьбы, разуверившийся в революции человек (роль Фульвио играет Марчелло Мастроянни). Возвратившись в богатое родовое поместье после семилетнего отсутствия, он растроган до слез. Остаться ему бы в этом доме жить, наслаждаясь тишиной и уютом. Но судьба снова обрекает Фульвио на скитальческую жизнь, снова и снова, словно в

БОРИС ГАЛАНОВ
СОВРЕМЕННОСТЬ И МОДА

насмешку, сводит с опостылевшими «Пречистыми братьями», и нет возможности от них оторваться. Там, в поместье, он не помешал своей сестре подставить под пули австрийцев недавних соратников. Потом, все более ожесточаясь и как бы в отместку за свое революционное прошлое, он и сам предает их, присваивает деньги, собранные на покупку оружия, внушает сицилийским крестьянам ненависть к пришельцам с севера, уверяя, что те принесли на их остров чуму. Маленький сынишка Фульвио Максимилиано, впервые оставшись наедине с отцом, горько плачет и в ужасе пытается убежать. Он испытывает инстинктивный страх перед этим человеком и неприязнь к нему. Только «Братья» с присущей им наивностью и прекраснодушием до самой своей гибели продолжают доверять Фульвио.

В Италии, на родине братьев Тавиани, за ними прочно утвердилась репутация художников политических. Действительно, и в предыдущих своих фильмах они темпераментно вторгались в политическую жизнь страны. Но, подвергая анализу жгучие социальные проблемы, молодые режиссеры нередко оказывались в плену идей левацкого и экстремистского толка.

«Аллонзанфан», бесспорно, самый зрелый фильм братьев Тавиани, хотя в нем многое спорно. Не страшно ли, что в революционной среде нет ни одного человека, который может понять и по-настоящему оценить реальную обстановку? В то же время некая искусственность, нарочитость выбора персонажей, быть может, продиктована желанием предостеречь от беспочвенных мечтаний, от действий и поступков, лишенных опоры в реальности. Пусть даже так, все равно мы испытываем симпатию к этим безумцам, к этим утопистам, непоколебимо верящим в святость своих идеалов. Прекрасна сцена, когда, сгрудившись на носу корабля, вот-вот готового причалить к берегам Сицилии, и облачившись в красные куртки, они вполголоса поют «Марсельезу». А в финальном, самом драматическом, эпизоде фильма Аллонзанфан, последний из всех «Пречистых братьев» оставшийся в живых после побоища, учиненного крестьянами, в горячечном бреду рассказывает Фульвио о братании с народом: о том, что должно было произойти и не произошло, но Аллонзанфан убежден, что было так, а не иначе,— плечом к плечу с крестьянами они шли на штурм. Вперед, сыны Отчизны! Если этого не случилось сегодня, значит, непременно случится завтра. Ради этой минуты стоило жить, бороться, погибнуть.

А Фульвио?

Есть люди исторические и есть люди биологические, говорили в одном интервью по поводу нового своего фильма братья Тавиани. Одни не ищут для себя выгод, не выбирают в революции легких путей и при всех изменениях температуры общественной

«Аллонзанфан». В роли Фульвио — Марчелло Мастроянни.

жизни сохраняют верность себе, своим благородным идеалам, даже рискуя поплатиться за это собственной головой. Другие превыше всего ставят корыстные интересы, свои узкоэгоистические расчеты. Они и к революции примыкают в периоды подъема революционного движения, надеясь извлечь из этого кое-какую пользу, прежде всего для самих себя. Но они не собираются умирать прежде времени во имя отдаленного будущего. И когда обстановка изменяется к худшему, когда выясняется, что победа не будет легкой и скорой, они откатываются вспять, топчут свои прежние идеалы, предают бывших соратников и друзей. Это — попутчики революции, опасные попутчики вроде Фульвио, которому один из «Пречистых братьев», осознав, наконец, что же такое Фульвио, скажет: «Ты понял, что мы родились слишком рано или, может быть, слишком поздно. И не хочешь с нами идти. Боишься обжечься».

Фильм братьев Тавиани содержит как бы двойное предостережение — и от случайных попутчиков революции, тех «биологических людей», которым чужды ее идеалы и которые со временем легко могут скатиться к предательству, и от прекраснодушных, хоть и самоотверженных, беззаветно преданных революции борцов, готовых выдать свои утопические мечты за конкретную реальность, объявить их моментом истины, когда обстановка еще не соответствует этому. И все-таки жертва «Пречистых братьев» была не напрасной. Так, по крайней мере, толкуют идею фильма его авторы. Новые, зрелые борцы приходят на смену павшим, чтобы продолжить их подвиг. А иначе незачем было называть фильм «Аллонзанфан».

В заключение еще об одной группе фильмов — о фильмах, посвященных минувшей войне и борьбе с нацизмом. Они приобрели особую актуальность не только потому, что появились к 30-летию победы над фашистской Германией. В последнее время, когда на Западе вошло в моду «ретро», возвращение к прошлому: к музыке прошлых лет, к старым фильмам, к мебели, к прическам, к политическим событиям и политическим деятелям начала и середины нынешнего века,— было сделано несколько попыток воскрешения зловещих фигур нацистских преступников и поиска для них всякого рода сомнительных алиби. В кино наиболее скандальный успех выпал на долю фильма, о котором и у нас много писали,— «Ночной портье» итальянки Лилианы Кавани. Изображая отношения нацистских палачей и их жертв, авторы таких фильмов стремятся уравнять в наших глазах тех и других, вызвать сочувствие к убитым, но и к убийцам тоже.

Развеять этот миф, восстановить историческую перспективу помогают сегодня фильмы, которые опираясь на классовый, социальный и политический анализ событий минувшей войны, не идеализируют нацистских преступников и не путают Фрейда с Марксом (явно в пользу Фрейда). Правда, на Западе все громче поговаривают о том, что всякие серьезные попытки обращения к военной теме заранее обречены на неуспех в связи с падением зрительского к ней интереса. Другое дело — дать сенсационное фрейдистское толкование зверств гитлеровских палачей, объяснить их поведение патологией, сексуальностью...

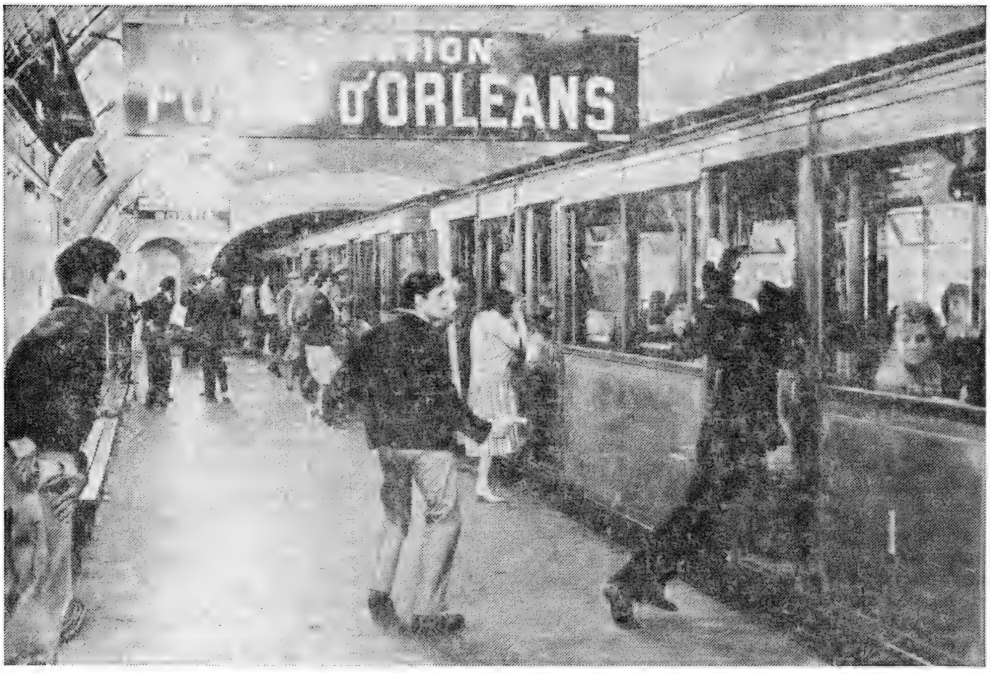
Во время Каннского фестиваля я видел несколько новых лент, страстно, убежденно, без смягчающих скидок на какие-то, якобы изначальные, биологические свойства человеческой натуры осуждающих преступления фашизма, и могу засвидетельствовать: утверждения о тотальном падении интереса к военным и антифашистским фильмам неосновательны. Взволнованная реакция зрителей на картины французских режиссеров Рене Жильсона «Бригада» и Коста-Гавраса «Специальная секция», итальянца Джан Витторио Бальди «Последний день школьных занятий перед рождественскими каникулами», скорее, убеждала в обратном.

Это были очень разные фильмы по замыслу, исполнению, сюжету. Один посвящался подвигам польских и французских борцов Сопротивления, которых война свела вместе, и крепнущей в общей борьбе с нацизмом интернациональной солидарности людей Другой обличал позорную деятельность коллаборационистского правительства Виши в годы фашистской оккупации Франции. Третий воссоздавал трагическую историю расстрела мирных граждан итальянскими чернорубашечниками в самые последние дни фашистского режима. Но объединяла их ненависть к фашизму, страстное желание напомнить о пережитом и предупредить, что никогда больше подобное не должно повториться. «Ретро» на этот раз оказалось отнюдь не примирительным, не ностальгическим, а грозным, предостерегающим и жгуче злободневным. Не случайно и отклик в темных залах кинотеатров почти всегда был мгновенным, не оставлявшим места для вопроса: а взволновал ли фильм зрителей?

Мне запомнился эпизод в фильме «Специальная секция», когда вишистские правители, создавшие в угоду немцам некую коллегию для расправы над антифашистами (она была наделена особыми полномочиями — приговаривать к тюрьме и к смерти без суда и следствия), после долгих, бесплодных поисков председателя секции остановили, наконец, свой выбор на каком-то бесцветном и крайне угодливом с виду человечке. Уж этот-то наверняка согласится. Но и он, узнав, на какой пост его метят, нашел в себе мужество ответить отказом (бурные аплодисменты всего зрительного зала), хотя отлично сознавал, что в случае своего отказа рискует оказаться в числе первых жертв Специальной секции. А эти бездушные убийцы в форме итальянских чернорубашечников с их внезапными приступами истерической ярости! Какое им найти оправдание? Остановив где-то на перекрестке расхлябанный, старенький автобус, курсирую-

---

БОРИС ГАЛАНОВ
СОВРЕМЕННОСТЬ И МОДА



Кадр из фильма «Специальная секция».

щий между Брешией и Миланом, они будут на всем продолжении пути выводить из него для расстрела женщин, детей, стариков, в каждом подозревая сообщника партизан. И хотя фильм Бальди производил бы более глубокое впечатление, будь в нем сильнее выражен (и такие упреки ему делались в прессе) дух сопротивления, протеста, в целом его обличительный пафос понятен и близок зрителям. А вот современное продолжение сюжета. Его рассказал корреспонденту журнала «Спутник фестиваля» режиссер Джан Витторио Бальди, приезжавший после Канна со своим фильмом в Москву как гость нашего фестиваля: именно там, где разыгрываются события фильма, неофашисты взорвали недавно свои бомбы. Преступление, совершенное чернорубашечниками, очень напоминает нынешние преступления, в частности, взрыв фашистской бомбы в экспрессе «Италикус». Аналогия, весьма близкая для итальянских зрителей.

«Конечно, сегодня нет Гитлера,— писал один видный итальянский режиссер, объясняя замысел своего нового фильма.— Но демон жив. «Общество потребления» позволило злу развернуться, используя другой тип насилия, другой тип власти. Сколько маленьких гитлеров и маленьких муссолини ходит сегодня вокруг нас?»

Указать пальцем на этих демонов, но не для того, чтобы запугать зрителя и — упаси боже! — создать новый тип «фильмов-катастроф», а для обличения конкретных, не фантастических носителей зла, зла социального, и для разъяснения «кто есть кто» — не в этом ли заключается благородный долг художника? И, уж конечно, по степени непосредственного воздействия на зрителя, воспитания в нем непримиримости к социальным порокам современного буржуазного общества такой фильм может именоваться политическим с куда большим основанием, чем претендующие на «сиюминутность» схематичные произведения «параллельного кино». И разве не характерно для нынешнего состояния прогрессивного кинематографа Запада, что даже те фильмы, которые заняты исследованием сложных психологических коллизий, продиктованных на первый взгляд как будто бы сугубо личными причинами, в конечном счете обретают отчетливую политическую окраску. История Дэвида Локка, рассказанная в новом фильме Антониони, наглядно подтверждает ту мысль, что политическими причинами продиктованы и поступки героя фильма, и его скитания, и самая его смерть. Но в произведениях серьезных, глубоко размышляющих художников судьбы людей неотделимы от судеб общества, и сменяющие друг друга истории человеческих жизней всегда рассматриваются как история непрерывной борьбы за осуществление благородных идеалов человечества.

◆

Наши гости

ОСМЫСЛИТЬ СЕБЯ

(Чарльз Перси Сноу и Памела Хэнсфорд Джонсон — в редакции журнала «Иностранная литература»)

Чарльз Перси Сноу и Памела Хэнсфорд Джонсон не первый раз в редакции. Их не нужно представлять: они хорошо знакомы русскому читателю по многочисленным публикациям их произведений в Советском Союзе. Мы внимательно следим за творчеством этих писателей и потому, естественно, хотим узнать, над чем сейчас работают наши друзья.

— Я недавно закончила новый роман,— говорит Памела Хэнсфорд Джонсон.— Он называется «Хороший слушатель». Это книга о трех молодых людях, которые поступили в Кембриджский университет в 50-м году. В романе прослеживаются их жизненные пути на протяжении пяти лет, приблизительно до 1955 года. Главный герой — современный вариант бальзаковского Растиньяка. Но только это Растиньяк без блеска, это его жалкий родственник, неспособный на сильные страсти и решительные поступки. В его душе царит опустошенность. Именно поэтому я называю его антигероем. Это мелкая душонка в красивой внешней оболочке. Он любит слушать и запоминать то, что ему говорят окружающие, и не стесняется затем использовать услышанное в своих целях. Долгое время успех способствует ему, потому что все подлости так или иначе сходят с рук. Но потом наступает пора возмездия: жизнь начинает его наказывать. Он остается без друзей и возлюбленной. Однако неудачи — временная полоса в его жизни. Мой герой из тех молодых людей, которые умеют выпутаться из трудной ситуации.

— Я думаю, что это один из самых удачных романов Памелы,— замечает Чарльз Сноу.— Книга ей явно удалась. Она хорошо написана и рассказывает о важных вещах.

Сам Чарльз Перси Сноу не любит рассказывать о своих творческих планах. На предыдущих встречах в журнале он говорил о своих новых книгах вскользь, как бы между прочим. Но на этот раз он настолько увлечен темой, над которой работает, что щедро делится своими соображениями.

— С возрастом все больше стремишься дойти до сути явления, осмыслить себя как гражданина, определить свое место в литературном процессе. Этим проблемам посвящены мои последние книги: «Хранители мудрости» и биография Энтони Троллопа.

«Хранители мудрости» — нетипичный для Чарльза Сноу роман. Он никак не связан с его эпопеей «Чужие и братья», романической серией, над которой писатель работал долгие годы. «Хранители мудрости» — это и роман, и развернутое публицистическое эссе, одним словом, книга, в которой писатель пытается разобраться в весьма сложной, запутанной и в целом грустной общественной, политической и идейной ситуации, сложившейся в сегодняшней Англии. Своим последним произведением Чарльз Перси Сноу пытается ответить на вопрос, что же происходит с Англией, страной великой истории и великой литературы в прошлом. Почему англичане попали в такую затянувшуюся полосу кризиса и что лежит в его основе.

В романе противопоставлены два поколения: «старики» и молодежь. «Старики» — это те, кто знал другую Англию, те, кто жил с идеалами. Хотя очень часто их идеалы были отнюдь не высоки. «Стариков», может быть даже несколько иронически, Чарльз Перси Сноу называет «хранителя-

ми мудрости». Молодежь — люди среднего поколения — те, кто пришел им на смену. Как говорит один из героев «Хранителей мудрости», это люди совершенно бездумные в своем отношении к жизни. Вернее, они бездумно относятся ко всему на свете, но только не к деньгам. Деньги, обогащение — единственная проблема и забота их жизни. Погоня за деньгами — стимул их каждодневного существования, а их девизом могли бы стать слова: «Пусть у ближнего денег будет не больше, чем у меня, а лучше — меньше».

«Старики» в романе Ч. П. Сноу задаются вопросом: «Разве сто лет назад, в период могущества и расцвета Англии, не было такой же погони за деньгами?» Конечно, была. Тому свидетельство — романы Диккенса и Теккерея. Но, на их взгляд, тогда было меньше лицемерия и всяких фиговых листочков, прикрывающих суть. И кроме того, у людей были еще и другие интересы и цели. «Старики», которых в известной степени можно считать «alter ego» самого писателя, ищут ответа, вероятно, ищет его и автор. Мы — страна, говорят старейшие члены парламента в романе Ч. П. Сноу, в которой умерли идеалы, нам нужна живительная сила, нужен стержень, за который можно было бы ухватиться, а его нет. «Старики» полагают, что Англию мог бы спасти некий национальный подъем, который обычно возникает в странах в периоды крупных социальных брожений.

Лорд Сноу не только писатель, крупный общественный деятель, он и ученый, часто и много размышляющий о роли науки в обществе. С большой симпатией написан в последнем романе образ доктора Томпкина, успешно делающего сложнейшие операции мозга. Его больной выздоравливает и возвращается к нормальной, полноценной жизни. Таким образом, наука может стать тем, что способно победить космический пессимизм. Победа над смертью дает людям силы жить, рождает уверенность в завтрашнем дне.

— Именно такую уверенность я увидел, когда ходил в этом году по улицам Москвы,— говорит Чарльз Перси Сноу.— Ее читаешь на лицах русских. Вы живете с идеалами,— продолжает Ч. П. Сноу.— В отличие от нас у русских ярко выражены патриотические чувства.

— Но патриотизм есть и у нас,— возражает ему Памела Хэнсфорд Джонсон.

— Да,— отвечает Ч. П. Сноу,— но он далеко не так очевиден, как в Советском Союзе.

Ч. П. Сноу озабочен состоянием своей страны: ее политики, ее искусства. Вспоминается интервью, которое незадолго до выхода «Хранителей мудрости» Чарльз Перси Сноу дал представителю «Санди таймс», где он с грустью отметил, что английская литература переживает кризис.

— Это неудивительно,— говорит Ч. П. Сноу,— великая литература создается в великие эпохи. Сейчас у нас нет и не может быть ни Диккенса, ни Теккерея. Но поскольку я постоянно размышляю о судьбах романа,

судьбах реализма, я обратился к писателю, которого не просто ценю, но который в значительной степени определил все мое творческое развитие. Вот почему я решил написать монографию о Троллопе. В ней я воспроизвожу биографию этого писателя, анализирую его творчество. Я считаю Энтони Троллопа одним из крупнейших романистов XIX века. Троллоп не незнакомец в вашей стране. В XIX веке в России Троллопа много переводили и, в общем, неплохо знали. Его ценил Лев Толстой. Он постоянно обращался к его романам, когда создавал «Анну Каренину». Любопытно, что идею смерти Анны под поездом он заимствовал у Троллопа. Именно в это время он писал: «Троллоп убивает меня своим мастерством».

Еще недавно наше молодое поколение не имело никакого представления об этом романисте. Однако сейчас Англия переживает своего рода возрождение Троллопа. Интерес к его творчеству необычайно высок. Его постоянно переиздают, и, что показательно, его книги очень быстро раскупаются. В какой-то степени такой взрыв интереса к Троллопу можно объяснить вниманием телевидения к его творчеству. Троллоп сразу же стал доступен многомиллионной аудитории благодаря телеэкранизации его романов. Но, думаю, есть и более глубокое объяснение. Троллоп не потерял актуальности для современного человека. И именно поэтому его и читают и смотрят.

— Что вы можете сказать о роли телевидения в Англии?

— Невозможно однозначно оценить роль телевидения. Но одно несомненно: телевидение сделало очень много в деле популяризации нашей классики. Вспомним успех, который выпал на долю телеэкранизации «Саги о Форсайтах»: кинотеатры пустовали в те часы, когда по телевидению показывали ее серии.

Из скромности Чарльз Перси Сноу не говорит о том, что британское телевидение предприняло экранизацию всей его эпопеи «Чужие и братья», которую в скором вре-

мени собирается показать английскому зрителю.

Разговор снова возвращается к Энтони Троллопу. Что же, по мнению Чарльза Сноу, Энтони Троллоп более велик, чем Диккенс?

— Конечно, нет, — отвечает Чарльз Сноу.— В своих книгах он никогда не смог подняться до уровня этого великого романиста. И нет нужды говорить, как ему далеко до Толстого или Достоевского. Но если вы меня спросите, кто значительнее как писатель — Троллоп или Теккерей, я отвечу: Троллоп. Вам это может показаться странным, поскольку в вашей стране очень хорошо относятся к Теккерею. Его постоянно издают, экранизируют, ставят в театрах. Однако в современной Англии Теккерея читают очень мало.

Существует еще одна причина, почему сейчас я обратился к Троллопу. Хочется хорошей литературы, а в Англии все реже появляются книги, которые я бы назвал настоящими, книги, которые учат, объясняют мир. Можно по пальцам перечислить современные романы, которые я бы стал перечитывать. А вот Троллопа я перечитываю и каждый раз нахожу в его книгах что-то новое для себя. Это настоящая литература, потому что она связана с жизнью, реальной, невыдуманной жизнью.

Мне кажется, что и в вашей стране настало время уничтожить это белое пятно на карте английской литературы и познакомить советского читателя с творчеством Энтони Троллопа. Насколько я знаю ваших читателей и их вкусы, Троллоп должен стать очень популярным в Советском Союзе. Русские любят и ценят психологическую литературу, а именно таковы книги Энтони Троллопа.

Творчество этого писателя и эпоха, когда он создавал свои романы, дают обширный материал для раздумий о судьбах романа вообще, особенно романа критического реализма. Эта тема, как вы знаете, всегда интересовала меня, а в монографии о Троллопе я подвожу некоторые итоги своим многолетним размышлениям.

В одном из своих последних интервью Чарльз Перси Сноу заметил, что традиционный реализм на Западе, к сожалению, переживает кризис. Но, несмотря на это, он развивается и ищет новые формы. Так, он в какой-то мере возрождается в «новом журнализме». Это направление в современной американской прозе, стремящееся объединить объективность факта с творческим вымыслом, Ч. П. Сноу находит весьма перспективным. Он совершенно убежден, что реализм — единственный путь настоящего искусства и что наступит пора, когда писатели вновь обратятся к нему.

— В искусстве очень важна традиция, преемственность, важны великие тени, под сенью которых развиваются молодые, начинающие писатели. Вот такой великой тенью был для меня Энтони Троллоп. И я убежден, что наши молодые писатели только обогатят себя, если займутся изучением его творчества.

Вообще я должен сказать, что счастливы те литературы мира, в которых никогда не прерывалась традиция. Так было в русской литературе. А вот у нас в 20-е годы реалистическая традиция прервалась. Это было время Джойса, Вирджинии Вулф, всей «блумсберийской» школы. Безусловно, они научили нас многому, их творческий опыт не пропал даром. Но была прервана традиция классического искусства, которую потом оказалось не так легко восстановить.

В нашей стране Чарльза Сноу знают и как видного литературного критика, неоднократно выступавшего на страницах нашей печати с обзорами современной английской литературы. Поэтому совершенно закономерно возникает вопрос, что может сказать Чарльз Сноу о молодых писателях, какие явления английской литературы сегодняшнего дня представляются ему наиболее интересными.

— Из поколения молодых писателей,— говорит Чарльз Перси Сноу,— я особенно ценю Сьюзен Хилл. Она мне кажется самой даровитой. Очень советую журналу опубликовать ее произведения. Прочитав их, ваши читатели убедятся, насколько она талантлива.

— А что вы думаете о Пирсе Поле Риде? Наши читатели недавно имели возможность познакомиться с этим писателем. В Советском Союзе перевели его роман «Дочь профессора».

— Мне кажется, что Пирс Поль Рид обладает настоящим талантом,— говорит Ч. П. Сноу.— Но как писатель он мне далек. Странно, что действие во всех его романах всегда происходит за пределами Англии. К тому же мне чужды его религиозные взгляды. Как вы знаете, Пирс Поль Рид — католик.

Вообще объективная значимость писателя и субъективное отношение к его творчеству — разные вещи. Дэвид Герберт Лоуренс, несомненно, крупный писатель, думаю, что ему нет равных в изображении физиологических переживаний человека.

Но мне он чужд. Я его не люблю. Не приемлю его философскую программу, всю эту религию секса.

Если говорить о современных поэтах, то я считаю великолепным мастером Филипа Ларкина. Это поэт, пишущий в традиционной манере, в его стихах значимо каждое слово. Его любят и хорошо знают в Англии. Но все же самый популярный из современных английских поэтов — сэр Джон Бетчемен, поэт-лауреат. Чтобы показать вам, русским, его популярность, я должен сказать, что Джон Бетчемен — это английский Твардовский, только без мощи и силы вашего поэта. Бетчемен пишет рифмованным стихом, он очень лиричен, многие его произведения носят автобиографический характер. Герои Бетчемена — простые люди, чаще всего бедные, живущие где-то на окраинах больших городов. Пожалуй, Джон Бетчемен — единственный поэт в Англии, у которого есть по-настоящему большая аудитория.

Вы спрашиваете меня об английском театре. В целом состояние современной британской драматургии представляется мне весьма плачевным. Авторы пишут для маленьких театров, их пьесы в основном рассчитаны на небольшую аудиторию. Правда, почти всегда превосходна игра актеров. Она-то и спасает довольно бедные по содержанию пьесы.

Ярким примером сказанному может служить последняя пьеса Гарольда Пинтера, одного из наших крупнейших драматургов. Называется она «Ничья земля». Все британские газеты поместили на нее рецензии. Но ажиотаж, который она вызвала, объясняется не столько ее содержанием и идеями, которые, на мой взгляд, никто толком не понимает, сколько блестящей игрой Джона Гилгуда и Ральфа Ричардсона. Я убежден, что, если бы не они, никто бы не стал до конца смотреть эту пьесу.

— А какие романы, вышедшие в 1974 и 1975 годах, представляются Чарльзу Перси Сноу наиболее яркими?

— Вопрос трудный, мне надо подумать. Ответить на него — значит дать оценку многим явлениям. А это уже будет материал для целой статьи. Безусловно, интересен последний роман Айрис Мердок «Вундеркинд слезам». Очень злую и смешную книгу написала Мюриэл Спарк. Она называется «Аббатиса из Крева». Хотя действие не выходит за пределы монастырских стен, а действующие лица — монахини, на самом деле это очень едкая сатира на бесчестные приемы современных политиков. Думаю, что Мюриэл Спарк весьма прозрачно намекает на Уотергейтское дело.

Речь заходит о вышедшей в 1974 году книге очерков Памелы Хэнсфорд Джонсон.

— Мне очень приятно,— говорит Памела Хэнсфорд Джонсон,— что ваш журнал так быстро откликнулся на мою книгу. Я назвала ее «Важно для меня», потому что в ней действительно очень много личного. Мне хотелось взглянуть на события моей жизни, на людей, которых я знала и знаю, на любимые книги с личной, чисто субъективной точки зрения. Уяснить, какое место я занимаю в нашем бурном, динамичном веке. В книге много «русских» страниц. У нас здесь немало друзей, здесь в каждый свой приезд мы оставляем частицу своего «я».

Хотя в последней книге очерков Памела Хэнсфорд Джонсон смотрит на вещи с «чисто субъективной точки зрения», все равно мы узнаем в ней Памелу Хэнсфорд Джонсон, автора «Кто виноват?», весьма острого по своему общественному значению произведения. В книге «Важно для меня» есть страницы, которые прозвучали особенно актуально в тридцатилетнюю годовщину победы над фашизмом. Памела Хэнсфорд Джонсон рассказывает о посещении Освенцима. Ее огорчает отношение западной молодежи к войне. Для них война — только история. А для Памелы Хэнсфорд Джонсон война — то, о чем никто не имеет права забывать. И свой долг писательницы она видит в том, чтобы постоянно пробуждать в людях чувство ответственности за происходящее, будить их совесть.

Памела Хэнсфорд Джонсон и Чарльз Сноу редко не соглашаются друг с другом в оценке каких-нибудь явлений, в вопросе же ответственности писателя, писателя-гражданина они особенно единодушны.

Е. ГЕНИЕВА

◆

Д. НИКОЛАЕВ

«МИР УЦЕЛЕЛ, ПОТОМУ ЧТО СМЕЯЛСЯ»

Под таким девизом в болгарском городе Габрово проходила недавно Вторая международная выставка карикатуры и малой сатирической пластики. Более восьмисот художников из 56 стран прислали для нее почти полторы тысячи произведений.

Организована выставка была габровским Домом сатиры и юмора под шефством Оргкомитета X Общеболгарского фестиваля сатиры и юмора — «Габрово-75». Фестиваль этот, давно уже приобретший широкую международную известность, собрал в нынешнем году огромную аудиторию: только иностранных гостей насчитывалось несколько сотен. Среди них были известные писатели-сатирики, художники-карикатуристы, режиссеры-комедиографы, комедийные актеры из многих стран мира. Что же касается тех, кто хотел попасть на фестиваль в качестве «зрителей», то их было столько, что гостеприимное Габрово оказалось не в состоянии принять всех.

Торжественное открытие выставки состоялось в залах Дома сатиры и юмора и совпало с открытием самого Дома, воздвигаемого в Габрово по проекту архитектора Карла Кандулкова — нынешнего мэра города. Строительство Дома еще не завершено, но та часть его, которая уже построена, весьма наглядно свидетельствует о размахе поистине беспрецедентном. Множество выставочных залов, театральный и кинозалы, конференц-зал, библиотека, хранилище и даже свое «юмористическое» кафе — все это будет (а частично уже и есть!) в габровском Доме сатиры и юмора. По замыслу организаторов, Дом должен собрать под своей крышей все наиболее ценное, что создано народами мира в области сатиры и юмора. А поскольку сатира и юмор с давних пор обитают буквально-таки во всех искусствах, постольку и Дом объединит в своих стенах разные виды искусства. Короче говоря, это будет уникальный в своем роде музей — такого нет пока нигде в мире.

Впрочем, слово «музей» здесь, вероятно, не очень подходит, ибо с ним нередко связывается представление о чем-то оторванном от современной, живой жизни. Сатира же и юмор, даже в том случае, когда становятся предметом собирательства, не теряют своего актуального значения, своих действенных функций. Даже в залах «музея» они продолжают активно вторгаться в жизнь, воздействуя на разум и чувства людей. Одной из форм такого воздействия и является регулярное (раз в два года) проведение Международных выставок карика-

туры и малой сатирической пластики. Девиз этих выставок — «Мир уцелел, потому что смеялся» — достаточно широк, чтобы объединить прогрессивных художников самых различных стран, и вместе с тем достаточно определенен, чтобы подчеркнуть важную, активную роль сатиры и юмора в борьбе за человеческий прогресс, за сохранение мира во всем мире, за предотвращение таких шагов, которые угрожают самому существованию человечества.

Известный болгарский писатель-сатирик Радой Ралин в предисловии к сборнику габровских анекдотов писал: «На нашей многогрешной планете погибло множество цивилизаций. Причина этому, как твердят историки,— война! А причина войны, как твердят философы,— недостаток... единства. Не единства единственной династии, не единства единственного мнения, а... диалектического единства самых огромных противоположностей — ч у в с т в а м е р ы и ч у в с т в а ю м о р а».

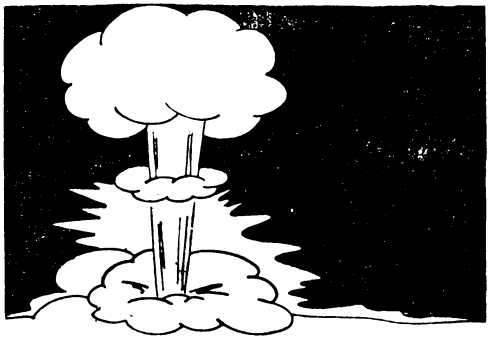
Габровцы твердо решили спасти нашу цивилизацию от гибели. Вот почему они прилагают массу усилий для того, чтобы воспитывать в людях чувство юмора и чувство меры. Они убеждены, что смех — одно из самых эффективных средств борьбы против всего того, что мешает человечеству жить в мире и дружбе.

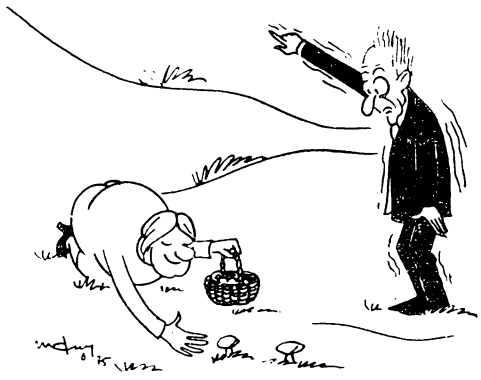
Подобного же мнения придерживаются и художники, представленные на выставке. Они тоже полагают, что мир уцелел потому, что смеялся и смеется над теми, кто пытается столкнуть его в пучину войны.

Эктор Мансини (Уругвай) нарисовал земной шар, который радостно улыбается, ибо отбросил в сторону винтовку, предварительно завязав ее ствол узлом.

Рене де ла Нуэс (Куба) изобразил тот же земной шар, сбросивший с себя солдатскую каску и расплывшийся в доброй улыбке.

Данило Аквисти (Италия) показал, к чему ведет открытое столкновение двух воинственных племен: после битвы от сражающихся осталось одно лишь «мокрое место».

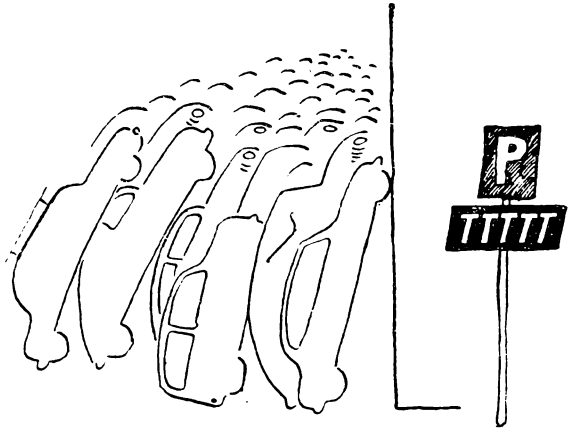




Марсель Вайланд (Люксембург)

А Адольф Борн (Чехословакия) в свою очередь не менее убедительно продемонстрировал, что молния прежде всего поражает того, кто воинственно размахивает саблей.

Своего рода итогом этой темы — темы борьбы за мир — и «мостиком», связыва-



Ульрих Форхнер (ГДР)

ющим ее с другими темами выставки, является рисунок Марселя Вайланда (Люксембург): пожилой мужчина указывает женщине, собирающей грибы, на иной гриб — атомный.

Проблемы взаимоотношений человека с природой, с биологической средой, в которой он обитает, все больше и больше занимают в последнее время как ученых, врачей, политиков, так и деятелей искусства. Свой вклад в обсуждение этих актуальных проблем вносят и художники-карикатуристы. Разумеется, говорят они на присущем им языке — языке сатирического заострения, преувеличения, гротеска.

Вот перед нами весьма необычная стоянка для автомашин: их можно оставлять лишь в вертикальном положении, поставив «на попа» (Ульрих Форхнер, ГДР).

Вот дома-коробки, уныло возвышающиеся посреди бесчисленного количества урн для мусора, и один-единственный человек — с мусорным ведром в руках!— выносящий очередные «отбросы» (Станислав Домбровский, Польша).

Или плакат «Не курить» на фоне индустриального пейзажа, буквально-таки черного от копоти, извергаемой массой заводских труб (Гейнц-Хельге Шульце, ГДР).

А вот люди, срубающие великолепные зеленые ели и распиливающие их на доски, чтобы из этих досок сделать... тоже ели, но искусственные, фанерные (Павел Рак, Чехословакия).

Художники разных стран верят, что мир уцелеет лишь в том случае, если сумеет своевременно осмеять человеческие поступки, действия, распоряжения, которые пагубно сказываются на состоянии нашей матушки-планеты, нарушают ее экологическое равновесие, лишают человека естественной биологической среды. Игра фантазии позволяет карикатуристам наглядно показать, чем могут обернуться некоторые не очень-то разумные тенденции современной жизни.

Карикатура стала в наше время одним из самых популярных, самых массовых жанров изобразительного искусства. И вместе с тем до сих пор еще кое-кто смотрит на этот жанр как на нечто «неполноценное», находящееся где-то на периферии искусства.

Когда знакомишься с Международной выставкой в Габрово, воочию видишь, что карикатура — искусство не только остросовременное, злободневное, но и художественно многообразное. Разные стили, разные творческие манеры отличают как отдельных художников-карикатуристов, так и определенные национальные школы. В ряде стран, например, весьма широкое развитие получила в последнее время цветная карикатура. Художники стремятся поставить на службу своему жанру весь арсенал изобразительных средств, сделать карикатуру острее, выразительной не только по рисунку, но и по колориту.

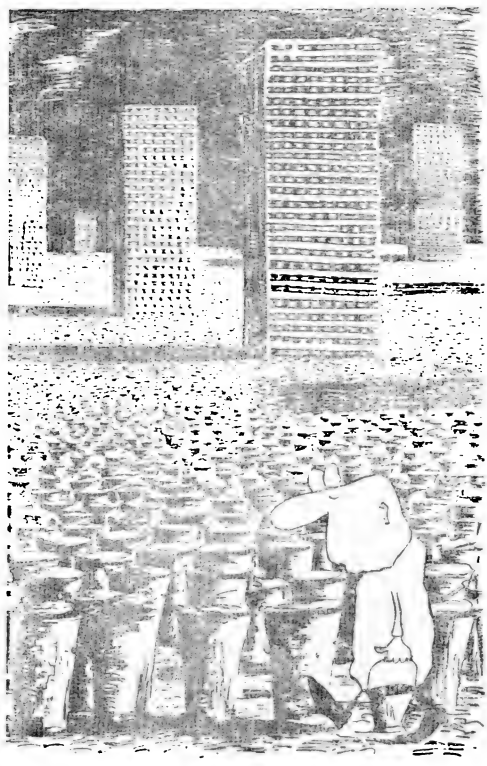
Как правило, на такого рода международных смотрах экспонируется лишь карикатура графическая. Что же касается сатиры в области скульптуры и живописи, то ей чаще всего не находится места в подобных экспозициях. Габровцы и в этом отношении проявили добрую инициативу: на их выставках демонстрируются не только карикатуры, но и образцы малой сатирической пластики.

Одним из самых значительных экспонатов в этом жанре представляется скульптура Георге Георгиадиса (Греция). Перед нами памятник Периклу — выдающемуся представителю древнегреческой демократии. Но это необычный памятник: рот у Перикла на замке, а к пьедесталу памятника привязан человек. Так лаконично решил греческий скульптор тему борьбы с тиранией, защиты демократических свобод.

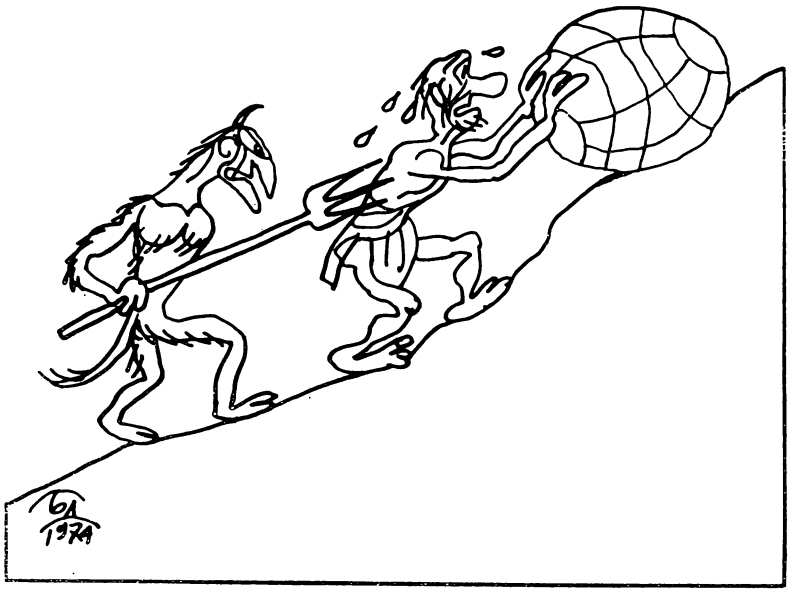
Не менее выразительна и скульптура, созданная в Южной Америке. Лори Сет (Венесуэла) изобразил одного из «некоронованных королей» Америки важно восседающим в кресле, которое стоит на пьедестале, составленном из полуголых, истощенных людей.

Нет возможности рассказать о всех темах, сюжетах, ярких графических и пластических решениях, которыми изобиловала выставка. Достаточно добавить, что она была действительно смешна.

Жан Эффель представил на суд зрителей новые комические ситуации из жизни Адама и Евы.



Станислав Домбровский (Польша)



Борис Димовский (Болгария)

Один из лучших болгарских художников-карикатуристов Борис Димовский нарисовал Сизифа, упорно толкающего в гору... земной шар.

А югославский художник Борислав Дабич изобразил Диогена вылезающим не из бочки, а из... футбольного мяча.

К какой бы теме, к какому бы сюжету ни обращались карикатуристы, они всегда помнят, что мир уцелел, потому что смеялся. Не только боролся при помощи смеха со всем, что мешает человечеству жить, развиваться, совершенствовать себя и планету, на которой оно обитает. Но и просто смеялся. Смеялся задорно, весело, от души. Смеялся во всех случаях, когда смешно. Ведь смех — благо, радость, одно из высших проявлений человеческого в человеке. Он прибавляет людям душевного здоровья, силы, бодрости, избавляет от скуки, равнодушия, хандры.

Обо всем этом (и о многом другом!) говорили не только выставленные в Доме сатиры и юмора произведения, но и сами художники: на другой день после торжественного открытия выставки в конференц-зале того же Дома смеха начался международный симпозиум на тему «Сатира и юмор в борьбе за гуманизм и прогресс в мире». Писатели-сатирики, художники-карикатуристы, а также исследователи комического из ряда стран приняли участие в его заседаниях. Мне представляется, что очень мудро поступили организаторы симпозиума, собрав вместе писателей-сатириков и художников-карикатуристов: ведь область творчества у них одна — сатира!

И совершенно естественным и закономерным было то, что с одним из основных докладов выступил литературовед Петко Тотев, написавший книгу о фельетонах Георгия Киркова, а с другим — искусствовед профессор Атанас Стойков, автор фундаментального труда, посвященного болгарской карикатуре. Напрасно кое-кто сомневался: не будут ли художники скучать, когда речь пойдет о сатире в литературе, а писатели — когда станут обсуждаться проблемы карикатуры. Оказалось, что писателей-сатириков и художников-карикатуристов объединяет не только общность «глобальных» задач, но и сходство текущих забот.

Так, например, когда Петко Тотев говорил о взаимосвязи регионального, национального и интернационального в литературе, то это было интересно и художникам, ибо данная творческая проблема занимает и их.

В свою очередь вопросы, поставленные в докладе Атанаса Стойкова, хотя и касались непосредственно карикатуры, имели самое прямое отношение к сатире в литературе (да и в других видах искусства).

Один из таких вопросов — злободневное и общечеловеческое в карикатуре, актуальное и вечное. Не секрет, что существует довольно прочно укоренившееся мнение, будто стремление художника-карикатуриста оперативно откликаться на «злобу дня» ведет к появлению произведений-однодневок. Да, говорил Атанас Стойков, одно-

дневок в области карикатуры, конечно, немало. Но их не меньше и в других жанрах искусства. И причина того, что появляются произведения-однодневки,— отнюдь не в стремлении художника откликаться на злобу дня, а в характере этого отклика. Неправы те, кто бежит от злободневности в так называемые «вечные», «общечеловеческие» темы. Карикатура, избегающая постановки значительных, актуальных проблем современности, стремящаяся к «абстрактности», лишается необходимой питательной почвы и неизбежно чахнет. Опыт крупнейших художников-карикатуристов в разных странах (Домье во Франции, Ильи Бешкова в Болгарии) показывает, что по-настоящему ценными и долговечными оказываются те карикатуры, в которых общечеловеческое, вечное раскрывается через насущное и злободневное.

Два дня писатели и художники разных стран обсуждали волнующие их вопросы. Среди выступивших на симпозиуме были Петр Незнакомов (Болгария), Азиз Несин (Турция), Герд Нагель (ГДР), Эрвин Фишер (ФРГ), Альфред Дэвидсон (США), Людо Зеленка (Чехословакия) и другие. Приняли участие в обсуждении и члены делегации Союза советских писателей: Леонид Ленч, Юрий Борев и автор настоящих строк.

По единодушному мнению всех выступавших, Вторая международная выставка карикатуры, состоявшаяся в Габрово, созданный там Дом сатиры и юмора, а также традиционный габровский фестиваль смеха имеют огромное значение для писателей и художников многих стран мира. Они способствуют сплочению прогрессивных сатириков и юмористов, работающих в разных видах искусства. Они вдохновляют их на дальнейшую работу, на борьбу за передовые, гуманистические идеалы.

И в заключение — еще об одном весьма приятном факте. Вскоре после закрытия габровского фестиваля сатиры и юмора в Москву прибыла представительная делегация Оргкомитета фестиваля, в которую входили председатель габровского окружного совета Трифон Пангелов, заместитель председателя горсовета Цаньо Колев и директор Дома сатиры и юмора Стефан Фартунов. В стенах редакции журнала «Крокодил» в присутствии советской общественности, а также Полномочного министра, советника посольства НРБ в СССР по вопросам культуры Марина Йотова состоялось торжественное вручение наград, грамот и памятных подарков советским карикатуристам — участникам Международной выставки в Габрово. Главный приз в области карикатуры — «Золотого Эзопа» — получил молодой московский художник Андрей Некрасов. Надо надеяться, что его пример вдохновит наших карикатуристов на более активное участие в следующей Международной выставке, которая состоится в Габрово в 1977 году.

Габровцы твердо уверены, что к тому времени мир обязательно уцелеет и будет по-прежнему смеяться над тем, что мешает людям жить. Смеяться весело и победоносно!

◆

Среди книг

Издано в СССР

«НИЧЕГО ПРЕКРАСНЕЙ СЕРДЦА НЕТ»

Луи Фюрнберг. Избранное. Стефан Хермлин. Избранное. Переводы с немецкого. Составление и предисловие Г. Знаменской. Москва, «Художественная литература», 1974.

Книжная серия «Библиотека литературы ГДР» пополнилась очень интересным томом. Он представляет нам двух поэтов — Луи Фюрнберга и Стефана Хермлина. Иному читателю может на первый взгляд показаться странным, что стихи двух столь самобытных поэтов объединены в одном томе. Но только на первый взгляд. Прочитав книгу, он безусловно поймет: у обоих художников немало родственных — биографических и творческих — черт, и они отнюдь не случайно «попали в один переплет». Их биографическое сходство проявилось в том, что выходцы из зажиточных буржуазных семей — Фюрнберг и Хермлин — нашли дорогу к коммунистической партии, активно боролись с фашизмом, стойко переносили трудности эмиграции, а в послевоенные годы участвовали в строительстве социализма в Германской Демократической Республике. Все это, конечно, связывает их как бойцов единого фронта, но не меньшее родство заключено также в самой природе их творчества. Оба они прежде всего лирики. Лиризмом пронизаны их стихи о человеческих чувствах, лиризмом полны и пейзажные зарисовки, лиризм присущ их гордым стихам о мужестве и силе духа, о борьбе.

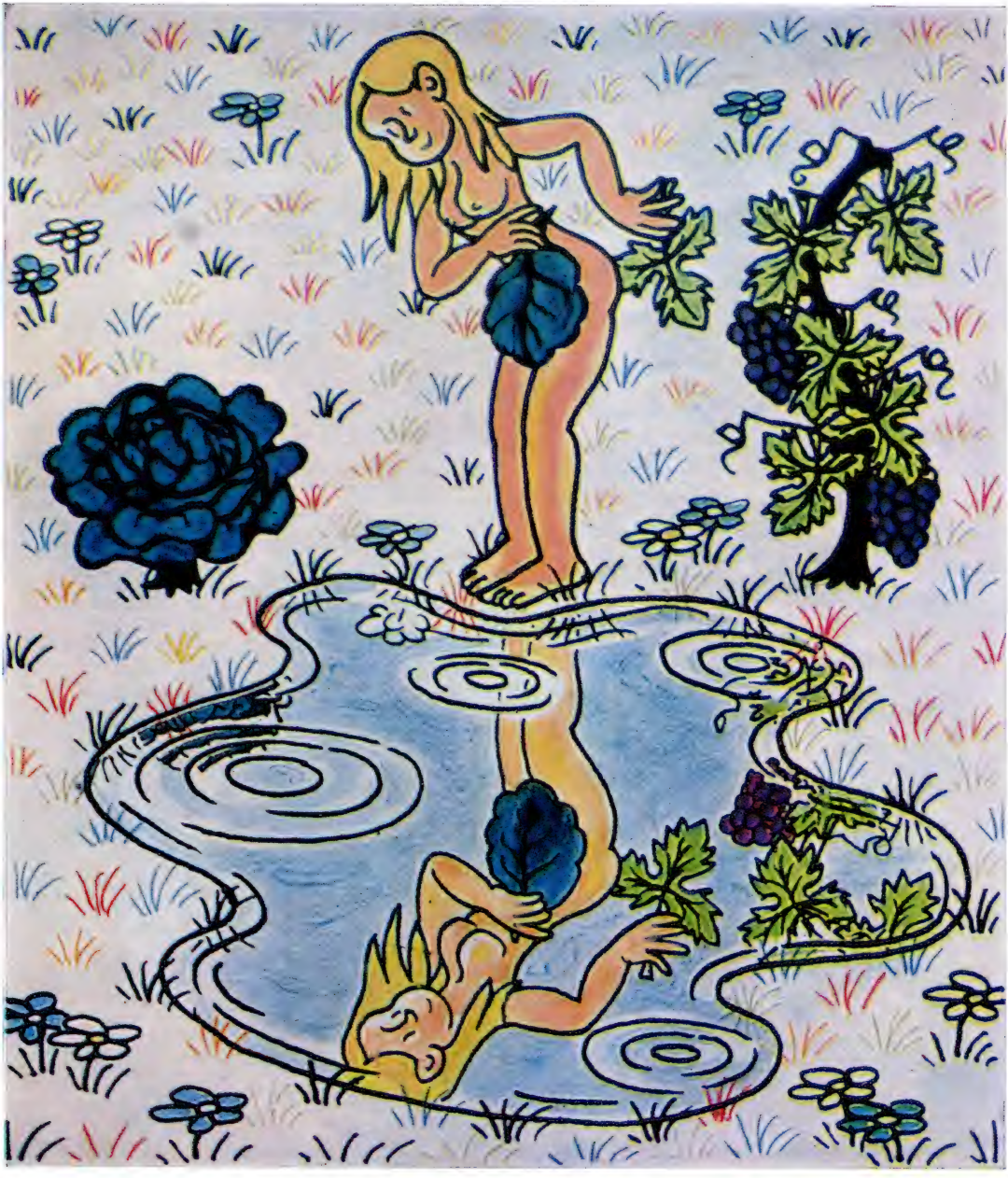
Глубокая лиричность этих поэтов ощущается не только в их стихах, но и в своеобразной тонкой прозе, к которой они обратились в зрелом возрасте. Обоих сближает и то, что поэтический талант каждого из них рос и мужал в тесном содружестве с музыкой: зрелый период поэзии Стефана Хермлина венчает «Мансфельдская оратория» (музыка Майера), а в первые послевоенные годы синеблузые юноши и девушки пели особенно охотно и часто песни Луи Фюрнберга «У тебя ведь есть цель пред глазами» и «Новая жизнь должна стать иной», написанные еще в тридцатые годы. Многим при этом не было известно, кто автор их любимых песен и то, что Фюрнберг сам написал к ним музыку.

Советский читатель пока еще мало знаком с творчеством Луи Фюрнберга. Около сорока стихотворений, впечатляющая поэма «Брат Безымянный» и лучшие образцы лиричной фюрнберговской прозы, включенные в новый том «Библиотеки литературы ГДР», помогут теперь составить верное представление о писателе. Этому же, несомненно, будет содействовать и вступительная статья Г. Знаменской. Автор предисловия обращает, в частности, внимание читателей на жанровое богатство творчества Фюрнберга, непринужденно переходящего от лирики к сатире, от элегии к гимну, от разговорной интонации к ораторскому пафосу, от строгой метрики и отточенной рифмы к свободному стиху.

Многое в стихотворениях Луи Фюрнберга близко и понятно нашему читателю. На мировоззрение поэта, на его общественную и эстетическую позиции огромное влияние оказали идеи Октябрьской социалистической революции. Советская тема прочно вошла в его творчество — от стихов

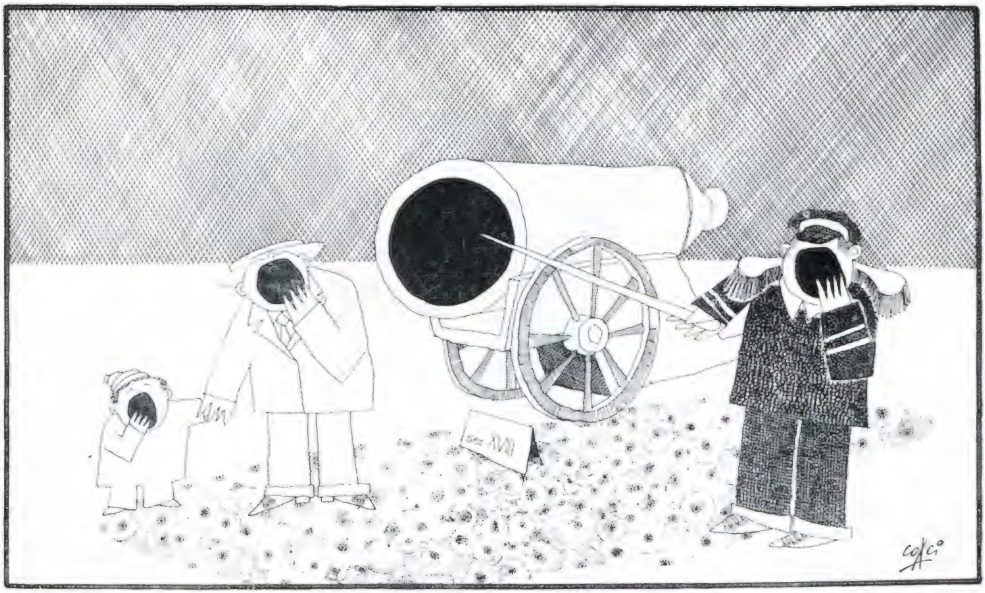
Габрово-75

ПАВЕЛ РАК — Чехословакия

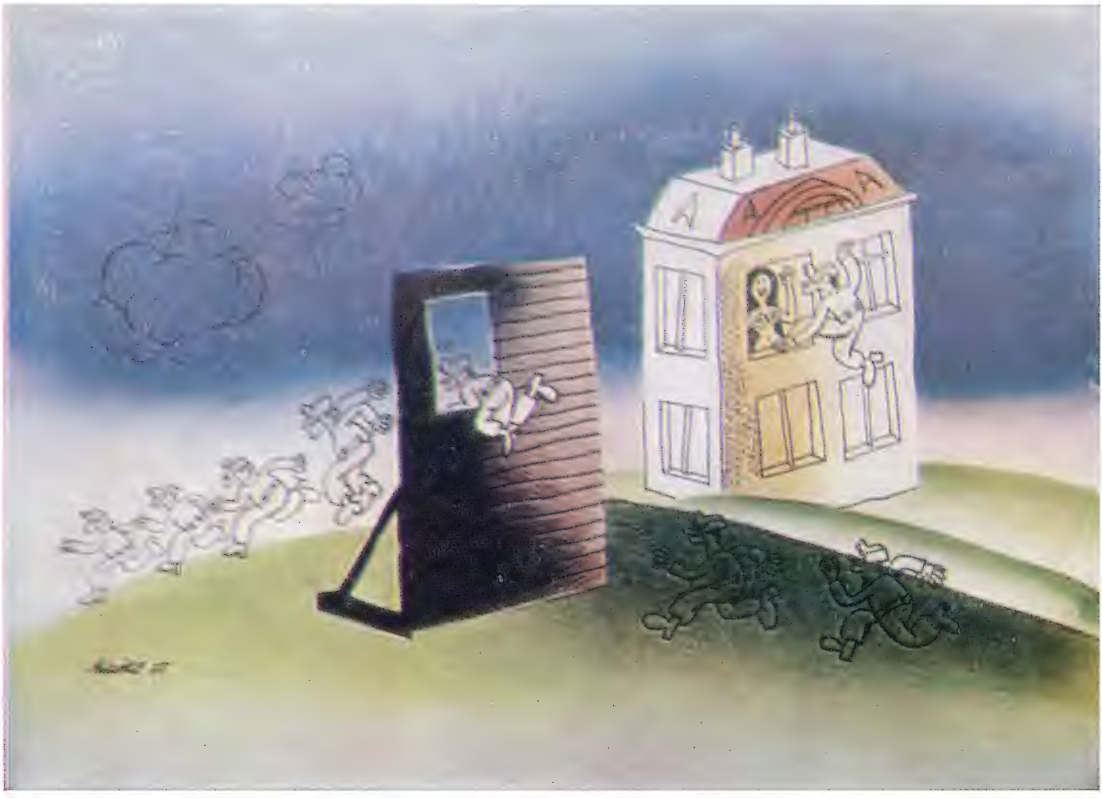


ЖАН ЭФФЕЛЬ — Франция

АНТОНИО КАРЛОС НИКОЛИЕЛО — Бразилия



ОКТАВИАН КОВАЧИ — Румыния



АНДРАШ МЕСАРОШ — Венгрия

ШИГЕО ФУКУДА — Япония

периода агитпроповского коллектива «Эхо слева», созданного и руководимого Луи Фюрнбергом, до замечательной поэмы «Вселенский гимн», посвященной сорокалетию Великого Октября, завершить которую поэту уже не было суждено: она увидела свет через год после его кончины, подготовленная к публикации Кубой, близким другом Фюрнберга.

Превосходны мягкие пейзажные, интимные зарисовки, сделанные чутким лириком, любящим обыкновенных людей, природу, простую жизнь. Таких стихотворений в сборнике много. Иногда они явно автобиографичны (например, «Натюрморт со слезами и кровью»), иногда мечтательны и созерцательны, иногда элегичны, но всегда они «реальны, как хлеб на столе, и пахнут рожью, они сочны, как мясо, и чудесны, как вино, в котором искрится солнце». Таково было эстетическое кредо Луи Фюрнберга, художника, активно вторгающегося своими стихами в жизнь и не мыслящего себе жизни без поэзии.

О Стефане Хермлине можно сказать, что он уже давно известен советскому читателю. Да и сам поэт хорошо знает нашу страну. Когда в 1947 году первая делегация немецких писателей посетила Советский Союз, в нее входил и Стефан Хермлин. Тогда, на одной из встреч в Московском университете, он впервые услышал свои стихи, свою «Балладу о даме Надежде» в русском переводе. С тех пор его связь с советским читателем не прерывалась. Большой успех выпал на долю его книги «Первая шеренга» (1951). Этот сборник рассказов о юных борцах немецкого Сопротивления познакомил нас с яркими и отважными представителями другой Германии. В 1963 году в Москве вышел «Полет голубя» — сборник стихов Хермлина разных лет. В нем, в частности, были опубликованы 12 баллад, в том числе и «Баллада о стране непроизнесенных слов», которую Илья Эренбург в предисловии к этой книге назвал «исповедью поколения». Были и другие встречи советского читателя с Хермлином, и вот — новое свидание, на этот раз в 1974 году.

Книга привлекает внимание не только удачной (хотя и несколько сжатой) подборкой стихов, но и новыми переводами прозы. Действительно, создается впечатление, что последние 15—20 лет Хермлин значительно больше внимания стал уделять прозаическим жанрам, что его, говоря словами Пушкина, «лета к суровой прозе клонят». И правильно поступила Г. Знаменская, посвятив почти половину своей статьи о Хермлине его достижениям в прозе. В книгу стоило бы включить и эссе, написанные им в последнее время (например, о Маяковском, о Платонове, о Вийоне). Это дало бы читателям более полное представление о новом периоде творчества Хермлина. Однако и приведенные рассказы сами по себе вызывают большой интерес. Особенно хочется отметить волнующий рассказ «Путь большевиков», очень остро прозвучавший в год тридцатилетия победы над германским фашизмом.

Разумеется, составительница не обошла вниманием и хермлинскую поэзию. Читатель прочтет «Балладу про королеву Горечь», «Балладу о преодолении одиночества в больших городах», «Балладу о горожанине в великой беде», стихи из цикла «Память» и другие. И конечно, с неизменной заинтересованностью воспринимаются стихи о советских людях, о тех, кто в 1917 году поднял флаг революции, а в 1945-м освобождал Германию от кандалов нацизма. Одно из стихотворений этого сборника мне особенно памятно — «Аврора», написанное осенью 1950 года. В то время я работал в Берлине в газете «Тэглихе рундшау». Когда обсуждали план праздничного ноябрьского номера, возникла идея попросить кого-нибудь из немецких поэтов написать стихотворение, посвященное нашей славной революции. Выбор единодушно пал на Стефана Хермлина; мне поручили поговорить с ним. Поэт согласился помочь газете и вскоре пришел ко мне со своей «Авророй». Завязался жаркий спор: мне, каюсь, не понравилось тогда начало этого стихотворения. Поэтическая адаптация легенды о трех волхвах казалась мне притянутой, искусственной. Но Стефан Хермлин умел не только писать стихи, но и отстаивать написанное. Он тут же обвинил меня в «хвостизме» и, обнаружив незаурядный темперамент, привел массу доводов в свою защиту, потревожив даже тень Блока. Я уступил — стихотворение было опубликовано 7 ноября без каких-либо изменений. Рад признаться, что время подтвердило правоту поэта.

Новый том «Библиотеки литературы ГДР» познакомил нас с замечательным талантом Луи Фюрнберга и углубил наше представление о Стефане Хермлине. Их стихи найдут место в сердце читателя, а для лирика «ничего прекрасней сердца нет».

В. ДЕВЕКИН

ЛИТЕРАТУРА — СТРАНА — ИСТОРИЯ

Писатели США о литературе. Сборник статей. Редактор М. Тугушева. Комментарий С. Чаковского. Москва, «Прогресс», 1974.

«Нужна большая история, чтобы сложилась хотя бы малая традиция; нужна большая традиция, чтобы выработались какие-либо нормы вкуса; и нужно длительное развитие вкуса, чтобы возникло хоть какое-нибудь искусство» (Генри Джеймс).

Этих слов вы не найдете в антологии, которая сейчас перед нами. Генри Джеймс высказал их в письме. Но та же мысль в книге присутствует. Собственно, все статьи сборника так или иначе отвечают на

вопрос, подразумеваемый в словах Джеймса. «Большая история»? Но какая же у американцев, имеющих «детский» возраст всего в два века, может быть история? Стало быть (по крайней мере к этому вел свои суждения Джеймс), нечего и говорить об искусстве, литературе, творчестве на мало еще культивированной почве. «Вот появится писатель, достойный быть в обществе Бальзака, тогда...» — так рассуждал Джеймс. Подобную же требовательность проявлял к своим соотечественникам и Эрнест Хемингуэй, сказавший в «Зеленых холмах Африки» (этот отрывок вошел в сборник): «До «Гекльберри Финна» ничего не было. И ничего равноценного с тех пор тоже не появлялось». А как же Фенимор Купер? Где же Эдгар По, Готорн, Мелвил? Разве не признан во всем мире Джек Лондон?

Допустим, американцы еще не успели создать свой «великий роман», о котором мечтали Фрэнк Норрис или Драйзер,— эпопею, достойную встать рядом с «Человеческой комедией», но новелла, особая, американская новелла,— достояние бесспорное. Европейские мастера исподволь учились у американцев писать рассказы. А разве не из Америки пришли приемы репортажа и новые ритмы стиха? Во всяком случае, ни у кого из нас, должно быть, представление об американской литературе не связано с каким-то провинциализмом, «недостаточностью», о которых говорят сами американские писатели. Но, должно быть, для такой повышенной требовательности все же есть свои основания, если говорят об этом именно те, кто достойно представляет американскую литературу. Надо только понять их, понять не буквально, потому что едва ли хотел Хемингуэй сказать, что кроме «Гека Финна» из американских книг ничего больше и читать не стоит. И Джеймса не следует понимать так, будто до тех пор покуда не родится «американский Бальзак», всем остальным следует в бездействии сложить перья. По существу, речь идет о становлении молодой литературы, формировавшейся так, как не формировалась прежде ни одна национальная литература Старого Света. Американские писатели оказались как бы перед «чистой доской», на которую предстояло им нанести письмена — первые и в то же время такие, в которых сразу чувствовалась бы зрелость.

Правда, «чистота» опыта внушала пионерам американской литературы и особый энтузиазм. Их надежды в середине века подытожил Уолт Уитмен. Его словами открывается сборник: «Вот, наконец, земля, где деяния человеческие в чем-то согласуются со всеобъемлющими деяниями дня и ночи... Вот пример действия, свободного от ограничений... Вот пример открытой души, которая всегда будет создавать героев. Вот суровая простота, дикость, простор, неупорядоченность, беспечность, что так любезны душе. Вот несравненное презрение к заурядному, и восхитительная отвага огромных масс людей, и полет к скрывающейся в будущем цели...»

Но уже в следующей статье — иной темперамент, не та позиция, нет тех радужных надежд, и не просто потому, что другой писатель, а потому, что другой этап, очередные и не столь обнадеживающие итоги. Это как раз статья Генри Джеймса «Искусство прозы». Джеймс размышляет в ней о том, должна ли художественная проза поучать, как нужно строить сюжет и чем лучше всего завершить роман,— вопросы «технические». Но для Джеймса в «технике» содержались все вопросы творчества. Более общие проблемы не были забыты им, когда рассуждал он о сюжете. Через сюжет, через литературную «технику» он как профессионал рассматривал основные трудности, встающие перед американским писателем. Он видел, что весь «механизм» романа, типичного романа, преподносимого американской публике во множестве вариантов, как нарочно, приспособлен к тому, чтобы обойти проблемы наиболее острые, сложные, «больные», поистине «взрослые». С этих позиций он и давал основной совет писателю, своему собрату и соотечественнику: «Вся жизнь принадлежит тебе, и не слушай ни тех, кто будет загонять тебя в отдельные ее углы, утверждая, что искусство помещается от сих до сих, ни тех, кто будет говорить, что искусство — этот посланец неба — устремляется прочь за пределы жизни, дышит разреженным воздухом олимпийских высот и отворачивается от правды вещей. Нет такого проявления жизни, нет такого способа увидеть и ощутить ее, которое не было бы доступно романисту...»

Две вехи: широкий и вольный жест Уитмена: «Вот земля... Вот пример открытой души...» — как бы приглашающий американского писателя к пиршественному столу, заваленному в изобилии материалом, который уже заготовлен самой жизнью, историей. И осторожно-настойчивое напоминание Джеймса: «Вся жизнь принадлежит тебе... Нет такого проявления жизни, которое не было бы доступно романисту». Пришлось, как видно, напоминать об этом потому, что жизнь Нового Света, в себе самой содержавшая творческий размах, который, казалось бы, должен был вызвать прямое соответствие в творчестве литературном, эта жизнь стала оказывать сопротивление писателям. Она всегда и везде его оказывала, но в Старом Свете, наряду с теми преимуществами, которые дает большая история и давняя традиция, та же история и та же традиция были и источником этого сопротивления. У американских писателей лишней «нагрузки» вроде бы и не должно быть: «Вот суровая простота, дикость, простор, неупорядоченность...» Но американские писатели, заново измерив дистанцию между действительностью и литературой, убедились: «груз» остается. Это тот груз, тот багаж, который пионеры надеялись оставить по ту сторону Атлантики, однако, будто невзначай, захватили его с собой. А здесь, на этих «просторах» и в этой «дикости», старый «груз» стал тяготить с особенной силой именно потому, что «простор и дикость». Простор бизнеса, дикость рабства. Подмети-

ли этот парадокс и европейские писатели-паломники, приезжавшие, как, например, Диккенс, в Америку и узнавшие самих себя, только в огрубленном варианте.

Но обратимся к следующей статье сборника — она, кажется, разрешает все эти сомнения. «Среди нас живут прекрасные художники, и талант их развивается в верном направлении; об этом не следует забывать даже тогда, когда им кажется, что все женщины у нас занялись сочинением неуместных в наших условиях истерических романов, да к тому же нашлись и мужчины, изо всех сил старающиеся добиться в своих произведениях такой же истерической экзальтации, дабы лишний раз подчеркнуть всю свою неуместность на фоне нашей страны»,— писал на исходе века глава целой литературной школы Уильям Дин Хоуэллс. Но в ответ на подобные слова опытного писателя Генри Джеймс и заметил ему: «Рассуждая так, вы просто-напросто уходите от вопроса...» И далее, в том же письме, развернул он свою идею, свое литературно-критическое «уравнение», в котором «хоть какое-нибудь искусство», но подлинное, выводилось из «большой истории».

Подлинная литературно-критическая ответственность, конечно, не сводится к тому, чтобы в ожидании «нового Бальзака» с олимпийским высокомерием третировать текущую литературу. Между тем у Генри Джеймса иногда так и получалось. И не то чтобы он был чрезмерно требователен, но при основательности общих формул, им выдвинутых, поразительно неверны оказались его конкретные оценки: верно рассуждая о литературе вообще, он был бессилен выявить и поддержать в литературном потоке творчески жизнеспособное. Дебютанты, на которых возлагал он надежды, исчезли с литературного горизонта. Писатели, в которых больших достоинств он не видел, прочно вошли в литературу. Сам он в творчестве, стремясь «не уйти от вопроса» и не чуждаться «всей жизни», довел утонченность до худосочия. Жизнь, к полному и бесстрашному отражению которой призывал он американских писателей, в его собственных произведениях, при всем видимом мастерстве, получалась стерильно-схематичной, безжизненной. Таков «урок Генри Джеймса» — на нем мы особо задерживаемся потому, что это наименее нам известное из наиболее крупных имен, с которыми знакомит нас сборник. Своих старых знакомых, чьи статьи сюда также включены — Драйзера и Синклера Льюиса, Хемингуэя и Фолкнера,— суть их суждений о литературе нельзя понять вполне, если не учитывать Генри Джеймса, игравшего для них роль ориентира и оппонента одновременно.

Вот Томас Вулф, ровесник нашего века, описывает наиболее характерные трудности, с которыми сталкивается сознание американского писателя, чувствующего себя исторически слишком «молодым», социально и культурно чересчур «простым» для достойного служения «писательской профессии». И он говорит о существовании неких групп, «завороженных таинственностью писательской профессии». Опыт Генри Джеймса для таких групп — образец, бесспорный образец. «Они становятся бо́льшими «флоберианцами», чем сам Флобер. Они основывают журнальчики, которые не только превращают в педантов лучших из них, они сами по себе уже настолько педантичны, что европейцам трудно себе это представить. Европейцы вопрошают: «Боже, откуда появились эти люди, эти эстетствующие американцы? Что же, нам ведомо все это...» Так говорит Томас Вулф, заключая: «Я думаю, что любой из нас, американцев, взявшихся за писательство, мог очутиться между этими двумя группами честных, однако сбитых с толку людей; однако если нам суждено все-таки стать писателями — то несмотря на существование таких групп».

«Несмотря на...» оказывается нелегкой задачей, потому что «эстетствующие американцы» в отличие от своих европейских собратьев действуют с поистине американским практицизмом и размахом, создавая не только через «журнальчики», но по всей цепи формирования умов, от университетской скамьи до книжного прилавка, пристрастие к «совсем мертвой литературе» (выражение Синклера Льюиса). И в этом сборнике представлен источник наиболее сильного влияния, действовавшего именно в таком направлении,— Т. С. Элиот, который продолжал линию Генри Джеймса и оказался более джеймсианцем, чем сам Джеймс.

Как и в случае с Джеймсом, сборник позволяет нам впервые непосредственно познакомиться с теоретическими воззрениями Т. С. Элиота, о которых до сих пор наши читатели знали преимущественно понаслышке, по вырванным из контекста цитатам. Принципиально важно, что мы наконец оказались лицом к лицу с этим «сильным противником». В сборнике помещены три его статьи, толкующие о «назначении критики», все о той же традиции, о месте поэта в современном мире. На протяжении чуть ли не полувека играл Т. С. Элиот роль «литературного диктатора», чья «власть» распространялась по обе стороны Атлантики. Теоретически и практически Элиот возглавлял целый литературный мир. В этот мир попадали люди разные, совсем не обязательно разделявшие общественно-политическую позицию Элиота-реакционера, постоянно и прямо заявлявшего о своей реакционности. Привлекала серьезность, та «пророчески многозначительная» серьезность, с какой Элиот рассуждал о литературе.

«Прошлое должно изменяться под воздействием настоящего точно так же, как настоящее направляется прошлым»,— говорил Элиот в «Назначении критики», вернее, цитировал самого себя по другой своей статье «Традиция и индивидуальный талант». Похоже на диалектику, напоминает исторически гибкий подход к соотношению старого и нового, но только похоже, лишь напоминает... Таланты, испытавшие воздействие Элиота, гипноз его формул, и все-таки способные со-

хранить жизненно полнокровное отношение к творчеству, отходили от него — Хемингуэй, Харт Крейн (высказываний этого поэта в сборнике, к сожалению, нет). Отходили, потому что вместо критической чуткости, позволяющей уловить перспективу роста, видели прагматизм, организацию литературных мнений в нужном ему (Элиоту) духе.

«Противоречивая, немыслимая и волнующая страна современного мира»,— сказал Синклер Льюис о своей Америке 30-х годов. Теперь, в начале последней трети века, когда Америка стала еще более «противоречивой и немыслимой», мы читаем о проблемах, встающих перед американским писателем, в статьях Джона Говарда Лоусона, Джозефа Норта, Нормана Мейлера, представителей негритянской литературы Джона Оливера Килленза и Джеймса Болдуина.

«Происходит упадок — знаменательный процесс разрушения духовных ценностей в культуре Соединенных Штатов,—пишет Джон Говард Лоусон в статье середины 60-х годов.— Эта культура декадентская, но само это понятие достаточно сложно и противоречиво. Главным действенным средством против декаданса в людях и обществе является оппозиция существующему порядку и борьба за коренные перемены. И мы замечаем, что сегодня в США оппозиция растет — среди интеллигенции так же, как и среди основной массы населения».

С интересом встретят этот сборник наши читатели. Он послужит им содержательным комментарием к писательским именам и книгам, многие из которых знакомы нам давно и хорошо, а другие только еще входят в наш читательский оборот. С особенным чувством будут в этом сборнике прочтены нашими читателями те страницы, где американцы говорят о русской классике и советской литературе, о таких писателях, как Тургенев (ему посвящена целая статья Джона Рида), Толстой, Шолохов. Что ж, и у нас пользуется глубоким уважением литература, давшая миру Уитмена и Марка Твена, Драйзера и Хемингуэя, литература этой «противоречивой и немыслимой страны».

Д. УРНОВ

«ХРАБРЫЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ» В ИСТОРИИ КИТАЙСКОЙ ПРОЗЫ

Ши Юй-кунь. Трое храбрых, пятеро справедливых. Роман. Перевод с китайского В. Панасюка под редакцией С. Хохловой. Предисловие и комментарии Б. Рифтина. Москва, «Художественная литература», 1974.

«Трое храбрых, пятеро справедливых»... В чем их храбрость и в чем их справедливость? Кому они служат своею храбростью в борьбе за справедливость? Когда и где происходит эта борьба, описанная Ши Юй-кунем?

Ши Юй-кунь был известным сказителем и жил в Пекине в середине прошлого столетия. Книга, служившая, возможно, текстом его выступлений, появилась впервые в 1879 году.

За спиной Ши Юй-куня — китайские народные сказы, исторические повествования, сунская повесть и юаньская драма и, конечно, китайский классический роман в его многообразии.

Роман «Трое храбрых, пятеро справедливых» имеет свои особенности, присущие тому типу китайских произведений, которые в прозе он собою открывает, произведений, сочетающих приключения с расследованием преступлений, то есть с «детективом», как мы бы сейчас сказали.

Удивительное начинается с первых же страниц. У сунского государя Чжэнь-цзуна, правившего с 998 по 1022 год, нет наследника. Умирает жена. Две наложницы, коварная Лю и кроткая Ли, должны родить. Той из них, которая подарит сына, обещано звание государыни. Первой родит сына кроткая Ли. Лю вместе с главным придворным управителем Го Хуаем заставляют повитуху подменить ребенка кошкой, а служанке велят задушить новорожденного и бросить его в реку. Но служанка спасает мальчика. Он воспитывается у князя из Дворца Южной чистоты как собственный его сын. Наложница Ли, разрешившаяся от бремени «оборотнем», отправлена в ссылку в Холодный дворец. За ней присматривает младший евнух, случайно похожий на нее обличьем. Коварная наложница Лю в свою очередь родила сына и стала государыней. Она возвысила способствовавших этому Го Хуая, повитуху и служанку.

«Но когда счастье достигает своего предела, приходит несчастье»,— говорит автор, повторяя усвоенную им с детства старинную китайскую мудрость. В возрасте шести лет умирает наследник. Государь усыновляет и объявляет наследником его ровесника, «сына» князя из Дворца Южной чистоты. И тут государыню, заметившую сходство нового наследника с государем, охватило подозрение. Пытают служанку, которая, не вынеся страшных мучений, лишает себя жизни. Поверив дальнейшим наветам, государь посылает ссыльной наложнице Ли шелковый шнурок. За нее умирает схожий с нею молодой евнух... Спасенный мальчик в 1023 году взошел на престол и правил до 1064 года под именем Жэнь-цзуна. При нем-то и развертываются все поразительные события романа «Трое храбрых, пятеро справедливых».

Но в романе, кроме государя, есть еще одно — самое главное действующее лицо, справедливый судья Бао-гун, лицо историческое (999—1062) и по приписываемым ему поступкам, смеем думать, не менее достойное внимания, чем те вымышленные герои, благодаря талантам и уму которых раскрыто все множество преступлений в книгах Конан-Дойля, Честертона, Агаты Кристи, Сименона и других известных нам создателей образцов детективной литературы.

Вслед за описанием ранних лет жизни будущего Жэнь-цзуна в романе начинается история будущего Бао-гуна. Он последний ребенок, родившийся в семье отставного чи-

новника Бао Хуая. Мальчик спасается от козней, какие строит ему один из братьев. Благодаря же старшему брату он учится и отлично проходит на первых экзаменах. Выдержав и вторые экзамены, он едет со слугою в столицу. По дороге они останавливаются в монастыре, оказавшемся логовом разбойников. Их освобождает из плена молодой воин Чжань Чжао, с которым читатель впоследствии знакомится ближе.

Получив в столице ученую степень цзиньши, Бао-гун назначается правителем уезда Динъюань. Переодетый, чтобы его не узнали, входит он вместе с верным своим слугою в город и садится в харчевне, чтобы послушать, что говорят люди. (Не правда ли, не раз уже встречавшаяся нам ситуация в рассказах о других восточных и даже западных правителях?) Бао-гун блестяще расследует несколько запутанных дел, поражая всех своею наблюдательностью и криминалистическим гением. Но вот он оклеветан завистниками и по распоряжению правителя округа снят с должности. Он снова попадает в руки разбойников и снова спасен уже известным нам Чжань Чжао. Очутившись затем в столице, он при помощи присущей ему проницательности оказывает услугу государю Жэнь-цзуну и назначается правителем Кайфына.

Итак, на престоле Жэнь-цзун, в Кайфыне, сунской столице, правителем справедливый и мудрый Бао-гун, и пора уже приняться за дело троим храбрым и пятерым справедливым. Они-то и действуют в книге.

Читателя захватывает поток событий, перемежающихся, встречающихся, продолжающихся и, наконец, находящих свое разрешение,— событий, всегда покорных искусной руке автора. Это цепь глав, связанных между собою и часто имеющих право на самостоятельное существование, одним словом, это китайский роман в совершенном, если угодно, его состоянии. Мы предлагаем читателю перевода за подтверждением обратиться хотя бы к главе семьдесят первой и следующей за ней, а «если хотите знать, что приключилось после, прочтите следующую главу». В этом каскаде занимательных приключений никогда нет хаотического нагромождения, как ни сложны они, как ни сцеплены они одно с другим. Наоборот, в каждом последующем событии находим мы путь к разрешению загадки, перед которой очутились герои: «Пока Бай Сюн занимался розысками, произошло много других событий, о которых сейчас и пойдет речь».

Это роман путешествий или, по меньшей мере, передвижений. В нем все в пути, и он полон встреч, совпадений и счастливых случайностей, которые, впрочем, так убедительны, что сомнению их не подвергаешь.

Быту уделяется в романе пристальнейшее внимание, вплоть до подробностей этнографических, и когда мы читаем, как студент с матерью разрыли землю под кроватью, мы уясняем себе обстановку китайского дома; когда мы читаем, как храбрый мальчик Ай Ху, расставаясь с друзьями и уходя, может быть, на смерть, ограничивается тем, что «поклонился и быстро зашагал прочь», мы видим характерное проявление национальной черты — внешней сдержанности; а следуя за Бао-гуном в его поездке на экзамены в столицу, мы узнаем, что отправлялись в путь тогда «господин — верхом, слуга — пешим». И многое еще другое.

Роман написан в XIX веке, и трезвый ум автора ограждает бурное течение событий берегами человеческих возможностей. Даже «водяное чудище», нападающее на крестьян, оказывается разбойником, напялившим на себя звериную шкуру.

Но роман традиционен, и он не может обойтись без доставшихся ему в наследство обыкновенных чудес и без наивной, мы бы сказали будничной, веры в них. Так Бао-гун изгоняет из дворца императора нечистую силу, так дает показания черный таз, сделанный из глины, в которой прах убитого, так творит волшебство даос, так попадает в подземное царство Бао-гун, впрочем, вначале не поверивший этому («Чушь какую-то несешь») и вообще не во сне ли оказавшийся в нем! Это малые чудеса, просто вкрапленные в реализм описываемой жизни и в общем не противоречащие этому реализму.

Да и сами герои, родословная которых уходит корнями в эпос и в сказку (об этой стороне романа сказано в обстоятельном предисловии Б. Рифтина), сами герои во многом лишены уже ореола эпических богатырей. При выдающихся своих качествах они целиком принадлежат к роду человеческому. Автор, любуясь ими, не делает их безупречными ни в поступках, ни в характеристиках. Храбрец Чжань Чжао не способен оставить в беде человека. Тонет старик, и ему бы броситься в воду. «Но храбрец не умел плавать, и ему ничего не оставалось, как бегать по берегу, кричать и размахивать руками». Верный помощник Бао-гуна, «четвертый из молодцов», Чжао Ху, попросту неграмотен.

Но герои Ши Юй-куня стоят за правду и ратуют за справедливость, ради нее не останавливаясь ни перед чем, даже перед подлогом, если это касается тех, кто творит зло. «Ай Ху, сын мой! — говорит Чжи Хуа.— Ради спасения людей честных и справедливых решились мы на такое дело...» Это же подчеркивает Дин Старший в разговоре с Храбрецом с Севера: «Но ведь мы с вами, дорогой брат, превыше всего ценим благородство и справедливость...» И нет большего поборника справедливости, чем сам Бао-гун, которому дано право официального, правительственного насаждения добра. И он широко пользуется этим правом в непримиримости к насилию и в снисхождении там, где он видит возможность исправления («Хань Жуй-луну простить непослушание и жадность, памятуя о его молодости, и отпустить домой»), и не считается с высоким положением нарушителей закона («Чиновник вел себя на допросе нагло, надеясь, что высокий сан спасет его от наказания. Однако и он и Ли Бао были обезглавлены»). Честность Бао-гуна абсолютна, он и себе не делает никаких поблажек. Назначенный на должность

главного экзаменатора на государственных экзаменах, он снимает с экзаменов своего племянника, чтобы и подумать не могли, что он тому покровительствует.

Какова же справедливость, на защиту которой встают храбрецы романа и которой добивается Бао-гун? Действия героев помогают нам представить себе это жестокое время, разгул насилия, произвол, творимый чиновниками, владельцами земель и разбойным людом. Некому было избавить народ от его великих страданий, и в романе (изданном в конце XIX века!) еще нет идеи вызволения крестьянина от пут, налагаемых на него существующей государственностью. В отличие от героев «Речных заводей», романа XIV века, «трое храбрых, пятеро справедливых» покорны строю и не враждуют с властями. Они, как и Бао-гун, видят в зле лишь нарушение порядков, которые сами по себе могут быть справедливыми. Им и в голову не приходит еще мысль о неравенстве в их мире, где никто не защищен. Государь в книге и сам возмущается насильниками. Награда героев — государева ласка, и они ее получают. Бушует один из них, Бай Юй-тан, но и он утихомиривается. Перечит государю Бао-гун, но и тут государь не упорствует: «Если человек честно говорит о злоупотреблениях, значит, он искренне печется о благе государства».

Такова идеологическая основа этой увлекательной книги, в которой мысль автора не возвышается над мировоззрением его героев, книги, которая тем не менее рисует картину времени, жестокость насилия и суровость нравов, а отсюда и легкость взгляда на человеческую жизнь — частое равнодушие к чужой (и даже близкой) жизни. Автор не видит другого спасения, как деятельность «чистых», то есть честных, чиновников, каким изображен здесь Бао-гун. Они исправляют нравы, они избавляют мир от насилия. Представление, характерное для китайской средневековой литературы.

В книге также нет речи о любви, сокрушающей укоренившиеся условности и безоговорочно требующей соединения любящих сердец, иначе говоря, о такой любви, в которой проявляется свобода человеческой личности. В тех бытовых подробностях, которыми богат роман, существует лишь женитьба с родительского согласия или, вернее, по родительскому повелению, и иного персонажи романа (да и автор) представить себе не могут.

И роман все же создает характеры типовые, а не индивидуальные как в описаниях персонажей, так и в поступках их, так и в диалогах. Автор не вникает в психологические детали, для него важен ход событий: «О том, как обрадовался Ши Цзюнь встрече с Ай Ху, мы рассказывать не будем»,— и так очень часто. В характеристиках героев автор ограничивается констатированием присущих им общих черт: «Оказалось, что молодого человека зовут Ду Юн, он весьма образован, тверд характером и честен»,— и этого достаточно.

«Трое храбрых, пятеро справедливых» — одна из последних ступеней, на которые поднялся китайский национальный роман, добившийся уже единства сюжета, пронизывающего главы, как бы самостоятельны они ни были, отличающийся живостью разговорного языка в прямой речи героев, яркостью бытовых картин, большей точностью изображения. Однако, как мы убедились, роман этот все еще не вышел за границы круга, очерченного китайским средневековьем.

Роман Ши Юй-куня «Трое храбрых, пятеро справедливых» издан на русском языке (с рядом сокращений) в хорошем переводе В. Панасюка под редакцией С. Хохловой и с краткими, но достаточными комментариями Б. Рифтина. Наш читатель получил возможность познакомиться с весьма примечательным произведением китайской литературы и еще раз убедиться в том, как многое в истории и жизни китайского народа, внешне столь отличающееся от привычного нам, становится понятным и сочувственным в своем общечеловеческом содержании радостей и горестей людских. Те же, кому интересна история мировой литературы, вдобавок получили возможность судить о месте этого произведения в ней.

Л. ЭЙДЛИН

Издано за рубежом

ВДОХНОВЕННЫЙ РАССКАЗ КОММУНИСТА

Стоян Стоименов. И перото бе щик. Спомени. София, Издателство на Отечествения фронт, 1974.

Имя Стояна Стоименова хорошо известно в Болгарии. Люди старшего поколения помнят его как издателя прогрессивной литературы, находившего всевозможные пути, чтобы преодолеть препоны фашистской цензуры и донести до читателя подлинно художественное научное слово. Автору этих строк, изучающему проблемы классовой борьбы в Болгарии, не раз доводилось в полицейских и других архивных документах встречать имя этого активного борца. В народно-демократической Болгарии С. Стоименов выполнял ответственную партийную и дипломатическую работу, много сил отдал Музею революционного движения, будучи его директором и редактором музейных изданий.

В последние годы С. Стоименов опубликовал ряд мемуарных книг. Его новая книга воспоминаний «И перо было штыком»

представляет особый интерес, так как раскрывает малоизвестные стороны деятельности Болгарской коммунистической партии в области идеологии и культуры в 30-е годы.

Это было время сложной и тяжелой социально-политической борьбы. В книге впервые подробно рассказано о создании весной 1932 года и плодотворной деятельности, почти до самой социалистической революции 1944 года, партийного издательства «Нов свят» («Новый мир»), организатором и душой которого был С. Стоименов. По форме издательство было частным — «собственником» его выступала мать Стоименова. Находившаяся в подполье БКП не могла осуществлять выпуск легальной литературы от своего имени. Тем более ценны сведения о том, что издательство было образовано по решению ЦК БКП и решение это было передано Стоименову членами Комитета по печати при Агитпропе ЦК известным писателем Николой Ланковым и редактором ряда легальных рабочих газет Василом Калчевым.

Издательство было создано в годы некоторого смягчения полицейского режима, но благодаря усилиям небольшой группы своих активистов, их мужеству, самоотверженности и изобретательности смогло удержаться и после установления открытой монархо-фашистской диктатуры.

С. Стоименов рассказывает, что главная задача издательства «Нов свят» состояла в выпуске и распространении советской политической, научно-популярной и художественной литературы, особенно трудов В. И. Ленина. Его работы «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Что делать?», тематические сборники произведений Ленина, книги о деятельности Ильича были весомым вкладом издательства в пропаганду ленинизма среди рабочих и прогрессивной интеллигенции Болгарии. Подробно и весьма интересно рассказывается в мемуарах о подготовке ленинских произведений к печати, о мерах, принимавшихся для того, чтобы обойти полицейские запреты,— использовании псевдонимов, «нейтральных» заголовков и т. п. Знаменательная речь В. И. Ленина на III Всероссийском съезде РКСМ «Задачи союзов молодежи» была опубликована, например, под названием «Роль молодежи в общественной борьбе». И хотя власти довольно быстро разобрались, о чем идет речь, и объявили о конфискации издания, основная часть тиража уже была распространена. «Молодежные и коммунистические кадры героически дрались за укрытие каждого экземпляра, за его сохранение»,— пишет Стоименов.

Много нового можно узнать из мемуаров о том, как издательство пропагандировало среди болгарских трудящихся успехи социалистического строительства в СССР. С планом первой пятилетки болгары знакомились по книге М. Ильина «Рассказ о великом плане», выпущенной Стоименовым под заголовком «Пять лет, которые преобразили мир» (очевидно, по аналогии с названием книги Джона Рида). Предисловие было написано видным партийным теоретиком и пропагандистом, литературоведом и историком Георгием Бакаловым, незадолго до этого возвратившимся из СССР.

Один из разделов воспоминаний назван «Трибуна советской художественной литературы». Здесь приведены интереснейшие сведения о выходе в Болгарии «Поднятой целины», «Энергии», «Чапаева», сборников стихов советских поэтов. Отмечена важная инициатива писателя Марко Марчевского, ранее жившего в СССР в политэмиграции. Он перевел ряд книг, активно консультировал издательство по многим вопросам советской литературы. С. Стоименов рассказывает, что и на художественные произведения распространялись подозрительность и цензурные запреты. Например, не удалось издать на болгарском языке в те годы роман Н. Островского «Как закалялась сталь». Нелегально ввезенные в страну экземпляры книги тайно передавались из рук в руки, переписывались на воле и в тюрьме, о подвигах Павки Корчагина рассказывали соратникам возвратившиеся на родину из СССР политэмигранты. Обо всем этом С. Стоименов повествует ярко и образно.

Мы узнаем и о работе издательства «Нов свят» по выпуску болгарской литературы — философских и эстетических произведений видного ученого Тодора Павлова, экономических работ и книг по истории Болгарии Жака Натана и других. В книге немало данных и о том, что марксистско-ленинская мысль в условиях фашистской диктатуры не только продолжала развиваться, но и находила пути к читателям, способствовала решению задач, выдвигавшихся БКП.

Автор пишет и о выдающихся деятелях партии и комсомола, и о рядовых бойцах идеологического фронта — распространителях литературы, совершавших скромные, незаметные подвиги во имя интересов народа. Из тех немногих страниц, где Стоименов пишет о своей личной деятельности, мы узнаем, какое мужество и бесстрашие проявлял автор, самоотверженно выполняя порученное ему партией дело. В главе «Как мы начали работу» Стоименов рассказывает, например, что вскоре после открытия издательства он был задержан полицией и жестоко избит. Аресты, издевательства продолжались и позже.

О полицейских преследованиях прогрессивной литературы, ее издателей и распространителей свидетельствуют и многочисленные документы, являющиеся важной составной частью воспоминаний. Среди этих материалов — протоколы обысков в издательстве «Нов свят» и протоколы допросов, обвинительные акты, распоряжения о запрещении и изъятии марксистско-ленинской и передовой литературы, рапорты полицейских агентов и другие документы.

Помимо рассказа о деятельности БКП в 30-е годы, важное место в книге занимают страницы, посвященные борьбе заключен-

ных фашистских концлагерей в годы второй мировой войны. Большой интерес вызывает и глава о первых шагах издательской деятельности коммунистов после освобождения Болгарии Советской Армией.

Нередко мемуарные произведения привлекают внимание читателя лишь своей информационной насыщенностью, фактами. Книга же С. Стоименова отличается и художественными достоинствами: образной и оригинальной речью, яркими параллелями. Эти качества, а также высокий научный уровень работы отметил в предисловии к книге член Политбюро ЦК БКП, президент Болгарской академии наук Тодор Павлов.

В свое время видный советский дипломат и ученый И. М. Майский писал о том, что мемуары — это «капризная запись памяти о людях и событиях прошлого; запись пестрая и отрывочная, субъективная и многогранная. Собственный опыт, личные переживания, встречи и наблюдения, портреты, картины, письма, цитаты, документы, серьезные рассуждения — все может найти место в рамках мемуаров, нередко в очень причудливой и даже как будто бы нелогичной последовательности. Известное единство всему этому разнообразному материалу придает только личность автора». Действительно, за разнообразными фактами, событиями, портретами товарищей по борьбе читатель воспоминаний С. Стоименова постоянно ощущает присутствие автора — скромного и преданного коммуниста, активного борца идеологического фронта.

И ныне перо С. Стоименова остается боевым оружием. Написанная им книга — новое свидетельство успешного развития болгарской мемуарной литературы.

Г. И. ЧЕРНЯВСКИЙ

«КРАСНАЯ ЛИРИКА» АРТУРА ЛУНДКВИСТА

Artur Lundkvist. Livet i ögat. Svalans Lyrikklubb. Stockholm, Bonnier, 1974.

Артур Лундквист известен у нас больше как прозаик, чем поэт. Пожалуй, и в самой Швеции стихи его менее популярны, чем романы, путевые заметки и статьи по вопросам литературы. Но вышедший в Стокгольме сборник стихов «Перед глазами — жизнь» свидетельствует о том, какое важное место занимает поэзия в творчестве этого художника. В книгу включены произведения из шестнадцати ранее издававшихся поэтических сборников Лундквиста.

Название книги, «Перед глазами — жизнь», отражает ее содержание. Здесь действительно представлен широкий спектр различных сторон жизни: личные чувства автора, человеческие взаимоотношения, политические и социальные проблемы нашего времени.

Хотя одно из наиболее ранних стихотворений Лундквиста «Кули» посвящено, казалось бы, событиям, происходящим в далекой от Швеции стране, оно воспринимается как некий обобщающий символ, как грозный предвестник грядущих классовых сражений. «Затоплены водой берега, гибнет риса урожай...» Голодающие кули поднимаются на борьбу. В ответ:

...и каждый пулемет свой очищает рот,
готовясь к смертельным поцелуям:
посев свинца насытит быстро вас
и голод ваш навеки утолит...[1]

Бунт подавлен, кули смирились. Но это временная покорность — зреет новое восстание:

Слова большевистских листовок,
революционные пароли
нашептывает на ухо этим кули
не красный агитатор.
Их шепчет ветер, в сумерки
пришедший
с рисовых затопленных полей,
их шепчут снежные пушинки
цветущих вишен,
неслышно падающие в пустые миски
кули.

Тема протеста против социальной несправедливости, тяжкой доли простых тружеников звучит во многих стихах поэта:

Мы трудимся будто в самом низу,
будто в какой-то шахте.
В глаза набивается сажа,
пальцы судорожно впиваются в лом,
в рукоять кувалды...
Дайте мечту нам о солнечном свете—
там, вверху,
мечту о ветре, пропахшем цветами,
пропахшем землей после ливня,
мечту о деревьях зеленых, которые
пышными кронами тянутся ввысь,
мечту о смехе детей, о счастливом
семействе...
Нам светлая мечта необходима.

(«Дайте нам мечту»)

Перед читателем предстают длинные заводские корпуса, «упрямо поднимающие плечи», фабричные трубы, тянущиеся кверху, «как испачканные сажей руки». Здесь, в «дрожащем от напряжения» воздухе,—

...бледны осколки солнечного света,
не видно зелени, деревья черные
стоят
точно отлитые из чугуна — тяжело,
неподвижно.

Здесь царство жужжащих фабрик-насекомых, сосущих соки из сердца мира («Фабричный город»). Это Швеция того периода, когда над ней нависали черные тучи кризиса.

А вот другая картина, списанная с «благополучной» Швеции пятидесятых и шестидесятых годов, когда эта страна вышла на одно из первых мест среди капиталистических стран по жизненному уровню:

Безработные. Сидят, протирая
штанами
каменные скамейки на побережье.
Мужчины с остановившимся взглядом,
с худыми, темными скулами.

[1] Здесь и далее стихи даны в переводе Т. Жирмунской.

Лишние дома, они
дни напролет чего-то здесь ожидают,
сегодня, как вчера, и завтра, как
сегодня...
Их выношенные костюмы, как
пыльные репьи,
их беспомощно повисшие руки
бледны, как рыбье брюхо, и
бесполезны.

(«Безработные сидят на каменных скамьях»)

Отвергая и осуждая святая святых мира капитала — частную собственность,— поэт предрекает его приближающийся крах:

За землей, говорю я, ухаживать всем
нам надо,
но владеть в одиночку никто ею не
вправе...
Революция на мир надвигается,
словно волны землетрясения...
Слово «революция» сеет страх,
как ураган или холера,
среди тех, кто танцует на паркете.
Зато другие чтут это слово,
явно или тайно любят,
как любят гневом разбуженный
мускул жизни — сердце.

(«Голод подобен землетрясению»)

Известный шведский поэт и драматург Ларс Форсель в предисловии к книге «Перед глазами — жизнь» отмечает, что «красный цвет» поэзии Лундквиста ни у кого не вызывает сомнения. Артур Лундквист «несет на себе крест социальной революции», хотя порой в его стихах и звучат некоторый пессимизм. разочарование и даже горечь.

Действительно, бунтарские настроения в творчестве Лундквиста уступают иногда место сомнениям и неверию в силы человека: «Песнь моя не достигает уха и не трогает чужих сердец» («По свету бродит Орфей»). Возникают мотивы одиночества, ощущение собственной ненужности: «Я пасынок этой страны» («Смотрю вниз с моста»). Поэта охватывает страх за судьбу человечества, которое может погибнуть в результате ядерной войны. Но вера в жизнь, в человека, в торжество добра и справедливости побеждает. Именно жизнь, бурная, бьющая через край, труд и созидание, социальное равенство, свобода — эти мотивы преобладают в стихах Лундквиста и делают его поэзию боевой и оптимистичной.

Да здравствует все бурное, манящее,
влекущее,
да здравствуют невидимые глубинные
потоки,
дающие жизни свежесть, несущие ей
обновленье,—

восклицает автор в стихотворении «Это спокойствие, эта уверенность». Гимном труду, гуманизму звучат строки стихотворения «Трава — как жизнь»:

Трава, что без устали трудится,
отметая сомненья,
напрягает все силы, дорогу себе
пробивая,
и растет, и растет, одолевая преграды,
трава, что любит все сущее, как себя
самое,—
ей нет ни конца, ни края.

Артур Лундквист — неутомимый труженик, много путешествующий, много читающий, много пишущий. Заглянув однажды в его небольшую квартиру на Санкт-Эриксплан в Стокгольме, я поразился количеству книг на полках, закрывающих все стены. Каждый год осенью писатель отправляется в далекое путешествие — в Азию или Латинскую Америку. Возвращаясь домой, он дарит читателям очередную книгу — об увиденном. Кроме того, Лундквист — один из самых внимательных и доброжелательных литературных критиков на своей родине, открывших читательской публике немало талантливых, дотоле неизвестных в Швеции зарубежных писателей.

Как-то я спросил Артура Лундквиста: каким образом он успевает так много писать? Высокий, загорелый (он только что вернулся из-за океана), с копной светлых волос, Лундквист лишь застенчиво улыбнулся. Ответила за него жена — поэтесса Мария Вине:

— Артур очень много работает — упорно, планомерно, целеустремленно. В умении работать ему можно позавидовать...

Лундквист родился в бедной крестьянской семье на юге Швеции. На всю жизнь он сохранил не только мягкость и специфическую певучесть речи, свойственные диалекту провинции Сконе, но и горячую любовь к родной природе, умение понимать ее душу, передавать ее настроения. Вот, например, осенний пейзаж Южной Швеции:

Гонит ветер штормовой лоскуты-
облака,

пригибает дерева к горизонту
красному.
На дорогах пустынно, у калиток ни
души.
Лошади бегут пугливо по нагому
полю,
ветер треплет то ли туч лоскуты, то ли
длинные гривы коней...

Писатель прошел длительный и сложный творческий путь. Хотя в разное время он и отдавал дань модным литературным течениям, это не мешало ему всегда твердо стоять на земле. Он оставался реалистом, живя в гуще людей, разделяя с ними их радости и горести. И стихи его всегда отличались высокой гуманностью.

Новый сборник заканчивается стихотворением «Иду среди разрядов молний». В нем писатель говорит о цели своей жизни — идти вперед, несмотря ни на что, во имя человека, его свободы:

Иду среди разрядов молний,
не молниям меня не задержать,
тем молниям, что душат все живое...

Уже упоминавшийся видный лирик современной Швеции Ларс Форсель называет поэзию Лундквиста «никогда не иссякающим родником — живым, играющим и свежим». Эту образную и меткую характеристику можно вполне отнести и ко всему творчеству Артура Лундквиста.

Д. ЕРШОВ

◆

Письма из-за рубежа

АЛЬБЕР ЭГПАРС

ПИСАТЕЛЬ И ЕГО КНИГИ

В связи с выходом на русском языке двух романов известного бельгийского писателя Альбера Эгпарса — «Час правды» («Прогресс», 1972) и «Мы идем за своей тенью» («Художественная литература», 1974) — редакция попросила автора рассказать о тех творческих задачах, которые он ставил перед собой, работая над своими книгами.

Не только творцом, но и свидетелем своего времени считаю я писателя, для которого подлинным источником вдохновения является человек. В настоящий момент мы готовимся вступить в эпоху, когда человек достигнет еще большего величия, и все-таки герои Эсхила или Толстого никогда не утратят своего сходства с героями Барбюса или Мориака. И людям, живущим сегодня, нетрудно узнать какие-то свои черты в Отелло или Раскольникове, Жюльене Сореле или Вертере. Любовь, гнев, готовность к самопожертвованию — вечные чувства, глубоко пустившие корни в сердце человека, и живописание их позволяет романисту проникнуть в самые затаенные уголки его истинного «я».

Чтобы достичь этого, не заблудившись в лабиринте человеческой души, но и не ограничившись поверхностным освещением своих героев, писатель должен пристально изучить их подлинные свойства, зачастую даже самые банальные, и разглядеть невидимые с первого взгляда двигательные пружины, определяющие семейные и общественные взаимосвязи. Описание человека и его столкновений с обыденной реальностью, как мне кажется, помогает глубже проникнуть в эпоху и общество, где происходят драматические коллизии, служащие основой для моих книг. И эти конфликты, переосмысленные в моей творческой лаборатории, носят самый разный характер: борьба рабочих в книге «Мертвая рука» (1938), социальные противоречия в романе «День за днем» (1940) и «Потерянное поколение» (1954); роль и могущество денег в романах «Час правды» (1946) и «Мы идем за своей тенью» (1953).

Когда я был молодым писателем, я считал — и продолжаю считать до сих пор,— что роман требует от автора не только определенной зрелости, знания жизни и людей, но и веры в свою способность довести до конца трудное и рискованное дело, каковым является этот жанр творчества. Вот почему до того, как полностью посвятить себя сочинению романов, многие писатели (в том числе и такие значительные, как Золя, Мопассан, Анатоль Франс, Мориак) выпускали по одному-два поэтических сборника, чтобы самим убедиться в своих творческих возможностях. Я тоже издал несколько сборников стихов, прежде чем взяться за свой первый роман, и должен признаться, что много писал по поводу романа. Было время (1926—1939), когда я вел литературные рубрики в двух левых еженедельниках и печатался на литературной полосе «Драпо руж».

Мне приходилось читать множество романов, и меня поражало, что большая часть французских и бельгийских писателей, даже самых видных, стремилась проанализировать, и порой с немалым мастерством, лишь треволнения человеческой души, и очень редко попадались авторы, которые отваживались затронуть политические, экономические и социальные проблемы нашего времени.

В 1938 году я написал «День за днем», мой второй роман, в котором я ре-

шился выявить противоречия, царящие в различных социальных слоях небольшого деревенского селения. Самая большая трудность заключалась в том, чтобы не превратить роман в подробную иллюстрацию идеи. Нужно было в художественной форме изобразить, как владелец обувной фабрики, являющийся одновременно и мэром этой деревни, держит всех ее жителей в политической и экономической зависимости. Забастовка, положившая конец его безграничному влиянию на сограждан, должна была придать роману политическую направленность. Мне хотелось также показать, какую трудную психологическую и идеологическую дилемму представлял для некоторых выбор: чью сторону занять — рабочих или хозяина.

В эссе «Расин и Шекспир» Стендаль утверждает — знаменитое изречение,— что «...всякая мысль о политике в литературном произведении — это выстрел из пистолета во время концерта». Однако это не помешало ему самому отдать значительную дань политике в собственных романах. Политика, действительно, предмет сложный для литературы, и большая часть французских писателей, как я уже сказал, ни за что не хотели вводить ее в свои романы.

Моим же замыслом было заставить почувствовать, как довлеет над человеком та самая политическая идея, о которой говорит Стендаль. Я убежден, что это — данность, без которой не может существовать роман, если его автор претендует на достоверное отражение своей эпохи, определенных социальных слоев или всего лишь одной человеческой участи.

Не случайно, что оба мои романа, переведенные на русский язык — «Час правды» и «Мы идем за своей тенью»,— написаны приблизительно в одно и то же время. Именно поэтому читатель встретит здесь хотя и освещенные под разным углом, но схожие темы. И среди них — тема денег, конфликт поколений в буржуазном обществе и на втором плане — война в Испании.

Как известно, деньги являлись центральной темой творчества Бальзака. Замученный долгами, жадно стремящийся к богатству и преследуемый кредиторами, Бальзак создал часть своих шедевров на основе этого ужасного опыта.

В обществе, в котором я живу, как и в том, что изображал Бальзак, хотя и в новых формах, но богатый по-прежнему эксплуатирует бедного и жажда денег остается главной причиной самых тяжких преступлений. Создать портрет общества, основанного на прибыли, означает для меня выявить и как можно правдивее показать раздирающие его противоречия. К этому я стремлюсь, работая над книгами, так как считаю, что первый долг писателя — это уважать правду и целиком посвятить себя отражению ее в своем творчестве. Роман должен быть не литературной игрой, а действенным и решительным средством обнажить и объяснить отношения людей между собой и с внешним миром.

Когда я принимался за роман «Час правды», я был очень далек от того безоговорочного осуждения денег, которое сквозит в моей книге. Я был потрясен, обнаружив силу их власти над людьми, а затем это чувство сменилось непреодолимым стремлением восстать против их могущества. Сама логика жизни и желание быть честным свидетелем своего времени заставили меня, как писателя, поселить своих персонажей в реальный мир, описать окружающую их среду, дать им общественное положение, родословную, друзей и показать, на какие махинации идут эти богачи, чтобы отвратить от себя удары судьбы. Таким образом, разоблачение пагубного влияния денег не было преднамеренной идеей — оно оказалось составной частью романа, став впоследствии основной темой моего творчества.

Тема денег в буржуазном обществе представляется мне одной из важнейших для романиста. Но книга «Час правды» посвящена не только изобличению тех зол, которые они порождают. В первую очередь это — роман о буржуазной семье, в которой деньги определяют и обусловливают личные и общественные взаимоотношения, разрушая или укрепляя их. Роман этот также хроника жизни маленького провинциального городка Кагора, где каждое событие порождает широкие отклики. На примере этой маленькой префектуры, насчитывающей всего 15 тысяч жителей, мне хотелось показать общество, богатые представители

которого, полностью игнорирующие бедственное положение рабочих, обитателей старых и грязных кварталов, прекрасно осведомлены о состоянии банковского счета каждого из себе подобных. В таких городках, как Кагор, богатство предопределяет место на общественной лестнице.

Война в Испании 1936 года, вызвавшая банкротство банкира Бенедетти, приводит к разрыву между кланами Вийеро и Бенедетти, а также к распрям и в этих семействах, которые прежде слыли столь дружными. Госпожа Вийеро запрещает своему сыну жениться на Франсуазе Бенедетти не только потому, что она оказалась дочерью банкрота, но и потому, что Бенедетти, разорившись, перестал принадлежать к классу денежной аристократии. Возможно, что из-за своей жадности, бессердечия и предрассудков, порожденных удушающей атмосферой французской провинции, Берта Вийеро, распоряжающаяся судьбой мужа и детей, являет собой образ слишком отталкивающий. Но в ее характере нет ничего исключительного. Свободная от каких-либо сомнений, Берта Вийеро усвоила, что в нашем обществе деньги — это власть, которая может поработить тело и душу человека. Конечно, мне было бы приятнее обрисовать ее не в столь черных красках, но это означало бы солгать самому себе и моим читателям.

Тридцать лет работы в системе образования позволили мне столкнуться с разнообразными мифами, которыми увлекаются определенные группы молодежи. В книгах «Час правды» и «Трудный возраст» рассказано о странных обрядах таких группок, которые в знак протеста против традиционных моральных норм вырабатывают собственную мораль, основанную на нигилизме. В романе «Час правды» подростки, восстав против семейного диктата, прозаизма и тягостно-однообразной жизни в маленьком городке, объединяются в организацию под названием «Сыновья Гекаты» и стараются создать свой замкнутый, необыкновенный, но аморальный мир, исповедуя ложногероические взгляды на жизнь.

Если в некоторых из моих романов можно подметить общие или, скорее, параллельные темы, то происходит это потому, что они помогают мне проникнуть в сердцевину семейных трагедий и исследовать закоулки сознания моих героев.

Между романистом и его персонажами образуется странная и довольно тесная зависимость. Человеческие создания, в которых писатель вдыхает жизнь,— не призраки и не более или менее удавшиеся копии человеческих типов, а существа, перенесенные в книги из самой реальности. И как бы ни были они привлекательны или отталкивающи, автор относится к ним как к живым личностям, разделяя их радости и страдания и стараясь отыскать причины их тревог.

Когда в последней главе книги «Мы идем за своей тенью» Рауль Мезарг, изгнанный из своего поместья, едет на велосипеде в Ниццу, я ни на шаг не отстаю от этого стареющего, эгоистичного и потерпевшего крушение человека. Я несу ответственность за его горестную судьбу, как и в романе «Час правды» отвечаю за поведение госпожи Вийеро, противящейся браку между ее сыном Филиппом и Франсуазой Бенедетти.

Но эти существа — хотя я сам их выдумал — подчиняются не только моей воле. Поступками каждого из них движет внутренняя логика, которую предопределяет высшая логика, вытекающая из самого хода событий и уже не подвластная романисту. Моя роль совершенно отлична от задач историка или фотографа. Для меня важно — с помощью романа — осветить в человеке все, что в нем есть истинного и непреходящего. Честные или заслуживающие презрения, значительные или незначительные, благонравные или своенравные, герои мои — это люди, с сотнями которых сталкиваешься изо дня в день.

Я стараюсь выявить мотивы их поведения, объяснить, что руководит их чувствами и поступками, обнажить подоплеку их конфликтов — короче говоря, собрать и подготовить материалы для того суда, который будет творить над ними мой читатель. Ему — судить, выносить приговор или оправдывать. Миссия романиста — не принимая ту или иную сторону, показать человека в его печальной и суровой правде и заставить осознать все величие и изумительное богатство человеческой жизни.

Перевод с французского Н. ПОПОВОЙ

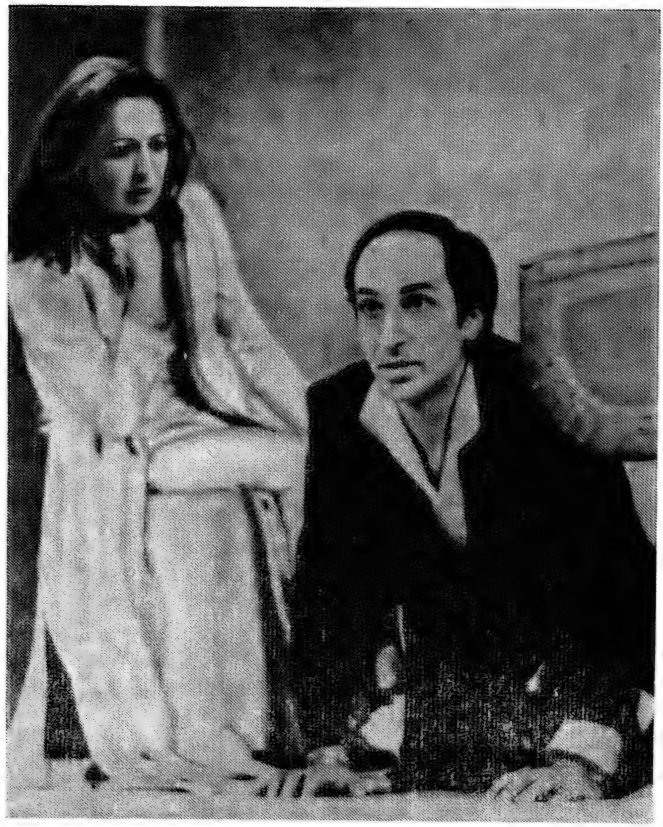
г. Брюссель

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

Микель Лэмберт — в роли Гертруды и Бен Кингсли — в роли Гамлета.

(Журнал «Лиснер»)



«ТРАГИЧЕСКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧАЯНИЯ...»

Под таким заголовком «Морнинг стар» опубликовала рецензию Гордона Парсонса на последнюю работу молодого режиссера Баз Гудбоди. Баз Гудбоди получила известность в театральном мире Англии, блестяще поставив «Короля Лира», но «Гамлет» Баз Гудбоди вышел на сцену уже после ее трагической гибели.

Как пишет Гордон Парсонс, «Гамлетов» много, но очень редкие постановки великой пьесы Шекспира по-настоящему привлекают внимание. К числу таких редких работ относится «Гамлет» Баз Гудбоди. Ее «Гамлет» — это утверждение отчаяния, которое испытывают все тонко чувствующие люди, сталкиваясь с гротескной комедией современного буржуазного общества.

Современное платье, в которое Баз Гудбоди одела Клавдия, выдает в нем не узурпатора королевской власти минувших веков, но крупного административ-

ного работника современного буржуазного общества. Полоний — тоже службист, только пониже рангом, променявший истинные привязанности своего сердца на тепленькое местечко в правительственном аппарате. Гамлет и Офелия — жертвы. Им не остается ничего другого, как наблюдать собственную трагедию.

Превосходна игра Бена Кингсли, исполняющего роль Гамлета. Его Гамлет — это не юноша, но умудренный опытом человек, уделом которого в жизни стала печаль. В окружающем мире он не видит ничего, «кроме зловещей паутины слов, прикрывающих разврат, моральную деградацию и коррупцию».

Роль Офелии исполняет Ивонн Николсон. Ее Офелия — легко уязвимый современный подросток, и в мире насилия, жестокости и взаимонепонимания единственный выход для нее — безумие, которого столь дорогой ценой избежал Гамлет.

БОЛГАРИЯ

«ГЛУБОКО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»

«Выставка Героя Социалистического Труда, народного художника Болгарии Ивана Ненова,— пишет газета «Работническо дело»,— замечательное событие в нашей культурной жизни. Представленные на ней произведения — живопись, графика, керамика — дают возможность получить более полное впечатление о творчестве художника. Они покоряют нас четкостью и чистотой своих линий и вместе с тем увлекают и трогают глубокой человечностью, тонким психологизмом и лиричностью. Они несут в себе и характерные черты нравственной требовательности автора, потому что художник и человек здесь неотделимы друг от друга.

Творчество народного художника Ивана Ненова исполнено неизмеримой любви к человеку и природе, к непреходящим ценностям искусства. Его произведения — несомненный вклад в болгарскую национальную культуру, они имеют огромное значение для развития нашего изобразительного искусства».

«БЕЗ ИСТОРИИ НЕТ СОВРЕМЕННОСТИ»

Журнал «Современник» продолжает публиковать беседы критика А. Свиленова с видными болгарскими писателями. В одном из последних номеров помещена беседа с известным прозаиком, лауреатом Димитровской премии, Героем Социалистического Труда Эмилияном Станевым, книга которого «Легенда о Сибине, князе преславском» напечатана в «Иностранной литературе» (№ 5, 1970).

Говоря о своих последних произведениях, Э. Станев подчеркивает, что их философская направленность, о которой писала болгарская критика, во многом определяется влиянием древнеболгарской литературы, стремившейся к проникновению в смысл жизни. Работе над ними, сказал Станев, помогало сознание того, какую богатую и самобытную по духу культуру создал болгарский народ.

Картина Ивана Ненова «Ожидание».

(Газета «Работническо дело»)

«Но мы, потомки, к сожалению, несколько оторвались от этого наследства. В нашей старой культуре есть источники, из которых мы еще не пили. А в ней заложены предпосылки, которые позволяют сделать наше современное искусство оригинальным и современным в лучшем смысле слова, но в то же время и глубоко национальным, глубоко болгарским... Я стараюсь использовать эти старые формы, присущие нашей древней литературе и искусству, разумеется, осовременивая их».

Чтением болгарской истории, говорит Станев, были подсказаны и «Легенда о Сибине», и последовавший за нею роман «Антихрист», напоминающий по форме летопись. «Я решил,— сказал писатель,— испробовать эту незнакомую форму и, следуя примеру Шекспира, смело переосмысливавшего старинные хроники, свободно использовать исторические факты, потому что в искусстве главное — индивидуальная, неповторимая трактовка. Мои герои во многих отношениях истинные сыны тринадцатого века, но разве они чужды нам? Ведь роман создан в семидесятые годы нашего столетия, и в нем, безусловно, присутствуют мои раздумья о современности.

Я не считаю эти две мои книги историческими. Один писатель может вернуться на десять веков назад и быть все равно актуальным в вопросах, которых он касается. Другой может рассказывать о том, что вас окружает, но останется вам чуждым, безразличным и даже покажется скучным. О себе лично я могу сказать, что мои книги после «Ивана Кондарева» современны. Чтобы постичь тайны своего времени, войти в лабиринт бытия, художник имеет право искать истину повсюду: и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Но он никуда не уйдет от себя, ибо он находит все внутри себя, в глубинах своей души. Писатель сам для себя — величайший источник».

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ

Советские читатели хорошо знают творчество известного венгерского писателя Лайоша Мештерхази — прозаика, драматурга, публициста.

Недавно в Будапеште отдельной книжкой вышел сборник научно-фантастических произведений писателя, в который вошли четыре его лучших рассказа этого жанра, в том числе «Семпитернин», получивший в 1972 году премию I Европейского конгресса по научной фантастике.

«Семпитернин» — это название препарата, который практически делает человека бессмертным. Но главное значение этого вещества не в том, что оно дарует вечную жизнь, а в том, что оно наделяет человека способностью активно трудиться. И тут встает проблема: на что будет направлен труд такого «вечного» человека — на благо людей или во зло им, а это значит — надо решить и другую проблему: кто достоин сегодня получить первые пять тысяч порций этого чудодейственного препарата?

Близки этому рассказу по постановке морально-этических вопросов и два других рассказа сборника: «Пароход счастья», затрагивающий проблемы клинической и биологической смерти и пересадки органов, и «Спортивное впечатление», где ученые исследуют влияние нервных ядов на организм.

Об эволюции в изучении космоса и сверхразумных существах рассказывается в новелле «Ракеты, звезды, рецепты».

Венгерская критика высоко оценивает научно-фантастические произведения Мештерхази и считает его лучшим современным венгерским фантастом.

Признанный мастер этого жанра Петер Кудка отмечает, что Мештерхази сплавил воедино свое мастерство художника-новеллиста с навыками ученого, умеющего экспериментировать, выдвигать гипотезы, доказывать их и делать выводы.

«В своей книге,— говорится на страницах газеты «Непсабадшаг», — Мештерхази раскрывает проблемы космического масштаба через внутренний мир отдельных людей, поднимая актуальные общественно-философские проблемы».

Сцена из спектакля «Похождения Яноша Хари». В роли Яноша Хари — известный венгерский актер Ференц Бешшение, в роли Эрже — Эржебет Хази.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ СКАЗКИ

У каждого народа есть свои, особо полюбившиеся ему сказки. К жемчужинам венгерского фольклора относится сказка про отставного солдата, горшечника из Толнаи Яноша Хари — доброго выдумщика, необыкновенно интересно повествующего о своих похождениях.

Журналист и поэт XIX века Янош Гараи взял за основу сюжет этой сказки и написал юмористическую поэму «Отставной солдат», создав живой, незабываемый образ человека из народа, воплотивший в себе мудрость, честность, надежду простых людей на светлую и обеспеченную жизнь.

Эта поэма, с ее чистым, образным и метким языком, с ее неповторимым лукавым юмором, пользуется огромным успехом до сих пор. В 20-х годах нашего века к поэме «Отставной солдат» обратился известный венгерский композитор Золтан Кодаи и создал музыкальную драму, которую Бела Барток назвал «исповедью венгерской души». С тех пор, а было это в 1925 году, Янош Хари обрел свое бессмертие не только в литературе, но и на сцене.

В 30-х годах «Похождения Яноша Хари» — так называлась музыкальная драма — начали свое триумфальное шествие по сценам многих городов мира.

Свой полувековой юбилей спектакль «Похождения Яноша Хари» отметил на Открытой сцене города Сегеда. Эта самая большая сцена Венгрии размещается на живописной соборной площади. Восемь юбилейных представлений «Похождений Яноша Хари» смогли посмотреть тридцать восемь тысяч человек.

ВЕНЕСУЭЛА

СОЛИДАРНОСТЬ С НАРОДОМ ЧИЛИ

Известный венесуэльский писатель и литературовед, автор ряда исследований по истории литературы своей страны Орландо Араухо стал лауреатом Национальной литературной премии в области эссе за 1975 год.

Впервые в истории Венесуэлы вручение такого рода премий состоялось в президентском дворце Мирафлорес. Премию и золотую медаль лауреата писателю передал президент Венесуэлы Карлос Андрес Перес. Во время церемонии О. Араухо заявил, что вносит всю сумму премии (20 тысяч боливаров) в фонд чилийского Сопротивления.

Обращаясь к присутствующим, писатель сказал:

«Мы в Венесуэле переживаем сейчас время, когда нужно не философствовать и не ораторствовать, а бороться... Мы — поколение людей, идущих навстречу великим свершениям, и молчание было бы для нас самоубийством... Мои книги — а их немало,— при всех просчетах и удачах, достоинствах и недостатках, посвящены борьбе за свободу и за создание такого общества, о котором я мечтаю... Позволю себе сообщить собравшимся здесь собратьям по перу, что я принял решение передать присужденную мне премию главному центру чилийского Сопротивления с тем, чтобы оружие, которое в Латинской Америке столько раз обращалось против культуры, литературы (у нас в Венесуэле, например,— против Ромуло Гальегоса), теперь было использовано, чтобы сокрушить фашизм, залывший кровью страну, некогда приютившую нашего соотечественника Андреса Бельо — выдающегося общественного деятеля Латинской Америки первой половины XIX века, одного из зачинателей венесуэльской литературы».

ГДР

НОВАЯ КОМЕДИЯ РУДИ ШТРАЛЯ

Берлинский театр имени Максима Горького показал недавно премьеру новой комедии известного писателя и драматурга Руди Штраля «Обманчивый запах свежего сена».

Сюжет комедии — расследование «дела» мнимого чудотворца Маттеса, «чудеса» которого оказываются основанными на многовековой мудрости деревенских жителей. И первой это признает доктор Ангелика Унглауб, присланная в деревню в качестве эксперта.

«В новой пьесе мне хотелось,— сказал Руди Штраль в интервью журналу «Театер дер цайт»,— рассказать несколько необычную историю оригинального, интересного человека, попавшего в довольно сложное комическое положение».

Рецензенты отмечают, что Руди Штраль живо и с большим юмором показал жизнь небольшой мекленбургской деревни. Яркая, красочная постановка режиссера П. Дрешера, хорошие декорации, веселая музыка способствовали успеху премьеры спектакля, который газета «Берлинер цайтунг» назвала «настоящей народной пьесой».

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

Значительный интерес у читателей и критики вызвал роман Герти Тецнер «Карен В.» — первая работа молодой писательницы. В центре произведения — тридцатилетняя женщина, пытающаяся заново осмыслить свое прошлое и настоящее, прийти к важным для нее

На снимке: Тим Гофман и Моника Леннарц в спектакле «Обманчивый запах свежего сена».
(Газета «Берлинер цайтунг»)

решениям. «Заслуживает внимания мастерство,— отмечает рецензент газеты «Нойес Дойчланд»,— с каким Герти Тецнер из возникающих по ходу действия размышлений героини о прошлом воссоздает ее биографию, благодаря чему произведение обретает исторические рамки».

В поисках своего места в жизни Карен В. отказывается от профессии юриста, от вполне благополучной семейной жизни и уезжает в родную деревушку в Гарце, где живут люди, которых она знала с детства. «В трудовом бытии,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд»,— в подлинном равенстве с другими тружениками лежит для нее точка отсчета, из которой должны выводиться масштабы для оценки собственных поступков и поступков остальных людей». Работая в сельскохозяйственном кооперативе, пристально всматриваясь в окружающую действительность, героиня Тецнер стремится осмыслить изменения, принесенные социализмом в дела и мысли людей. Она начинает понимать сложность и противоречивость исторического развития. Ее суждения об окружающих утрачивают юношескую категоричность, становятся более зрелыми.

Роман Герти Тецнер не свободен от недостатков. Удачным находкам иногда сопутствует привычное литературное клише. «Однако,—заключает рецензент,— значительность затрагиваемой темы, смело поднимаемые актуальные вопросы нашего общественного развития, обсуждение практических и этических его целей заслуживают одобрения, тем более что достигнутый успех позволяет ожидать от автора «Карен В.» многого и в будущем».

ЕГИПЕТ

ЮБИЛЕЙ ЛУИСА АВАДА

Исполнилось шестьдесят лет со дня рождения видного египетского ученого, писателя и критика доктора Луиса Авада.

Л. Авад родился в одной из деревень провинции Аль-Минья в семье египетских христиан коптов. Закончив литературный факультет Каирского университета, он отправился для завершения образования в Англию, где получил ученую степень доктора за исследование «Миф о Прометее в английской и французской литературе». По возвращении из Англии Л. Авад преподавал литературу в Каирском университете. Одновременно выступал как критик и публицист, откликаясь на самые разнообразные события культурной и литературной жизни, а также как переводчик европейской классической и современной литературы. В разное время им были переведены на арабский язык драма Шелли «Освобожденный Прометей», рассказы Оскара Уайльда, пьесы Шекспира «Бесплодные усилия любви» и «Антоний и Клеопатра», «Наука поэзии» Горация, «Агамемнон» и другие трагедии Эсхила. Он опубликовал также немало оригинальных работ по античной и арабской литературе, по истории египетской общественной мысли и проблемам образования. Всего Аваду принадлежит свыше 40 оригинальных и переводных книг.

Перу Авада принадлежат также сатирическая поэма «Плутолэнд», драма «Монах» — из истории борьбы Египта против римских завоевателей — и большой исторический роман «Феникс, или История Хасана Мифтаха». Автобиографический характер носят написанные им на разговорном египетском диалекте «Записки студента, посланного за границу».

Как отмечает журнал «Ат-Талиа» в специальном литературном приложении, посвященном юбилею писателя, о чем бы ни писал Луис Авад, он неизменно выступает как «защитник дела свободы, поборник прогресса, знаменосец просвещения и освобождения, провозвестник нового и самобытного».

ИНДИЯ

НОВАЯ ЛЕНТА С. МАДХАВАНА

На экраны страны вышел новый фильм известного режиссера Керлы С. Мадхавана (Южная Индия) — «Юлия», сообщает еженедельник «Линк». В основе ленты — написанный на языке малаялам роман писателя Паммана «Чаттакари». Ранее режиссер экранизировал это произведение на языке оригинала, сохранив и название.

С. Мадхавана с давних пор волнуют социальные проблемы. Большинство из 28 его картин раскрывает именно эту тематику. В новой работе, осуществленной на языке хинди, анализируется одно из любопытнейших социальных явлений современного индийского общества — англо-индийское население. Художник показывает столкновение культур, религий, интересов, обычаев и связанные с этим проблемы; проникает в психологию этих людей, живущих, как правило, весьма замкнуто и обращающих свой взор к далекой стране, которой они никогда не знали; вскрывает надуманность и искусственность их враждебного отношения ко всем, кто живет рядом с ними, ложность представлений о себе как о «монополистах культуры».

Будучи автором сценария, режиссер в значительной мере сохраняет присущие роману социальные акценты, создает правдивые портреты героев и ревностно относится ко всем деталям, которые делают эти характеры глубоко человечными, подчеркивает рецензент. Много в фильме и актерских удач. Превосходно исполняет роль одной из главных героинь ветеран национального кино Надира, многогранна игра таких популярных актеров, как Утпал Датт, Ом Пракаш и другие. Хотя керальская актриса Лакшми, исполняющая роль главной героини Юлии, впервые снимается в кино хинди, она преодолела языковые трудности и создала

Кадр из фильма «Юлия».

(Журнал «Линк»)

интересный и убедительный образ.

Успеху фильма способствует и работа операторов П. Л. Райя и Винаягама, тонко передающая настроение действующих лиц, атмосферу драмы и красоту пейзажа.

ИРАК

НОВЫЕ КНИГИ

Министерство информации Ирака предприняло издание полного собрания стихотворений крупнейшего иракского поэта члена Всемирного Совета Мира Мухаммеда Махди аль-Джавахири (род. в 1905 г.).

«Полный диван» поэта намечено выпустить в шести томах, большинство из которых уже вышло из печати.

Как сообщает газета «Ас-Саура», иракским министерством информации выпущен также сборник статей известного критика Мухаммеда аль-Джазаири о современной иракской поэзии под названием «Пусть будут крайности».

ИСПАНИЯ

ПОЭТ-СОВРЕМЕННИК

Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося испанского поэта Антонио Мачадо.

Педро де Арсе, автор статьи, опубликованной в связи со знаменательной датой в кубинской газете «Хувентуд ребельде», пишет: «Поэт и прозаик, мыслитель и человек из народа соединились в Мачадо, чтобы воспеть республиканскую Испанию и скорбеть о смерти Федерико Гарсиа Лорки, чтобы прославить подвиги защитников Мадрида и полковника Листера воздать должное интернациональным бригадам, испанской молодежи и усилиям всего прогрессивного человечества в борьбе с гнетом и варварством фашизма, вскоре развязавшего кровопролитную вторую мировую войну».

Мачадо оказал влияние не только на людей своей эпохи, но и на последующие поколения, которые сегодня со все большей очевидностью видят в нем своего современника.

Еще ребенком он испытал благотворное влияние народной поэзии. От отца, изучавшего андалузский фольклор, он унаследовал тонкий вкус ко всему подлинно народному. Его творчеству, хотя и не столь плодовитому, как у ряда других писателей того же поколения, присуща тем большая глубина, что своими истоками оно связано с народом.

В годы гражданской войны, когда Мачадо оставил кафедру и работу преподавателя института, замечательный поэт посвятил свой труд литератора делу народа.

«Романтик, классик я?» — спрашивал себя поэт в стихотворении «Портрет», хотя, в сущности, его мало беспокоили схемы, бывшие в употреблении у критиков. Некоторые из них, ссылаясь на интерес к народной поэзии и философские искания Мачадо, причисляли его к

Портрет Антонио Мачадо работы Пабло Пикассо.

(Журнал «Хувентуд ребельде»)

литераторам «поколения 1898 года», однако творчество поэта столь многообразно, что его трудно отнести к какой-либо группе.

Земля Кастилии с ее пейзажами и простыми, порой грубоватыми людьми из народа стала для него символом родины, заняв главное место в его поэтическом мире.

Литературная деятельность Мачадо не ограничивалась поэзией — вместе с братом Мануэлем он создавал произведения для театра, такие, например, как «Лола уходит».

Уже в зрелые годы он увлекается философией и публикует книгу «Хуан де Майрена. Сентенции, афоризмы и воспоминания апокрифического философа».

Говоря о последних днях поэта, который после поражения республиканцев вынужден был покинуть родину, Педро де Арсе пишет, что в 1939 году во Франции скончался «один из самых великолепных поэтов, творивших на испанском языке». «Все прогрессивное человечество, — подчеркивает автор статьи,— отдает Мачадо дань уважения за его веру в освобождение человека, любовь к родине и свободе, за глубину его мысли и революционный оптимизм идей».

ИТАЛИЯ

РОМАН-ПРАВДА

Так гласит подзаголовок книги, которая называется «История одного гола». Написали ее два человека: Нелло Говернато, в прошлом известный футболист, и Джанпаоло Ормеццано, один из видных итальянских спортивных обозревателей, директор журнала «Туттоспорт». Соавторство выразилось не в том, что они писали совместно. Нелло Говернато сам написал «Историю одного гола», а Ормеццано ведет в книге как бы партию второго голоса: он дает комментарии к основному тексту, причем именно так, как они выглядели бы в спортивном обозрении. Иногда даже дается два-три комментария к одному и тому же событию, написанных как бы от лица нескольких журналистов, оценивающих эти события поразному.

В предисловии, открывающем книгу, Ормеццано рассказывает историю совместной работы с Говернато и высказывает мнение, что его статьи, сопровождающие главы (они и набраны разными шрифтами), придают эмоциональному повествованию Говернато объективность. «Роман-правда» основан на подлинно пережитом и производит впечатление искренности и достоверности. Действие происходит на протяжении всего двух дней. Это — два футбольных матча между соперничающими командами, и Говернато, отлично знающий все это изнутри, показывает нам нравы и взаимоотношения между футболистами, закулисную сторону событий, отбора игроков и т. д. Самое большое впечатление производит образ тренера команды — Вадоне. Это человек, буквально всю свою жизнь отдавший футболу, не имеющий вне футбола никаких интересов — ни личных, ни семейных, ни общественных. Характер Вадоне довольно сложен. С одной стороны, сама одержимость футболом делает Вадоне не только целеустремленным, но и жестоким. С другой стороны, его питомцы ему по-своему, хотя и утилитарно, очень дороги.

Вадоне ведет себя как не терпящий возражений диктатор, регулирует и регламентирует каждый шаг футболистов, но в то же время в нем есть инстинкт некоей спортивной честности: если он сознает, что сам допустил промах, то не сваливает вину на других.

Говернато подробно рассказывает, как хозяева буквально покупают молодых, перспективных игроков, которые, подписав контракт, уже не принадлежат себе и превращаются в рабов, обязанных слепо повиноваться. Однако некоторые из футболистов думают все же о том, что им следует как-то защищать свои профессиональные интересы, право на социальное страхование, на будущую пенсию.

«Интрига» держится на том, что два матча, которые предстоит сыграть, имеют решающее значение для команды и лично для тренера: команда не на очень хорошем счету, «ниже своих возможностей» и на карту поставлено очень многое. Ведь в конце концов и сам Вадоне не принадлежит себе: у него есть хозяева и он вынужден считаться и с их желаниями, вкусами, пристрастиями и антипатиями к отдельным игрокам. Необходимо также считаться и со вкусами зрителей, у которых есть свои любимцы.

Очень многое в этом «романе-правде» построено на описании техники матча: стиля игры, тактики передачи мяча, психологии игроков, их душевного состояния.

Итальянская пресса откликнулась на книгу заинтересованно и одобрительно. Особенно нравится то, что передана «атмосфера большого футбола» и что нет никаких намеков на ложную сенсационность, на эффекты, иногда присущие произведениям этого жанра. Критик «Коррьере делла сера» Антонио Гирелли писал, что книга Говернато и Ормеццано «одна из самых интересных и стимулирующих книг, рассказывающих о мире профессиональных спортсменов».

ЭКРАНИЗАЦИЯ РАННЕЙ ПОВЕСТИ ВИТТОРИНИ

Элио Витторини, один из родоначальников неореализма в итальянской литературе, обрел в этом году, через десять лет после смерти (он скончался в 1965 г.), свое второе рождение. Его вспоминают на страницах иллюстрированных журналов, помещают биографические сведения о нем. С успехом прошел спектакль труппы «Колеттиво» по трудно переводимой на язык театра книге «Сицилийские беседы» (режиссер Нино Мангано»).

Другое, более раннее произведение Витторини «Красная гвоздика» явилось литературной основой для кинофильма «Гвоздика». Местом съемок фильма стала Сицилия, родина писателя. Режиссер фильма — Луиджи Фаччини.

В 1935 году книга Витторини была запрещена фашистской цензурой и вышла в свет лишь в 1949 году. Ее автор вначале сомневался, стоит ли публиковать столь давнее, созданное им в 27-летнем возрасте произведение, но потом согласился, поскольку книга содержит ценное свидетельство очевидца тех лет. Фаччини как бы заново перечитал книгу Витторини и попытался создать фильм по «Красной гвоздике».

Режиссер уточнил политические акценты произведения, конкретизировав размежевание в среде лицеистов на фашистов (Тарквинио) и антифашистов: группа так называемых «турок» становится здесь коммунистической ячейкой. Главный герой Алессио Маинарди находится в тяжелом внутреннем конфликте с самим собой, с семьей, с окружающим миром. В конечном итоге он оказывается не участником событий, а лишь зрителем. Незавершенными остаются и его личные взаимоотношения с родителями, с невестой, с другими людьми.

Исполнительница главной роли в фильме «Гвоздика» — Эльза Мартинелли.

(Газета «Паэзе сера»)

Фаччини считает повесть Витторини своеобразной интерпретацией флоберовского «Воспитания чувств» на итальянской почве. С таких позиций и решается история Алессио. Одновременно ставятся, как пишет газета «Паэзе сера», проблемы, общие для всей молодежи: «стремление к независимости от семьи, сексуальная свобода, интеллектуальная и идеологическая самостоятельность».

В роли Алессио дебютирует Мигель — сын известной актрисы Лючии Бозе; сама Бозе снимается в роли матери главного героя.

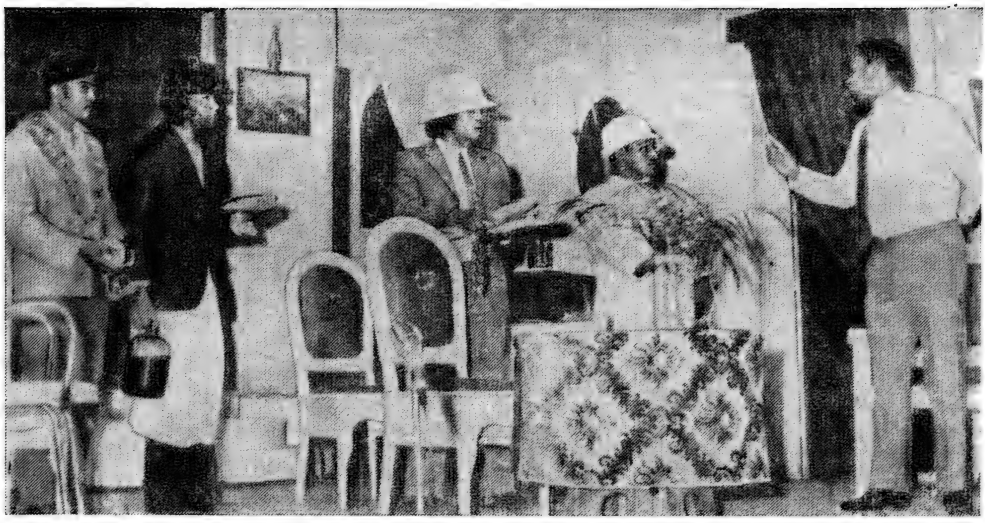
МАЛАГАСИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПЬЕСА ГОГОЛЯ НА МАЛАГАСИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

29 июня 1975 года в столичном театре «Исутри» состоялась премьера гоголевского «Ревизора». На сцене самодеятельного малагасийского театра это — первая постановка русской классики, осуществила ее известная на Мадагаскаре труппа «Антанананариву-театр». Ее актеры — преподаватели, студенты, служащие, рабочие. Труппа создана в 1945 году поэтом и художником Рамандой, чье имя на Мадагаскаре знакомо каждому,— он написал множество песен, а по его

Сцена из спектакля по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор».

(Газета «Хехи»)



учебнику «Мадагаскар, наш любимый остров» учатся в школе. После смерти Раманды в 1959 году руководителем труппы стал Энри Рабариндзака.

Малагасийские газеты называют постановку пьесы важным событием в культурной жизни страны, отмечая ее актуальность для Мадагаскара сегодня. В газете «Хехи» говорится, что пьеса «косвенно обличает коррупцию наших чиновников»; хотя она и идет под несмолкающий смех, но заставляет зрителей задуматься.

МАЛИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ

Большая литературная премия франкоязычной Африки за 1974 год присуждена старейшему малийскому писателю, ученому-этнографу, собирателю фольклора и деятелю культуры Амаду Ампате Ба за творчество в целом и за роман «Странная судьба Вангрена», вышедший в Париже в 1973 году в издательстве «Юнион женераль д'эдисьон».

Амаду Ампате Ба родился в 1899 году. Много лет он провел на административной и дипломатической работе, но целью всей его жизни и деятельности было сохранение и защита традиционной африканской культуры. Он автор трудов по истории и этнографии народов фульбе и бамбара, собиратель и комментатор мифов, исторических легенд, сказок и народных песен. Деятельность его как члена Исполнительного совета ЮНЕСКО широко известна во всей Африке.

Книга «Странная судьба Вангрена» посвящена недавнему прошлому, но это не исторический роман, а жизнеописание реально существовавшего африканского авантюриста, служившего переводчиком при колониальной администрации во Французском Судане в 20-х годах нашего века. Нажив состояние и став кущом, он много странствовал по Африке. Он сам рассказал молодому Амаду Ампате Ба о своих похождениях, попросив описать их, изменив только имя главного действующего лица. Умный и хитрый человек, он ловко использовал незнание французами местных языков и обычаев. С такой же легкостью он пользовался темнотой и невежеством своих соплеменников.

Образ Вангрена интересен не только своей колоритностью и необычностью, он примечателен и тем, что свидетельствует о появлении нового типа людей, о зарождении нового класса в разрушающемся патриархальном африканском обществе. Написанный признанным защитником старины, этот роман, по мнению критики, удивительно современен. Повествование перемежается стихами, отрывками из писем, песнями.

Малийская печать отмечает, что присуждение премии Амаду Ампате Ба — заслуженное признание его деятельности в защиту традиционной африканской культуры.

ПАКИСТАН

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ НИГАР

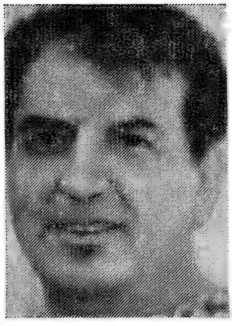
В Карачи в восемнадцатый раз присуждена премия Нигар лучшим актерам национального пакистанского кино и названы лучшие фильмы 1974 года, вышущенные киностудиями страны на национальных языках.

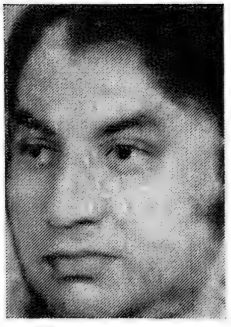
Лучшей актрисой прошлого года признана Мумтаз Мумасила Шабнам — исполнительница главной роли в кинокартине «От всего сердца», а лучшим актером — Мохаммед Али, за работу в фильме «Зеркало и лицо».

Лучшими фильмами прошлого года признаны картины на урду «Бехишт» («Рай»), на пенджаби—«Наукар вохати да» («Слуга из магазина»), на языке пушту — «Дехкан» («Крестьянин») и на языке синдхи — «Гхайрат джо савал» («Удивительный вопрос»).

Премии присуждены также режиссеру фильма на урду «Шарафат» («Благородные») Назрулу Исламу и режиссеру фильма «Слуга из магазина» Хайдару Чоудхри, писателю Риязу Шахиду за сценарий фильма

Лауреаты премии Нигар: З. Нило, Судхир, М. Шабнам, Мохаммед Али.
(Журнал «Мусават»)





«Рай», актрисе пенджабского кино Нило за роль в фильме «Хатарнак» («Опасный») и актеру Судхиру за роль в фильме «Лаири». Лучшим комическим актером назван Лахри. Жюри особо отметило музыку композитора Рубана Гхоша к фильму «Чахат» («Желания») и композитора Ваджахата Атре к фильму «Слуга из магазина».

ПОЛЬША

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ «ТВУРЧОСТИ»

Литературно-критический ежемесячник Союза польских писателей «Твурчость» отметил тридцатилетие своего существования. Первый номер журнала был подготовлен выдающимся драматургом и прозаиком Леоном Кручковским. С декабря 1954 года главным редактором «Твурчости» является крупнейший польский писатель Ярослав Ивашкевич.

За тридцать лет журнал познакомил читателей со многими значительными произведениями отечественной и зарубежной прозы и поэзии. Его страницы всегда открыты для талантливой творческой молодежи. Интересен критико-библиографический раздел. Журнал помещает разнообразную содержательную информацию об актуальных проблемах литературной жизни в Польше и за рубежом.

«Оглядываясь назад, мы с чувством глубокого удовлетворения можем сказать, что для нас писали видные прозаики и поэты,— заявил Ярослав Ивашкевич корреспонденту газеты «Жице Варшавы».— Недавно литературное издательство «Выдавнитство литерацке» выпустило антологию рассказов современных польских писателей, куда вошло немало произведений, впервые опубликованных на страницах «Твурчости». В нашем журнале дебютировали многие интересные авторы — достаточно вспомнить хотя бы Эдварда Стахуру (впервые выступившего тут со стихами и прозой). У нас напечатал свою «Конопельку» Эдвард Редлинский. Среди дебютантов и целый ряд молодых критиков.

Мы и впредь будем идти вместе с польской литературой, представлять читателю разноплановое творчество наших писателей, приветствуя всякий творческий поиск и обращая пристальное внимание на то, что происходит в других литературах. Мы регулярно помещаем обзоры зарубежных литературных ежемесячников. Эта ценная информация дает читателю возможность ориентироваться в событиях зарубежной культуры. Мы печатаем много советской прозы.

Творчество ныне меняет облик, темп жизни ускоряется, людям некогда читать объемистые произведения, романам предпочитают теперь малые формы. Однако я не пессимист. Несмотря на бурное развитие средств массовой информации, вопреки конкуренции радио, телевидения, кино, книга будет существовать, она необходима людям, у нее есть будущее. Именно поэтому наш журнал старается заинтересовать читателя проблемами литературы».

Отвечая на вопрос, как он расценивает свою роль в качестве главного редактора «Твурчости», Ярослав Ивашкевич сказал: «Журнал редактируется не одним человеком. И даже не коллективом. Все, кому он

Еву Гловацкую считают надеждой польского балета. На снимке: юная балерина в балете Кнудада Рисагера «Голубой олень».

(Журнал «Польское обозрение»)

интересен, являются соредакторами, создают и утверждают его. Журнал делается всеми, кто его читает, говорит о нем и чувствует себя связанным с ним общностью духовных интересов».

«СТО ДНЕЙ ВАРШАВЫ»

Есть в военной биографии Варшавы период, который до последнего времени не находил отражения в публикациях. Это период от поражения восстания почти до самого освобождения. И вот в Библиотеке Памяти поколений вышла книга Станислава Копфа «Сто дней Варшавы», посвященная событиям тех дней.

В основу книги легли воспоминания очевидцев событий, которые разыгрывались в опустевшей Варшаве: записи врачей и сестер повстанческих госпиталей, заметки деятелей культуры. Копф привлекает и документы гитлеровских властей, объявления и приказы, которые шли совершенно вразрез с действиями оккупантов. Эта часть, пишет критик Беата Совинская в газете «Жице Варшавы», заслуживает особого внимания как образец человеконенавистнической фашистской демагогии.

Копф рассказывает, как варшавяне, рискуя жизнью, спасали сокровища варшавских библиотек. И все же свыше ста тысяч бесценных рукописей и инкунабул, многие письма Жеромского, Реймонта, Берента погибли в огне.

«Книжка Копфа,— пишет Совинская,— попытка воссоздать атмосферу того времени со всем тем, что составило последнюю главу биографии военного города».

РУМЫНИЯ

НОВАЯ СКАЗКА ГОПО

...Тщедушный круглолицый человечек, известный всему миру по рисованным фильмам Иона Попеску-Гопо, неутомимо взбирается по крутым ступенькам Истории от эпохи к эпохе, все выше и выше. Но вот он вступил в эру научно-технической революции, и ступеньки неожиданно превращаются в подобие... эскалатора, поднимающего человечка к новым вершинам.

В этом рисованном эпизоде из новой киноленты «Фантастическая сказка» заключена основная проблема фильма. Что означает для человечества эпоха кибернетических чудес? Новый взлет к вершинам цивилизации или унылая машинизация? В фильме Гопо воссоздана гнетущая картина мира, где почти полностью исчезли различия между человеком и роботом: здесь властвуют счетно-решающие устройства, а мораль, поэзия, философия выброшены на свалку. И все же победителем в конечном счете оказывается человек, сохранивший способность мечтать, любить, шагать вперед путями подлинного прогресса. «Режиссер назвал свою картину «оптимистической»,— отмечает «Ромыния литерарэ»,— потому что ее герои, проделав длительный космический полет протяженностью в два миллиона лет, приходят к выводу, что Земля все равно самая прекрасная планета».

Рецензенты подчеркивают, что, как и советский фильм «Солярис», «Фантастическая сказка» — обвинительный акт против тех, «кто полагает, что существа из мира летающих тарелок более развиты, умны, совершенны, чем наши несовершенные земляне».

США

МЮЗИКЛ ПО РАССКАЗУ ЛЭНГСТОНА ХЬЮЗА

Американская газета «Дейли уорлд» сообщает о постановке мюзикла по рассказу Лэнгстона Хьюза «Крошка Гамлет» в театре кливлендского Центра искусств «Караму». Центр известен не только в США, но и за пределами страны своими смелыми постановками, обличающими расизм. Созданный на средства местной негритянской общины, более чем за полвека своей деятельности он подготовил много талантливых актеров театра, кино и телевидения, которые на протяжении своей творческой жизни неоднократно возвращались на сцену Центра «Караму». В молодости Л. Хьюз преподавал здесь историю искусств, а став известным драматургом, не раз принимал участие в постановке своих пьес в театре Центра. Особый успех выпал на долю спектакля по его книге «Симпл берет слово».

Рассказ, который лег в основу мюзикла «Крошка Гамлет», повествует о жизни Гарлема в 20-е годы. Его главные герои — маленький юркий чистильщик ботинок Гамлет Хитчкок Джонс, волокита и весельчак, и его жена, пышнотелая парикмахерша Малютка Ли. Жизнь этой четы неразрывно свя-

---

На снимке: исполнители главных ролей в фильме «Фантастическая сказка» — актеры Корнел Коман и Василика Тастман.

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

зана с черным рынком Гарлема. Крошка Гамлет, словно дух самого Гарлема, незаметно проникает в тысячи его заведений и частных домов.

Рецензент газеты высоко оценивает драматургическую (режиссер и автор сценического переложения Дороти Силвер), музыкальную и хореографическую стороны постановки. Он пишет о том, что с этой точки зрения спектакль «Крошка Гамлет» — добротный коммерческий мюзикл, который с успехом мог бы идти и на Бродвее.

Однако, указывает критик, с точки зрения верности духу оригинала спектакль вызывает некоторые сомнения. «Задумываешься над тем, где проходит граница между смехом «вместе с людьми» и смехом «над ними». Большинство комических ситуаций спектакля связано с вечными пороками и слабостями бедняков, людей, живущих в условиях национального гнета. Конечно, пишет критик, рассказ Лэнгстона Хьюза отражает характерные стороны жизни Гарлема 20-х годов, жизни негритянской бедноты. Но сегодня, когда «масс-медиа» насаждают расизм, а сцена театра является ареной борьбы идей, нужно с особой ответственностью относиться к постановке подобных спектаклей. Рассказ «Крошка Гамлет» — одно из многих произведений Лэнгстона Хьюза, которые были переработаны для сцены. Критик считает, что для постановки можно было выбрать произведение, более отвечающее духу всего творчества Хьюза, чем рассказ «Крошка Гамлет». Прошлые постановки Центра, пишет в заключение рецензент, свидетельствуют о том, что подобная работа ему вполне по силам.

ФРАНЦИЯ

«ВО ЧТО Я ВЕРЮ»

Последняя книга Жака Дюкло «Во что я верю» вышла в свет почти одновременно с его смертью.

Издательство Грассе, печатающее под этим заглавием серию книг, принадлежащих перу разных авторов, как писателей, так и общественных деятелей, впервые опубликовало произведение, написанное с позиций марксизма.

Остановившись на общих принципах материализма, Дюкло популярно излагает некоторые основополагающие принципы марксистской философии. Он говорит о важнейших этапах развития социалистической мысли во Франции, об утопических системах Сен-Симона и Фурье и в первую очередь об их взглядах на свободу. Дюкло показывает, что истинная свобода несовместима с буржуазным строем и возможна только в социалистическом обществе.

Особый интерес представляют страницы, посвященные движению Сопротивления, «жестокому и вместе с тем вдохновляющему времени подпольной борьбы». Один из самых выдающихся руководителей антифашистского Сопротивления, Дюкло напоминает о роли Французской коммунистической партии, о решающем вкладе Советского Союза в дело разгрома гитлеровской Германии. Подробно рассказывает Дюкло о трагической судьбе Жака Мулена, основателя Национального Совета Сопротивления, разбивает домыслы, распространяемые о нем врагами коммунизма. На страницах книги продолжается непрестанная борьба Дюкло с «новыми ландскнехтами антикоммунизма», теми, кто и сегодня пытается повернуть вспять колесо истории.

Человек большой эрудиции и разносторонних интересов, Дюкло включил в свою книгу эссе о юморе; он рассказывает и о блестящих политических карикатуристах XIX века — Гюставе Доре и Оноре Домье. Живо интересовался он вопросами литературы. Тесно связанный с освободительной борьбой испанского народа, Дюкло останавливается на романе Хемингуэя «По ком звонит колокол» и на публицистике Бернаноса, его нашумевшей книге «Великие кладбища при лунном свете». Отмечая высокие художественные достоинства романа Хемингуэя, Дюкло считает, что книга выиграла бы, если бы в ней было больше сказано о зверствах, которые фалангисты учиняли над республиканцами. Говоря о Бернаносе, Дюкло убедительно показывает, как правда жизни одерживает победу в произведении этого человека правых взглядов. Ревностный католик, Бернанос беспощаден к католической церкви, благословлявшей преступления контрреволюционных генералов.

Последняя глава книги называется «Торжество жизни». Она заканчивается словами: «...я верю, что жизнь сильнее смерти. Оглядываясь на путь, пройденный среди стольких трудностей, в дни радости и печали, в часы подъема и в часы уныния, я сознаю, что, посвятив свою жизнь борьбе за социализм, рассматривал общественное развитие в поступательном движении вперед, а не назад, как это делают другие.

Социализм уже стал реальностью на значительной части поверхности земли. Возможно, что я до этого и не доживу, но я глубоко убежден, что социализм восторжествует и на земле Франции. Другие глаза увидят то, что, возможно, не увидят мои глаза, и свет победит тьму. Жизнь будет сильнее смерти».

Французская пресса единодушно воздала должное автору «Во что я верю». Рецензент еженедельника «Нувель литтерер» говорит о своем восхищении Жаком Дюкло, написавшим «Торжество жизни». Эта заключительная глава книги была перепечатана в газете «Монд». На страницах журнала «Кайе дю коммюнисм» Лео Фигер охарактеризовал книгу как «реалистическое и оптимистическое размышление революционера над важными проблемами старости, жизни и смерти». «Юманите диманш» писала: «Эта книга — источник жизни. Она придает силы».

Авторы этого номера

АННА ЗЕГЕРС — ANNA SEGHERS (род. в 1900 г.).

Немецкая писательница и общественный деятель (ГДР), лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», Национальной премии ГДР и многих литературных премий. Имя Анны Зегерс хорошо знают советские читатели — на русском и других языках народов СССР издавались ее романы «Восстание рыбаков», «Спутники», «Путь через февраль», «Освобождение», «Седьмой крест», «Мертвые остаются молодыми», «Транзит». В «Иностранной литературе» были напечатаны ее роман «Решение» (№ 1—4, 1960), повести «Человек и его имя» (№ 1, 1955), «Через океан» (№ 1, 1972), рассказы и статьи. Об Анне Зегерс — человеке, писателе и общественном деятеле — см. статью Г. Маркова «Решение и доверие» в № 11, 1975 г. нашего журнала.

Предлагаемый рассказ «Каменный век» взят из журнала «Зинн унд форм» («Steinzeit», Sinn und Form, № 4, 1975).

■

ЕВА ЛИПСКАЯ — EWA LIPSKA (род. в 1945 г.).

Польская поэтесса. Училась в Академии художеств в Кракове. Дебютировала стихами в периодике в 1961 году. Опубликовала четыре книги стихов.

Предлагаемая читателю подборка стихов Евы Липской составлена из стихотворений четырех ее поэтических книг, выпущенных издательством «Чительник» («Czytelnik»): «Стихи» («Wiersze», 1967), «Второй сборник стихов» («Druçi zbiór wierszy», 1970), «Третий сборник стихов» («Trzeci zbiór wierszy», 1972), «Четвертый сборник стихов» («Czwarty zbiór wierszy», 1974).

■

АСТАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА.

Советский поэт, переводчик с польского. Автор книг стихов «Девчата» (1959), «Гордость» (1961), «Кумачовый платок» (1965). В ПНР вышла книга стихов Н. Астафьевой, переведенных на польский язык. «Иностранная литература» печатала ее переводы из Х. Посвятовской, А. Свирщиньской, К. Иллакович, В. Слободника.

■

АНДРЕ СТИЛЬ — ANDRE STIL (род. в 1921 г.).

Французский писатель, публицист, общественный деятель. В годы войны участвовал в движении Сопротивления, тогда же вступил в Коммунистическую партию Франции. В 60-е годы был главным редактором «Юманите», затем ее постоянным обозревателем. Андре Стиль — автор многих романов и сборников рассказов, значительная часть которых переведена на русский и другие языки народов нашей страны, среди них романы «Первый удар», за который писатель удостоен Государственной премии СССР, «Мы будем любить друг друга завтра», «Обвал» («ИЛ» № 4—5, 1961), «Последняя четверть часа», сборники рассказов «Сена» вышла в море», «Боль» и др.

Публикуемые нами рассказы А. Стиля взяты: «Мошенник» — из сборника «Конек на фоне неба» («Pignon sur ciel», 1966), все другие — из книги «Забытые цветы» («Fleurs par erreur». Paris, Julliard, 1973).

■

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ — RAINER MARIA RILKE (1875—1926).

Австрийский поэт. Один из крупнейших европейских поэтов. Родился в семье чиновника. Детство и юность провел в Праге. Изучал литературу, историю искусств и философию в Пражском, Мюнхенском и Берлинском университетах. Первые поэтические сборники Р. М. Рильке появились на рубеже веков: «Жертвы ларам» («Larenopfer», 1896), «Венчанный снами» («Traumgekrönt», 1897), «Канун рождества» («Advent», 1898), «Мне на праздник» («Mir zur Feier», 1900).

Мировую славу принесли ему книги стихов: «Часослов» («Stundenbuch», 1905), «Книга картин» («Das Buch der Bilder», 1906), «Новые стихи» («Neue Gedichte», 1908).

Среди произведений Рильке в прозе выделяется роман «Записки Мальте Лауридса Бригге» («Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge», 1910) и ритмизованная новелла «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» («Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke», 1906).

В последние годы жизни поэт опубликовал «Дуинские элегии» («Duineser Elegien», 1912—1923) и «Сонеты к Орфею» («Die Sonette an Orpheus», 1923), в которых он подводит итог своим размышлениям о проблемах бытия.

■

ГАЛЬПЕРИНА ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНА.

Советский литературный критик. Печатается с 1928 года. В 1929—1951 годах читала курс новейшей западноевропейской литературы в советских вузах и публиковала работы в этой области. С 1958 года занимается проблемами литератур развивающихся стран, выпустила ряд антологий африканской, антильской, гаитянской поэзии, «Избранное» Жака Румена (на французском языке) и публиковала статьи по литературам Африки, Вест-Индии, Гаити и др.

■

СТАРОСТОВ ЛЕЛЬ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1924 г.).

Советский турколог, переводчик. Автор многих опубликованных в СССР и в Турции работ по языку и литературе. Перевел с турецкого рассказы Азиза Несина, Халдуна Танера, переводил пьесы и прозу Назыма Хикмета, в том числе его последнее крупное произведение «Романтика». С русского на турецкий перевел стихи Есенина, Евтушенко.

■

САРА КИРШ — SARAH KIRSCH (род. в 1935 г.).

Немецкая поэтесса и прозаик (ГДР), лауреат премии города Галле и премии имени Г. Гейне, награждена медалью Эриха Вайнерта. Окончила в 1965 году литературный институт имени И. Бехера в Лейпциге. Дебютировала в 1963 году пьесой для детей «Пьяное солнце» («Die betrunkene Sonne»), но завоевала известность как поэтесса, публикуя стихотворения в журналах и газетах ГДР. Саре Кирш принадлежат поэтические сборники «Поездка за город» («Landaufenthalt», 1967), «В дождь птицы поют лучше всего» («Die Vögel singen im Regen am schönsten», 1968), «Волшебные заклинания» («Zaubersprüche», 1973), а также сборник рассказов «Огромные как горы морские волны» («Die ungeheuren berghohen Wellen», 1973).

Предлагаемые в этом номере «Непричесанные рассказы» были напечатаны в сборнике «Укротительница» («Die Pantherfrau», Berlin, Aufbau, 1973).

■

ГЕЙНЦ ПЛАВИУС — HEINZ PLAVIUS (род. в 1929 г.).

Немецкий критик, литературовед (ГДР). Автор книги «Между протестом и приспособлением» («Zwischen Protest und Anpassung», 1971), статей, публиковавшихся в литературных и философских журналах, и ряда предисловий к книгам немецких писателей.

Послесловие к публикации Сары Кирш получено в рукописи.

■

АЛЬБЕР ЭГПАРС — ALBERT AYGUESPARSE (род. в 1900 г.).

Бельгийский писатель — поэт, прозаик, эссеист. Пишет на французском языке. Сын рабочего-печатника; получил педагогическое образование, работал школьным учителем, затем в ряде прогрессивных издательств, сотрудничал с А. Барбюсом. Автор многих книг стихов, романов о жизни и борьбе рабочих: «Мертвая рука» («La main morte», 1938), «День за днем» («D'un jour à l'autre», 1940), «Альбатрос» опаздывает на три часа» («L'Albatros» a trois heures de retard», 1967) и др.

В русском переводе вышли его романы «Час правды», «Мы идем за своей тенью».

Публикуемая статья получена в рукописи.

◆

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1975 год (№ 1—12)

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Амаду, Жоржи — Тереза Батиста, уставшая воевать (Роман. Перевод с португальского Ю. Калугина. Послесловие Юрия Дашкевича), № 11, 12.

Болдуин, Джеймс — Если Бийл-стрит могла бы заговорить (Роман. Перевод с английского Н. Волжиной), № 7.

Воннегут, Курт — Завтрак для чемпионов (Роман. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой. Послесловие С. Вишневского), № 1, 2.

Гёрлих, Гюнтер — Открытие (Рассказ. Перевод с немецкого М. Федорова), № 5.

Джагаров, Георгий — Маленькая эта земля... (Пьеса в 15 картинах. Перевод с болгарского М. Михелевич), № 2.

Дончевич, Иван — Случай в автобусе (Рассказ. Перевод Александра Романенко), № 11.

Дракул, Симон — Друзья (Рассказ. Перевод И. Харитонова), № 11.

Еремич, Драган М.— Мысли и максимы. Из книги «С лица и с изнанки» (Перевод с сербско-хорватского Александра Романенко), № 8.

Зегерс, Анна—Каменный век (Рассказ. Перевод с немецкого Нины Федоровой), № 12.

Ивашкевич, Ярослав — Сады (Перевод с польского М. Игнатова и А. Ермонского), № 10.

Исакович, Антоние — Миг озаренья (Рассказ. Перевод О. Кутасовой), № 11.

ИЗ ВЬЕТНАМСКОЙ ПРОЗЫ (Вступление Мариана Ткачева), № 9.

ИЗ ЮГОСЛАВСКОЙ ПРОЗЫ, № 11.

Иллеш, Бела — В метель (Рассказ. Перевод с венгерского И. Салимона), № 4.

Кабесас, Мигель — Рассказы о Чили (Перевод с испанского Н. Булгаковой), № 6.

Кант, Герман — Объяснимое чудо (Рассказ. Перевод с немецкого М. Федорова), № 5.

Кемаль, Орхан — Семьдесят вторая камера (Повесть. Перевод с турецкого Радия Фиша), № 7.

Коларова, Яромира — Мой мальчик и я (Главы из романа. Перевод с чешского и вступление Инны Бернштейн), № 1.

Кршенек, Иржи — Дички (Роман. Перевод с чешского Н. Шульгиной), № 5, 6.

Лалич, Михаило — Арджан-озеро. Снег тает (Рассказы. Перевод Александра Романенко), № 11.

Лидман, Ханс — Длинная ночь Ниило. Большой лосось (Рассказы. Перевод с норвежского и предисловие В. Якуба), № 10.

Ма Ван Кханг — Лунная песня (Рассказ. Перевод с вьетнамского Инны Зимониной), № 9.

Мартинес Морено, Карлос — Аборигены (Повесть. Перевод с испанского Н. Булгаковой. Вступление Юрия Дашкевича), № 2.

Миланков, Момчило — В плавнях (Рассказ. Перевод Александра Романенко), № 11.

Миура, Тэцуро — Река терпения (Рассказ. Перевод с японского Т. Григорьевой), № 1.

Молнар, Геза — Неотвязное воспоминание (Рассказ. Перевод с венгерского И. Миронец), № 4.

Мэккин, Уолтер — Действующие лица в порядке их появления (Рассказ. Перевод с английского С. Митиной), № 3.

Нгуен Нгок — Пон (Рассказ. Перевод с вьетнамского Мариана Ткачева), № 9.

Незвал, Витезслав — Из моей жизни (Перевод с чешского И. Бернштейн и Л. Лерер. Предисловие И. Бернштейн), № 3.

Новак, Тадеуш — Черти (Роман. Перевод с польского К. Старосельской. Вступление А. Ермонского), № 3, 4.

НОВЕЛЛЫ ЯПОНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 1.

ден Ойл, Боб — Крабы в консервной банке и др. рассказы (Перевод с голландского С. Белокриницкой), № 11.

Олдридж, Джеймс — Горы и оружие (Роман. Перевод с английского О. Сороки. Вступление Бориса Полевого), № 1—3.

Пьеррар, Андре — С алым цветком в петлице (Повесть. Авторизованный перевод с французского Н. Иванина. Предисловие Роже Шатоне), № 5.

Радноти, Миклош — Под знаком Близнецов. Дневник о детстве (Перевод с венгерского и вступление Е. Малыхиной), № 7.

РАССКАЗЫ ВЕНГЕРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 4.

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ ГДР, № 5.

Сабо, Магда — Бег во сне (Рассказ. Перевод с венгерского Т. Воронкиной), № 4.

Салих, Ат-Тайиб — Сезон паломничества на Север (Повесть. Перевод с арабского В. Шагаля. Послесловие А. Давидсона), № 9, 10.

Сига, Наоя — Преступление Хана (Рассказ. Перевод с японского Т. Григорьевой), № 1.

Стиль, Андре — Мошенник и др. рассказы (Переводы с французского Александра Карлова и Т. Ерофеевой), № 12.

Тавариш Родригиш, Урбану — Камнем в болото. Смерть аиста (Рассказы. Перевод с португальского Лилиан Бреверн), № 8.

Танидзаки, Дзюнитиро — Татуировка (Рассказ. Перевод с японского А. Долина), № 1.

То Хоай — Улица (Рассказ. Перевод с вьетнамского Мариана Ткачева), № 9.

Труайя, Анри — Анна Предайль (Роман. Перевод с французского Галины Ерофеевой), № 8.

Тувим, Юлиан — Ироническая проза (Перевод с польского и вступление Асара Эппеля), № 1.

Урбан, Эрне — Медицина (Рассказ. Перевод с венгерского И. Салимона), № 4.

Фелпс, Антони — Минус бесконечность (Роман. Перевод с французского Мориса Ваксмахера. Предисловие Юрия Дашкевича), № 7, 8.

Фриш, Макс — Назову себя Гантенбайн (Роман. Перевод с немецкого С. Апта. Послесловие Д. Затонского), № 4—6.

Чопич, Бранко — Грустная песня. Военный корреспондент (Рассказы. Перевод Александра Романенко), № 11.

Шоу, Ирвин — Вечер в Византии (Роман. Перевод с английского К. Чугунова), № 9, 10.

СТИХИ

Адамо, Сальваторе — Небоскребы (Перевод с французского Михаила Кудинова), № 6.

Айх, Гюнтер — О чем говорит дождь и др. стихи (Перевод с немецкого Е. Витковского), № 2.

Алечкович, Мира — Босоножка и др. стихи (Перевод с сербского Риммы Казаковой, Тамары Жирмунской, Юнны Мориц), № 1.

Амьева, Сельсо — Фусиманья и др. стихи (Перевод с испанского Бориса Слуцкого), № 6.

Боске, Ален — Парашютист (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 5

Боске, Ален — Море и др. стихи (Перевод с французского Мих. Кудинова), № 10.

Брассенс, Жорж — Тебе овернец и др. стихи (Перевод с французского Натальи Стрижевской), № 6.

Брель, Жак — Мы увидеть должны... и др. стихи (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 6.

Валькарсель, Густаво — Чилийская симфония (Поэма. Перевод с испанского Инны Тыняновой), № 9.

Габе, Дора — «На снимке — мальчуган, ребенок...» и др. стихи (Перевод с болгарского В. Корчагина), № 7.

Гаран, Габор — За едой (Перевод с венгерского Евг. Долматовского), № 4.

Гойтисоло, Хосе Агустин — Из книги «Псалмы на ветру» (Перевод с испанского Натэллы Горской), № 11.

Димитрова, Блага — Транзитный пассажир и др. стихи (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 7.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ, № 7.

ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ, № 4.

ИЗ ПОЭЗИИ ФРГ (Вступление В. Топорова), № 2.

ИЗ ПОЭЗИИ ФРАНЦУЗСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, № 5.

ИЗ ПОЭЗИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ (Предисловие Бориса Шуплецова), № 5.

Кашниц, Мария Луиза — Мое время и др. стихи (Перевод с немецкого В. Топорова), № 2.

Кейроль, Жан — Вы спите еще? (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 5.

Липская, Ева — Мы и др. стихи (Перевод с польского и вступление Натальи Астафьевой), № 12.

Максимович, Десанка — Кто хочет видеть чудеса и др. стихи (Перевод с сербскохорватского и вступление Маргариты Алигер), № 11.

Нгуеи Динь Тхи — Горная дорога и др. стихи (Перевод с вьетнамского и вступление Л. Эйдлина), № 9.

Новомеский, Лацо — Мир, как я его представляю и др. стихи (Перевод со словацкого Юрия Левитанского), № 5.

Парро, Луи — 1936—1944 (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 5.

Пас Паредес, Маргарита — Твое лицо в тумане и др. стихи (Перевод с испанского Инны Чежеговой), № 8.

Реверди, Пьер — Голосом чуть приглушенным (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 5.

Риффо, Мадлен — Девять пуль (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 5.

Руфус, Милан — Из книги «Стол бедных» (Переводы со словацкого Олега Малевича, Виктории Каменской, Игоря Инова. Вступление Олега Малевича), № 10.

Сильвестр, Анн — Мой муж уехал. Если дождь тебя измочит (Перевод с французского Натальи Стрижевской), № 6.

Сюпервьель, Жюль — Париж (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 5.

Флориан, Мирослав — Дифирамб и др. стихи (Перевод с чешского Олега Малевича, Виктории Каменской, И. Инова, Тамары Жирмунской), № 5.

ФРАНЦУЗСКИЕ ШАНСОНЬЕ (Вступление переводчиков), № 6.

Шойинка, Воле — На косых перекрестках дождей и др. стихи (Перевод с английского Андрея Кистяковского. Вступление Виктора Бейлиса), № 7.

Шомьо, Дёрдь — Леса Европы (Перевод с венгерского Е. Долматовского), № 4.
Шоош, Золтан — Баллада о старом Т-34 (Перевод с венгерского Евг. Долматовского), № 4.

К 500-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Вознесенский, Андрей — Мой Микеланджело. Мемориал Микеланджело, № 3.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Вордсворт, Вильям — Лондон, 1802 г. Милтон и др. стихи (Переводы с английского Арк. Штейнберга, В. Левика, Андрея Сергеева, А. Ибрагимова. Вступление Д. Урнова), № 7.
Рильке, Райнер Мария (К 100-летию со дня рождения)—Стихи (Переводы с немецкого А. Гелескула, Н. Григорьевой, К. Богатырева, В. Летучего, З. Миркиной. Вступление Н. Литвинец), № 12.
Су Ши — «В голубизне растворилось...» и др. стихи (Перевод с китайского и вступление М. Басманова), № 4.
Хименес, Хуан Рамон — «В полях печально и пусто...» и др. стихи (Перевод с испанского и вступление А. Гелескула), № 8.
Шоу, Бернард — Дилемма доктора (Трагедия в пяти актах. Перевод с английского А. Майской. Вступление академика И. Майского), № 6.

КРИТИКА

Балашова, Т.— В центре спора — поэзия, № 1.
Брейтбурд, Г.— «Масс-культ» или культура масс, № 6.
Вагапова, Н.— Верность времени (О творчестве Марияна Матковича), № 3.
Ваксмахер, Морис — Природа искусства не терпит пустоты (Заметки о современной французской поэзии), № 12.
Гальперина, Е.— Молодой бунтарь в поисках пути (О творчестве А. Квеи Армы), № 12.
Голышева, Е.— Возвращение Лиллиан Хеллман, № 4.
Григорьева, Т.— И еще раз о Востоке и Западе (Вступление А. Долина), № 7.
Днепров, В.— Судьбы новых форм (Уроки «Герники» Пикассо), № 4.
Иллеш, Ласло — Возрождение жанра (О социографической венгерской литературе. Перевод с венгерского Р. Олегова), № 4.
Ильина, Г.— «Чтишь, поэт, свой долг?», № 5.
Каграманов, Ю.— Вестерн вчера и сегодня, № 11.
Кастельет, Хосе Мариа — Поэзия Хосе Агустина Гойтисоло (Перевод с испанского Натэллы Горской), № 11.
Кин, Ц.— Прошлое, которое не посмеет вернуться, № 2.
Кожевникова, И.— Страдание и достоинство (Заметки об «атомной литературе» в Японии), № 2.
Ландор, М.— Дороги Юга, № 5.

ЛИТЕРАТУРА: ГИБЕЛЬ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ?

Джованни Джудичи — Литература идет к Хиросиме... (Перевод с итальянского Ю. Добровольской). **Е. Амбарцумов** — Хиросимы не будет, № 4.

Мендельсон, М.— Творческий подвиг Ларса Лоренса, № 9.
Мотылева, Т.— Снова о романе, № 10.
Мулярчик, А.— В поисках новых горизонтов (Заметки об американском романе начала 70-х годов), № 8.
Радволина, Ида — Заметки о творчестве Густава Крклеца, № 9.
Россиянов, О.— Реализм и опыт венгерской критики, № 1.
Старостов, Л.—Ранняя проза Назыма Хикмета, № 12.
Токарев, Л.— Почему «возвращается» Селин?, № 6.
Федоренко, Н.— Зарубежная литература: размышления над художественными ценностями, № 7.
Черкасский, Л.— Литературная жизнь Китая 50-х годов и Маяковский, № 10.
Шерлаимова, С.— Духовная ориентация — социализм (Заметки о современной чешской литературе), № 3.

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. А. ШОЛОХОВА

Прийма, Константин — Гордость советской и мировой литературы (По страницам зарубежной прогрессивной печати), № 5

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТОМАСА МАННА

Манн, Томас — «Немецкие слушатели!» (Перевод с немецкого Г. Ратгауза. Вступление Т. Мотылевой), № 6.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Нагибин, Юрий — До новой встречи, Алан!, № 7.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Ад-Дин, Мурси Саад — Новые веяния в египетской литературе (Перевод с английского М. Салганик), № 6.
Ивашкевич, Ярослав — «Тихий Дон» (Перевод с польского М. Игнатова), № 4.
Ференчик, Ян — Дело моей жизни (Перевод со словацкого Л. И. Васильевой), № 5.
Эгпарс, Альбер — Писатель и его книги (Перевод с французского Н. Поповой), № 12.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

Черкасский, Л.— Судьба одного стихотворения, № 6.

РУССКАЯ ЖИЗНЬ САНСКРИТСКИХ СТИХОВ.

Вера Потапова — Не изложение, а живопись словом. **С. Липкин** — Мысль и слово в переводе. № 1.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Александропулос, Мицос — Яннис Рицос сегодня, № 10.
Фиш, Радий — Хлеб и любовь Орхана Кемаля, № 8.

ИНТЕРВЬЮ

Гидаш, Антал — Разговор с самим собой (Перевод с венгерского Агнессы Кун), № 10.

Свиленов, Атанас — У Богомила Райнова (Перевод с болгарского Т. Карповой), № 9.

Федоренко, Николай — Огонь Прометея, № 10.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Фаиз, Фаиз Ахмад — О литературной жизни Пакистана и... немного о себе самом (Интервью брала М. Салганик), № 2.

Шимон, Иштван — «Мой писательский кабинет» (Беседа с Йожефом Дарвашем. Перевод с венгерского А. Науменко), № 4.

ПУБЛИЦИСТИКА

Андрич, Иво — Лицо земли (Перевод с сербско-хорватского и предисловие Александра Романенко), № 11.

Ворцель, Генрик — Багаж пани Ворцель (Перевод с польского Г. Гудимовой и В. Перельман), № 6.

Гаскар, Пьер — Латинский квартал (Фрагменты из книги. Перевод с французского И. Варламовой. Послесловие Самария Великовского), № 1.

ГОЛОСА ПРОТЕСТА. Дица Сильвер — Антивоенная тема в прогрессивной культуре Израиля. **Фелиция Лангер** — Своими глазами (Фрагменты из книги. Перевод с иврита И. Рябинова). **Иосэф Альгази (Галили)** — Что ты делал, отец, когда разрушали дом Надера? (Фрагменты из книги. Перевод с иврита Я. Шрайбера), № 8.

Григореску, Иоан — Грязный рай (Фрагменты из книги. Перевод с румынского М. Фридмана), № 4.

Дэвидов, Майк — Письмо советским друзьям из «свободного» мира, № 10.

Карлебах, Эмиль — Шестнадцать гладиолусов (Перевод с немецкого Г. Косарик), № 6.

Кирш, Сара — Непричесанные рассказы (Главы из книги «Укротительница». Перевод с немецкого М. Федорова. Послесловие Гейнца Плавиуса), № 12.

Кле, Геди — Там, где мой отец был в 1941-м... (Перевод с немецкого Г. Косарик), № 6.

Ласло-Бенчик, Шандор — История: взгляд снизу (Социографический очерк. Перевод с венгерского и вступление Е. Малыхиной), № 4.

Лем, Станислав — Идеальный вакуум (Фрагменты из книги. Перевод с польского Э. Гессен. Вступление Ариадны Громовой), № 3.

«НЕТ!» ФАШИЗМУ, «НЕТ!» ВОЙНЕ. Из очерков и воспоминаний, № 6.

Паркинсон, С. Норткот — Мышеловка на меху (Фрагменты из книги. Перевод с английского И. Гуровой), № 7.

ПОЕЗДКА В СССР. Бернар Клавель, Эммануэль Роблес, Мишель Батай, Андре Стиль (Перевод с французского Н. Ивaниной), № 11.

Рыбак, Йозеф — В те майские дни... (Перевод с чешского Л. Лерер), № 6.

Сивьеро, Родольфо — В защиту искусства (Перевод с итальянского и вступление Н. Томашевского), № 6.

Странджев, Коста — Мужество жить (Фрагменты из документальной повести. Перевод с болгарского Лидии Баша), № 9.

Федоренко, Н.—Плодотворный диалог, № 11.

Юркович, Мариян — Над лепоглавскими ямами (Перевод с сербско-хорватского Ю. Брагина), № 6.

К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

Борк-Уайт, Маргарет — С фотоаппаратом на войне в России (Фрагменты из книги. Перевод с английского И. Гуровой), № 5.

Блок, Жан-Ришар — Репортажи из Москвы (Комментарии, переданные по Московскому радио в 1941—1944 годах. Фрагменты из книги. Перевод с французского Л. Завьяловой. Предисловие Евг. Долматовского), № 5.

ЭКРАН И ВРЕМЯ

Галанов, Борис — На экране и в окрестностях, № 2.

Галанов, Борис — Современность и мода (Заметки о новых зарубежных фильмах), № 12.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях

Амбарцумов, Е.— Русские «Вехи» на американской почве, № 1.

Богемский, Г., Богемская, А. —Метаморфозы Пазолини, № 3.

Богемский, Г.— Росселлини, год 75-й, № 10.

Гривнин, В.— Критики о послевоенной литературе Японии, № 4.

Гусев, Ю.— О национальном и интернациональном, № 10.

Джугашвили, Г.— Двуязычие и культурные традиции, № 5.

Желоховцев, А. — Еще удар по культуре, № 12.

Ильинская, С.— Итоги «черного семилетия», № 6.

Каграманов, Ю.— Конец американского будущего?, № 8.

Коробкина, Т.— Съезд португальских писателей, № 10.

Молчанов, В.— Прометей «просветленный», № 4.

М. Т.— Представляем вьетнамский журнал «Так фам мой», № 9.

Пальцев, Николай — Американо-британская энциклопедия, № 11.

Пархомовская, С.— Назревший разговор, № 4.

Потабенко, С.— Неоднозначное кино Индии, № 11.

Проскурникова, Т.— Фестиваль театральной Франции, № 5.

Рюриков, Юрий — Бунт «пленных жен», № 9.

Седельник, В.—Писатель и демократия, № 2.

Симонян, Л.— Раздумья Кристы Вольф, № 8.

Торопцев, С.— Кнут без пряника (Заметки о кино КНР), № 2.
Торопцев, С.— Рифмованный маоизм, № 9.
Туровская, М.— «Гутенбергова галактика» сегодня и завтра, № 5.
Урнов, Д. — Критическая «промышленность» и литературное «сырье», № 6.

НАШИ ГОСТИ

Гениева, Е.— Осмыслить себя (Чарльз Перси Сноу и Памела Хэнсфорд Джонсон — в редакции журнала «Иностранная литература»), № 12.
Дашкевич, Юрий — Артуро Услар Пьетри: диалог — прежде всего, № 5.
Лихачева, Л.— Поэт и драматург (Георгий Джагаров — в «Иностранной литературе»), № 8.
Наркирьер, Ф.— «Хочу передать душу городов...» (В редакции «Иностранной литературы» — французский писатель Роже Шатоне), № 2.
О ЛИТЕРАТУРЕ И ПИСАТЕЛЯХ (Беседу записала Л. З.), № 9.
Федоров, М.— Голос современности (В редакции «Иностранной литературы» — монгольский поэт Д. Тарва), № 6.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Безрукова, Мирослава — Карл Миллес (К столетию со дня рождения), № 10.
Богданов, А. — Живопись Мохаммеда Овейса, № 3.
Большакова, Ю.— «На крыльях энергии и вдохновения», № 4.
Горянинов, В.— Выставка итальянской графики, № 1.
Демурова, Н.— «Снова в России», № 6.
ИЗ ГРАФИКИ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА, № 11.
Коломиец, А.— У картин Фукуда Хейхатиро, № 9.
Львова, Е.— О картинах Златю Бояджиева, № 2.
Николаев, Д.— «Мир уцелел, потому что смеялся», № 12.
Ошис, В.— Краска и ее песня, № 7.
Ратнаяке, Нихал — Декоративные панно Виды Кейнеман, № 8.
Скопин, В.— Искусство Бернхарда Хайзига, № 5.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Апт, С.— Одержимость художника, № 8.
Бернштейн, И.— Новый Чапек, № 5.
Бочкарева, И.— Искусство продавать чувства, № 4.
Василевская, Э.— «Я всегда свободнее дышал в диалогах...», № 8.
Горчаков, Овидий — Вернулась мирная жизнь, № 9.
Грушко, Павел — Как все на свете люди..., № 1.
Далчев, Атанас — Судить русскому читателю, № 1.
Девекин, В.— «Ничего прекрасней сердца нет», № 12.
Долматовский, Евгений — Разговор с надеждой, № 9
Дьяконов, Д.— Пробуждение в Альто-Паране, № 6.
Зверев, А.— Уроки мастера, № 3.
Комаровский, Г.— Традиции и современность, № 6.
Копровский, Ян — Ивашкевич по-русски, № 2.
Ли, И. С.— Языком Эзопа, № 11.
Львов-Анохин, Б., Зайчикова, В.— Любимое искусство, № 9.
Марков, Георгий — Решение и доверие, № 11.
Мурадян, К.— «Венок горького юмора и громкого смеха», № 2.
Огнев, В.— Четыре поэта, № 10.
Озеров, Лев — Поэзии волшебный лес, № 8.
Панкратова, Э.— «Мгновения, вырванные у смерти», № 6.
Пронин, В.— Признания невиновного, № 3.
Путко, А.— Ответ только один — Сопротивление, № 5.
Росляков, Василий — Документ великого мужества, № 5.
Ростоцкий, Б.— Знакомство расширяется, № 1.
Симонов, А.— Хороший человек — это не профессия, № 9.
Софинская, И.— Пылающие факелы Дублина, № 4.
Степанов, Л.— Золотое слово берберов, № 11.
Турсун-заде, Мирзо — Продолжение открытия, № 10.
Урнов, Д.— Литература — страна — история, № 12.
Фехер, Пал — Советский журнал о венгерской литературе, № 4.
Шаньгин, К.— Ад или город мечты?, № 1.
Шлапоберская, С.— Синхронное разноречие, № 2.
Эйдлин, Л.— «Храбрые и справедливые» в истории китайской прозы, № 12.

Издано за рубежом

Анджапаридзе, Г.— Памятуя уроки истории, № 2.
Брагин, Ю.— Встречи Шалайко, № 11.
Будагова, Л.— Верность призванию, № 1.
Будагова, Л.— Лирическая летопись истории, № 8.
Вавилов, Вл.— Роман о новой Африке, № 10.
Васильева, И.— Поиски выхода из дождливого леса, № 6.
Васильева, Л. И.— Страницы дружбы, № 5.
Гальперина, Е.—Время беззакония и новых утопий, № 4.
Демурова, Н.— Писатель из Мальгуди, № 8.
Доронина, Р.— Как создавалась поэзия, № 11.
Ершов, Д.— «Красная лирика» Артура Лундквиста, № 12.
Жучкова, Г.— «Леаль» — значит «верный», № 3.
Золотцев, С.— Поэзия военного поколения, № 5.

Зонина, Л.— Философская притча, № 4.
Ивашева, В.— «Хранители мудрости» Чарльза Сноу, № 3.
Ильинская, С.— Действенное слово критики, № 1.
Исаев, Ю.— «Мир земле и каждому слову!», № 4.
Кин, Ц.— «Семейный портрет» Марио Пикки, № 9.
Коренева, М.— Как быть мужчиной, № 11.
Кушник, Губерт — Пять веков немецкой политической песни, № 5.
Левидова, И.— Сегодняшнее, вчерашнее, вечное, № 10.
Мельников, А.— «.. Возлюби итальянцев в Австралии», № 9.
Мотылева, Т.—Грани таланта Кристы Вольф, № 3.
Наркирьер, Ф.— Человек, который шел за весной, № 11.
Николеску, Татьяна — Начало нового пути, № 8.
Николов, Иван — Ожидавшаяся неожиданность, № 9.
Олдридж, Джон У.— Человек, мечущийся в вакууме, № 8.
Павон, Луис — Писатель и революция, № 2.
Пархомовская, С.— Двенадцать статей о болгарской прозе, № 3.
Петриковская, А.— Первая книга маорийских рассказов, № 2.
Ремакль, Андре — У Оленьего источника, № 2.
Садковский, Вацлав — Путь к партии, № 10.
Седельник, В.— Находки и открытия, № 10.
Сергеев, М.— Внимание: неофашизм!, № 6.
Симонян Л.— Продолжение следует, № 1.
Тимофеева, О.— Лирическая проза Розмари Киффер, № 9.
Фридман, М.— Мир, обретенный в бою, № 5.
Хорев, В.— Накануне освобождения, № 6.
Чернявский, Г. И.— Вдохновенный рассказ коммуниста, № 12.
Шатоне, Роже — Разоблачительная пародия, № 4.
Яковлева, Г.— Уроки прошлого, № 6.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ В ГДР, № 1.
СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИТАЛИИ, № 3.
СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ В ВЕНГРИИ, № 4.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, № 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—12.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 24/IX 1975 г. А13974. Подписано к печати 14/XI 1975 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л. 18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,71.

Тираж 586.000 экз. (1-й завод: 1—350.000 экз.) Зак. 3241.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394